



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Союз писателей России
ООО "ИПО писателей"

Международный фонд
славянской письменности
и культуры

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,
А. В. ВОРОНЦОВ,
В. Н. ГАНИЧЕВ,
Г. Я. ГОРЬБОВСКИЙ,
Т. В. ДОРЕНИНА,
С. Н. ЕСИН,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
М. П. ЛОБАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
В. Д. ПОПОВ,
В. Г. РАСПУТИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
С. А. СЫРНЕВА,
А. Ю. УВОГИЙ,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ

Проза

Сергей МИХЕНКОВ
Драгун Первой мировой
Роман-биография 6
Захар ПРИЛЕПИН
Обитель. Роман (окончание) 74

Поэзия

Елизавета МАРТЫНОВА
Искорка Божья у сердца внутри 3
Карина СЕЙДАМЕТОВА
Слово русское, веское, грозное 60
Ольга ШЕМЕТОВА
Свет, творящий жизнь 63
Марина ШАМСУТДИНОВА
Где моя Родина? 67
Марина ВОЛКОВА
Под светлой Полярной звездой 69
Руслан КОШКИН
Назови меня просто —
"товарищ" 72
Татьяна ВОЕВОДИНА
Горячей пожара 188
Анастасия БЕЛЯКОВА
Не растут деревья
в саду камней... 191
Мария ЗНОБИЩЕВА
Взошла душа 194
Поэтическая мозаика 197

Память

Димитрий ДУДКО
"Чтобы спастись,
надо быть поэтом" 207

Очерк и публицистика

Лидия СЫЧЁВА
Россия: от интернационализма
к постгуманизму 211
Михаил ДЕЛЯГИН
Либерализм —
глобальный убийца 220
Сергей ГЛАЗЬЕВ
Украина без России
нежизнеспособна 226
Елена ТУЛУШЕВА
Зачем им жить? 234

Редакция

Приемная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
зам. главного редактора —
(495) 625-01-81

Е. В. Шишкин —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47

С. С. Куняев —
*зав. отделом критики,
отдел поэзии* —
(495) 625-02-81

Отдел публицистики —
(495) 625-30-47

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71,
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —
зав. техническим центром —
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Борис КУРКИН
Тоже победители-2 240

Критика

Юрий ПАВЛОВ
Чехов как русский человек 258

Михаил ШАПОВАЛОВ
Пушкин и пан Адам 265

Леонид СЕЛЕЗНЁВ
Поэт Николай Дозоров и “опыт
Маяковского” 272

Книжный развал

Михаил МУЛЛИН
“Русскому поэту нужна земля
и Родина нужна” 281

Пётр КОЗЛОВ
В одном строю 286

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией при условии, что объем рукописи по прозе — не менее 10 а. л., поэзии — 5 а. л., публицистике — 3 а. л. Срок хранения рукописей прозы 2 года, поэзии и публицистики — 1,5 года. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов

Операторы: Е. Я. Закирова, Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

Подписано в печать 29.05.14. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 273. Тираж 8800 экз.

Адрес редакции: Москва, 127994, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес электронной почты: n-sovrem@yandex.ru

(Рукописи по электронной почте не принимаются)

Адрес сайта в интернете: www.nash-sovremennik.ru

Отпечатано в ОАО “Красная Звезда”, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62 www.redstarph.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

ЕЛИЗАВЕТА МАРТЫНОВА



ИСКОРКА БОЖЬЯ У СЕРДЦА ВНУТРИ

* * *

Вот оно, лето с пронзительным зноем,
К небу прибитое тысячей звёзд,
Синее небо с каймой цветною,
Белое облако с горечью слёз.

Клонятся ветки от звонкого ветра,
Бьются в окно, шелестя и шепча:
Вот оно, это законное лето,
Теплится, словно большая свеча.

Но отжелтеет полоска заката.
Еле видны в полутьме фонари.
Вот оно, лето, что было когда-то —
Искорка Божья у сердца внутри.

Если мы любим друг друга, как прежде,
Если мы дарим друг другу тепло,
То поживём ещё в тайной надежде:
Вот оно, лето. Ещё не прошло.

МАРТЫНОВА *Елизавета Сергеевна* родилась в Саратове в 1978 году. Окончила Саратовский госуниверситет. Кандидат филологических наук. Главный редактор журнала «Волга. XXI век». Автор книг «Письмо другу» (2001), «На окраине века» (2006). Лауреат премии Ю. П. Кузнецова (2008). Слушательница семинара А. Казинцева и С. Куняева на Форуме молодых писателей в Липках. Живёт в Саратове.

* * *

Не имеет значения,
Кто окликнул тебя —
В позднем небе свечение
Возникает, скорбя.

Если ты оглянулась
На него так легко —
Это сердце столкнулось
Со своим двойником.

И внутри тебя — солнце,
Рыжий свет — листопад,
И дорога, что вьётся
Через облачный сад.

Там звенят самолёты
И цветут фонари,
И дома, словно соты,
Светят небом внутри.

И вблизи, и далёко
Протекает река,
Словно смерть, одинока,
Словно жизнь, глубока.

* * *

Тихо и сыро в прозрачном саду.
Светлые ветви кругом.
В небе скользят, как по тонкому льду,
Крики грачей и ворон.

И — никого на скамейках литых.
Разве что капли дождя,
Разве что листья писем немых
Ты прочитай, уходя.

Вспоминанием душу не мучь,
А прокрути, как в кино,
Старую ленту: сумерки туч,
Летнего ливня вино.

* * *

Но смерти нет — есть прерванный полёт,
Весеннее обыденное небо.
Пока душа безумная поёт,
Не надо зрелищ и не надо хлеба.

Ещё грачи над городом кружат,
Ещё в глазах черно от их мельканий,
Но вот уже бессмертьем воздух сжат,
И музыкой объаты даже камни,

Дома, деревья голые, асфальт,
Большие голуби и куртки нараспашку,

И неба синего звучит высокий альт,
И облака с дождём вздыхают тяжко.

И мы с тобой по улице идём,
Перегоня неизбежный ливень,
И сами мы становимся дождём,
Не ведая, когда и где погибнем.

* * *

Это и есть Россия —
Белый крылатый снег
И города родные
В оцепенелом сне.

Что бы со мной ни случилось:
Радость, любовь, беда —
Нежного снега милость
Выпала навсегда.

Выпала в город старый
На золотой горе
И никогда не тает
В медленном январе.

Нет ни домов, ни улиц —
Белая мгла строга.
Здесь фонари, нахмурясь,
Светят на два шага.

Тонкая колокольня
Тоньше ночных снегов.
Окна домов — иконы
В белом окладе снов.

Словно бы снег усердный,
Время назад склоня,
Я прохожу сквозь сердце
Тех, кто любил меня.

Дальние и родные,
Все вы мои навек.
Это и есть Россия.
Память. Надежда. Снег.

СЕРГЕЙ МИХЕЕНКОВ



ДРАГУН ПЕРВОЙ МИРОВОЙ*

РОМАН-БИОГРАФИЯ

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ

Глава первая

РОДИНА. ТЕКУЩАЯ РЕКА

“Я был упрям...”

Маршал стоял над рекой и пристально наблюдал за её течением. Берега в этом месте будто стискивали Протву, и стремя реки, подчиняясь теснине песчаных, каменистых осыпей, бугрилось рябью нервных воронок, с урчанием крутило тугие жгуты и стремительно уносилось за излучину. Там, за поворотом, река текла вольнее, шире, спокойнее. Там начинались купальные места и сенокосы, которые испокон веку принадлежали жителям Огуби, Костинки и родной деревни маршала Стрелковки. Или Стрелковщины, как некогда называли эту небольшую приречную деревушку, по мест-

* Журнальный вариант. Главы из книги о Маршале Георгии Константиновиче Жукове. Полный текст готовится издательством “Молодая гвардия” в серии ЖЗЛ.

МИХЕЕНКОВ Сергей Егорович родился в 1955 г. в деревне Воронцово Куйбышевского района Калужской области. Служил в армии на Чукотке. Окончил филологический факультет Калужского государственного педагогического института им. К. Э. Циолковского и Высшие литературные курсы Союза писателей СССР. Работал журналистом, учителем, научным сотрудником краеведческого музея, занимался издательской деятельностью. Автор пятнадцати книг прозы. Повести и рассказы публиковались в журналах “Наш современник”, “Молодая гвардия”, “Юность”, “Ясная поляна”, “Воин России”. Лауреат премий им. Н. А. Островского и А. Хомякова. Живёт в г. Тарусе на Оке.

ным преданиям, названную так уральскими мастерами, которые отливали в Угодском Заводе чугунные пушки, а возле реки обстреливали их усиленными зарядами.

Песчаные берега только выглядели податливыми, на самом деле они стояли здесь неприступными твердынями, смиряя своенравный ток реки своим вековым покоем. Они и тогда, в пору детства маршала, были такими же.

Впереди, в километре выше по течению, лежала его родная деревня, милая его сердцу Стрелковка. Позади, за спиной, тоже недалеко, родина его матери — деревня Чёрная Грязь. Он стоял сейчас словно между двумя родниками, живыми, покуда ещё сильными, и чувствовал их земное биение и ток. “Видимо, так и чувствуют родину”, — подумал он.

Вид текущей воды завораживал. Маршал не мог оторвать глаз от этой вековой борьбы реки и берегов. Река течёт, изменяясь каждое мгновение, а берега стоят недвижно, как крепостные бастионы. Но он-то знал, что есть в этом соперничестве некая высшая гармония, вечное сосуществование противоположного. Именно она и успокаивала взгляд, умиротворяла душу.

Чуть выше, на пригорке, под берёзами виднелась череда окопов. Окопы пехотные. По очертаниям и характеру расположения — немецкие. Война дошла до его родины в октябре 41-го. Той осенью он пережил многое. Как тогда ему казалось, многое смог понять и оценить. Во многом разуверился. В чём-то, наоборот, укрепился.

Маршал оглянулся на берёзы. Немолодые. Снизу кора разошлась в глубоких чёрных морщинах и наростах. Вверху — белые, словно в седине своих лет. Должно быть, его ровесницы. В детстве он их здесь не видел. Нет, не помнит, чтобы здесь начинался лес или были какие-то заросли. Раньше от его деревни до Высокиничей в пойме ничего не росло, кроме травы: сплошные сенокосы. И ему, как и всем подросткам из окрестных деревень, тоже пришлось и косить здесь, и сушить сено, и стоговать, и накладывать на телегу высокие возы...

Да, соглашался он с неизбежным, сколько воды утекло... Сколько утекло... Туда, где уж и не догнать.

Казалось, и душа его уносилась туда же, вслед за струящимися водами. От истоков к устьям. От рождения к неминуемому исходу. Да, думал он, жизнь проходит. Недолго человеческий век. Давно ли вот так же, где-нибудь над такой же излучиной, стоял кто-нибудь из его дедов или прадедов и наблюдал за игрой реки, любовался её тишиной и ладом и размышлял о слабости человеческой природы и вечной неизменности природы реки и её берегов. Что ж, уйдём и мы, думал маршал, а сюда придут новые поколения. За ними — другие, а там следующие... Хорошо, если они хотя бы чем-то будут походить на нас, не растеряют родовых черт, самых главных, становых признаков того прочного народа, от которого мы произошли и так основательно заселили эту землю. Старательно возделывали её и обороняли.

Недавно он прочитал в какой-то книге: земля становится родной, навеки твоей, когда она на полметра вглубь полита кровью твоего рода.

Эта была пропитана на достаточную глубину. Полили её, уж куда как полили...

В глубине реки, как некая тайна, которую не каждому даётся постигнуть, мерцало песчаное дно. Он не только видел его, усыпанное мелкой почтой прозрачной галькой, но и, казалось, чувствовал. Как почувствовал в порывах ветра густеющую влагу и с полузабытым беспокойством подумал, что, должно быть, собирается дождь. И правда, за полем, начинавшимся сразу за поймой, синела, поблескивая белесовато-сизой изнанкой, туча. Она вылезла из-за Лыковского леса и теперь угрожала окрестностям.

Он всё здесь чувствовал тем особым чувством, которое оживает в человеке во время долгожданного свидания с родиной. Давно заметил за собой: в нём мгновенно оживал тот исконный калужский мужик, из кости и плоти которого он и произошёл. Он и жил, и воевал с той мужицкой основательностью и преданностью без остатка, с какой здешний крестьянин всегда был предан земле, отдавая ей, единственной, все свои силы, умения, талант и любовь. С самых первых лет, как только помнил себя, он слышал от сосе-

дей и пилихинской родни, что “вылитый дед”. Деда он не знал. Никогда не видел его. Но дедом гордился.

Он ещё раз посмотрел за излучину. Нет, деревни отсюда ещё не видать. Но она там, за поворотом реки, совсем недалеко. Вот только ждёт ли его там кто-нибудь? Обнимет ли, как родного? Приютит ли на ночь? И зачем ему всё это, если никто уже не ждёт?

Свидание с родиной, тем более по прошествии стольких лет, считай, всей жизни, рождает в человеческой душе чувства смутные. Всё в ней колышется и движется куда-то. Как в реке. Только река знает, куда течёт. Всё в её жизненном токе определено природой, рельефом и временем. А в душе человеческой всё смутно и необъяснимо сложно. Ничего она, душа, не знает. Ни покоя, ни того, куда несёт человека его судьба и где он приткнётся. Да и незачем ей знать. И тогда выходит, что и жизнь человека, изломы его судьбы и медленные излучины действительно сродни реке. Вот такой, как река его детства. Река родины.

Крестили Георгия Жукова в Никольской церкви села Угодский Завод Малоярославецкого уезда Калужской губернии. Церковь стояла на Угодском погосте близ братской могилы казаков, умерших от ран в здешнем лазарете после Тарутинского сражения в октябре 1812 года. Крестил приходской батюшка отец Василий Всесвятский. По совершении обряда в метрической книге сделали обычную запись, из которой явствовало, что младенцу дано имя Георгий, что рождён он 19 ноября, крещён — 20-го, а родители его — “деревни Стрелковки крестьянин Константин Артемьев Жуков и его законная жена Иустина Артемьева, оба православнаго вероисповедания”.

Крёстными родителями младенца стали крестьянин села Угодский Завод Кирилл Иванович Сорокин и “крестьянская девица” Татьяна Ивановна Петина.

В тот год в приходе родилось 65 мальчиков и 82 девочки. Причём Жуковых появилось на свет пятеро. Дети родились во всех пяти стрелковских дворах, где носили фамилию Жуковы.

О родителях будущего маршала следует привести некоторые подробности, потому как история отца и матери нашего героя стала предметом серьёзных раздоров историков и биографов.

Споры и кривотолки пошли вот откуда: остаётся неизвестным доподлинно происхождение отца маршала — Константина Артемьевича Жукова. Семейное предание гласит, что в деревне Стрелковке на левом берегу Протвы жила бедная бездетная вдова Аннушка Жукова... “Чтобы скрасить своё одиночество, — пишет в своих мемуарах маршал, — она взяла из приюта двухлетнего мальчика — моего отца. Кто были его настоящие родители, никто сказать не мог, да и отец потом не старался узнать свою родословную. Известно только, что мальчика в возрасте трех месяцев оставила на пороге сиротского дома какая-то женщина, приложив записку: “Сына моего зовите Константином”. Что заставило бедную женщину бросить ребенка на крыльце приюта, сказать невозможно. Вряд ли она пошла на это из-за отсутствия материнских чувств, скорее всего — по причине своего безвыходно тяжёлого положения”.

Как пишет далее Жуков, дом вдовы Аннушки, где родились и все её внуки, в том числе и Георгий, стоял посреди деревни. “Был он очень старый и одним углом крепко осел в землю. От времени стены и крыша обросли мхом и травой. Была в доме всего одна комната в два окна”. Кем и когда был построен дом Жуковых, никто не знал.

Как вспоминал сам маршал, все пять дворов стрелковских Жуковых родней друг другу не доводились, даже дальней. Крестьяне Малоярославецкого уезда Калужской губернии свои фамилии приобрели, как и большинство окрестных жителей, после отмены крепостного права. Кто выбирал, когда записывали, а кому и просто назначили.

Аннушка умерла, когда её приёмшу едва исполнилось восемь лет. Приёмного сына поднять не успела. Впрочем, в те времена, да ещё в деревне, дети, особенно мальчики, взрослели рано. Снова оставшись одиноким сиро-

той, мальчик пошёл в село Угодский Завод — искать кусок хлеба на пропитание. И нашёл: его взял к себе в подмастерья сапожник. Так, через поле и перелесок, и бегал Константин Жуков каждое утро, стараясь не опоздать к началу работы. Вечером возвращался. Через три года, вступив в пору отрочества, попал в Москву и там быстро устроился в обувную мастерскую Вейса. Оборотистый и предприимчивый немец открыл собственный магазин модельной обуви, так что дела у предприятия шли неплохо. Константин, ставший неплохим мастером, тоже со временем встал на ноги и в 1870 году женился. В жёны ему высватали “крестьянскую дочь Анну Иванову” из той же деревни Стрелковки. У них родились сыновья — Григорий (1874) и Василий (1884). Младший вскоре умер. А в 1892 году умерла от скоротечной чахотки Анна Ивановна. Константин Артемьевич остался вдовцом. Кстати, происхождение отчества отца Жукова остаётся невыясненным. Очевидно, вписано произвольно.

Итак, одни сторонники “тёмного” по отцу происхождения Жукова намекают на его “арийские” корни, другие — на греческие. Как будто не мог в русском народе, без “примеси”, родиться будущий великий полководец! Хотя сами же и пеняют на его мужицкие манеры и хватки.

Идея “немецкого” или, точнее, полунемецкого происхождения нашего героя — лишнее подтверждение тому, как далеко могут расходиться в нашем болоте, где все лягушки орут вольным хором и каждая на свой лад, волны “норманнской” теории, если в неё поверить хотя бы отчасти. Нанялся к немцу на работу — и ты уже наполовину немец...

В этой истории — почему Константин Жуков из деревни Стрелковки Малоярославецкого уезда оказался в найме у немца в Москве — надо знать вот что. Испокон веков жители подмосковных городков и селений искали в богатой Москве заработка и хорошей жизни. И порой находили и то, и другое. Как, впрочем, и наш герой. Хотя отец его и не сумел найти. До сих пор этот поток не иссякает. Особенно молодёжь едет и едет в Москву — и из Малоярославецкого района, и из Жуковского, и из соседних Боровского и Тарусского. Так что маршрут этот уже тогда был исхожен не одним поколением и имел свою историю и культуру.

Константин ушёл в большой город пешком. Вместе со своими товарищами, кто дорогу в Москву уже знал.

Мать Устинья Артемьевна родилась неподалёку, в деревне Чёрная Грязь, что в шести километрах ниже по течению Протвы, в семье Артемия Меркуловича и Олимпиады Петровны. Фамилии при рождении Устя не получила, так как её здешние крестьяне помещика Голицына не имели вплоть до конца 80-х годов XIX века. Впоследствии записались они Пилихинными. Устинья Артемьевна фамилии по отцу никогда не носила. Не успела. В семье она была старшим ребёнком. Известно, что в крестьянском доме старший из детей — и за мать, и за отца, и за всех на свете. Рано втянулась и она в тяжёлый физический труд. От отца по природе ей передалась широкая крестьянская кость, выносливость и упорный характер.

В деревне старшую пилихинскую дочь называли Устей, Устиньей, Устюхой. В семье — Устюшей. Детей впоследствии называли Устюхиными. По фамилии — редко. Будущего маршала кликали Егором Устюхиным. Поскольку после отмены крепостного права здешние мужики, владевшие каким-либо мастерством — кузнечным, плотницким, столярным, скорняжным, сапожным и иным — уходили в работники и возвращались только к сельскохозяйственным работам, в деревнях постепенно воцарился матриархат. Верховодили женщины. Правда, их первенство простиралось до известных пределов: на выборные и иные должности в общине проходили только мужчины.

Шли годы. Устинья повзрослела, заневестилась. Артемию Меркуловичу хоть и жалко было отдавать замуж, считай, в чужой двор большую дочку — хорошая работница, в поле за двоих управлялась! — а надо. Пора.

Вначале её выдали за Фаддея Стефановича, крестьянского сына из соседнего села Трубина Спасской волости. Этот Фаддей Стефанович тоже оказался бесфамильным. Когда играли свадьбу, жениху только-только исполни-

лось девятнадцать лет, а невесте уже побольше было — двадцать два. Вскоре родился у них сын Иван. Дальнейшая судьба его неизвестна. А спустя некоторое время от чахотки умер Фаддей Стефанович. Устинья подалась в прислуги, нанималась к богатым хозяевам в соседние деревни. Вне брака прижила ребёночка, вроде бы, как теперь говорят, мальчика, крещёного именем Георгий. Мальчик тот на свете долго не пожил, умер “от сухотки”.

Как это часто бывало в деревнях, вскоре вдовец и вдова сошлись. Впрочем, Константин Артемьевич и Устинья Артемьевна не просто сошлись, а обвенчались церковным браком. Венчал их приходской батюшка о. Василий Всесвятский, который затем окрестил всех их детей. Венчание состоялось 27 сентября 1892 года в храме села Угодский Завод, о чём в здешних церковных книгах имеется соответствующая запись.

Устинье Артемьевне в год второго венчания было двадцать девять лет, Константину Артемьевичу — сорок восемь.

Пошли совместные дети: Мария (1894), Георгий (1896) и Алексей (1899). Младший прожил всего полтора года. Случилось несчастье: ползая по дому, он опрокинул на себя посудину с кипятком. Ожог оказался смертельным.

Имя Георгий, а в просторечии Егор, Устинья выбрала в память об умершем младенце, прижитом вне брака, но дорогом её сердцу. Такой обычай в этой местности был в то время весьма распространён.

20 ноября по церковному календарю — день преподобного Григория. И когда священник назвал это имя, Устинья, как повествуют местные хроники, “решительно отвергла <его>. Оно ей было неприятно из-за сына Константина от первого брака, с которым у неё не сложились отношения”.

День же Святого Великомученика Георгия, как известно, православными празднуется 26 ноября, 9 декабря по новому стилю. Так что дата крещения младенца с днём Святого Георгия никак не совпадает. На счёт невежества священно-церковно-служителей эту историю отнести тоже нельзя, так как, по мнению местного краеведа А. И. Ульянова, “священник и дьякон были достаточно образованными, чтобы не перепутать имя святого и его простонародное искажение”^{*}.

Жили в Стрелковке, в стареньком доме с замшелой крышей и вросшим в землю углом. Кормились от земли и домашнего хозяйства, а также от ремесла Константина Артемьевича. Дорога в Москву ему была с некоторых пор заказана. “Я не знаю подробностей, — писал впоследствии маршал, — по рассказам отца, он в числе многих других рабочих после событий 1905 года был уволен и выслан из Москвы за участие в демонстрациях. С того времени и по день своей смерти в 1921 году отец безвыездно жил в деревне, занимаясь сапожным делом и крестьянскими работами”.

“Я очень любил отца, — вспоминал маршал, — и он меня баловал. Но бывали случаи, когда отец строго наказывал меня за какую-нибудь провинность и даже бил шпандырем (сапожный ремень), требуя, чтобы я просил прощения. Но я был упрям — и сколько бы он ни бил меня — терпел, но прощения не просил. Один раз он задал мне такую порку, что я убежал из дому и трое суток жил в конопле у соседа. Кроме сестры, никто не знал, где я. Мы с ней договорились, чтобы она меня не выдавала и носила мне еду. Меня всюду искали, но я хорошо замаскировался. Случайно меня обнаружила в моём убежище соседка и привела домой. Отец ещё мне добавил, но потом пожалел и простил”.

Характер — “был упрям”, “терпел, но прощения не просил” — определился ещё тогда, в детские и отроческие года.

Статью, широкой крестьянской костью он пошёл в материнский род — пилихинский. Да и упорство, воля добиваться своего, твёрдость и умение брать на себя ответственность и за поступки, и за проступки, и за порученное дело — тоже оттуда, от пилихинского корня.

Отец Константин Артемьевич, подчас не зная, как реагировать на проделки Егорика, в сердцах говорил: “В хвост и в гриву такого лущцевать!”

^{*} Ульянов А. И. Детство полковника. Малоярославец, 1996. С. 26.

Но строгость отца не заронила в душу мальчонки озлобленности на него. В воспоминаниях Жуков о нём отзывается с сыновней теплотой, в которой порой сквозит гордость. Значит, без дела отец шпандыря с гвоздя не снимал.

Ещё когда только слез с печки и в первое лето босиком побежал по деревне, старики провожали его насмешливым взглядом и говорили:

— О, дед Артём побёг! Плечистый мужик будет. Девкам — беда!..

Звали его Егориком. Потом, когда повзрослел, — Егором. Георгием ни в детстве, ни потом — никогда. Даже когда стал маршалом, и слава о нём полетела повсюду, и имя не сходило со страниц газет и журналов, книг и плакатов, когда тысячекратно повторялось по радио и в телевизионном эфире, в родной деревне его продолжали называть Егором Жуковым. Для Стрелковки и округи он всегда был и оставался своим. Дядя же впервые назовёт его по имени и отчеству, когда почувствует, что племянник входит в силу, что в нём прорезаются лучшие пилехинские черты и что, похоже, из него выходит толк.

О матери маршал вспоминал: “Мать была физически очень сильным человеком. Она легко поднимала с земли пятипудовые мешки с зерном и переносила их на значительное расстояние. Говорили, что она унаследовала физическую силу от своего отца — моего деда Артёма, который подлезал под лошадь и поднимал её или брал за хвост и одним рывком сажал на круп”.

Семейное предание хранит о могучем деде Артёме и ещё одну сказку: когда начал строиться, ездил в лес один, валил матёрые дубы, распиливал их на брёвна, соразмерные будущим стенам дома, и один укладывал их на повозку.

Разделение труда в семье Жуковых установилось так: самую тяжёлую работу выполняла мать, а отец занимался сапожным ремеслом. По всей вероятности, Константин Артемьевич страдал слабостью здоровья. Возможно, именно поэтому вынужден был покинуть Москву. А “полицейская” версия сложилась позже, когда Жукову необходимо было заполнять анкеты, писать автобиографию и соблюдать прочую осторожность в соответствии со временем. Вряд ли Константин Артемьевич служил в армии. Сведений об этом на родине в архиве фондохранилища музея маршала Жукова нет. Так что копировать “военную жилку” юному Жукову было не с кого и не с чего. Ни военного человека, ни обстоятельств, которые бы с ранних лет развивали в нём любовь или хотя бы любопытство к военному делу, рядом с ним не было и в помине.

Чтобы хоть как-то выбиться из бедности и осенью на Покров проводить детей в школу обутыми-одетыми, Устинья Артемьевна нанималась в Угодском Заводе у зажиточных хозяев и купцов возить из уездного Малоарославца и ближайшего города Серпухова бакалейные товары для лавок. За поездку ей платили рубль. Иногда накидывали сверх рубля двадцать копеек за добросовестность и расторопность. “И какая бывала радость, — писал маршал в “Воспоминаниях и размышлениях”, — когда из Малоарославца привозили нам по баранке или прянику! Если же удавалось скопить немного денег к Рождеству или Пасхе на пироги с начинкой, тогда нашим восторгам не было границ”.

Извозом занимались многие. Промысел этот был в основном женский. В Стрелковке существовала целая артель, в которую входила и Устинья Жукова. Женщины уходили в извоз примерно раз в неделю. Иногда приходилось ночевать в Малоарославце или в Серпухове, а наутро чуть свет везти товар в Угодский Завод. В дождь и слякоть, в метель и стужу. Для Устиньи такая работа была делом привычным.

Глава вторая

НИЩЕЕ, СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

*“Егор приехал, на вечеринках
жди драки...”*

Детскими забавами в Стрелковке были летом — Протва, зимой — Михалёвские горы.

Протва — река невеликая. Но и не ручей. Даже не речка — река. Когда в 41-м, осенью и зимой, здесь стоял фронт, вплотную придвинувшись

к Серпухову и Подольску и угрожая с севера непокорной Туле, Протва сперва серьёзно препятствовала продвижению к Москве немецких войск, а потом, когда началось контрнаступление, — нашим.

Особенность этой реки — плавное равнинное течение, песчаное дно, плёсы, заросшие раkitником и ольхами, щучьи омута. Весной она разливается так широко и вольно, что превращается в море. Поэтому на пологих и низинных местах здесь никогда не строились — затопит, унесёт. Деревни и сёла стоят в отдалении или на кручах. Почва в основном песчаная. Кругом сосновые боры, в борах — черника, земляника, костяника, грибы. В прежние времена водилось много боровой дичи: тетерева, рябчики, куропатки, перепела. На Протве и старицах — выводки диких уток.

Все окрестные жители — прекрасные пловцы.

Однажды, уже в 57-м, в Крыму во время отдыха маршал заплыл так далеко от берега, что родные заволновались. Семьи Жуковых и Пилихиных, как это не раз бывало, отдыхали на море вместе. Когда вернулся и вышел из воды, двоюродный брат Михаил Пилихин спросил:

— Далеко заплываешь. Не боишься?

— Не боюсь. Я всю жизнь заплываю далеко. Чего нам бояться? Помнишь, как Сашка нас плавать научил! На Протве самые глубокие места вдоль и поперёк по несколько раз переплывали. Нанерегонки!

Александр Пилихин, наставник братьев, их опекун, учил их плавать так. Сажал в лодку, выгребал на середину Протвы, где она поглубже и пошире, выталкивал одного и другого в воду и кричал: “Плывите к берегу!” И внимательно следил: если кто начинал “хлебать” и тонуть, ловко, как кот рыбицу, выхватывал из воды и затаскивал в лодку.

Зимой развлечением стрелковской детворы становились Михалёвские горы. Катались лыжах и на “леднях”. “Ледня” — старое, износившееся и уже не нужное в хозяйстве решето. Обмазывали его жидким коровьим навозом и морозили. Процедуру эту необходимо было выполнять неоднократно, чтобы покрытие ложилось тонкими слоями и служило потом долго. Нынешние “ледянки”, на которых дети летают со снежных и ледяных горок, всего лишь жалкое, выродившееся подобие настоящей “ледни”. Всё равно, что чайную пару кузнецовского фарфора сравнивать с одноразовой кружечкой из пищевой пластмассы...

Егорик слыл среди своих одногодков заводилой и атаманом, был не по годам силен и ловок. В драках, которые время от времени случались, решал исход “по-честному”, в драках “стенка на стенку” был надёжен и храбр.

Потом, когда начал, как говорят в деревне, “девкам на пятки наступать”, драки не прекратились — ревниво отгонял соперников от своих избранниц. Однажды на танцах стал отбивать невесту у местного почтальона. “Егор, не лезь, — предупредили друзья, — у него револьвер”. Почтальонам выдавали служебное личное оружие, так как их работа была связана с перевозкой ценностей и крупных денежных сумм. Почтальон, не отличавшийся силой, не расставался со своей “привилегией” и на гулянках. Жукова это только раззадорило. Когда началась драка, и почтальон выхватил револьвер, Жуков ловко выбил его из руки соперника и забросил в кусты. Эта безрассудная, отчаянная храбрость впоследствии проявится на фронте — и на одной войне, и на другой, и на третьей, и на четвёртой, самой большой и продолжительной.

Так что и на гулянках не уступал он первенства. За девушками ухаживал лихо и напористо. На родине до сих пор шутят: так, мол, и воевал, и когда солдатом был, и когда маршалом.

Особенно запала в душу одна...

Он в ту пору уже работал в Москве и в Стрелковку приезжал только на лето и в Рождество — погостить.

Своему редактору “Воспоминаний и размышлений” — журналисту Анне Миркиной — он рассказал однажды в порыве откровения, когда речь зашла о родине, о юности, о первых волнениях крови: “Я, когда молодым был, очень любил плясать. Красивые были девушки! Ухаживал за ними. Была там одна — Нюра Синельщикова — любовь была”.

Но это будет потом, после детства и отрочества. Крепко его тогда захватило — первая любовь. Вот и не забывалась. Когда приехал из Москвы в Стрелковку и узнал, что Нюру уже засватали, как вспоминают соседи, ходил вокруг её дома и не своим голосом кричал: “Нюрка! Что ты наделала!”

Впоследствии, уже оглядываясь на прожитое, но словно всё ещё оберегая старую рану, он подарил Нюре первое издание своих “Воспоминаний и размышлений”, где есть упоминание и о ней. На титульном листе сделал сдержанную надпись: “А. В. Синельщиковой — другу моего детства на добрую память”.

Покривил душой маршал: Нюра была не только другом детства и юности — невестой.

Отец Константин Артемьевич хоть и был строг с детьми, и лупил самого резвого и непокорного из них — Егорика — шпандырем, но хозяином в доме был, видимо, всё же никудышным. Всё держалось на двужильной Устюше. Иначе как объяснить, что в 1902 году, уже к осени, “от ветхости” обломилась прогнившие обрешётки и стропила, и крыша рухнула внутрь. Когда односельчане собрались на усадьбе Жуковых, чтобы помочь горю бедной семьи, накануне холодов вынужденной жить в сарае, выяснилось, что новые стропила на гнилых стенах поднимать бессмысленно. Пустили по кругу шапку и вскоре собрали необходимую сумму, на собранные деньги в соседнем селе купили готовый сруб. Перевезли. Дом поставили обydёнкой — за один день накидали на мох сруб, подняли стропила, обрешётки и покрыли соломой в несколько рядов.

Тот год был для семьи Жуковых самым тяжёлым. Сам маршал вспоминал его так: “Год выдался неурожайный, и своего зерна хватило только до середины декабря. Заработки отца и матери уходили на хлеб, соль и уплату долгов. Спасибо соседям, они иногда нас выручали то щами, то кашей. Такая взаимопомощь в деревнях была не исключением, а скорее традицией дружбы и солидарности русских людей, живших в тяжёлой нужде”.

Анна Ильинична Фёдорова*, старожил из Чёрной Грязи, вспоминала: “Была я маленькая, сидела на печке и видела, как Егор Жуков приходил к моему старшему брату Семёну. Они дружили. Был он из бедной семьи, ходил в рваных ботинках”.

Да, заметим мы, при отце-то сапожнике...

Та же Анна Ильинична сохранила в памяти нечто более любопытное для характеристики нашего героя. Воспоминание это относится к более позднему периоду жизни Жукова, когда он уже жил и работал в Москве, а на родину приезжал погостить. И — погулять. “Когда Жуков в юности приезжал из Москвы в Стрелковку, то в деревне говорили: “Егор приехал, на вечеринках жди драки...”

Так что характер Жукова определился рано: уже в юности в нём проявилось стремление быть первым и лучшим. Психологи установили, что “к числу наиболее часто упоминаемых личностных черт” человека, стремящегося к лидерству, “относятся: доминантность, уверенность в себе, эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивость, креативность, стремление к достижению поставленной цели, предприимчивость, ответственность, надёжность в выполнении задания, независимость, общительность”. Всеми этими качествами и чертами наш герой обладал. В той или иной мере.

Время от времени эта его страсть быть первым приводила к конфликтам с окружающей средой, которая порой не принимала его претензий. Известен случай, когда после очередной драки на вечеринке местные парни подкараулили его, связали и бросили в канаву с крапивой. “Вот тебе наши девки, москвич!..” В крапиве Егор пролежал до утра. Но и этот случай послужил становлению его характера. Он стал уроком, который, надо признать, будущий маршал усвоил лишь отчасти...

Однако лето для деревенской ребятни — это не только купание на реке, но и множество забот по хозяйству: грядки прополоть, воды нанести — и домашней скотине, и на полив огорода. И в лес за ягодами сходить, за гри-

* А. И. Фёдорова, 1907 года рождения.

бами, и порыбачить на реке Протве и речке Огублянке, впадавшей в Протву неподалёку, возле села Огуби — всё это развлечения можно назвать лишь отчасти. Рыба была пропитанием для семьи — без улова с речки не придёшь. Рыбу ловили корзинами. Когда стали постарше, плели вёрши, нерета и морды. Чем лучше снасть, тем богаче улов: плотва, густера, окуни, щуки, налимы, голавли, лини, иногда попадал и крупный лещ. Случалась и так, что Егор становился настоящим добытчиком и кормильцем семьи. Хранить рыбу было негде. Поймал — и на сковородку. В благодарность за щи в голодные дни, часть большого улова Егор относил соседям — делился. Особенно удачливой рыбалка случалась на речушке Огублянке — тихой старице реки Протвы.

Затем он пристрастился к охоте.

Жил в деревне Прошка по прозвищу Хромой. Он и на самом деле был хром, работал половым в придорожном трактире в Огуби. Хромой Прошка купил себе ружьё и стал ходить на охоту. Брал с собой и Егора. Они вскоре подружились, хотя Хромой Прошка летами был намного старше. Мать Прошки на крестинах держала Егора на руках перед купелью, а потом, голенького, принимала от отца Василия. Так что Хромой Прошка доводился ему почти роднёй.

Поскольку они ходили в лес вдвоём, а ружьё было всего одно, то и стрелял из него владелец — Хромой Прошка. А Егору доставалась другая работа: зимой, когда они охотились на зайцев, Егор делал загоны или распутывал заячьи малики, т. е. следы. Он искусно и умело тропил зайца. Мгновенно, только увидев след, определял, беляк это или русак. Различал концевые, жировые, гонные или взбудные следы. Понимал, что если косой сделал смётку — отпрыгнул со своего следа, “двойки” или “тройки”, далеко в сторону, — то где-то неподалёку его лёжка. Иногда зайца брали прямо на лёжке, иногда, вышугнув, улепётывающего со всех ног прочь. Иногда упускали. И тогда Егору приходилось выслеживать его, топтать снег по новому кругу. В конце лета ходили на уток: в августе на крыло становилась молодь. Выводки в хорошие годы были большими. За одну охоту добывали до дюжины крякв. Стрелял Хромой Прошка, а Егор плавал за подранками. Иногда Прошка давал выстрелить раз-другой и Егору.

Иногда на охоту шли втроём. Егор уговаривал Хромого Прошку взять с собой друга и однокашника Лёшу Колотырного. Колотырный — это прозвище. Настоящая фамилия друга была Жуков.

Пройдут годы. Пройдёт одна война, грянет за ней другая, гражданская. Коноводом у командира кавалерийского полка Жукова будет верно служить красноармеец Алексей Жуков, которого комполка по-прежнему будет звать Колотырным.

Человек родины, Жуков всегда будет окружать себя земляками, роднёй. Надёжными и добросовестными людьми, готовыми за него и в огонь, и в воду.

Запах порохового дыма мутил голову, пьянил. Страсть к охоте, в особенности утиной, Жуков сохранил на всю жизнь. Охотничьи же навыки, умение “тропить” зайца и тихо подходить к утиным выводкам пригодились очень скоро — на Первой мировой войне, где Жуков стал разведчиком.

Деньги, собранные миром на покупку сруба, Жуковым необходимо было возвращать миру. Они и возвращали — частями, как могли. Это был своего рода кредит. Беспроцентный. Община мздоимством не промышляла, хотя и забот у неё хватало, и расходов было много.

Было принято помогать своим, не оставлять в беде, выручать родных и близких, не оставлять вниманием земляка. Выросший и воспитанный деревенской общиной, родителями, роднёй в такой нравственной атмосфере, Жуков сохранил эти качества на всю жизнь, был щедр к родным и близким, заботлив по отношению к многочисленным племянникам и племянницам, гостеприимен. Родня всегда окружала его: и в московской квартире, и на даче, и даже на временных квартирах в гарнизонах. Он любил, чтобы вокруг него были родные лица, звучали интонации его родины — Стрелковщины.

На следующую осень после того, как Жуковы перебрались из сарая в новый дом, Егора и Машу собирали в школу.

Церковно-приходская школа, в которой обучались крестьянские дети из окрестных деревень, находилась в деревне Величково — вниз по течению Протвы, на полпути в сторону Чёрной Грязи. Сюда ходили учиться крестьянские дети из четырёх деревень: Лыкова, Величкова, Стрелковки и Огуби. Учителем в школе был сын местного батюшки Сергей Николаевич Ремизов. Местные хроники сохранили память о нём как о талантливом педагоге, посвятившем свой талант и всю жизнь крестьянским детям, их просвещению. Отец учителя, о. Николай Ремизов, “тихий и добрый старичок”, к тому времени уже бывший заштатным священником местной церкви, вёл в школе Закон Божий.

Сестра Маша в школу пошла на год раньше. Егор выучился читать и писать печатными буквами по её букварю, а потому пришёл в школу уже подготовленным. Вспоминал: “Некоторым ребятам родители купили ранцы, и они хвастались ими. Мне и Лёшке вместо ранцев сшили из холстины сумки. Я сказал матери, что сумки носят нищие, и с ней ходить в школу не буду.

— Когда мы с отцом заработаем денег, обязательно купим тебе ранец, а пока ходи с сумкой.

В школу меня вела сестра Маша. Она училась уже во втором классе. В нашем классе набралось 15 мальчиков и 13 девочек.

После знакомства с нами учитель рассадил всех по партам. Девочек посадил с левой стороны, мальчиков — с правой. Я очень хотел сидеть с Колотырным. Но учитель сказал, что вместе посадить нас нельзя, так как Лёша не знает ни одной буквы и к тому же маленький ростом. Его посадили на первую парту, а меня — на самую последнюю”.

Школу в Величкове построил здешний землевладелец князь Николай Сергеевич Голицын в 1888 году. Согласно “Правилам о церковно-приходских школах”, изданным в 1884 году, величковская школа, её духовно-нравственный тон и учителя должны были заложить добрую основу подрастающего поколения и утвердить в народной среде Православие. В день открытия школы крестьянская община преподнесла щедрому строителю и попечителю о народном просвещении две богато изукрашенные, в серебряных окладах иконы: Святого Николая и “Иисус Христос на престоле, благословляющий входящих к нему детей”. Растроганный князь тут же передал дары школе, дабы “в каждом из двух классов помещений находилась одна икона”. Князь Голицын не только выстроил здание школы, но и закупил всё необходимое для учебных занятий: мебель, классные доски, счёты, тетради, карандаши, перья, чернила и чернильницы, книги, предусмотренные программой, словом, всё “в потребном количестве”. Он же взял на себя расходы на выплату жалования учителям и все текущие надобности. Школа князя Голицына в Величкове была лучшей в уезде и считалась образцовой.

Егор учился хорошо. Все предметы ему давались легко, поэтому оставалось время и на проказы. Марья Ивановна Крюкова, учившаяся с Егором в одном классе, рассказывала, что она с подружкой сидела впереди, а Егор, сидевший сзади, “озорничал”. У девочки были длинные густые косы, и Егор прямо во время урока цеплял на её косы репей. Неравнодушен он был и к её подружке: когда шли из школы домой в Стрелковку, он донимал репьями обеих.

Впрочем, земляки великого полководца любят пошучивать, что когда слава маршала Победы, уже очищенная от наветов, зависти и опасной хулы, докатилась до его родных мест, многие окрестные старухи стали рассказывать самые подлинные истории о том, как Егор в своё время не смог добиться их благосклонности...

Первый класс Маша окончила с трудом. Сестра в учении оказалась слабой. Её оставили на второй год. Родители тут же сказали: хватит попусту лапти рвать, в домашнем хозяйстве от девочки пользы будет больше. Маша разрыдалась. Егор вступился за сестру. Сказал, что не Маша виновата в том, что отстала в учёбе, а то, что ей приходилось пропускать много занятий, чтобы заниматься домашними делами, пока мать была в извозе. При этом показал такой напор и умение стоять на своём, что родители усту-

пили. С тех пор они учились в одном классе. Егор всегда помогал сестре, если у неё что-то не получалось, и никому не давал её в обиду.

Всю жизнь он опекал старшую сестру, помогал ей, устраивал учиться племянников. Но об этом — в свой черёд.

Учитель Жукова Сергей Николаевич Ремизов принадлежал к тому типу русских подвижников, которых призвало время заветов и назиданий Константина Победоносцева и острой критики современной жизни Льва Толстого. Родился он в Угодском Заводе в семье священника. В тот год, когда в Величково из Стрелковки с холщовой сумкой через плечо пришёл в первый класс Егор Жуков, учителю исполнилось сорок лет. Педагогический стаж к тому времени был уже двадцать два года. Он окончил курсы Калужского духовного училища и сразу же был определён во вновь построенную школу в Величково. Его неоднократно поощряли от Малоярославецкого уездного училищного совета “за усердное отношение к школьному делу”. Был он отмечен и Синодом: “за ревность в наставлении детей в вере” получил наградную Библию. Впоследствии окончил педагогические курсы в Калуге. Это была личность незаурядная, цельная. Можно уверенно предположить, что на становление будущего полководца его уроки, общение с ним, его наставления оказали огромное влияние. Счастье для человека, когда в ранние лета ему попадётся такой учитель и наставник. Он пристрастил Егора к чтению. Настоял, чтобы тот пел в церковном хоре. Книги стали частью жизни Егора, надёжными воспитателями и ангелами-хранителями его души. Жуков всю жизнь делал себя сам. И в этом его *делании* самыми верными помощниками были книги.

В последние годы жизни Сергей Николаевич Ремизов обратился к Богу. В заброшенной часовне в Угодском Заводе уже в советские годы он собирал детей и беседовал с ними на духовно-нравственные темы. Умер старый учитель в 1926 году, никем не преследуемый, но и всеми забытый.

В 1964 году маршал приехал на родину, посетил могилу отца. И долго искал могилу учителя, но не нашёл её. Своим спутникам сказал с грустью:

— Есть у меня в жизни долг неоплаченный. Долг памяти первому учителю — Сергею Николаевичу Ремизову. Прекрасный был педагог. А главное — человек светлый, порядочный.

В первом отделении (классе) Жуков изучал объяснительное чтение, письмо, арифметику, Закон Божий, который в первый год обучения начинался “Священной историей” от Сотворения мира до Вознесения Христова; кроме того, от учеников требовалось знание наизусть шестнадцати молитв.

В два следующих года дети постигали Катехизис, Символ Веры, чино-последование Богослужения с обязательным посещением храма и участием в службе. Кроме духовных предметов, во втором отделении (классе) школьники осваивали чистописание, письменные упражнения, русское чтение.

Кроме обязательных предметов, ученик самостоятельно должен был прочитать сверх программы двести книг — произведений русских писателей, рекомендованных Министерством народного просвещения.

В 1906 году Жуков успешно окончил полный курс трёхклассной церковно-приходской школы. Учитель Сергей Николаевич Ремизов вручил выпускнику Похвальный лист за окончание школы с отличием и напутствовал его самыми добрыми словами.

После окончания школы отец подарил Егору новые сапоги, мать сшила новую рубаху. Подарки были не праздными — парня собирали в Москву. Родители понимали: пора парню учиться не книжной науке, а той, которая давала бы кусок хлеба, — мастерству. Привязывать к земле Егора не хотели: смыслённый, ловкий в любом деле, заводила и атаман — такой и в Москве не пропадёт. Но в Москву его сразу после начальной школы, когда ему исполнилось только неполных двенадцать лет, всё же не отправили. Почему — неизвестно. Возраст уже позволял оторваться от дома и стать подмастерьем хотя бы в уездном Малоярославце. Кстати, городок славился мастерами-хлебобопёками и скорняками, их продукция отправлялась в Москву. Благо, что туда через Малоярославец лежала прямая, как стрела, дорога — знаменитое Варшавское шоссе.

Пока Егор учился грамоте и Закону Божию в Величкове, Россию потрясли два урагана: русско-японская война (1904–1905) и первая русская революция (1905–1907). Империя устояла, но сроки её существования исчислялись уже немногими годами.

Местные хроники отмечали следующее: “События, происходившие тогда в городской России, мало затронули Стрелковщину. Выборгское воззвание политизированной интеллигенции, обратившейся с призывом к народу начать кампанию гражданского неповиновения из-за роспуска Госдумы, оставило народ равнодушным. На повседневной жизни крестьян политическая борьба, как казалось здешним жителям, никак не отражалась. Столыпинская реформа в Стрелковщине и в целом в Калужской губернии провалилась. Мужики не хотели выходить из общины и угрожали “красным петухом” всем, кто попытается из неё выделиться. Привычный уклад жизни Огубской общины выдержал напор новых веяний — хутора здесь не возникли. Несмотря на смутное время, не знали в крае и политического террора. Только в нижних по течению Протвы волостях эсеры пытались смутить народ, дрались в пьяном виде со своими противниками и грабили “во имя светлых идеалов”. Впрочем, и это случалось довольно редко”*

В 1908 году в Чёрную Грязь навесить родину и родню приехал из Москвы брат Устиныи Артемьевны Михаил Артемьевич Пилихин. Вот тут-то и начала жизнь-река ломать своё привычное течение и буровить в материке новую излучину.

Михаил Артемьевич Пилихин к тому времени не просто обжился в Москве, а по-настоящему разбогател. Кстати, дядю Егора, этого самого Михаила Артемьевича, отдали в подмастерья одиннадцати лет. И вот он — мастер-меховщик высочайшего класса, при богатых и солидных клиентах и заказчиках, владелец меховой мастерской в самом центре Москвы на Кузнецком мосту и собственного магазина мехов и изделий из кожи. Из Чёрной, как говорится, Грязи калужской — да на Кузнецкий мост!

Приехал Михаил Артемьевич к сестре в Стрелковку, посмотрел на бедность родни, поинтересовался хозяйством, видами на урожай. Всё кругом выглядело тоскливым, и тоска та казалась беспросветной и бесконечной. Увидел племянника — крепкого, с умным внимательным взглядом, с достоинством в движениях. В лице, посадке головы и коренастой фигуре чувствовалась пилихинская порода. Волевой подбородок с ямочкой. Смекнул — из парня выйдет толк. Но в деревне — пропадёт.

— Ну, вот что, Устя, — сказал он, кивнув на Егора. — Племянника я забираю.

Константину Артемьевичу в тот раз шурьяк* руки не подал. Разговаривал с сестрой и Егором.

Решение Михаила Артемьевича и обрадовало Жуковых, и печалило одновременно. Наконец-то у сына забрезжило будущее, да и не в чужие люди уходил, а к родному дяде, к выгодному делу, к денежному ремеслу, с которым жизнь можно устроить куда как лучше, чем здесь, в бедной нищающей деревне. С другой стороны — на одни рабочие руки в семье становилось меньше. Да и жалко от себя отпускать...

Закончилось деревенское детство Егора Жукова с его радостями и развлечениями на Протве, с рыбалкой, покосами и охотами на зайцев и уток. Со стремительными гонками на замороженных “леднях” на Михалёвских горках, с девичьим смехом и шёпотом возле соседских калиток...

Всё уходило в прошлое, откочёвывало, удалялось и исчезало, как последняя льдина на Протве во время разлива.

Река текла своим вековечным правильным током — от истоков своих к устьям. Исток отдалялся. Устья...

Об устьях наш герой ещё не думал — они казались до нереальности далёкими.

* Ульянов А. И. Детство полководца. Малоярославец, 1996. С. 69–70.

** Производное, местное, калужское от — “шурин”. Шурин — брат жены.

Глава третья

МОСКВА

“Жуков быстро становился городским человеком...”

Одна из двоюродных сестёр по материнской линии — Анна Михайловна Пилихина, — прожившая девяносто шесть лет и до конца своих дней не бросившая огород и небольшое хозяйство на родной земле в Чёрной Грязи, вспоминала: “Если бы не наш отец, малограмотный, но предприимчивый скорняк Михаил Артемьевич Пилихин, то мой двоюродный брат Егор Жуков пас бы в Стрелковке гусей... В нашей московской квартире Егор все годы жил, как равноправный член нашей семьи. Равняясь на моего старшего брата Александра, Жуков быстро становился городским человеком. Александр родился в 1894 году и был, таким образом, старше Егора на два года”.

Расставание с родиной было нелёгким. Родители, сестра, закадычный друг Лёша Колотырный...

— Ничего, племянш, — похлопал его по плечу дядя Михаил Артемьевич, — на Пасху приедешь повидаться. Московских гостинцев им привезёшь. Ещё пуще любить и ждать будут. Помяни моё слово.

Слово у дяди было твёрдым, как шип в подошве. Сказал — сделал.

— Жить будешь с нами. В семье. Работать не ленись. Твоё дело какое? Слушаться и выполнять всё, что прикажут.

Пилихины занимали второй этаж просторного дома, где у них была и мастерская, и жилые комнаты. Теперь в этом здании, значительно перестроенном и расширенном, находится магазин “Педагогическая книга”. Здесь же был и магазин. Чуть позже оборотистый Михаил Артемьевич поднакопил силёнок и приобрёл двухэтажный деревянный дом в Брюсовом переулке. Дела у него шли в гору: производство потихоньку расширялось, клиентов становилось всё больше.

Жуков жил в семье Пилихиных. В Москве, в новой городской обстановке он освоился быстро. Шумное московское многолюдье ему нравилось. На первые заработки он купил себе приличную одежду. Умел сэкономить лишнюю копейку, зная, что дома, в Стрелковке, каждому грошику, присланному им, будут рады.

Никаких поблажек в доме и в мастерской дяди Жукову не было. Вначале ходил он в мальчиках на побегушках: подметал и мыл полы в квартире и в мастерских, надраивал хозяйские сапоги, бегал за табаком и водкой для мастеров, ставил и разводил самовар, мыл посуду, зажигал лампы у икон. Одним словом — “что прикажут”. Присматривался и к основному делу. Старшая мастерица Матрёша, она же артельная кухарка, вскоре подарила ему напёрсток, дала иглу с ниткой и показала, как шить мех. Она же преподавала первый и весьма жёсткий урок поведения за столом. Сам маршал вспоминал ту историю так: “Кузьма, старший мальчик, позвал меня на кухню обедать. Я здорово проголодался и с аппетитом принялся за еду. Но тут случился со мной непредвиденный казус. Я не знал существовавшего порядка, по которому вначале из общего большого блюда едят только щи без мяса, а под конец, когда старшая мастерица постучит по блюду, можно взять кусочек мяса. Сразу выловил пару кусочков мяса, с удовольствием их проглотил и уже начал вылавливать третий, как неожиданно получил ложкой по лбу, да такой удар, что сразу образовалась шишка”.

Если к этому жестокому уроку прибавить то, что, когда Егор запрыгнул у вокзала на конку, один из пассажиров его каблуком задел по носу и из носа у парня потекла кровь, то Москва Жукова встретила явно неприветливо.

Из воспоминаний двоюродного брата Жукова Михаила Пилихина-младшего: “Мать Егора Жукова в 1908 году... отправила его в Москву к моему отцу... в учение меховому искусству на четыре года. В это время мой отец с семьёй проживал в Камергерском переулке, где он снимал квартиру, в которой находилась скорняжная мастерская. Имел трёх мастеров и трёх маль-

чиков-учеников. В этот год осенью привезли к дяде учиться скорняжному искусству и Егора Жукова.

В конце 1908 года дом был назначен на ремонт. Отец снял квартиру в Брюсовском переулке. В мастерской Пилихина работы всё прибавлялось. Крупные меховые фирмы и знаменитые мастерские женского верхнего платья Ламоновой, Винницкой, другие мастерские давали много заказов. Сезон скорняжного дела начинался с июля. С 20 декабря все мастера уезжали по своим деревням на Рождество, а возвращались 10–15 января. Каждый ученик был прикреплен к мастеру, который и обучал его. Мастера приходили к семи часам. Ученикам входило в обязанность подготовить к приходу мастеров рабочие места, а по окончании работы подмести мастерскую и всё убрать.

К приходу мастеров мы ставили самовар и готовили всё к завтраку. Все мастера находились на хозяйских харчах — завтракали, обедали, ужинали. Это было лучше для производства, и мастерам было лучше: они хорошо покушают и отдохнут. А если они будут ходить в чайную, там выпивать и только закусывать, то полуголодные будут возвращаться уже навеселе. Они были бы малопродуктивными работниками.

Егор Жуков очень усердно изучал скорняжное искусство и был всегда обязательным и исполнительным. После двух лет работы в мастерской дядя взял его в магазин, он и там проявил себя исполнительным и аккуратным. Егор с большим любопытством ко всему присматривался и изучал, как надо обслуживать покупателей, там служил и старший брат Александр, который Егору помогал всё это освоить. А я работал младшим учеником. В 1911 году, когда Егору исполнилось 15 лет, его стали называть Георгий Константинович”.

По всей вероятности, Егор заслужил похвалу и признание дяди, за что тот и повеличал его. Тогда его мастерство признали все, работавшие в пилихинской мастерской, и стали называть по имени и отчеству.

В своих мемуарах Жуков нелестно отзываясь о дяде Михаиле Артемьевиче Пилихине.

Но это можно отнести на счёт идеологии, безраздельно царствовавшей тогда. Мемуары главного маршала Победы должны были выйти к читателю политически правильными, идеологически выдержанными. Вот и расставлялись нужные акценты: раз собственник, владелец производства, да к тому же ещё и торговец, то — эксплуататор и стяжатель. Мало ли что родной дядя и благодетель, помогший выбраться из нищеты, освоить хорошую профессию, наставивший на путь истинный. Чтобы себя показать, можно и дядю родного не пожалеть...

Двоюродная сестра на это бросила ему короткий, но справедливый упрек: если бы, мол, не наш отец, то пасти бы Егорке Жукову гусей в родной и беспросветной глухомани.

“Первое время я очень скучал по деревне и дому, — вспоминал начало своей скорнячко-московской одиссеи маршал. — Я вспоминал милые и близкие сердцу рощи и перелески, где так любил бродить с Прохором на охоте, ходить с сестрой за ягодами, грибами, хворостом. У меня сжималось сердце и хотелось плакать. Я думал, что никогда уже больше не увижу мать, отца, сестру и товарищей. Домой на побывку мальчиков отпускали только на четвертом году, и мне казалось, что время это никогда не наступит”.

Двоюродные братья дружили, как родные: во всём друг другу помогали, выручали в сложных обстоятельствах, особенно перед отцом и дядей. Вместе осваивали скорняжное дело и искусство торговли, вместе развлекались и учились. Александр хорошо знал немецкий язык и учил Георгия, давал ему регулярные уроки. В свободное время гуляли по Москве. Стали захаживать и в книжные лавки, покупали книжки. Кроме учебников, приобретали дешёвые переводные издания приключений лондонского сыщика Шерлока Холмса и американского его собрата Ника Картера.

Чтение для Георгия давно, ещё в Стрелковке, стало любимым занятием. Но в деревне книг было мало. А тут столица открыла перед ним свои кладовые... Ещё когда ходил в школу в Величкове, учитель Сергей Николаевич Ремизов время от времени давал ему что-нибудь почитать из своей библиотеки. А потом, когда Егор всё возможное и посильное для его возраста пе-

речитал, посоветовал своему старательному и жадному до чтения ученику: “Вот окончишь школу, подрастёшь и поедешь в Москву. Там устроишься учеником в типографию, станешь мастером-печатником. Вот уже где книги вольные будут!”

Но родители и дядя лучше знали, как устроить его будущее. А книги никуда не ушли...

Иногда Александр приносил такую книгу, смысл которой осилить было непросто. И Жуков понял, что знаний, образования ему не хватает для того, чтобы мыслить и понимать мир шире и глубже. Детективы и приключенческие книги ему вскоре наскучили, и они с Александром принялись за учебники математики, русского языка и географии. На полке у Жукова появились научно-популярные книги, описания путешествий и природных явлений, справочники.

Хозяин, наблюдая за увлечениями детей и их тягой к знаниям, сдержанно поощрял их.

Вскоре Жуков поступил на вечерние общеобразовательные курсы. Курсы “давали образование в объёме городского училища”. Сочетать работу и учёбу было непросто: “...уроки приходилось готовить ночью на полатах, около уборной, где горела дежурная лампочка десятка в два свечей”.

В воскресные дни и по великим праздникам Михаил Артемьевич призывал своим домашним одеваться по-воскресному и вёл всех в церковь отстоять службу. Приходской храм Воскресения Словущего стоял неподалёку. В нём был довольно хороший хор. Дядя, по воспоминаниям Жукова, в буквальном смысле приходил в состояние восторга и священного трепета, слушая церковное пение. После службы был хороший обед. После обеда глава семьи отпускал всех на волю. Если случалось особо хорошее настроение, мог подарить по серебряному николаевскому полтинничку. Братья, предоставленные сами себе, обычно отправлялись на прогулку в город.

Михаил Пилихин-младший вспоминал: “В 1911 году отец взял меня из школы на своё предприятие в ученики на четыре года на тех же основаниях, как и других учеников.

Георгий Жуков взял надо мной шефство, знакомил меня с обязанностями, в основном — убирать помещения, ходить в лавочку за продуктами, ставить к обеду самовар. А иногда мы с Георгием упаковывали товары в короба и носили в контору для отправки по железной дороге. Во время упаковки товара Георгий, бывало, покрикивал на меня, и даже иногда я получал от него подзатыльник. Но я в долгу не оставался, давал ему сдачи и убегал, так как он мог наподдать мне ещё. За меня заступался мой старший брат Александр, он был одногодок с Георгием. А в основном жили очень дружно...

В воскресные дни отец брал нас в Кремль, в Успенский собор. Он всегда проходил к алтарю, где находился синодальный хор, который состоял почти исключительно из мальчиков. Отец очень любил слушать пение этого хора. Нас он оставлял у выхода из собора, так как мы, малыши, не могли пройти сквозь толпу к алтарю. Отец уходил к алтарю, и мы уходили из собора, бродили по Кремлю. А когда в конце службы звонили в колокол к молитве “Отче наш”, мы быстро возвращались к входу в собор и все вместе шли домой. Синодальным хором дирижировал Николай Семёнович Голованов, впоследствии главный дирижёр Большого театра. Мой отец с Н. С. Головановым и его женой Антониной Васильевной Неждановой, знаменитой певицей, был хорошо знаком, и, когда мой отец умер в декабре 1922 года, Н. С. Голованов с синодальным хором принял участие в похоронах”.

По всей вероятности, дружба семьи музыкантов и артистов и меховщика происходила не только из душевной близости — регент хора и певица были заказчиками у Пилихина-старшего. Клиентами, что и говорить, у расторопного Михаила Артемьевича были люди знатные.

“В воскресные дни мы во дворе играли в футбол, — вспоминает Михаил Пилихин-младший, — мячом служила нам старая шапка, набитая бумагой. Играли в городки, в бабки, в лапту с мячом. В те времена игры эти были в большом почёте. В ненастные дни, когда отца не было дома, мы играли в прятки или в футбол в проходной комнате, “воротами” служили нам две-

ри. Мы так возились, что соседи с первого этажа приходили с жалобами, у них с потолка сыпалась штукатурка. В дальнейшем нам были запрещены навсегда игры в комнате. Мы тогда стали собираться на кухне и играть в карты — в “21 очко”. Играли на старые пуговицы, мы собирали их во дворе, их выкидывал сосед — военный портной...”

1911 год...

В августе в Москве был основан профессиональный футбольный клуб ЦСКА.

В сентябре началась итало-турецкая война. Итальянский морской десант высадился в Триполитании, затем захватил Тобрук в Киренаике и Бенгази.

В Китае была свергнута династия Цин и провозглашена Республика.

Германия и Франция делили свои колонии во Французском Камеруне и Германском Конго.

В сентябре в Киевской опере был убит российский премьер-министр Пётр Аркадьевич Столыпин.

Все эти события в той или иной мере совсем скоро повлияют на судьбу нашего героя, а на некоторых фигурантов, перечисленных выше, повлияет и он. А пока Жуков с братьями гонял по двору набитую бумагой старую шапку и резался на кухне в “двадцать одно”.

Азартного картёжника из Жукова не вышло. Страстишку пресёк главный домашний педагог и воспитатель Михаил Артемьевич. Однажды хозяин вошёл в комнату сыновей, когда те азартно резались в карты. Дядя ловко поймал племянника за ухо и сказал:

— Не там, не там твои червонцы рассыпаны, Георгий Константиныч...

Ухо потом долго горело огнём. К картам — как отрезало — больше не притронулся.

Через сорок лет, в 1954 году, наставляя своего племянника — сына сестры Марии Константиновны, к тому времени лейтенанта Виктора Фокина, — он скажет: “Лёгких путей в жизни нет. Дорогу надо пробивать своим лбом”. В 1944 году он устроил младшего сына сестры в Горьковское Суворовское училище. Затем, когда самого его сослали после Одессы командовать Уральским военным округом, он разыскал племянника, и тот какое-то время жил в семье маршала в Свердловске. Пилихинское, врождённое и воспитанное годами терпеливых наставлений, а порой и принуждением, угнездилось в нём прочно: если сам выбился в люди, не забывай о родне.

В 1912 году Жуков окончил полный курс учёбы. В автобиографии, написанной им для личного дела в 1938 году, Жуков уточнял: “Образование низшее. Учился 3 года до 1907 г<ода> в церковно-приходской школе в дер<евне> Величково Угодско-Заводского района Московской области и 5 месяцев учился на вечерних курсах при городской школе в Москве, в Газетном переулке. Не было средств учиться дальше — отдали учиться скорняжному делу. За 4-й класс городского училища сдал экстерном при 1-х Рязанских кавкурсах ст<анции> Старожилово РУЖД в 1920 г<оду>.”

Странное дело, о том, что он учился на вечерних курсах в Москве, совмещая учёбу с работой в мастерской и в магазине, Жуков не написал и во время призыва в армию в 1915 году.

Дядя Михаил Артемьевич успехи племянника поощрил некоторой суммой денег сверх причитающегося жалования, а также подарком в виде костюма-тройки, двух пальто — демисезонного и зимнего на меху с каракулевым воротником, — пары ботинок и комплекта белья.

Отблагодарив дядюшку за щедрые дары, он тут же укатил на Протву в Стрелковку, чтобы показаться на родине настоящим московским франтом.

Так и произошло. Отпуск, пожалованный Михаилом Артемьевичем, Жуков провёл в Стрелковке и Чёрной Грязи. Гостил, помогал по хозяйству и лихо отплясывал на вечеринках, с жаром заглядывая в девичьи глаза.

По возвращении в Москву снова встал за прилавок. Дядя положил ему жалованья десять рублей в месяц, притом, что жил и столовался Жуков по-прежнему в гостеприимной семье Пилихиных.

Умный человек был дядюшка Михаил Артемьевич Пилихин. Цельная натура, и скуповатая, и щедрая одновременно. Настоящий русский человек.

Крепкий корень, который поднимал и держал, дальше её поднимая и поднимая, такую обширную крону большого и разветвлённого семейства. Невозможно удержать себя от сравнения с нынешними купцами и дельцами, арендующими конторы на Кузнецком мосту и в Брюсовом переулке. Невозможно представить, чтобы они вот так, семейно, шли в Кремль или на службу в ближайших приходской храм. Всё по островам да по нищам, по закрытым клубам и значным местам...

Десять рублей в месяц — это, по тем временам и ценам, весьма и весьма хорошее жалование. Средний москвич считал счастьем жить на 1 рубль в день. У Жукова получалось в три раза меньше, но ведь и стол, и кров были бесплатными.

Фунт муки стоил 6 копеек; десяток яиц — 44 копейки; фунт шведской сёмги — 90 копеек. А вот снять квартиру о двух-трёх комнатах стоило недорого — 40–50 рублей в месяц. Билет на концерт знаменитости — от одного рубля до десяти, дешёвые книжки стоили копейки. На них-то и тратил Жуков часть своего жалования.

Он, конечно же, понимал своё счастье. Но, видимо, знал и другое: к примеру, офицер получал около двух тысяч рублей в месяц. Офицеры были частыми и выгодными заказчиками у дяди. Расплачивались всегда щедро и лихо, оставляя хорошие чаевые. Особенно ему нравились кавалеристы — длинные шинели, ремни, шашка на узкой португее, шпоры, которые при ходьбе позванивали...

В это время Жуков с братьями часто ходил в театр, на концерты. Посещали юноши и кино. В Москве к тому времени уже было много кинотеатров. Михаил Артемьевич отпускал сыновей на сеансы синема со спокойным сердцем, зная, что никакого непотребства они там не увидят: ещё в 1908 году Московским градоначальником генералом Джунковским был издан запрет на показ в кинотеатрах фильмов “парижского жанра” — “фривольных или порнографических по содержанию”.

“На четвёртом году учения”, как отмечают биографы маршала Победы, Михаил Артемьевич взял Георгия с собой на торговую ярмарку в Нижний Новгород. Там расторопный в этих делах дядюшка снял на время ярмарки торговую лавку и успешно вёл оптовую торговлю. Обязанностью Жукова была упаковка проданного товара и отправка его на пристань для дальнейшей транспортировки по назначению. Часть грузов шла по железной дороге. Эти контейнеры Жуков сопровождал и оформлял в железнодорожной товарной конторе. Такого хваткого и надёжного помощника Михаил Артемьевич подбирал для своего дела давно. И вот, кажется, выучил из своих, поднял, можно сказать, из гусиного помёта, как говорили в Чёрной Грязи. Свои-то, загадывал наперёд Михаил Артемьевич, — ни Сашка, ни другой — не годятся. А этот — хваткий и характер имеет. Этот дела не упустит.

В своих мемуарах маршал рассказал об этом периоде своей жизни так: “На четвертом году ученья меня, как физически более крепкого мальчика, взяли в Нижний Новгород на знаменитую ярмарку, где хозяин снял себе лавку для оптовой торговли мехами. К тому времени он сильно разбогател, завязал крупные связи в торговом мире и стал ещё жаднее”.

Нижегородская ярмарка, её изобилие и щедрость, разноликий людской поток и ходкая торговля поразили впечатлительного Жукова. Восхитила Волга. “До этого я не знал рек шире и полноводнее Протвы и Москвы. Это было ранним утром, и Волга вся искрилась в лучах восходящего солнца. Я смотрел на неё и не мог оторвать восхищённого взгляда”.

Чувство прекрасного, воспитанное в чуткой душе Егора в детстве на Протве, среди живописных пейзажей родины, озарило картину величественной Волги тем отражённым светом, который не погаснет в нём никогда. И не случайно он снова вспыхнет в мемуарах, пусть и лаконичным эпизодом. Ведь “Воспоминания и размышления” написаны не художником и не поэтом, а солдатом.

Мария Георгиевна Жукова в книге “Маршал Жуков — мой отец” писала: “Когда мне было лет тринадцать, отец послал меня в поездку на теплоходе по Волге и по возвращении домой задал вопрос: “Расскажи, Машень-

ка, как тебе Волга понравилась?” И был рад, что “понравилась, о-о-очень”.

В том же году Жуков отправился и на другую ярмарку — в городок Урюпино в область Войска Донского, но не с дядей, а с приказчиком Василием Даниловым, по воспоминаниям Жукова, “человеком жестоким и злым”. Урюпинская ярмарка Жукову не понравилась: “Урюпино был довольно грязный городишко, и ярмарка там по своим масштабам была невелика”.

Но впечатление об урюпинской поездке испортило совсем другое.

На ярмарку с ними поехал четырнадцатилетний мальчик, ходивший в ту пору в подчинении у Жукова как у старшего. Приказчик Василий Данилов невзлюбил мальчика и по каждому поводу и без повода “с какой-то садистской страстью” избивал его. Тот в слезах жаловался Егору. Егор несколько раз пытался разговаривать с приказчиком, чтобы унять его пыл. Но разговоры на самодура не действовали. И тогда Жуков, улучив момент, когда тот в очередной раз замахнулся, чтобы ударить мальчика, схватил ковырок* “и со всего размаха ударил его по голове. От этого удара, — вспоминал маршал, — он упал и потерял сознание. Я испугался, думал, что убил его, и убежал из лавки. Однако всё обошлось благополучно. Когда мы возвратились в Москву, он пожаловался хозяину. Хозяин, не вникая в суть дела, жестоко избил меня”.

Видимо, именно этот поступок Михаила Артемьевича — несправедливость, усугублённая мордобоем, — и определил главное воспоминание о нём: навсегда засела заноза в подсознание юноши, с малых лет одарённого не только умом, смекалкой и трудолюбием, но ещё и чувством собственного достоинства.

1912 год принёс трагедию океанского лайнера “Титаник” в северной Атлантике, Ленский расстрел рабочих на золотonosном прииске. Болгария и Сербия, готовясь к войне с Турцией, объявили мобилизацию, Черногория объявила туркам войну. Атмосфера на Балканах накалялась.

В 1913 году Бельгия приняла закон о всеобщей воинской обязанности, Франция — об обязательной трёхлетней воинской службе. В Лондоне был подписан мирный договор между Болгарией и Турцией. Вскоре после этого болгарская армия атаковала греческие позиции, а Россия объявила войну Болгарии. Сербские войска вторглись в Албанию. В соответствии с совместной декларацией России и Китая Внешняя Монголия получила статус автономии под юрисдикцией Китая. В Мексике вспыхнула гражданская война.

Братья читали газеты, обменивались размышлениями и догадками — официальные сообщения были полны недомолвок — и приходили к выводу, что в скором времени в войну вступит и Россия. Но не в Болгарии. Волна патриотической агитации, разлитая в обществе, захватывала и молодёжь.

Новый, 1914 год развязал все узлы — началась Первая мировая война.

Австро-Венгрия объявила мобилизацию и придвинула свои войска к границе с Россией. Россия объявила мобилизацию и начала стягивать войска к западным рубежам. Германия объявила войну России. Россия вторглась в Восточную Пруссию. Англия объявила войну Германии, Австро-Венгрия — России, Сербия и Черногория — Германии, Франция — Австро-Венгрии, Япония — Германии, Австро-Венгрия — Бельгии, Россия, Франция и Англия — Турции. Англичане высадились во Франции и атаковали германский флот у Фолклендских островов. В Европу прибыли Канадский и Австралийский экспедиционные корпуса.

Снежный ком стремительно разрастался...

В Москве на призывных пунктах шла запись добровольцев. Газеты сообщали о сражениях с германскими войсками при Гумбиннене, о тяжёлых боях в Мазурских болотах. На Австро-Венгерском фронте разворачивалась Люблин-Холмская операция.

Осенью 1914 года в одном из армейских эшелонов на фронт уехал Александр Пилихин. На войну он отправился добровольцем — ратником ополчения 1-го разряда. В эту категорию призывников входили лица мужского по-

* Ковырок — дубовая палка для упаковки, слегка изогнутая на конце для того, чтобы потуже стягивать шнур или верёвку.

ла в возрасте от 20 до 38 лет. В связи с военными действиями призывной возраст снизили до 19 лет.

До мобилизации русская армия насчитывала 1 млн 423 000 человек. В ходе войны призвали ещё 13 млн 700 человек. Россия была страной крестьянской, так что в солдаты шли в основном из деревень, от сохи. Призывали, соблюдая следующую пропорцию: от каждой тысячи (без различия возраста и пола) под “красну шапку” стригли 112 человек здоровых мужчин в возрасте 19–38 лет. В деревне: от 100 дворов — 60 мужиков. В результате мобилизации больше половины крестьянских хозяйств остались без самых эффективных работников.

Записываясь в государственное ополчение, Александр уговаривал пойти вместе с ним и Георгия, но тот отказался. Правда, вначале тоже было загорелся пойти на призывной пункт вместе с братом, а в последний момент решил посоветоваться со старшим мастером Фёдором Ивановичем, которого все в мастерской уважали за рассудительность и мудрость и который читал и растолковывал им газеты. Старик выслушал Жукова и сказал:

— Что Сашка на войну рвётся, мне понятно. У него отец богатый. Ему есть что защищать. А коли ты вернёшься калекой — кому будешь нужен? Ещё одна обуза матери?

И Александр ушёл на призывной пункт один.

Но судьбу не обойдёшь и, как говорили в Стрелковке, на кривых оглоблях не объедешь...

Жуков вскоре всё же ушёл из дома дядюшки на съёмную квартиру. Без Александра в доме Пилихиных стало скучно и мрачно.

Из воспоминаний маршала: “В то время я по-прежнему работал в мастерской, но жил уже на частной квартире в Охотном ряду, против теперешней гостиницы “Москва”. Снимал за три рубля в месяц койку у вдовы Мальшевой. Дочь её Марию я полюбил, и мы решили пожениться. Но война, как это всегда бывает, спутала все наши надежды и расчёты. В связи с большими потерями на фронте в мае 1915 года был произведён досрочный призыв молодёжи рождения 1895 года. Шли на войну юноши, ещё не достигшие двадцатилетнего возраста. Подходила и моя очередь”.

Тысяча девятьсот пятнадцатый год резко изменил жизнь и судьбу нашего героя. Жукову пошёл девятнадцатый год — он вступал в призывной возраст.

Александр был уже в действующей армии. Изредка присылал письма. О боевых действиях брат почти ничего не сообщал. В одном из писем написал: “Я, сын своей Родины, не мог оставаться без участия...”

Сердце Георгия дрогнуло, когда он прочитал эти слова.

Судьба старшего брата Александра Михайловича Пилихина будет короткой: на фронте он получил несколько ранений, последнее — тяжёлое. На санитарном поезде его эвакуировали в тыл. В госпитале он лежал в Москве, из госпиталя вышел инвалидом и вернулся к отцу. В феврале 1918 года он вступил добровольцем в Красную армию. Его полк вскоре оказался под Царицыном, в самом пекле. Там он и погиб в одном из первых боёв.

Весной по Москве прокатилась волна погромов против “немецкого засилья”. В Зарядье, на Варварке и в других местах, где изобиловали “венские” булочные и “немецкие” колбасные лавки, со звоном осыпались витрины. Патриотического порыва бушующей “народной” толпы порой хватало только на то, чтобы разграбить немецкую лавку или растащить мелкооптовый склад с товаром.

Погромы во многом провоцировало правительство Николая II. В начале февраля были приняты законы “о правах подданных воюющих с Россией государств на недвижимое имущество”. Один из этих законов касался лиц, состоящих подданными Австро-Венгрии, Германии и Турции, и указывал, что им воспрещается “и притом навсегда, приобретение каких бы то ни было прав на недвижимое имущество на пространстве всей Империи, включая и Финляндию”. Временные ограничения, введённые ранее, отныне становились постоянными: подданные воюющих с Россией государств могли лишь нанимать квартиры, дома и другие помещения, так как наём недвижимости

по закону допускался только на определённый срок. Им также “запрещалось заведовать недвижимым имуществом в качестве поверенных или управляющих, состоять на службе в акционерных обществах и товариществах, обладающих правом приобретения недвижимых имуществ, занимать должности председателей, членов правления или совета и отмечалось, что эти лица не могут быть представителями и даже обыкновенными служащими”.

Война питается деньгами, а увеселяется кровью. Летом 1915 года вышел указ о досрочной мобилизации лиц 1896 года рождения.

Дядюшка Михаил Артемьевич прочитал извещение в газете, махнул рукой и сунул скомканную газету племяншу в руки:

— Это, Георгий Константинович, по твою душу. Государь твой год под ружьё поставить решил. Досрочно. Стало быть, дела на фронте плохи.

Надежды Пилихина-старшего рушились. Возможно, он уже тогда почувствовал, что рушится куда большее — привычный вековой уклад, а с ним и достаток, распадаются семейные укрепы, слабеет вера, законы, шатается, как старый зуб, государство.

Глава четвёртая

ДРАГУН

“Я пошёл солдатом...”

Повестку ему принесли из Малоярославца в Стрелковку. Как и другим погодкам-односельчанам. Кончилась московская жизнь. Прошла юность-вольница: спокойная, обеспеченная работа в лавке у дядюшки, поездки на шумные и всегда интересные новыми впечатлениями ярмарки, праздничные отпуска на родину, где его любили и всегда с нетерпением и надеждой ждали в гости, весёлые танцы под ярую гармошку и лихие драки на вечеринках.

Что ж, думал он, в солдаты — так в солдаты, на войну — так на войну. Хотя уходил в армию с некоторой неохотой. Впоследствии в мемуарах признавался: “Особого энтузиазма я не испытывал, так как на каждом шагу в Москве встречал несчастных калек, вернувшихся с фронта, и тут же видел, как рядом по-прежнему широко и беспечно жили сынки богачей. Они разъезжали по Москве на “лихачах”, в шикарных выездах, играли на скачках и бегах, устраивали пьяные оргии в ресторане “Яр”. Однако считал, что, если возьмут в армию, буду честно драться за Россию”.

Последние вольные дни на родине отгулял лихо. Призывники ходили от деревни к деревне, пели:

*Последний нынешний денёчек
Гуляю с вами я, друзья...*

Днём работали. Хотелось успеть помочь родителям управиться с сенокосом. Конец июля — самая сенокосная пора. А вечером — на гулянку. К друзьям-товарищам. К девчатам.

*Крестьянский сын на всё готовый,
Всегда он лёгок на подъём...*

Как танцевал он, наш герой, в эти распоследние дни на родине перед отправкой в армию, запомнилось многим. Из воспоминаний жительницы Чёрной Грязи Татьяны Ивановны Емельяновой: “Очень весело, бывало, гуляли. И поют, и танцуют, и бывало это: “Пойдём ввечеру смотреть. Нынче Егор будет русского плясать”. Любующимся русским танцем Егора нравились не только его движения, но и огонь в его глазах, удаль, энергия, которая в те мгновения от него исходила. Танцем Жуков утверждал и показывал не только свою молодецкую статью — он выплёскивал торжество своего духа, демонстрировал, зачастую с вызовом, превосходство перед местными женихами.

Потом, уже генералом, а затем и маршалом, он, переживая мгновения душевного восторга, будет неожиданно бросаться в пляс, лихо, по-молодецки отдирать “русского” на глазах у изумлённых сослуживцев.

В армию вместе с ним уходил и его друг Лёшка Жуков по прозвищу Колотырный, и многие другие погодки, друзья детства и юности.

Начало августа 1915 года. Малоярославец, сборный пункт уездного присутствия по воинским делам. Здесь призывников оформляли, распределяли по командам и отправляли дальше. Когда заполнял анкету, утаил, что, кроме трёхклассной сельской церковно-приходской школы, окончил экстерном курс четырёхклассного вечернего училища в Москве. Последнее обстоятельство резко повышало образовательный ценз и сразу меняло общий статус и ценность призывника. С такой начальной подготовкой ему была прямая дорога в офицерское училище, в школу прапорщиков. А там...

Жизнь спустя маршал так прокомментировал тогдашний свой выбор: “На моё решение повлияла поездка в родную деревню незадолго перед этим. Я встретил там, дома, двух прапорщиков из нашей деревни, до того плохих, неудачных, нескладных, что, глядя на них, мне было даже как-то неловко подумать, что вот я, девятнадцатилетний мальчишка, кончу школу прапорщиков и пойду командовать взводом и начальствовать над бывальыми солдатами, над бородачами, и буду в их глазах таким же, как эти прапорщики, которых я видел у себя в деревне. Мне не хотелось этого, было неловко. Я пошёл солдатом”.

Мотив всё же необудительный. Ведь видел же Жуков, живя в Москве, и других прапорщиков и юнкеров, своих ровесников. И те, и другие, как свидетельствуют многие современники, в том числе и дамы, выглядели очень даже хорошо. По всей вероятности, многие места в “Воспоминаниях и размышлениях” написаны с оглядкой на цензуру той поры, когда создавались и публиковались мемуары: Главное политическое управление Министерства обороны СССР, Генеральный штаб, КГБ, а над всеми этим — ЦК КПСС, секретари и работники идеологического фронта, прочно крепившие порученные им рубежи...

Вряд ли надо убеждать читателя в том, что любые мемуары — это правда жизни, выдуманная самим мемуаристом. Разумеется, в той или иной степени. Вдобавок ко всему надо иметь в виду, что маршал писал свои воспоминания в период кромешной несвободы. И герой его романа — выходец из бедняцкой крестьянской семьи, которого и шпандырем били, и подзатыльники он от строгого дяди получал, и за водкой для мастеров в соседнюю лавку бегал... Такому, разумеется, не место в школе прапорщиков. К тому же и судьба поставила его именно в солдатский строй. Над чем он впоследствии немало размышлял: мол, а если бы попал в младшие офицеры, а потом, коли так, погоны и честь повлекли бы и дальше, на Дон, в Новороссийск...

Из Малоярославца призывников привезли в губернский город. В Калуге на вокзале построили и взводными колоннами погнали на юго-восток, к Бобруйским артиллерийским складам.

Из мемуаров маршала: “В Калугу прибыли ночью. Разгрузили нас где-то в тупике на товарной платформе. Раздалась команда: “Становись!”, “Равняйся!” И мы зашагали в противоположном направлении от города. Кто-то спросил у ефрейтора, куда нас ведут. Ефрейтор, видимо, был хороший человек, он нам душевно сказал:

— Вот что, ребята, никогда не задавайте таких вопросов начальству. Солдат должен безмолвно выполнять приказы и команды, а куда ведут солдата — про то знает начальство”.

Эта была первая солдатская заповедь, прозвучавшая из уст старого слугаки-ефрейтора, и её будущий маршал усвоит с той ночи навсегда.

Поскольку здесь, под Калугой*, началась армейская служба будущего маршала Победы, стоит рассказать об этом месте особо.

* Ныне это черта города Калуги. У дороги, ведущей из Калуги в Тарусу, установлен памятник, свидетельствующий о том, что именно здесь в 1915 году начинал свою военную службу маршал Советского Союза Г. К. Жуков.

В 1807 году Министерство военно-сухопутных сил Российской империи приняло решение “о размещении на территории России запасного артиллерийского парка на девять дивизий”. Указом Государя Императора Александра I самый крупный парк боеприпасов русской армии был размещён именно здесь, под Калугой, к западу от Москвы и на полпути к Смоленску. При нём был сформирован запасной артиллерийский полк. Место выбрали во всех отношениях удобное: в глухом лесу на берегу речушки, вдоль которой пролегла дорога. Ходят легенды, что здесь даже построили подземный завод: в обширных подземельях снаряжали и готовили к боевому применению корпуса ядер, гранат и снарядов. Но впоследствии, когда надобность в том отпала, вход в подземелье замуровали, и, как пишут местные хроникёры, “следов от него не осталось”. В канун нашествия Наполеона генерал от инфантерии граф Михаил Андреевич Милорадович, впоследствии ставший героем Отечественной войны 1812 года и затем убитый декабристами на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, “лично приезжал для осмотра и остался весьма доволен”. Позже здесь были устроены склады воинского обмундирования и снаряжения и казармы для новобранцев-рекрутов. Так постепенно возник военный городок.

Сюда и прибыла в августе 1815 года команда из Малоярославецкого уезда постигать азы военной науки и дисциплины с двумя Жуковыми из деревни Стрелковки. Одному из них суждено будет стать красным командиром, а другому — его верным коноводом. “Разместили нас в бараке на голых нарах. Сказали, что можем отдохнуть до 7 часов утра. Здесь уже находилось около ста человек. В многочисленные щели и битые окна дул ветер. Но даже эта “вентиляция” не помогала. “Дух” в бараке стоял тяжёлый.

После завтрака нас построили и объявили, что мы находимся в 189-м запасном пехотном батальоне. Здесь будет формироваться команда 5-го запасного кавалерийского полка. До отправления по назначению будем обучаться пехотному строю.

Нам выдали учебные пехотные винтовки. Отделенный командир ефрейтор Шахворостов объявил внутренний распорядок и наши обязанности. Он строго предупредил, что, кроме как “по нужде”, никто из нас не может никуда отлучаться, если не хочет попасть в дисциплинарный батальон... Говорил он отрывисто и резко, сопровождая каждое слово взмахом кулака. В маленьких глазках его светилась такая злоба, как будто мы были его заклятыми врагами.

— Да, — говорили солдаты, — от этого фрукта добра не жди...

Затем к строю подошёл старший унтер-офицер. Наш ефрейтор скомандовал: “Смирно!”

— Я ваш взводный командир Малявко, — сказал старший унтер-офицер. — Надеюсь, вы хорошо поняли, что объяснил отделенный командир, а потому будете верно служить царю и Отечеству. Самоволия я не потерплю!

Начался первый день строевых занятий. Каждый из нас старался хорошо выполнить команду, тот или иной строевой приём или действие оружием. Но угодить начальству было нелегко, а тем более дожидаться поощрения. Придравшись к тому, что один солдат сбился с ноги, взводный задержал всех на дополнительные занятия. Ужинали мы холодной бурдой самыми последними.

Впечатление от первого дня было угнетающим. Хотелось скорее лечь на нары и заснуть. Но, словно разгадав наши намерения, взводный приказал построиться и объявил, что завтра нас выведут на общую вечернюю поверку, а потому мы должны сегодня разучить государственный гимн “Боже, царя храни!” Разучивание и спевка продолжались до ночи. В 6 часов утра мы были уже на ногах, на утренней зарядке.

Дни потянулись однообразные, как две капли воды похожие один на другой. Подошло первое воскресенье. Думали отдохнуть, выкупаться, но нас вывели на уборку плаца и лагерного городка. Уборка затянулась до обеда, а после “мёртвого часа” чистили оружие, чинили солдатскую амуницию и писали письма родным. Ефрейтор предупредил, что жаловаться в письмах ни на что нельзя, так как цензура всё равно не пропустит.

Втягиваться в службу было нелегко. Но жизнь нас и до этого не баловала, и недели через две большинство привыкло к армейским порядкам.

В конце второй недели обучения наш взвод был представлен на смотр ротного командира — штабс-капитану Володину. Говорили, что он сильно пил, и, когда бывал пьян, лучше было не попадаться ему на глаза. Внешне наш ротный ничем особенно не отличался от других офицеров, но было заметно, что он без всякого интереса проверяет нашу боевую подготовку. В заключение смотра он сказал, чтобы мы больше старались, так как “за Богом молитва, а за царём служба не пропадут”.

До отправления в 5-й запасный кавалерийский полк мы видели нашего ротного командира ещё пару раз, и, кажется, он оба раза был навеселе”.

В сентябре батальон отправили в Харьковскую губернию под Балаклею. Здесь формировались маршевые роты для 10-й кавалерийской дивизии. Дивизия дралась на фронте и требовала постоянного пополнения. Ещё в дороге новобранцы узнали, что дивизия, в которой им предстоит служить и, возможно, воевать, состоит из трёх кавалерийских полков — гусарского, уланского и драгунского. Все три — лёгкая кавалерия. Но гусары были окутаны туманом романтики, да и унтер-офицеры, от которых “в царской армии целиком зависела судьба солдата”, по слухам, в гусарском учебном эскадроне “были лучше и, главное, более человечные”.

На станции сразу по прибытии их построили и распределили по эскадронам.

“После разбивки, — вспоминал маршал, — мы, малоярославецкие, москвичи и несколько ребят из Воронежской губернии, были определены в драгунский эскадрон”.

Стоит напомнить читателям, что драгуны — род конницы, способной действовать как в конном, так и в пешем строю. Первоначально — пехота, посаженная на лошадей.

Но в 5-м кавалерийском полку драгун учили, прежде всего, как кавалеристов — для действия в конном строю.

Из мемуаров бывшего драгуна: “Через день нам выдали кавалерийское обмундирование, конское снаряжение и закрепили за каждым лошадь. Мне попалась очень строптивая кобылица тёмно-серой масти по кличке “Чашечная”.

Служба в кавалерии оказалась интереснее, чем в пехоте, но значительно труднее. Кроме общих занятий, прибавились обучение конному делу, владению холодным оружием и трехкратная уборка лошадей. Вставать приходилось уже не в 6 часов, как в пехоте, а в 5, ложиться также на час позже.

Труднее всего давалась конная подготовка, то есть езда, вольтижировка и владение холодным оружием — пикой и шашкой. Во время езды многие до крови растирали ноги, но жаловаться было нельзя. Нам говорили лишь одно: “Терпи, казак, атаманом будешь”. И мы терпели до тех пор, пока не уселись крепко в седла.

Взводный наш, старший унтер-офицер Дураков, вопреки своей фамилии, оказался далеко не глупым человеком. Начальник он был очень требовательный, но солдат никогда не обижал и всегда был сдержан. Зато другой командир, младший унтер-офицер Бородавко, был ему полной противоположностью: крикливый, нервный и крайне дерзкий на руку. Старослужащие говорили, что он не раз выбивал солдатам зубы.

Особенно беспокоен он был, когда руководил ездой. Мы это хорошо почувствовали во время кратковременного отпуска нашего взводного. Бородавко, оставшись за взводного, развернулся вовсю. И как только он не издевался над солдатами! Днём гонял до упаду на занятиях, куражась особенно над теми, кто жил и работал до призыва в Москве, поскольку считал их “грамотеями” и слишком умными. А ночью по несколько раз проверял внутренний наряд, ловил заснувших дневальных и избивал их. Солдаты были доведены до крайности.

Сговорившись, мы как-то подкараулили его в тёмном углу и, накинув ему на голову попоную, избили до потери сознания. Не миновать бы всем нам военно-полевого суда, но тут вернулся наш взводный, который всё уладил, а затем добился перевода Бородавко в другой эскадрон.

К весне 1916 года мы были в основном уже подготовленными кавалеристами. Нам сообщили, что будет сформирован маршевый эскадрон, и впредь до отправления на фронт мы продолжим обучение в основном по полевой программе. На наше место прибывали новобранцы следующего призыва, а нас готовили к переводу на другую стоянку, в село Лагери.

Из числа наиболее подготовленных солдат отобрали 30 человек, чтобы учить их на унтер-офицеров. В их число попал и я. Мне не хотелось идти в учебную команду, но взводный, которого я искренне уважал за его ум, порядочность и любовь к солдату, уговорил меня пойти учиться”.

Учебная команда для подготовке унтер-офицеров — это то, что вскоре в войсках будет называться школой младшего комсостава, а в послевоенное время — сержантской школой.

Учебная команда находилась в городке Изюме Харьковской губернии. Казарм не было, личный состав расселили по палаткам. Начались занятия.

После первых же дней Жуков и прибывшие с ним поняли, что “с начальством... не повезло” и здесь. “Старший унтер-офицер оказался хуже, чем Бородавко”, — вспоминал потом маршал недобрый словом своего очередного наставника.

Наставник имел прозвище Четыре-С-Половиной — указательный палец на правой руке у него был наполовину обрублен. Унтер имел свирепый нрав и мог во время занятий или построения кулаком сбить с ног замешкавшегося солдата. Всё ему сходило с рук. Однажды замахнулся и на Жукова, но тот принял стойку и так взглянул на Четыре-С-Половиной, что тот разжал кулак.

С тех пор житья Жукову не стало. Старший унтер-офицер наказывал его чаще всех и строже всех. “Никто так часто не стоял “под шашкой при полной боевой”, не перетаскал столько мешков с песком из конюшен до лагерных палаток и не нёс дежурств по праздникам, как я. Я понимал, что всё это — злоба крайне тупого и недоброго человека. Но зато я был рад, что он никак не мог придрататься ко мне на занятиях”.

И вот тут-то проявился характер будущего командира. Унтер “изменил тактику” — предложил Жукову заняться его канцелярией, стать “нештатным переписчиком”. Услугу обещал оплачивать освобождением от некоторых особо трудных занятий.

— Будешь вести листы нарядов, отчётность по занятиям и выполнять другие поручения, — сказал ему Четыре-С-Половиной.

На что двадцатилетний калужский драгун ответил ему:

— Я пошёл в учебную команду не за тем, чтобы быть порученцем по всяким делам, а для того, чтобы досконально изучить военное дело и стать унтер-офицером.

Ответ Жукова разозлил Четыре-С-Половиной.

— Ну, смотри... А унтер-офицером ты никогда не станешь. Попомни моё слово.

И он своё слово сдержал. Но и Жуков до конца выдержал схватку со своим непосредственным командиром, продолжая настаивать на своём.

Унтер отомстил по-своему — подвёл непокорного и неугодного драгуна в самый канун выпускных экзаменов под отчисление из учебной команды “за недисциплинированность и нелояльное отношение к непосредственному начальству”.

А между тем все в эскадроне были уверены, что первым на экзамене будет Жуков. В школе существовало правило: лучший выпускался в звании унтер-офицера, остальные — вице-унтер-офицерами, “то есть кандидатами на унтер-офицерское звание”.

Унтер-офицер в армейской кавалерии имел звание либо старший вахмистр, либо младший вахмистр. Соответственно — либо две поперечных лычки на погоне, либо три. В Красной армии (когда ввели погоны) и в Советской армии унтер-офицерское звание соответствовало званию младший сержант и старший сержант.

На одно из этих званий, а точнее — младшего унтер-офицера, — вполне справедливо, как лучший в эскадроне, претендовал драгун Жуков, но ед-

ва не был отчислен из учебной команды. Если бы не вмешательство товарища по учебной команде, брат которого, офицер, служил заместителем командира эскадрона, военная карьера Жукова, возможно, пресеклась бы в самых своих истоках.

Представление унтера на отчисление Жукова из учебной команды разбирал сам начальник команды. В разговоре выяснилось, что он тоже москвич, из Марьиной рощи, до войны работал краснодеревщиком, потом служил в уланском полку вахмистром. Воевал. В бою показал себя храбрым и умелым командиром, за что был награждён несколькими солдатскими Георгиевскими крестами и произведён в офицеры. После тяжёлого ранения, ещё не вполне оправившись, принял учебную команду.

— Вот что, солдат, — сказал начальник учебной команды, — на тебя поступила плохая характеристика. Пишут, что ты за четыре месяца обучения имеешь десяток взысканий и называешь своего взводного командира “шкурой” и прочими нехорошими словами. Так ли это?

— Да, ваше высокоблагородие, — ответил Жуков. — Но одно могу доложить, что всякий на моём месте вёл бы себя так же.

Начальник команды выслушал Жукова и сказал:

— Иди во взвод, готовься к экзаменам.

Это была победа. Упорное стояние на своём. Не смог унтер растоптать в нём ни человеческого достоинства, ни солдатской чести.

Экзамены Жуков сдал успешно, но желанного звания всё же не получил. Снова судьба обнесла нашего героя званием, на этот раз унтер-офицерским.

В середине 60-х годов прошлого века писатель Константин Симонов провёл ряд интервью с маршалами-фронтовиками. В стране “потеплело”, и беседы писателя с полководцами получились довольно откровенными. Вот что сказал Симонову Жуков: “Конечно, в душе было общее ощущение, чутьё, куда идти. Но в тот момент, в те молодые годы можно было и свернуть с верного пути. Это тоже не было исключено. И кто его знает, как бы вышло, если бы я оказался не солдатом, а офицером, получил бы уже другие офицерские чины, и к этому времени разразилась бы революция. Куда бы я пошёл под влиянием тех или иных обстоятельств, где бы оказался? Может быть, доживал бы где-нибудь свой век в эмиграции? Конечно, потом, через год-другой, я был уже сознательным человеком, уже определил свой путь, уже знал, куда идти и за что воевать, но тогда, в самом начале, если бы моя судьба сложилась по-другому, если бы я оказался офицером, кто знает, как было бы. Сколько искалеченных судеб оказалось в то время у таких же людей из народа, как я...”

На склоне лет маршал много читал и думал. Вспоминал и размышлял. В том числе и о возможных вариантах своей судьбы. Ведь и во время войны, и после он встречал много людей, и среди них были офицеры той, прежней армии, в которой ему довелось служить драгуном; их судьбы складывались под влиянием обстоятельств: им пришлось испытать исход из родной земли, скитания на чужбине. Некоторые из них оказались по ту сторону линии фронта, когда началась Вторая мировая война.

Многие будущие полководцы Красной армии, командующие армиями и войсками фронтов, маршалы Советского Союза начинали свою службу в унтер-офицерском звании. Маршал И. С. Конев окончил учебную команду в звании артиллерийского фейерверкера, что соответствовало армейскому чину унтер-офицера. Унтер-офицерами были будущие маршалы С. К. Тимошенко, С. М. Будённый, К. К. Рокоссовский.

Учебные команды старой русской армии давали очень хорошую подготовку. Вспоминая свои будни и муштру под зорким оком взводного командира, Жуков признавал, что учили хорошо: “Каждый выпускник в совершенстве владел конным делом, оружием и методикой подготовки бойца. Не случайно многие унтер-офицеры старой армии после Октября стали квалифицированными военачальниками Красной армии”.

Глава пятая

ПЕРВАЯ ВОЙНА

“Бей их в морду и по шее!..”

Учёба позади. Впереди — фронт. Вести с войны поступали неутешительные. Иногда, выезжая на занятия в поле, драгуны видели проходящие мимо обозы с ранеными. Оттуда доносились стоны. Никому из будущих младших командиров не хотелось такой участи — ехать в тыл изуродованным осколком или пулей, саблей или пикой врага. Но судьба многих из них будет и того горше.

Наступил август. Великая война, или, как её называли в Российской империи, вторая Отечественная, шла уже два года. Началась она 28 июля 1914 года и окончилась 11 ноября 1918 года. Война, как заметили историки, “разделила всемирную историю на две эпохи, открыв совершенно новую её страницу, наполненную социальными взрывами и потрясениями”. Несколько забегая вперёд, стоит заметить, что грядущие “взрывы и потрясения” вынесут нашего героя в первые ряды строителей новой жизни, а точнее — военной элиты новой армии.

В 1916 году шли упорные бои под Салониками в Греции и в Сербии. Особая русская бригада генерал-майора М. К. Дитерихса и французские дивизии потеснили австро-германо-болгарские войска. Продолжались бои под Верденом. Англичане в атаках на реке Сомме применили невиданное оружие сокрушительной силы — танки. Это было первое боевое применение танков. Совсем скоро, в тысячах километрах на восток, на другой реке на маньчжуро-монгольской границе комкор Жуков подготовит и успешно проведёт операцию против японских войск, в ходе которой “впервые в мировой военной практике танковые и механизированные части использовались для решения оперативных задач в качестве основной ударной силы фланговых группировок, совершавших маневр на окружение”.

Это узелок на память тем, кто считает, что Жуков был недоучкой и воевал в основном “человеческим мясом”.

Здесь же, на Восточном фронте тоже шли упорные бои. На барановичском направлении наступали армии Северо-Западного фронта генерала Эверта. А южнее, в Восточной Галиции и Буковине пронёсся, сметая австро-венгерские порядки, смерч наступающих русских войск.

Летом командующий войсками Юго-Западного фронта генерал А. А. Брусилов повёл свои армии в наступление. Эта масштабная операция вошла в историю Первой мировой войны как Брусиловский прорыв. Наступление русских войск на позиции австро-венгерской армии к концу лета затухло.

Жуков прибыл на передовую в составе команды маршевого пополнения 10-го драгунского Новгородского полка в район Каменец-Подольска. Здесь, на стыке русской 9-й армии с союзными румынскими войсками командование сосредоточило полки 10-й кавалерийской дивизии. Вместе с драгунами из прибывших составов выводили своих застоявшихся лошадей кавалеристы соседнего 10-го гусарского Ингерманландского полка. Выгружали амуницию. И в это время, когда воево шла разгрузка, на станцию налетел самолёт противника. Он начал кружить над эшелонами, станцией и путями. Сбросил несколько небольших бомб и улетел. Одна бомба разорвалась совсем близко к месту выгрузки. Осколками убило солдата и несколько лошадей.

Это была первая смерть, которую увидел Жуков на войне. Нелепая. Можно сказать, случайная. И тем более трагичная. Вид такой смерти порой повергает человека в большее смятение и страх, чем гибель товарища в бою, во время схватки. Должно быть, именно такие крайние чувства испытал и Жуков, потому и запомнил на всю жизнь первого убитого своего товарища и однополчанина. Но и другое вскоре понял он: чем больше командиры проявят заботы о безопасности пребывания своих солдат вблизи передовой, чем больше усилий потрачено на маскировку и скрытность передвижения

войск и на их маневр, тем целёй жизнь солдата и тем прочнее позиции войск и весь фронт.

Но эти заботы станут насущными для нашего героя много позже, когда сам он станет командиром и когда от его действий и решений будет зависеть жизнь многих людей, одетых в солдатскую форму.

В начале сентября 10-я дивизия выдвинулась вперёд и сосредоточилась для наступления “в Быстрицком горно-лесистом районе”. Эскадроны спешили и приготовились к действиям в пешем строю, так как “условия местности не позволяли производить конных атак”.

К сожалению, биографы маршала Победы, историки и политологи все свои усилия сосредоточили на деятельности Жукова в период Второй мировой войны и после её завершения, а 1916-й и 1917-й годы почти целиком выпали из их поля зрения. И нам в таких стеснённых обстоятельствах не остаётся ничего другого, дорогой читатель, как довериться мемуарам самого Жукова.

В этот период Юго-Западный фронт готовился к новому наступлению. Генерал Брусилов, получив резервы и пополнив запасы всем необходимым с армейских складов, был полон решимости продолжить наступление и развить свой летний успех в глубину австро-венгерских и германских позиций. Для этой цели привлечена была в том числе и 10-я кавалерийская дивизия. Она состояла из двух бригад. Первая бригада: 10-й драгунский Новгородский полк; 10-й уланский Одесский полк. Вторая бригада: 10-й гусарский Ингерманландский полк; 1-й Оренбургский казачий Его Императорского Величества Наследника Цесаревича полк.

Усиление: 3-й Казачий артиллерийский дивизион.

За дивизией прочно закрепилась слава войска дисциплинированного, храброго, высокоманевренного и стойкого.

Под Ярославцами десять эскадронов дивизии кинулись на двадцать эскадронов австрийской кавалерийской дивизии.

Австрийцы давно искали открытого боя, и вот, наконец, час настал. Точь-в-точь как у Лермонтова в “Бородине”: “И вот нашли большое поле: Есть разгуляться где на воле!..”

Драгуны и уланы 4-й кавалерийской дивизии генерала Риттера фон Зарембы перед боем облачились в парадные мундиры, заранее предполагая победу над малочисленным противником. Началась отчаянная рубка. Австрийская конная лава хлынула с холмов. Но наши так смогли построить боевой порядок, что первую волну австрийской кавалерии буквально подняли на пики и разметали шашками. В рубке участвовали с обеих сторон одновременно 2500 всадников. Свист сабель, треск и хруст, стон и гам стояли невообразимые. Оба дивизионных начальника тем временем находились на соседних холмах в нескольких сотнях шагов друг от друга, наблюдали за боем и давали необходимые указания. Австрийский генерал бросал в дело всё новые и новые эскадроны. У генерала Фёдора Артуровича Келлера, который в те дни командовал 10-й кавалерийской дивизией, резервы были ограниченными.

В разгар боя, как повествуют свидетели того эпизода, “к генералу Келлеру прискакал всадник, сообщивший о наличии у австрийских кавалеристов в бою обременительных в походе парадных металлических касок, которые затруднительно разрубить. <...> совет графа оказался весьма полезным. Несмотря на то, что многим австрийцам каски спасли жизнь, многие все же, как впоследствии выяснилось, были поражены именно таким способом”.

— Бей их в морду и по шею! — рявкнул Келлер вестовому драгуну.

Тот резко развернул коня и поскакал к своему полковнику с приказом генерала о том, как надобно действовать.

Генерал Келлер — легендарная личность, верный солдат императора. Среди кавалеристов он имел прозвище “Первая шашка России”.

Когда в бою под Ярославцами наступил кризисный момент, и свежий резервный эскадрон австрийских драгун опасно проскочил через боевые порядки полков, увлечённых рубкой, и стал угрожать тылу и флангу, Келлер вскочил на коня, выхватил шашку и скомандовал:

— Штаб и конвой — в атаку!

Офицеры штаба и оренбургские казаки личной охраны кинулись в поле вслед за своим генералом. Через несколько минут всё было кончено: австрийцы побежали. Как повествуют хроники, их преследовали и рубили до тех пор, пока не устали кони.

Генералу Келлеру тогда было пятьдесят девять лет. Для кавалерийского боя лета, надо заметить, неподходящие. Но дух этого кавалерийского начальника был необычайно высок.

Встречный бой при Ярославичах в историю войн вошёл как первый кавалерийский бой Великой войны и последний в истории войн, в котором одновременно участвовало такое количество всадников, действовавших исключительно холодным оружием — пиками и шашками.

Характер и судьба генерала Келлера в чём-то, возможно, в самом главном, схожи с характером и судьбой нашего героя. Тот же цепкий и быстрый ум, та же решительность и твёрдость. И та же беззащитность вне поля боя, когда по фронту и на флангах оказываются хитрые и лукавые политики, искусённые в тонкостях тактики и стратегии иной войны.

У генерала Келлера действовала жёсткая система отбора. Брала не всех. Ценз был высок. Особенно это коснулось казачьих полков. Привыкшие к некоторой вольнице, казаки порой не выдерживали требований, предъявленных приказами командира корпуса. Многие из них отсеивались и направлялись в другие части.

Самыми подготовленными оказались полки 10-й кавалерийской дивизии. Именно она стала костяком и средоточием духа 3-го конного корпуса.

Дивизией в то время командовал генерал-майор Василий Евгеньевич Марков. Он отличился в рубке при Ярославиче, за что был награждён офицерским орденом Святого Георгия 4-й степени и Георгиевским оружием.

Полком командовал полковник Сергей Дмитриевич Прохоров, а до него — полковник Александр Романович Алахвердов, обрусевший армянин.

Вскоре началось новое наступление. 3-й конный корпус как наиболее боеспособный, имевший большой опыт и победный дух, шёл в авангарде ударной группировки. Однако австро-венгерские и германские войска успели перебросить на угрожаемый участок фронта достаточные резервы, а наши новые союзники-румыны замешкались и действовали в отрыве от Юго-Западного фронта, и вскоре наступление замедлилось, а затем и вовсе выдохлось.

О первых боях Жуков сохранил вот такие воспоминания: “Когда на войне очутился, поначалу была какая-то неуверенность под артобстрелом, но она быстро прошла. Под пулями никогда не наклонялся. Трусов терпеть не могу”.

Солдат как солдат. Примерно то же самое говорят все бывалые бойцы, кому пришлось привыкать к окопам, к передовой, к обстрелам и бомбёжкам.

В октябре 1916 года близ местечка Сас-Реген в Восточной Трансильвании, куда подошли авангарды 3-го конного корпуса, Жукова назначили в головной дозор. Отряд продвигался по горной тропе, цепочкой. Лошади шли осторожно. Жуков ехал третьим. Прислушивался к звукам и шорохам леса, со всех сторон обступавшего разъезд драгун. И вдруг впереди раздался сильный взрыв. Горячей волной, смешанной с песком и галькой, Жукова выбросило из седла.

Очнулся он спустя сутки в полевом лазарете.

— Ну, что, унтер, охрял*? — кивнул ему с соседней койки пожилой солдат с забинтованной рукой. — Повезло тебе. Одни царапины. Скоро заживут.

Жуков почти не слышал своего соседа по койке. Сквозь шум в ушах доносились обрывки фраз. Он связывал их только тогда, когда внимательно следил за движениями губ старого солдата.

Оказалось, что двое его товарищей, ехавших впереди, тяжело ранены. Он, по всей вероятности, контужен. Контузия тоже тяжёлая.

* Пришёл в себя (разг. диалектн., характерное для калужан и жителей Смоленской губ.).

— Кто-то из вас на мину наехал, — сказал пожилой солдат и кивнул на соседние койки, где лежали тяжелораненые драгуны. Жуков узнал своих товарищей, ехавших впереди.

До Жукова осколки мины не долетели, их приняли на себя ехавшие в голове дозора и их лошади. Судьба берегла его для будущего, для самой жестокой войны XX века.

Вскоре его отправили в глубокий тыл, в Харьков.

Из госпиталя его выписали в 6-й маршевый эскадрон его родного 10-го драгунского Новгородского полка. Эскадрон по-прежнему стоял в селе Лагери. Почти никого знакомых там не осталось. Но Жуков был всё же рад. Какое-никакое, а всё же — возвращение. Тем более что вернулся с лычками унтер-офицера и двумя Егориями* на груди. Первый, 4-й степени, он получил за удачно проведённую разведку, во время которой Жукову и его товарищам удалось захватить и доставить в свой штаб ценного “языка” — австрийского офицера. Второй — за контузию.

За ордена награждённым тогда платили из царской казны хорошие деньги. К примеру, за Егория 4-й степени — 36 руб. в год. За Егория 3-й степени — 60 рублей. Кавалер 1-й степени получал 120 рублей. Унтер-офицер имел прибавку к жалованию на треть за каждый крест, но не больше двойной суммы. Прибавочное жалование сохранялось пожизненно после увольнения в отставку. Вдовы могли получать его ещё год после гибели кавалера или его смерти от ран. Кроме того, удостоенный Егория 1-й степени жаловался званием подпрапощика. Это высшее звание, которое мог получить солдат, последняя ступень перед офицерским званием. Соответствует званию старшины в Красной и Советской армиях.

Звание подпрапорщик присваивалось и кавалерам 2-й степени при увольнении в запас.

Жукову звания не шли. Добывал он свои кресты и лычки кровью, потом и самодисциплиной при необычайном рвении, желании быть во всём первым.

Первую свою войну он закончил кавалером двух Егориев.

Такие же отличия имели будущие маршалы Р. Я. Малиновский и К. К. Рокоссовский. А И. В. Тюленев, К. П. Трубников, С. М. Будённый и А. И. Ерёменко были награждены всеми четырьмя степенями.

Во время Великой Отечественной войны, когда и Ставка, и Генеральный штаб, и партия большевиков делали многое для поднятия духа в войсках, когда возвращалось многое из славного прошлого, появился и проект постановления о разрешении ношения солдатских Георгиевских крестов.

“ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР 24 апреля 1944 г<ода>

В целях создания преемственности боевых традиций русских воинов и воздания должного уважения героям, громившим немецких империалистов в войну 1914–1917 г<одов>, СНК СССР постановляет:

1. Приравнять б<ывших> георгиевских кавалеров, получивших Георгиевские кресты за боевые подвиги, совершенные в боях против немцев в войну 1914–17 г<одов>, к кавалерам ордена Славы со всеми вытекающими из этого льготами.

2. Разрешить б<ывшим> георгиевским кавалерам ношение на груди колодки с орденой лентой установленных цветов.

3. Лицам, подлежащим действию настоящего постановления, выдаётся орденой книжка ордена Славы с пометкой “б<ывшему> георгиевскому кавалеру”, каковая оформляется штабами военных округов или фронтов на основании представления им соответствующих документов (подлинных приказов или послужных списков того времени)”.

* Солдатское название Георгиевских крестов.

Проект хороший. Но постановлением он так никогда и не стал. Сталину мысль понравилась, но документу он хода не дал, должно быть, решив, что, мол, хватит им погон и орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и солдатской Славы с георгиевской лентой.

При награждении определённое количество крестов выделялось отличившемуся в бою подразделению. Солдаты этого подразделения, роты, эскадрона или батареи сами затем решали, кто из них отличился особенно и достоин награды более других. Этот порядок был узаконен и назывался “приговором роты”. Награды, в том числе и Георгиевские кресты, полученные по “приговору роты”, ценились в солдатской среде гораздо выше полученных по представлению командира.

Какие кресты имел Жуков, неизвестно.

В маршевом эскадроне его приняли хорошо. Свой. Побывал в боях. Ранен. Грудь в крестах. Грамотный. Читает газеты и умно их растолковывает. Маршал вспоминал: “Беседуя с солдатами, я понял, что они не горят желанием “нохать порох”, не хотят войны. У них были уже иные думы — не о присяге царю, а о земле, мире и о своих близких”.

Начались разговоры о забастовках в крупных городах, о рабочих стачках, о том, что кругом несправедливость и утеснение простого люда.

Вначале на молодого унтера солдаты посматривали с опаской. Но потом поняли — свой, офицерам не донесёт.

Мало того, что он не доносил, а ещё и говорил, читая газеты и листки, которые разными путями и сквозняками заносило в эскадрон, что “мир, землю, волю русскому народу могут дать только большевики и никто больше”.

Глава шестая

БОЛЬШЕВИКИ

“Советская власть отдаст всё, что есть в стране, бедноте и окопникам...”

Разговоры разговорами, а в стране уже кипели нешуточные дела. Назревали, как точно определил модный в то время в офицерской среде поэт, “неслыханные перемены, невиданные мятежи...”*

Февральский вихрь не миновал и дальнего гарнизона в Лагерях.

Как вспоминал Жуков, ранним утром 27 февраля 1917 года эскадрон был поднят по тревоге. Построились повзводно.

Жуков, улучив момент, спросил командира взвода поручика Киевского:

— Ваше благородие, куда нас собрали по тревоге?

— А вы как думаете? — растерянно ответил поручик вопросом на вопрос.

— Солдаты должны знать, куда их поведут. Всем выдали боевые патроны. Волнуются.

— Патроны могут пригодиться, — снова уклончиво ответил взводный.

В это время на плацу появился командир эскадрона ротмистр барон фон дер Гольц. Старый вояка, награждённый за храбрость золотым оружием и офицерским крестом Святого Георгия, он после тяжёлого ранения был направлен в тыловую часть и от этого страдал больше, чем от последствий ранения. На солдат рычал, и его не любили и боялись.

Вскоре поступила команда “рысью”, и эскадрон, вытянувшись в колонну по три, начал выдвижение в сторону Балаклеи. Драгуны немного успокоились: к штабу. Когда показался плац перед зданием штаба, скакавшие впереди увидели, что там уже строятся одесские уланы и ингерманландские гусары. Никто не знал, что случилось и чего ждать. Офицеры, стиснув зубы, молчали и на вопросы солдат не отвечали. Но в воздухе, как говорят в таких случаях, явно пахло гарью...

* Из поэмы Александра Блока “Возмездие”.

Эскадроны строили в несколько рядов, развёрнутым строем, в затылок друг другу, словно для атаки. Офицеры всматривались в дальний поворот улицы. Кого-то ждут, думал Жуков, поглядывая по сторонам.

И вот из-за угла каменного дома вывалила толпа с красными знамёнами. Никакой команды не последовало. Эскадроны затихли. Даже лошади присмирели, как перед атакой. Ротмистр фон дер Гольц прищипорил коня и поскакал в сторону штаба. Следом за ним поскакали командиры уланского и гусарского эскадронов.

Из штаба навстречу им вышла группа людей, среди которых Жуков увидел рабочих, одетых в гражданское, и военных, но не только офицеров. Они шли к эскадронам. Впереди шагал высокий человек в распахнутой солдатской шинели.

Как вспоминал впоследствии Жуков, “он сказал, что рабочий класс, солдаты и крестьяне России не признают больше царя Николая II, не признают капиталистов и помещиков. Русский народ не желает продолжения кровавой империалистической войны, ему нужны мир, земля и воля. Военный окончил свою короткую речь лозунгами: “Долой царизм! Долой войну! Да здравствует мир между народами! Да здравствуют Советы рабочих и солдатских депутатов! Ура!”

Солдаты ответили дружным: “Ура!”

Спустя некоторое время в полку был создан солдатский комитет. Первоначально Комитет арестовал офицеров, которые отказывались выполнять его решения, а значит, подчиняться. Среди арестованных оказался и командир 6-го эскадрона ротмистр фон дер Гольц.

По воспоминаниям Жукова, большевики в их полку быстро перехватили власть. В основном делами заправляли офицеры. Начали избирать делегатов в полковой Совет и эскадронный солдатский комитет. Шумели недолго, делегатами избрали поручика Киевского и солдата из первого взвода. Солдата звали Петром. Оказалось, земляк — калужский, родом из Мосальска, оттуда и призывался. А председателем солдатского комитета единогласно избрали Жукова.

Временное правительство, министры, депутаты, эсеры, меньшевики, кадеты, анархо-коммунисты, анархо-индивидуалисты, анархо-синдикалисты... Но всю эту разногласицу покрывали лозунги большевиков, их лидеров. Большевики глубже и тоньше почувствовали настроения и жажду народных масс и дали им идею, от которой невозможно было отказаться. “Советская власть уничтожит окопную страду. Она даст землю и уврачает внутреннюю разруху. Советская власть отдаст всё, что есть в стране, бедноте и окопникам. У тебя, буржуй, две шубы — отдай одну солдату. У тебя есть тёплые сапоги? Посиди дома. Твои сапоги нужны рабочему...” — так агитировал солдат Петроградского гарнизона, председатель Петросовета и инициатор создания в Петрограде военно-революционного комитета Лев Троцкий.

Такие простые и понятные речи сыпались на темя измученных затянувшейся войной солдат и обозлённых неопределённостью петроградских рабочих долгожданной манной небесной. Прощай, проклятый воночий окоп! Земля... Наконец-то помещичья земля станет крестьянской! А шуба и тёплые сапоги вконец добывали растерявшегося от счастья солдата из бывших крестьян или наёмных работников, таких, каким в то время был и Жуков. Ведь слушая эти слова — о земле и воле — Жуков думал о своих родных в Стрелковке и Чёрной Гязи, о земляках Угодско-Заводской волости, о тяжком их, беспросветном существовании. И вот появилась сила, которая обещает его родным, труженикам и беднякам, всё, чего они были лишены и о чём всю жизнь мечтали. И эта сила готова взять власть!

Итак, судьба прибила нашего героя к большевикам. Впрочем, он сам, осознанно выбрал этот путь. Тогда ещё можно было выбирать. Никто за уклон и отступничество не карал.

Постепенно большевистскую часть в полковом солдатском комитете захватили меньшевики и эсеры, “которые держали курс на поддержку Временного правительства”.

События октября 1917 года, которые вскоре перевернут жизнь России, Жуков встретил в эскадроне. На Украине Октябрь был осложнён сопротивлением юнкеров и казаков, которые 28 октября в Киеве окружили Мариинский дворец и арестовали заседавший там ревком в полном составе. Узнав об арестах, солдатские комитеты подняли гарнизон. Революционно настроенные отряды атаковали казармы Николаевского военного училища, овладели артиллерийскими складами, гарнизонной гауптвахтой и выпустили арестованных революционно настроенных солдат и офицеров. Но тем временем Центральная рада стянула к Киеву верные войска, сформированные из солдат и офицеров, настроенных националистически. “Вольные казаки” и гайдамаки Петлюры дрались за провозглашённую ими Украинскую народную республику. Когда самостийщики ворвались в Киев и другие крупные города Украины, начались повальные кровавые расправы над красногвардейцами. Рада не признала законности Октябрьской революции в Петрограде и власти большевиков. Подразделения и отряды, подчинявшиеся Временному правительству и симпатизировавшие большевикам, тоже разоружались и распускались.

А дальше слово самому участнику тех событий: “Кончилось тем, что в начале осени 1917 года некоторые подразделения перешли на сторону Петлюры.

Наш эскадрон, в состав которого входили главным образом москвичи и калужане, был распущен по домам солдатским эскадронным комитетом. Мы выдали солдатам справки, удостоверяющие увольнение со службы, и порекомендовали им захватить с собой карабины и боевые патроны. Как потом выяснилось, заградительный отряд в районе Харькова изымал оружие у большинства солдат. Мне несколько недель пришлось укрываться в Балаклее и селе Лагери, так как меня разыскивали офицеры, перешедшие на службу к украинским националистам”.

Нечто подобное в эти же дни пережил фейерверкер и будущий маршал Советского Союза Иван Конев, находившийся неподалёку, под Киевом, в составе артиллерийского дивизиона гвардейского Кирасирского полка. “Полк категорически отказался украинизироваться, что, по единственному решению офицеров и кирасир, было явно недопустимым для старого русского гвардейского полка”. Конев в одной из своих послевоенных бесед с Константином Симоновым рассказал, как гайдамаки разоружали их дивизион. “Я прятал шапку и наган под полушубком, — рассказывал Иван Степанович Симонову, — мне за это здорово попало. Все командиры перешли на сторону гайдамаков. Наш дивизион был настроен революционно, многие поддерживали большевиков, поэтому Рада приняла решение дивизион расформировать и отправить на родину”.

Дальнейшая судьба двух будущих маршалов весьма схожа: Конев отправился в родную деревню Лодейно под Великим Устюгом, а Жуков — в Стрелковку под Малоярославец.

Жуков в мемуарах указывает дату своего приезда в Москву: 30 ноября 1917 года. Многие тогда возвращались в Москву с фронта. Много было дезертиров. Воспоминания нашего героя о той поре полнотой не грешат. Всё предельно кратко, как в анкете. “Декабрь 1917 и январь 1918 года я провёл в деревне у отца и матери и после отдыха решил вступить в ряды Красной гвардии”.

В Москве, уже большевистской, Жуков не задержался. Но можно предположить, что к дядюшке Михаилу Артемьевичу Пилихину, чтобы повидаться с двоюродными братьями и сёстрами, он всё же заехал.

Предусмотрительный и мудрый Михаил Артемьевич к тому времени своё дело ликвидировал и жил со своей семьёй тихо и смирно, как простой московский обыватель. Некоторых дочерей выдал замуж, сыновей пережил. Жизнь продолжалась. Младший брат Михаила Артемьевича Иван Артемьевич Пилихин, все эти годы работавший в мастерской брата мастером, скопив кое-какой капитал, открыл собственное дело. В Дмитровском переулке купил конюшню. Часть её перестроил в квартиру. Занимался лошаадьми и скорняжным делом, выступал на московском ипподроме на собственном жеребце по кличке Пороль Донер.

Новости от родни Жуков услышал разные — и хорошие, и тревожные. Михаил Артемьевич приезде племянника был рад. Рад, что тот вернулся с войны живым и здоровым. О контузии Жуков помалкивал. Хотя вскоре обнаружилось, что временами он плохо слышит.

На родине царили нищета и разорение.

Ещё в 1913 году у Константина Артемьевича Жукова закончился срок полномочий как представителя общины деревни Стрелковки на волостных сходах в Угодском Заводе. С той поры из-за преклонных лет на общественную должность, которая давала кое-какое положение и достаток, его не избирали. После ухода Георгия на фронт положение семьи и вовсе пошло вниз. Устинья, видя полный упадок, обратилась к местным властям с просьбой и помощи. Краевед и биограф Жукова А. И. Ульянов пишет: “Комиссия, побывав у них дома, выяснила, что отец призванного “по дряхлости всякую трудоспособность утерять, мать содержать мужа... и сохранять своё хозяйство до прибытия сына с войны без посторонней помощи не может, ввиду чего хозяйству и семье грозит полное разорение”. Жуковы имели дом, хозяйственный двор, лошадей, корову. В те годы положение многих крестьянских семей резко ухудшилось. Поэтому просьба Устины, хотя и подкреплённая волостным попечительством, видимо, осталась безответной”.

Что и говорить, куда, если не к большевикам, оставалось идти унтер-офицеру из такой семьи?

Но, как говорят, беда не ходит одна. Не успели родители и родня порадоваться возвращению своего героя домой, как Георгий заболел. Извечный спутник затяжной войны — сыпной тиф — косил людей не только на фронте, но и в тылу. “В начале февраля тяжело заболел сыпным тифом, — вспоминал маршал, — а в апреле — возвратным тифом. Своё желание сражаться в рядах Красной армии я смог осуществить только через полгода, вступив в августе 1918 года добровольцем в 4-й кавалерийский полк 1-й Московской кавалерийской дивизии”.

По всей вероятности, здесь Жуков не совсем точен. Жанр мемуаров — вольный жанр. Дело в том, что ещё в конце мая 1918 года ВЦИК издал постановление “О принудительном наборе в Рабоче-Крестьянскую Красную армию”. По этому постановлению унтер-офицер Жуков подлежал призыву, но болезнь не пустила его. И если бы не своевременная помощь земского доктора Николая Васильевича Всесвятского, кто знает, каким бы мог быть исход. Доктор Всесвятский поднял Жукова на ноги, спас от смерти. Спустя год земский врач Николай Васильевич Всесвятский заразился от большого тифом и умер в возрасте сорока пяти лет от роду.

В 1938 году Жуков собственноручно написал в автобиографии: “В РККА — с конца сентября 1918 года по мобилизации. Службу начал в 4-м Московском полку (кавалерийском) с октября 1918 года”.

Что ж, в 38-м году память у Жукова была моложе, да и год такой, что в анкетах ошибки допускать было опасно. Так что, скорее всего, Жуков из Стрелковки уехал в Москву и там был призван по “принудительному набору”.

Его зачислили в 4-й полк 1-й Московской кавалерийской дивизии рядовым. В полку сразу же освоился, записался в сочувствующие большевикам, а 1 марта 1919 года первичная ячейка 4-го кавполка приняла Жукова кандидатом в члены партии. Через год с небольшим, а именно 8 мая 1920 года из кандидатов он был принят в члены РКП(б).

Выписка “из протокола № 10 собрания членов ячейки РКП(б) при 1-х Рязанских кавалерийский командных курсах РККА.

Под председательством П. Ковчегова и секретарём М. Шутовым.

Повестка дня:

1) Об утверждении кандидатов партии в члены РКП:

Слушали 21 член: ...Об утверждении тов. Рвачёва и тов. Жукова из кандидатов в члены РКП (большевиков)...

Постановление: утвердить тов. Рвачёва постановили единогласно при 7 “за”, 1 “воздержался” и тов. Жукова принять постановили единогласно при 9 “за”...

В стране полыхала гражданская война.

Глава седьмая

ВТОРАЯ ВОЙНА

“Среди казаков — полное смятение...”

Первая кавалерийская дивизия Московского военного округа, с которой Жуков прибыл на фронт, была сформирована на основании приказа Высшего военного совета № 54 от 19 июня 1918 года. Полки её дислоцировались в разных районах Москвы. 4-й кавалерийский — в Октябрьских казармах на Ходынке.

Кстати, именно здесь, в Николаевских казармах, после октября 17-го переименованных в Октябрьские, находилась учебная команда 2-й Гренадерской артиллерийской бригады, в которой два года назад учился будущий боевой товарищ и соперник Жукова Иван Степанович Конев. Отсюда к чине фейерверкера Конев отбыл на Юго-Западный фронт. Судьба и войны их будут сводить и разводить всю жизнь. И об этом мы ещё расскажем...

Весной 1919 года четырёхсоттысячная армия Колчака захватила несколько крупных городов и подступила к Казани и Самаре. После взятия этих поволжских городов Верховный правитель России намеревался двинуть свои войска на Москву. Одновременно армия генерала Деникина атаковала по всему фронту с юга, прорвала оборону большевиков в нескольких местах, захватила Донбасс, часть Украины, Белгород, Царицын. После короткой перегруппировки началось наступление на Москву. Положение осложнял Чехословацкий корпус Австро-венгерской армии, по стечению обстоятельств оказавшийся растянутым по Транссибирской магистрали от Пензы до Владивостока. В руках легионеров оказались крупные станции, города, связь, важнейшие коммуникации.

Для молодой Советской республики всё складывалось очень скверно. Казалось, ещё одно усилие — и офицерские полки и казачьи сотни прорвутся в центр России, поднимут на штыки московских комиссаров, и с большевизмом будет покончено. Но Советское правительство объявило массовую мобилизацию под лозунгом “Все на борьбу с Деникиным!” На Восточном фронте гремел другой лозунг большевиков и сочувствующих: “Колчака за Урал!”

На Восточный фронт был брошен полк, в котором служил Жуков. Сюда же, к Самаре, прибывали из центра новые и новые формирования. Это были недавно сформированные, неплохо экипированные и хорошо вооружённые части новой Красной армии.

Красная армия была создана на основании Декрета Совета народных комиссаров РСФСР “О Рабоче-Крестьянской Красной армии” от 15.01.18.

В своих мемуарах маршал пишет, что сразу после болезни, заставившей его проваляться в постели всю зиму и весну 18-го года, в конце сентября он поехал в уездный Малоярославец, чтобы добровольно вступить в только что созданную Красную армию. Но принят, по его словам, не был, так как следы болезни свидетельствовали о его непригодности для службы. И тогда он отправился в Москву.

Ни в деревне, ни в уезде делать ему было нечего. В стране начались большие перемены, и судьба этих перемен решалась не в уездах.

Из “Воспоминаний и размышлений”: “Наш кавалерийский полк двигался на Восточный фронт.

Помню момент выгрузки нашего полка на станции Ершов. Изголодавшиеся в Москве, красноармейцы прямо из вагонов ринулись на базары, купили там каравай хлеба и тут же начали их поглощать, да так, что многие заболели. В Москве-то ведь получали четверть фунта плохого хлеба да щи с козиной или воблой. Зная, как голодает трудовой народ Москвы, Петрограда и других городов, как плохо снабжена Красная Армия, мы испытывали чувство классовой ненависти к кулакам, контрреволюционному казачеству и интервентам. Это обстоятельство помогло воспитывать в бойцах Красной Армии ярость к врагу, готовность их к решающим схваткам”.

Что и говорить, воспитание голодом — самое сильное и действенное. Оно быстро ставит человека в строй, безошибочно определяет ему место и указывает путь.

Путь Жукова и его боевых товарищей лежал к Уральску. Здесь, на фронте 4-й армии, сложилась самое тяжёлое положение. Белые, развивая наступление на Самару и Саратов, блокировали Уральск.

Город был плотно осаждён казаками генерала Толстова. Гарнизон — 22-я стрелковая дивизия и отряды рабочих, — отрезанный от основных сил южной группы войск Красной армии, сражался из последних сил. Южной группой командовал М. В. Фрунзе. На помощь осаждённому Фрунзе бросил 25-ю Чапаевскую дивизию и 1-ю Московскую кавалерийскую, 3-ю бригаду 33-й стрелковой дивизии и отдельные отряды.

Четвёртый кавалерийский полк вышел к станции Шипово. Разъезды передового боевого охранения вскоре донесли: впереди несколько сотен казаков, движутся встречным маршем. И вот под станцией Шипово красные конники схватились во встречном сабельном бою с восьмьюстами уральских казаков.

Казачий полк — 400 сабель. В военное время — 600. Под Шипово на 4-й кавполк навалилась большая сила — до семи сотен. Казачья сотня — 110–115 всадников. Эскадроны развернулись и кинулись навстречу. Рубка была отчаянной, жестокой и непродолжительной. Дело решил неожиданный и лихой маневр полковых артиллеристов. Когда первая волна кавалеристов и казаков сошлась, и с сёдел полетели порубанные тела тех и других, а эскадроны и сотни второй и последующих волн пришпоривали своих коней, развёртывая строй, чтобы в свою очередь кинуться в гущу рубки, из-за насыпи во фланг казакам выскочил эскадрон с пушкой. “Артиллеристы — лихие ребята — на полном скаку развернули пушку и ударили белым во фланг. Среди казаков — полное смятение”, — так маршал спустя десятилетия рисовал картину боя при станции Шипово.

Нам, конечно же, интересны были бы подробности этой схватки, детали. Но на частности мемуарист оказался весьма скуп.

Уральский гарнизон был деблокирован чапаевцами. Свою задачу выполнили и кавалеристы.

В это время произошло некое событие, которое, возможно, произвело на Жукова сильное впечатление. Потому что он внёс это в свои мемуары, хотя, как всегда, без особых подробностей.

“Во время боёв за Уральск мне посчастливилось увидеть Михаила Васильевича Фрунзе. Он тогда лично руководил всей операцией.

М. В. Фрунзе ехал с В. В. Куйбышевым в 25-ю Чапаевскую дивизию. Он остановился в поле и заговорил с бойцами нашего полка, интересуясь их настроением, питанием, вооружением, спрашивал, что пишут родные из деревень, какие пожелания имеются у бойцов. Его простота и обаяние, приятная внешность покорили сердца бойцов.

Михаил Васильевич с особой теплотой и любовью рассказывал нам о В. И. Ленине, говорил о его озабоченности в связи с положением в районе Уральской области.

— Ну, теперь наши дела пошли неплохо, — сказал М. В. Фрунзе, — белых уральских казаков разгромили и обязательно скоро добьём остальную контрреволюцию. Освободим Урал, Сибирь и другие районы от интервентов и белых. Будем тогда восстанавливать нашу Родину!

Мы часто потом вспоминали эту встречу...”

Вскоре 1-ю Московскую перебросили на новый угрожаемый участок — под Царицын. В бой дивизию не вводили. Полки стояли во втором эшелоне и усиленно занимались боевой учёбой, приводили себя в порядок после предыдущих схваток и потерь.

Однажды, почистив свою лошадь, Жуков возвращался во взвод — в то время он уже был помкомвзвода — и увидел, как кто-то из кавалеристов “выезжает” свою лошадь. Лошадь хорошая. По всей вероятности, недавний трофей. Хозяин к ней ещё не привык. В манеже он отрабатывал “подъём коня в галоп с левой ноги”. Приём непростой. Нужна выучка.

Жуков остановился. Всадник нервничал: у него ничего не получалось. “Конь, — как он впоследствии вспоминал свою встречу и знакомство с комиссаром дивизии и своим однофамильцем, — всё время давал сбой и вместо левой периодически выбрасывал правую ногу”.

— Укороти левый повод! Укороти! — по-командирски крикнул Жуков седоку.

Тот ничего не ответил, перевёл коня на шаг, подъехал к Жукову и сказал:

— А ну-ка, попробуй.

И только тут Жуков узнал комиссара дивизии Георгия Васильевича Жукова.

Жуков принял повод. Быстро и ловко подогнал под свой рост стремя. Легко вскочил в седло. Прошёл несколько кругов, чтобы привыкнуть к повадкам и характеру коня. На очередном круге поднял в галоп с левой ноги. Прошёл галопом круг, другой. Хорошо. Перевёл с правой — хорошо. Снова перевёл с левой — конь шёл без сбоя. Умный, хороший конь. Командирский. Такого коня иметь на войне — счастье.

Комиссар удивлённо покачал головой.

— Надо вести его покрепче в шенкелях, — сказал Жуков наставительно.

Тот на наставления не обиделся, рассмеялся. Глядя на ладную посадку кавалериста, на точные его движения, в которых чувствовалась выучка и опыт, спросил:

— Ты сколько сидишь в седле?

— Четыре года. А что?

— Так, ничего. Сидишь неплохо.

Они разговорились. Комиссар, по долгу своей комиссарской службы, поинтересовался, где его тёзка начал службу, где воевал, когда был призван в Красную армию. Конечно же, спросил о партийности. Рассказал и о себе: в кавалерии десять лет, воевал, привёл в Красную гвардию из старой армии значительную часть своего полка.

С тех пор, с душевного разговора в манеже между ними завязались хорошие отношения. Однажды комиссар Жуков предложил кавалеристу Жукову перейти на политработу. Ему как раз требовался толковый и грамотный политработник, помощник. Но кавалерист мягко отказался.

— Нет, товарищ комиссар, политработа — дело не моё. Больше люблю строевую службу. Думаю, что и партии, и Красной армии буду больше полезен в строю.

— Ну, хорошо, тогда пошёл тебя на курсы красных командиров. При первой же возможности. Пойдёшь?

— А вот за такое доверие — спасибо. На курсы пойду с удовольствием.

Но дальнейшие события отодвинули учёбу и курсы на неопределённое время. Белые неожиданно переправились через Волгу на левый берег и захватили село Заплавное между Чёрным Яром и Царицыном. Главнокомандующий вооружёнными силами Юга России генерал А. И. Деникин гнал свои дивизии вперёд, всё ещё надеясь соединиться с Уральской армией и образовать единый фронт против большевиков. Село Заплавное находилось в непосредственной близости от места дислокации 1-й Московской кавалерийской дивизии, поэтому её полки и подразделения тут же были втянуты в тяжёлые бои.

Белые шли напролом. В мемуарах Жуков упоминает об офицерских полках, действовавших на их участке. И здесь в одном из боёв Жуков был ранен. Произошло это в октябре 1919 года.

Из “Воспоминаний и размышлений”: “В бою между Заплавной и Ахтубой во время рукопашной схватки с белокалмыцкими частями меня ранило ручной гранатой. Осколки глубоко врезались в левую ногу и левый бок, и я был эвакуирован в лазарет, где ещё раз, кроме того, переболел тифом”.

Жукову и на этот раз повезло. Из боя, раненого и теряющего сознание, его вынес эскадронный политрук и старый большевик Антон Митрофанович Янин. Жуков и Янин дружили. Боевые друзья-товарищи — это серьёзно, крепко. Сам погибай, а товарища выручай...

Янин сам был ранен, но легко. Когда раненых начали отправлять в тыл, Янин запряг лёгкую рессорную бричку, уложил на неё товарища и погнал коня в сторону Саратова. Там, в лазарете, работала подруга политрука — Полина Николаевна Волохова. Она-то и позаботилась о том, чтобы раны Жукова поскорее зажили — пригласила ухаживать за молодым командиром свою младшую сестру, гимназистку, как уточняют биографы маршала.

И тут начинается история, клубок которой так туго и ожесточённо затянут спорящими сторонами, что пытаться распутывать его, даже в такой обширной книге, как эта, — затея абсолютно безнадежная. Когда дело касается наследства, когда вскипают обиды отвергнутой женщины, сюжет любого романа начинает двоиться, трояться и так далее. И который из них настоящий — понять совершенно невозможно.

А сейчас, следуя сложившейся легенде и не отказывая нашему герою в проявлении тех человеческих чувств, которыми бурлит и цветёт здоровая молодость, скажем, что он влюбился. Мужчиной он, судя по многим свидетельствам и поступкам, был пылким, влюбчивым. Ведь даже в зрелые лета влюблялся, как мальчишка. А что уж говорить про те неполные двадцать три, когда он однажды, лёжа в лазарете, открыл глаза и увидел над собой лицо девушки, поразившее его своей красотой и юной чистотой. После фронта, крови, ужаса кавалерийских атак, после рубок, бессонницы и постоянного напряжения в ожидании вражеской пули, тишина лазарета и голубые глаза “белой голубки” не могли не ранить сердце солдата!..

Но любовь эта была недолгой. Как и всё на войне.

Сёстры Волоховы вернулись к себе на родину в Полтаву.

Жукова в госпитале снова сразил тиф. После выздоровления он получил месячный отпуск на родину.

Родина на него всегда действовала лучше всяких лекарств и снадобий.

Между тем, жизнь в Стрелковке не налаживалась. Всё стало ещё беднее и унылей. Только Протва и лес радовали взгляд, манили к себе, навевали воспоминания юности. Казалось, что всё было только вчера, а вдуматься — прошла целая жизнь. Народу в Стрелковке заметно поубавилось: девушки вышли замуж в другие деревни, друзья детства и юности разлетелись, кто куда: кто — в Москву, кто — на войну. А кто и сгинул ещё несколько лет назад, в Галиции или Мазурских болотах...

Отец совсем состарился, сгорбился. Но ещё тюкал своим молотком, чинил соседям изношенные сапоги. Смотрел на мир добрыми глазами. Мать, как и прежде, тянула воз за двоих.

Зашёл к соседям Жуковым. Прочитал им письмо от их сына, Пашки Жукова, друга детства. Пашка служил в Красной армии. Письмо он получил от него под Царицыном. Берёг. Всюду возил с собой, как частичку родины. Пашкины родители всплакнули.

“Дорогой друг Георгий!

После твоего ухода в Красную армию почти все наши друзья и знакомые были призваны в армию. Мне опять не повезло. Вместо действующей армии меня послали в Воронежскую губернию с продотрядом выкачивать у кулаков хлеб. Конечно, это дело тоже нужное, но я солдат, умею воевать и думаю, что здесь мог бы вместо меня действовать тот, кто не прошёл хорошую школу войны. Но не об этом я хочу тебе написать.

Ты помнишь наши споры и разногласия по поводу эсеров. Я считал когда-то их друзьями народа, боравшимися с царизмом за интересы народа, в том числе и за интересы крестьян. Теперь я с тобой согласен. Это подлецы! Это не друзья народа, это друзья кулаков, организаторы всех антисоветских и бандитских действий.

На днях местные кулаки под руководством скрывавшегося эсера напали на охрану из нашего продотряда, сопровождавшую конный транспорт хлеба, и зверски с ней расправились. Они убили моего лучшего друга Колю Гаврилова. Он родом из-под Малоярославца. Другому моему приятелю, Семёну Иванишину, выкололи глаза, отрубили кисть правой руки и бросили на дороге. Сейчас он в тяжёлом состоянии. Гангрена, наверное, умрёт. Жаль парня, был красавец и удалой плясун. Мы решили в отряде крепко отомстить

этой нечисти и воздать им должное, да так, чтобы запомнили на всю жизнь. Твой друг Павел”.

В 1922 году Жуков узнал и о горькой судьбе Павла: друг детства погиб на Тамбовщине во время подавления восстания крестьян.

Гражданская война — самая жестокая война. Брат идёт на брата. В какой-то момент мерилом любви и ненависти стал хлеб. Обратная сторона хлеба — голод. Перед лицом голода границы жестокости и милосердия размываются, исчезают, и всё кажется оправданным...

Удивительное дело: они, солдаты Первой мировой, а теперь и гражданской, по-прежнему оставались крестьянскими сыновьями, и их душа болела, прежде всего, о родине, о родных своих земляках. Они знали, за что и за кого воевали и умирали.

Отпуск пролетел быстро. Жуков явился в военкомат. Попросился, чтобы направили в действующую армию. Но медицинскую комиссию не прошёл — слаб физически, организм ещё полностью не восстановился. И тогда военком, порывшись в своих бумагах, вдруг объявил:

— Вот, в Твери запасной батальон, с последующим направлением на курсы красных командиров.

Из Твери его направили в Рязанскую губернию на станцию Старожилово. Там размещались 1-е Рязанские кавалерийские курсы РККА.

Жукова зачислили в 1-й эскадрон. Командир эскадрона, бывший офицер русской армии В. Д. Хламцев, побеседовал с вновь прибывшим и, когда узнал его чин в старой армии и что за плечами Жукова две войны, тут же назначил его на должность старшины эскадрона. Учёба на курсах мало чем отличалась от учебной команды. Правда, здесь давали ещё и достаточно основательное общее образование.

“Сведения об успехах товарищей курсантов 1-го приготовительного отделения (репетиции и экзамены).

| | Репетиции | Экзамен |
|-----------------------|-----------|---------|
| 13. Жуков Георгий | | |
| Русский язык | 4 | 4— |
| Арифметика | 4 | 4+ |
| География | 4+ | 4 |
| Гигиена | 4 | 5 |
| Военная администрация | 5 | 5 |
| Политграмота | 5 | 5 |
| Уставы | 5 | 5 |

Решение педагогического комитета — переводится в специальное отделение.

Заведующей учебной частью В. Ротт”.

Как видим, специальные военные дисциплины Жуков знал на “отлично”.

Среди документов 1-х Рязанских кавалерийских курсов обнаружен протокол внеочередного собрания партячейки, на котором разбиралось персональное дело одного из курсантов. Жуков выступил против отчисления своего однокурсника и одновременно высказал своё мнение о несправедливости по отношению к фронтовикам.

— Почему красным офицерам, приехавшим с фронта, устроили аттестационную комиссию, какой не должно быть для красных командиров? — спросил он на собрании, обращаясь к комиссару курсов.

Из “Воспоминаний и размышлений”: “Стрелковые командные кадры состояли главным образом из старых военных специалистов — офицеров. Работали они добросовестно, но несколько формально — “от” и “до”. Воспитательной работой занимались парторганизация и политаппарат курсов, общеобразовательной подготовкой — воензированные педагоги”.

Всякая учёба — учёба. Иному курсы — академия, после которой он становится хорошим командиром, уверенно управляет своим подразделением,

хладнокровно и расчётливо руководит боем, при необходимости может заменить выбывшего по причине ранения или смерти вышестоящего командира. Другому и академия не на пользу...

Наш герой к тому времени, кажется, уже определился в жизни. Армия ему нравилась. Кавалерийское дело освоил основательно. Начинать в дивизии “первой шашки России”, а теперь продолжал обучение у офицеров старой армии. Дисциплину любил и прекрасно понимал, что именно она и в бою, и в службе — основа успеха и победы. Но пай-курсанта из него не вышло. Что уж он там натворил, из дошедших до нас документов неясно. В своих мемуарах Жуков тоже эту историю даже не упоминает. Но вот что опубликовал в своих исследованиях биограф маршала Валерий Краснов:

“Из приказа по 1-м Рязанским кавалерийским курсам
Командного состава РККА
№ 211 (село Старожилово) от 31 июля 1920 года

Убывшего в распоряжение Рязгубвоенкомата курсанта т. Жукова Георгия (старшина 1-го эскадрона), откомандированного за нарушение воинской дисциплины, исключить из списков Курсов курсантов 1-го эскадрона с 29 июля, провиантского, приварочного с 31 июля, чайного, табачного, мыльного с 1 августа и денежного довольствия с 1 июля...”

Правда, уже через неделю руководитель курсов сменил гнев на милость и, должно быть, в связи с изменившимися обстоятельствами издал другой приказ — о том, что “прибывшего из ГУВУЗа для окончания курса старшину курсантов т. Жукова Георгия зачислить в списки курсантов 1-го эскадрона с 5-го августа, провиантское, приварочное, чайное, табачное, мыльное с 1 августа и денежное довольствие с 1 июля с. г.”

Среди курсантов Жуков выделялся своим опытом и великолепными кавалерийскими навыками. Неплохо владел винтовкой и приёмами штыкового боя. В седле держался так, что ему могли позавидовать потомственные казаки. Поскольку уже тогда начал проявлять явные командирские черты, преподаватели, видя его рвение, дали возможность развиваться и этим его чертам. Старшина эскадрона часами занимался с курсантами как преподаватель и наставник — обучал приёмами штыкового боя, владению шашкой и пикой.

К лету 1920 года обострилось положение на юге России. Белье, понимая, что затяжные позиционные бои ведут к постепенному истощению их сил и средств, а значит, к неминуемому поражению, предприняли отчаянную и дерзкую попытку вырвать инициативу из рук красных. Штаб генерала Врангеля разработал операцию, которая должна была коренным образом изменить ход войны. Из Крыма на Кубань выступила группа особого назначения: около 8 000 человек при 12 орудиях, 120 пулемётах, 8 аэропланах. Группу поддерживал отряд броневиков. Командовал десантом генерал С. Г. Улагай. Улагаевскому десанту вначале сопутствовал некоторый успех, но вскоре продвижение его застопорилось контратаками красных. Часть казачьих станиц встала под знамёна белых, но массового восстания против большевиков, на что рассчитывал Врангель, планируя эту операцию, не произошло. Красная армия к тому времени была уже достаточно сильна, и в дело были брошены резервы, в том числе и сводная 2-я Московская курсантская бригада. Она состояла из курсантов, прибывших в Москву из Твери, Рязани и других городов. Костяк её составляли слушатели различных курсов, находившихся в самой Москве.

Из “Воспоминаний и размышлений”: “В середине июля курсантов спешно погрузили в эшелоны. Никто не знал, куда нас везут. Видели только, что едем в сторону Москвы. В Москве курсы сосредоточили в Лефортовских казармах, где уже были расквартированы тверские и московские курсанты. Нам объявили, что курсы войдут во 2-ю Московскую бригаду курсантов, которая будет состоять из двух пехотных полков и одного кавалерийского. Бригада будет направлена на врангелевский фронт. Мы получили всё необходимое боевое снаряжение и вооружение. Экипировка и конская амуниция были новые, и внешне мы выглядели отлично.

В Москве у меня было много родственников, друзей и знакомых. Хотелось перед отправкой на фронт повидать их, особенно ту, по которой страдало молодое сердце, но, к сожалению, я так и не смог никого навестить. Командиры эскадрона, часто отлучавшиеся по различным обстоятельствам, обычно оставляли меня, как старшину, за главного. Пришлось ограничиться письмами к знакомым. Не знаю, то ли из-за этого или по другой причине, между мной и Марией произошла размолвка. Вскоре я узнал, что она вышла замуж, и с тех пор никогда её больше не встречал”.

Мария — это вовсе не та, которая совсем недавно его выхаживала в лазарете. Не “гимназистка Волохова”, а другая, таинственная Мария, хозяйская дочь из московского дома, где он когда-то, в другой жизни, работая в скорняжной мастерской и магазине дядюшки Михаила Артемьевича, снимал комнату. Судя по всему, встречи с нею он больше не искал. Солдатская жизнь относилась к нему туда, где для личной жизни времени оставалось до обидного мало.

Похоже, что пока на любовном фронте наш герой терпел поражение за поражением. Вначале Нюра Синельщикова из Стрелковки, а теперь Мария, которую, как ему тогда казалось, он тоже нежно любил.

Но судьба несла, уносила его к другим берегам, глубоко прорезая тот предначертанный, единственный путь и всё остальное делая второстепенным.

Конечно, в Москве хотелось повидать родню. О судьбе Александра он уже знал из писем младшего брата Михаила: Сашка добровольцем ушёл в Красную армию и был убит в бою под Царицыном. Михаил тоже на фронте в Красной армии, где-то воюет.

В начале августа 1920 года сводный курсантский полк сосредоточился под Екатеринодаром. Начались бои. Полк действовал в районе станиц Урупской, Бескоробной, Отрадной, Степной.

Когда Улагай отступил обратно в Крым, и на фронте наступило некоторое затишье, курсантов направили в Армавир. Здесь у них приняли экзамены и тут же зачислили командирами взводов. Большинство однокурсников Жукова были направлены в 14-ю отдельную кавалерийскую бригаду, по-прежнему занятую ликвидацией остатков улагаевских отрядов. Сюда же, в 1-й кавалерийский полк попал и Жуков.

Чуть позже он узнал, что большинство его товарищей по Рязанским курсам, в составе сводного полка продолжавших преследование отходящих войск генерала Улагая, попали в засаду в горах Дагестана. При этом многие были убиты, а другие взяты в плен и зверски замучены.

Из донесения командира 1-го кавполка начальнику штаба кавалерийской бригады 14-й стрелковой дивизии имени А. К. Стёпина о прибывших в полк командирах:

“...15. Георгий Константинович Жуков.

Род оружия — кавалерия.

На какую должность назначен — на должность командира взвода.

Год, месяц, число назначения — 1920 г<од>, 19 октября.

С какой должности назначен и какие занимал должности в старой армии — в должности командира взвода, в старой армии — вахмистр.

Краткая боевая характеристика и достоинство на высшую должность — в боевом отношении неизвестен, знания службы хорошие, исполнительен, член РКП”.

В донесении командира кавполка в штаб 14-й кавбригады, между прочим, о командире взвода Георгии Жукове говорится: “Образование: общее — 4 класса городского училища, военное — 1 Рязанские кавалерийские курсы”.

В то время членом Реввоенсовета Южного фронта служил Сталин.

Судьба пока держала их на расстоянии друг от друга. Но наступит время — и произойдёт это довольно скоро! — они окажутся рядом. В одном кабинете. За одним столом. У одной оперативной карты. На долгие годы.

1-м кавалерийским полком бригады, как вспоминал маршал, командовал старый казак, “храбрец и рубака” Андреев. И вот к нему в штаб и прибыло долгожданное пополнение — группа молодых командиров взводов.

Андреев взглянул на новоприбывших. Особенно долго разглядывал их красные революционные галифе. И сказал:

— Мои бойцы не любят командиров в красных штанах.

Взводные молчали.

— Красные штаны на передовой — это, знаете ли...

— Других нет, — вдруг сказал Жуков. — А этими нас обеспечила Красная армия.

Взводным было обидно. Красные революционные шаровары в войсках считались шиком. В некоторых частях, особенно обносившихся, они шли чуть ли не за ордена — как награды.

Комполка, между тем, продолжал в том же пренебрежительно-недоверчивом тоне:

— У нас бойцы больше из бывалых вояк. Не первую войну воюем. А обстрелянных и желторотых мы не жалуем. Так что тяжеловато вам придёт-ся на первых порах. Но — как себя покажете.

Жуков усмехнулся. И комполка тут же спросил его:

— Вот вам, товарищ Жуков, приходилось ли воевать?

И когда Жуков назвал номер своего полка и дивизии, когда перечислил все операции, в которых приходилось участвовать и в одной войне, и в другой, казак просветлел лицом и оживился:

— Выходит, ты, братец, рядом с Первой Донской казачьей дивизией воевал!

— Точно так! — обрадовался и Жуков. — Донцы-молодцы рядом наступали.

— Ну, тогда направляю вас в самый лучший эскадрон. Командиром там Вишневецкий. Бывалый рубака, человек, как говорят, строгий, но справедливый.

Прибыли в эскадрон. Командир эскадрона принял их весьма своеобразно. Он читал книгу. Когда они вошли в штабную избу, глаза поднял только на мгновение. Выслушал доклад и распорядился, всё так же не отрываясь от книги:

— Вы, Жуков, ступайте во второй взвод и принимайте его от Агапова. Вас, Ухач-Огорович, назначаю на четвёртый взвод. Всё, можете быть свободными. Идите и принимайте своё хозяйство. Потом доложите.

Агапов оказался пожилым усталым человеком. Воевал он уже не первую войну. Исполнял обязанности взводного после недавних боёв, когда выбыл командир. Старый кавалерист достал из кармана шинели список взвода и сказал:

— Во взводе тридцать человек. Все в наличии. Все старые, проверенные делом бойцы. За исключением четверых. Они прибыли недавно — пополнение. Народ, как говорится, пожилой, степенный. Но есть и с норовом.

И Агапов коротко рассказал о каждом. Это был один из тех незабываемых уроков будущего полководца, который преподнёс ему старый русский кавалерист. И эту науку Жуков усвоил сразу и навсегда — знать биографию каждого своего подчинённого и понимать его характер, предвидеть возможные его поступки и шаги.

— Горшков — рубака. И партизан.

— В каком смысле? — переспросил Жуков.

— В самом плохом. Вне строя любит попартизанить. По деревням там... По женской части. По продовольственной... Но в бою, в атаке — первый. Он сразу себя покажет. Такой. Но голос на него повышать не следует — обидчив. С ним лучше поговорить наедине: так, мол, и так, братец... Касьянов — пулемётчик. Пулемётчик, пожалуй, из лучших в эскадроне. Воронезский хохол. Надёжный. Опытный. Бой чует — как собака лису. Ему не надобно ставить задачу, время терять, он сам знает своё место, где занять позицию и какую цель первой поразить. А дальше трое неразлучных — Казакевич, Ковалёв, Сапрыкин. Они и в бою всегда рядом. Если куда послать, то только всех троих. Гулеваны. В обороне за ними глаз да глаз... Этих, если что, и перед строем можно пропесочить. Пригрозить. И даже к комиссару полка отправить. Чтобы и он их, своим калибром, слегка поправил. Ко-

миссар у нас человек строгий и не любит, когда личный состав красноармейскую честь позорит.

Жуков выслушал Агапова и сказал:

— Вот что: назначаю вас своим помощником. А сейчас стройте взвод. Хочу познакомиться. Поговорить.

Построили взвод. Вот они, стоят, его молодцы — курские, воронежские, орловские, смоленские. Смотрят с прищуром и лёгкой насмешкой. Ну, ничего...

— Вот что, товарищи, — начал он. — Меня назначили вашим командиром. Хороший или плохой я командир, хорошие или плохие вы бойцы — это мы увидим в ближайшем бою. А сейчас я хочу посмотреть ваших коней и боевое снаряжение. Будем считать это нашим знакомством.

Начался осмотр. Взводный внимательно осматривал лошадей, просил поднять ногу, чтобы убедиться в том, что подкова сидит хорошо, а “стрелка” копыта прочищена, не забита грязью. Знакомился с красноармейцами: кто откуда родом, где воевал. А красноармейцы с тем же вниманием рассматривали его. Жуков заметил, что бойцы не спускают глаз с его штанов. И сказал взводу:

— Командир полка меня предупредил, что вы не любите красные брюки. Но вот какие дела, товарищи бойцы: Советская власть выдала мне эти, и то в долг, я их ещё не отслужил. А служить будем вместе. Что касается красного цвета вообще, то тут я вас могу успокоить: красный цвет — революционный цвет, и символизирует борьбу трудового народа за свою свободу и независимость.

Бойцы немного успокоились. Хотя перед боем порой шутили: сейчас, мол, пойдём вперёд с “красным знаменем”. И действительно, в первую же конную атаку, которая случилась через несколько дней в Приморском районе, Жуков кинулся во главе своего взвода с шашкой наголо. Храбрость и иные командирские качества нового взводного красноармейцы оценили сразу, и отношения вошли в русло устава.

В том бою взвод атаковал в составе эскадрона. Влетели на позиции белых, порубали пулемётчиков, многих взяли в плен. Сами не потеряли ни одного человека.

Глава восьмая

В СОСТАВЕ КАРАТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

“После шести рукопашных схваток разбил банду...”

Вскоре Жукова назначили на эскадрон. И уже командиром эскадрона в составе всё той же 14-й отдельной кавалерийской бригады Жуков был направлен в Воронежскую губернию.

Здесь, возмущённые жестокостью продотрядов и произволом местных комбедов, восстали крестьяне богатых деревень и хуторов. К ним примкнули дезертиры, остатки разбитых белогвардейских отрядов, бывшие офицеры, прятавшиеся в здешней сельской глуши от диктатуры пролетариата. Вскоре разрозненные отряды мятежников были объединены в дивизию, дивизия разделена на полки, которые получили наименования — Старокалитвенский, Новокалитвенский, Дерезовский, Криничанский, Дерезоватский. Возглавил народное формирование бывший вахмистр и житель слободы Старая Калитва, что в сорока верстах от Россоши, Иван Сергеевич Колесников.

Этот воронежский Емелька Пугачёв был незаурядной личностью. Местные его побаивались и любили одновременно. За предательство мог зарубить шашкой. Не позволял своим хлопцам грабежей и реквизиций. Крестьяне говорили о нём: “Где Колесников, там и правда”. Его полки и эскадроны шли в бой против “коммуни”, продразвёрстки и мобилизации. На развёрнутых знамёнах были начертаны лозунги: “Против грабежей и голода!”, “Долой

уголовно-бандитскую власть предателей русского народа — коммунистов!”, “Да здравствует Великая, Единая и Неделимая Россия!”, “Да здравствует Учредительное собрание!”

Дивизия Колесникова долго не соединялась с мятежниками соседней губернии — Тамбовской, где восстание проходило под лозунгами и явным влиянием эсеров. Но обстоятельства заставили народного атамана из Старой Калитвы примкнуть к политизированным антоновцам. И уже в стане антоновцев бывший вахмистр и бывший большевик возглавил одну из армий. В эскадронах Колесникова воевали бывалые рубаки.

Воевать с такими, да при том, что мятежников всячески поддерживало, укрывало и подкармливало местное население, было непросто.

Понимали ли тогда командир красного эскадрона Жуков и его товарищи, что воевали со своим народом?

В мемуарах маршала размышления о сущности “тамбовского бунта” окрашены в однородный цвет — красный. Ни одного оттенка. Но иначе и не могло быть — кто бы позволил написать иначе, даже если бы в голове роились какие-то сомнительные мысли. Политически, так сказать, выдержанно, сухо, как в передовице главной партийной газеты: “Политическую организацию эсеров-кулацкого восстания возглавлял ЦК эсеров. Своей главной задачей он считал свержение Советской власти”.

Здесь, в дни проведения масштабной карательной экспедиции в Воронежской, Тамбовской и Саратовской губерниях, у Жукова произошли две встречи, которые во многом повлияли на его судьбу, на годы определили его семейное положение.

Из “Воспоминаний и размышлений”: “Вскоре командующим войсками по борьбе с антоновщиной был назначен М. Н. Тухачевский.

О Михаиле Николаевиче Тухачевском мы слышали много хорошего, особенно о его оперативно-стратегических способностях, и бойцы радовались, что ими будет руководить такой талантливый полководец.

Впервые я увидел М. Н. Тухачевского на станции Жердевка, на Тамбовщине, куда он приехал в штаб нашей 14-й отдельной кавалерийской бригады. Мне довелось присутствовать при его беседе с командиром бригады. В суждениях М. Н. Тухачевского чувствовались большие знания и опыт руководства операциями крупного масштаба.

После обсуждения предстоящих действий бригады Михаил Николаевич разговаривал с бойцами и командирами. Он интересовался, кто где воевал, каково настроение в частях и у населения, какую полезную работу мы проводим среди местных жителей.

Перед отъездом он сказал:

— Владимир Ильич Ленин считает необходимым как можно быстрее ликвидировать кулацкие мятежи и вооружённые банды. На вас возложена ответственная задача. Надо всё сделать, чтобы выполнить её как можно быстрее и лучше.

Мог ли я подумать тогда, что всего через несколько лет мне придётся встретиться с Михаилом Николаевичем в Наркомате обороны при обсуждении теоретических основ тактического искусства советских войск!..

С назначением М. Н. Тухачевского и В. А. Антонова-Овсенко борьба с бандами пошла по хорошо продуманному плану. Заместителем М. Н. Тухачевского был И. П. Уборевич, который одновременно возглавлял действия сводной кавалерийской группы и сам участвовал в боях с антоновцами, показав при этом большую личную храбрость.

Особенно сильные бои по уничтожению антоновских банд развернулись в конце мая 1921 года в районе реки Вороны, у населённых пунктов Семёновка, Никольское, Пуцино, Никольское-Перевоз, Тривки, Ключки, Екатериновка и у реки Хопер. Здесь хорошо действовали кавалерийская бригада Г. И. Котовского, кавбригада Дмитренко, Борисоглебские кавалерийские курсы и наша 14-я отдельная кавбригада под командованием Милонова. Но полностью уничтожить банду в то время всё же нам не удалось.

Основное поражение антоновцам было нанесено в районе Сердобска, Бакуры, Елани, где боевые действия возглавил И. П. Уборевич. Остатки раз-

громленной банды бросились врассыпную в общем направлении на Пензу. В Саратовской губернии они были почти полностью ликвидированы...”

Итак, красный маршал Тухачевский произвёл на командира эскадрона, судя по эпитетам, сильное впечатление. Но многие из этих эпитетов сразу, как только автор “Воспоминаний и размышлений” начинает ретроспективное инспектирование состояния войск Красной армии, её вооружения, снаряжения и технического оснащения, как только приступает к серьёзному анализу просчётов и поражений, — все эти поклоны превращаются в общие фразы, повисают в воздухе. Писатель и биограф Жукова Владимир Карпов сразу заметил эти несоответствия и зазоры: “Противоречия в оценках Жукова объясняются и цензурными барьерами, и усердием “доработчиков”. Да и сам Жуков в разговоре со своим биографом признался: “Книга воспоминаний наполовину не моя”.

Тем не менее, Жуков назвал имена главных героев трагедии на Тамбовщине: Ленина, Тухачевского, Антонова-Овсеенко, Уборевича, Котовского. Пожалуй, только Дзержинский и Склянский остались за пределами его воспоминаний. Но это были люди из другого ведомства, которое, как покажет дальнейшее, будет всегда враждебно ему, полководцу и солдату.

Вот основные требования приказа № 171 “демона Гражданской войны” Тухачевского, изданного им сразу по прибытии на Тамбовщину:

“1. Граждан, отказывающихся называть своё имя, расстреливать на месте без суда.

2. В селениях, в которых скрывается оружие, властью уполиткомиссии или райполиткомиссии объявлять приговор об изъятии заложников и расстреливать таковых в случае несдачи оружия.

3. В случае нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте без суда старшего работника в семье.

4. Семья, в доме которой укрылся бандит, подлежит аресту и высылке из губернии, имущество её конфискуется, старший работник в этой семье расстреливается без суда.

5. Семьи, укрывающие членов семьи или имущество бандитов, рассматривать как бандитов, и старшего работника этой семьи расстреливать на месте без суда.

6. В случае бегства семьи бандита имущество таковой распределять между верными Советской власти крестьянами, а оставленные дома сжигать или разбирать.

7. Настоящий приказ проводить в жизнь сурово и беспощадно”.

А уже на следующий день Тухачевский, этот, по определению Жукова, “гигант военной мысли, звезда первой величины в плеяде выдающихся военачальников Красной Армии”, издал приказ о применении против повстанцев отравляющих газов, то есть химического оружия.

Осмелюсь предположить, что эти пафосные характеристики, столь несвойственные суровому и сдержанному стилю маршала, “доработали” те, кто головой отвечал по различным ведомствам — от КГБ до Генштаба и Главного политического управления — за “качество”, то есть политическое соответствие мемуаров маршала Победы генеральной линии партии и правительства. Вот ещё о тамбовском газозвике Тухачевском — в тех же “Воспоминаниях и размышлениях”: “Умный, широко образованный профессиональный военный, он великолепно разбирался как в области тактики, так и в стратегических вопросах. М. Н. Тухачевский хорошо понимал роль различных видов наших вооружённых сил в современных войнах и умел творчески подойти к любой проблеме...”.

Если иметь в виду ещё одну цитату из приказа, изданного Тухачевским на следующий день после приведённого выше, то слова Жукова, вольно или невольно, наполняются исторической иронией. Вот она, эта цитата: “Остатки разбитых банд и отдельные бандиты продолжают собираться в лесах, — говорится в приказе тамбовского диктатора. — Леса, в которых укрываются бандиты, должны быть очищены с помощью удушающих газов. Всё должно быть рассчитано так, чтобы газовая завеса, проникая в лес, уничтожала там всё живое. Начальник артиллерии и специалисты, компетентные в

такого рода операциях, должны обеспечить достаточное количество газов”.

И ещё — из-под того же пера “гиганта военной мысли”, который всегда “умел творчески подойти к любой проблеме”, вышли следующие строки: “Без расстрелов ничего не получается. Расстрелы в одном селении на другое не действуют, пока в них не будет проведена такая же мера”.

Не будем давать никаких оценок этому документу. Воздержимся и от каких бы то ни было комментариев, ибо комментарий, как верно заметил мудрый Владимир Карпов, — это уже мировоззрение.

Атмосфера, которая царила в те дни на Тамбовщине, а также в соседних Воронежской и Саратовской губерниях, в целом не отличалась человеколюбием и благородством. Стороны вели жестокую войну, в которой не щадили ни своих противников, ни самих себя.

Вот как вспоминает Жуков один такой бой, в котором ему довелось участвовать. Произошло это близ села Вязовая Почта весной 1921 года.

“Рано утром наш полк в составе бригады был поднят по боевой тревоге. По данным разведки, в 10–15 километрах от села было обнаружено сосредоточение до трех тысяч сабель антоновцев. Наш 1-й кавполк следовал из Вязовой Почты в левой колонне; правее, в 4–5 километрах, двигался 2-й полк бригады. Мне с эскадром при 4 станковых пулеметах и одном орудии было приказано двигаться по тракту в головном отряде.

Пройдя не более пяти километров, эскадрон столкнулся с отрядом антоновцев примерно в 250 сабель. Несмотря на численное превосходство врага, развернув эскадрон и направив на противника огонь орудия и пулемётов, мы бросились в атаку. Антоновцы не выдержали стремительного удара и отступили, неся большие потери.

Во время рукопашной схватки один антоновец выстрелом из обреза убил подо мной коня. Падая, конь придавил меня, и я был бы неминуемо зарублен, если бы не выручил подоспевший политрук Ночёвка. Сильным ударом клинка он зарубил бандита и, схватив за поводья его коня, помог мне сесть в седло.

Вскоре мы заметили колонну конницы противника, стремившуюся обойти фланг эскадрона. Немедленно развернули против неё все огневые средства и послали доложить командиру полка сложившуюся обстановку. Через 20–30 минут наш полк двинулся вперёд и завязал огневой бой.

2-й полк бригады, столкнувшись с численно превосходящим противником, вынужден был отойти назад. Пользуясь этим, отряд антоновцев ударил нам во фланг. Командир полка решил повернуть обратно в Вязовую Почту, чтобы заманить противника на невыгодную для него местность. Мне было приказано прикрывать выход полка из боя.

Заметив наш маневр, антоновцы всеми силами навалились на мой эскадрон, который действовал уже как арьергард полка.

Бой был для нас крайне тяжёлым. Враг видел, что мы в значительном меньшинстве, и был уверен, что сомнёт нас. Однако осуществить это оказалось не так-то просто. Спасло то, что при эскадроне было 4 станковых пулемёта с большим запасом патронов и 76-мм орудие.

Маневрируя пулемётами и орудием, эскадрон почти в упор расстреливал атакующие порядки противника. Мы видели, как поле боя покрывалось вражескими трупами, и медленно, шаг за шагом, с боем отходили назад. Но и наши ряды редели. На моих глазах свалился с коня тяжело раненный командир взвода, мой товарищ Ухач-Огорович.

Это был способный командир и хорошо воспитанный человек. Отец его, полковник старой армии, с первых дней перешёл на сторону советской власти, был одним из ведущих преподавателей на наших рязанских командных курсах.

Теряя сознание, он прошептал:

— Напиши маме. Не оставляй меня бандитам.

Его, как и всех раненых и убитых, мы увезли с собой на пулемётных санных и орудийном лафете, чтобы бандиты не могли над ними надругаться.

Предполагавшаяся контратака полка не состоялась: не выдержал весенний лёд на реке, которую надо было форсировать, и нам пришлось отходить до самой Вязовой Почты.

Уже в самом селе, спасая пулемёт, я бросился на группу бандитов. Выстрелом из винтовки подо мной вторично за этот день была убита лошадь. С револьвером в руках пришлось отбиваться от наседавших бандитов, пытавшихся взять меня живым. Опять спас политрук Ночёвка, подскочивший с бойцами Брыксиным, Юршковым и Ковалёвым.

В этом бою мой эскадрон потерял 10 человек убитыми и 15 ранеными. Трое из них на второй день умерли, в том числе и Ухач-Огорович, мой друг и боевой товарищ.

Это был тяжёлый для нас день”.

За тот бой Жуков и был представлен к ордену Красного Знамени. Из приказа РВСР за № 183 от 31 августа 1922 года:

“Награждён орденом Красного Знамени командир 2-го эскадрона 1-го кавалерийского полка отдельной кавалерийской бригады за то, что в бою под селом Вязовая Почта Тамбовской губернии 5 марта 1921 г<ода>, несмотря на атаки противника силой 1500–2000 сабель, он с эскадронам в течение 7 часов сдерживал натиск врага и, перейдя затем в контратаку, после шести рукопашных схваток разбил банду”.

Свой первый боевой орден наш герой заслужил в честном сабельном бою, где победу добывают храбростью, силой и ловкостью. Газами в том бою не пахло...

Народная молва, склонная к романтизации и поэтизации прошлого, когда прошлое уже не ощущает боли потерь, свидетельствует о том, что-де атаман Колесников и красный командир Жуков встретились именно в том бою. И сошлись на саблях. Ни тот, ни другой не смогли одолеть поединщика. И тот, мол, и другой почувствовали силу друг друга и разъехались.

Жуков в книгу мемуаров этот яркий эпизод почему-то не включил. Но рассказал его Константину Симонову: “В 1921 году мне пришлось быть на фронте против Антонова. Надо сказать, это была довольно тяжёлая война. В разгар её против нас действовало около семидесяти тысяч штыков и сабель. Конечно, при этом у антоновцев не хватало ни средней, ни тем более тяжёлой артиллерии, не хватало снарядов, бывали перебои с патронами, и они стремились не принимать больших боёв. Схватились с нами, отошли, рассыпались, исчезли и возникли снова. Мы считали, что уничтожили ту или иную бригаду или отряд антоновцев, а они просто рассыпались и тут же рядом снова появились. Серьёзность борьбы объяснялась и тем, что среди антоновцев было очень много бывших фронтовиков и в их числе унтер-офицеров. И один такой чуть не отправил меня на тот свет.

В одном из боёв наша бригада была потрёпана, антоновцы изрядно насыпали нам. Если бы у нас не было полусотни пулемётов, которыми мы прикрывались, нам бы вообще пришлось плохо. Но мы прикрывались ими, оправились и погнали антоновцев.

Незадолго до этого у меня появился исключительный конь. Я взял его в бою, застрелив хозяина. И вот, преследуя антоновцев со своим эскадронам, я увидел, что они повернули мне навстречу. Последовала соответствующая команда, мы рванулись вперед, в атаку. Я не удержал коня. Он вынес меня шагов на сто вперёд всего эскадрона. Сначала всё шло хорошо, антоновцы стали отступать. Во время преследования я заметил, как мне показалось, кого-то из их командиров, который по снежной тропке — был уже снег — уходил к опушке леса. Я за ним. Он от меня... Догоняю его, вижу, что правой рукой он нахлестывает лошадь плеткой, а шашка у него в ножнах. Догнал его и, вместо того чтобы стрелять, в горячке кинулся на него с шашкой. Он нахлестывал плеткой лошадь то по правому, то по левому боку, и в тот момент, когда я замахнулся шашкой, плетка оказалась у него слева. Хлестнув, он бросил её и прямо сходу, без размаха вынес шашку из ножен, рубанул меня. Я не успел даже закрыться, у меня шашка была ещё занесена, а он уже рубанул, мгновенным, совершенно незаметным для меня движением вынес её из ножен и на этом же развороте ударил меня поперёк груди. На мне был крытый сукном полушубок, на груди ремень от шашки, ремень от пистолета, ремень от бинокля. Он пересёк все эти ремни, рассёк сукно на полушубке, полушубок и выбил меня этим ударом из седла. И не подоспей здесь мой политрук, который зарубил его шашкой, было бы мне плохо.

Потом, когда обыскивали мёртвого, посмотрели его документы, письмо, которое он не дописал какой-то Галине, увидели, что это такой же кавалерийский унтер-офицер, как и я, и тоже драгун, только громаднейшего роста. У меня потом ещё полмесяца болела грудь от его удара”.

И похоже, и ещё похоже... О его “громаднейшем росте” Жуков, возможно, упомянул намеренно. Колесников был примерно такого же роста, как и его возможный соперник. В чекистских листовках, отпечатанных для красноармейцев с целью возможного опознания атамана, значилось буквально следующее: “среднего роста, блондин, коренастый...” Такую же ориентировку могли бы дать и на Жукова.

Но хроника событий на Тамбовщине подтверждает, что “22 марта у села Талицкий Чамлык, что на стыке современных Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей, произошёл упорный встречный бой семи полков 1-й повстанческой армии с 14-й отдельной кавбригадой красных под командованием А. Милонова”, что “потери повстанцев в этом бою составили около трёхсот человек убитыми и ранеными”.

В местных хрониках на Тамбовщине и Воронежщине много легенд и былей. Рассказывают, что и защитники народа из дивизии Колесникова пополнение в свои сотни набирали так: залетят в которую-нибудь деревню, стоят к амбару мужиков, способных сесть на коня и держать в руках шашку, ствят пулемёт с заправленной лентой и объявляют: “Кто с нами — сюда, в шеренгу, а кто нет — туда”. — И сотник плетью указывает на стену амбара, куда смотрит пулемёт. Так что во время такой агитации и инвалиды на коней запрыгивали добрыми молодцами...

А погубила Колесникова женщина.

Говорят, чекисты внедрили в штаб калитвенского атамана свою сотрудницу — двадцатилетнюю Екатерину Вереникину. И была та Екатерина Вереникина такой красоты и женской прелести, что глаз не отвести. Увидел её Колесников и, как пишут про такие истории, кровь взыграла, а ум помутился.

Так оно и было. Вначале приблизил к себе, назначил на какую-то штабную должность, чтобы чаще иметь красавицу рядом. А потом...

Что — потом... Потом чекисты уничтожили лучший Старокалитвенский полк повстанцев, “по непонятным причинам вышедший на линию артиллерийского и пулемётного огня красных”. Погиб командир полка, брат атамана Колесникова Григорий. В руки чекистов попала вся канцелярия и архив повстанцев. Колесникова стали обкладывать, как волка. Теперь он был у них на виду. Звериное чутьё и осторожность, которые много раз спасали ему жизнь, оказались слабее женских чар и женского коварства.

Колесников был убит в бою близ села Дерезоватское. Его товарищи долго потом искали могилу. Но так и не нашли. И это обстоятельство породило легенду о том, что атаман не погиб. Действительно, часть его людей ушла к Харькову и соединилась с вольным войском батьки Махно. Мелкие отряды и группы какое-то время кружили по Тамбовщине, пока Советская власть не объявила амнистию.

Многие мужики вернулись в свои деревни. Сдали оружие и начали отстраивать пожжённые тухачевцами дома. О том, что потеряли и приобрели, старались не думать. Но порой под чарку вспоминали, как под рукою атамана Колесникова “воны гарно размахнулись”.

Человек, убитый во время операции, проведённой ЧОНовцами по наводке Екатерины Вереникиной, хоть и одет был в одежду атамана Ивана Колесникова, но при опознании местными жителями таковым признан не был.

Вот и думай, дорогой мой читатель, погубила красавица атамана, или, наоборот, спасла его. Ведь он был и красив, и удал.

Женщина встретила в эту пору и нашему герою.

История знакомства Жукова со своей будущей женой носит характер почти комический.

Однажды командир эскадрона со своим политруком Яниным остановились на постой в доме местного священника. Сели за стол ужинать. И вдруг на печи под старыми зипунами послышался шорох.

— Кто там? — строго спросил Янин.

С печи слезла девушка. Совсем молоденькая. Невысокого росточка. И с виду ничего себе. Жукову она сразу приглянулась.

— Ты кто? — спросил он её.

— Я — поповна, — ответила та.

Жуков засмеялся. Кивнул политруку:

— Янин, ты когда-нибудь видел такую поповну? — И тут же пододвинул к столу табуретку: — А ну, садись, поповна, с нами.

Пили чай и разговаривали.

— Грамотная ли ты? — спросил девушку Жуков.

Уже познакомились. “Поповну” звали Александрой Зуйковой.

— Грамотная.

— Пойдёшь писарем в эскадрон?

— Пойду.

Дочь Георгия Константиновича и Александры Диевны Эра Георгиевна Жукова об этой встрече её родителей рассказывала так: “Жалко девку, — сказал отец Янину, — всё равно убьют, война ведь. Пусть лучше будет у нас писарем в эскадроне”. И приказал Александру Диевну оформить. Так она оказалась в эскадроне, которым командовал Георгий Константинович”.

По другой версии, Жуков познакомился со своей будущей женой вот при каких обстоятельствах. Однажды, когда эскадрон занял для ночёвки деревню, Жуков увидел, как несколько красноармейцев погнались за местной девушкой. Он тут же окликнул “женихов”, и те ушли несолоно хлебавши. А девушку привёл в штаб.

Из рассказов Эры Георгиевны Жуковой о матери: “Родилась она в 1900 году в селе Анна Воронежской области в многодетной семье агента по продаже зингеровских швейных машин Зуйкова Дия Алексеевича. Имя Дий дал сыну его отец, волостной писарь, встретив это редкое имя в каких-то бумагах. Жили бедно. Но маме удалось закончить гимназию, а затем учительские курсы. Недолго проработав в сельской школе, она встретила с отцом, отряд которого в те годы был направлен в Воронежскую область для борьбы с бандой Антонова, и в 1920 году стала его женой.

Время было трудное, в погоне за белогвардейскими бандами отряд всё время передвигался. И мама была зачислена в штаб отряда писарем. Как она рассказывала, спуску от командира ей никакого не было. А однажды он чуть было не отправил её на гауптвахту за какую-то оплошность при подготовке художественной самодеятельности. Трудности и лишения кочевой военной жизни не мешали их счастью. И оба, уже на моей памяти, любили вспоминать эти годы: как мама часами тряслась в бричке, как перешивала военные гимнастёрки на юбки, а красноармейские бязевые сорочки — на бельё, как плела из веревок “босоножки”.

“Не мешали их счастью...” Ещё как мешали!

Видимо, от постоянной дорожной тряски, от переутомления Александра Диевна потеряла ребёнка. Первенца. Говорят, это был мальчик. Не случись беды, у них был бы сын.

От трёх женщин у Жукова будет четверо детей. Все — девочки. Дочери. Кто знает, возможно, пусть в какой-то мере, тоска по сыну и разладит со временем их семейный союз с Александрой Диевной.

Но об этом — позже.

Глава девятая

КОМАНДИР 39-го БУЗУЛУКСКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА

“Мы совершали марши, учились вести разведку, атаковали, маневрировали...”

Портрет краскома Жукова очень точно набросал в своих воспоминаниях бывший старшина эскадрона Александр Кроник: “Был он невысок,

но коренаст. Взгляд у него спокойный, неназойливый, но цепкий, оценивающий. Скованности в позе комэска не угадывалось, но и той естественной расслабленности, которую может себе позволить человек, ведущий непринуждённую застольную беседу, я тоже в нём не чувствовал. Движения его были сдержанны. Он, вероятно, был очень крепок физически, а в сдержанности каждого его жеста я чувствовал выработанную привычку постоянно контролировать себя, что свойственно людям волевым, внутренне дисциплинированным. Я сразу почувствовал, что мой комэск — настоящая военная косточка”.

Вот когда Жуков стал командиром. Почувствовал силу своей воли. Понял и другое, весьма важное в службе — умение показать и себя, и выучку своего подразделения.

Весной 1923 года он был повышен в должности до помощника командира 40-го кавполка 7-й Самарской кавалерийской дивизии. Дивизия дислоцировалась в районе Минска.

После окончания гражданской войны из Красной армии начали увольнять многих “военспецов” из “бывших”. На их место ставили красных командиров, выдвиженцев из народа, хорошо проявивших себя в боях и походах. Армия постепенно растила свои кадры. Эта кампания вынесла на стremнину и комэска Жукова.

Вначале волевого и деятельного командира заметил командир 7-й кавдивизии Каширин. Познакомились. Оба в годы Первой мировой войны были разведчиками. Им было о чём поговорить.

Комдив хорошо разбирался в людях. В Жукове он сразу разглядел командира с большим будущим: малость его подучи, дальше он сам пойдёт.

Из “Воспоминаний и размышлений”: “Комдив Н. Д. Каширин принял меня очень хорошо, угостил чаем и долго расспрашивал о боевой и тактической подготовке в нашем полку. А потом вдруг спросил:

— Как вы думаете, правильно у нас обучается конница для войны будущего? И как вы сами представляете себе войну будущего?

Вопрос мне показался сложным. Я покраснел и не смог сразу ответить. Комдив, видимо, заметив мою растерянность, терпеливо ждал, пока я соберусь с духом.

— Необходимых знаний и навыков, чтобы по-современному обучать войска, у нас, командиров, далеко не достаточно, — сказал я. — Учим подчинённых так, как учили нас в старой армии. Чтобы полноценно готовить войска, нужно вооружить начальствующий состав современным пониманием военного дела.

— Это верно, — согласился комдив, — и мы стараемся, чтобы наши командиры прошли военно-политические курсы и академии. Но это длительный процесс, а учебных заведений у нас пока маловато. Придётся первое время учиться самим.

Он прошёлся по кабинету и неожиданно объявил, что меня решено назначить командиром 39-го Бузулукского кавалерийского полка.

— Я вас не очень хорошо знаю, но товарищи, с которыми разговаривал, рекомендуют вас на эту должность. Если возражений нет, идите в штаб и получите предписание. Приказ о назначении уже подписан.

Прощаясь с комдивом, я был очень взволнован. Новая должность была весьма почётной и ответственной. Командование полком всегда считалось важнейшей ступенью в овладении военным искусством”.

И там же — размышления маршала о том, что такое полк для командира и для будущего полководца: “Полк — это основная боевая часть, где для боя организуется взаимодействие всех сухопутных родов войск, а иногда и не только сухопутных. Командиру полка нужно хорошо знать свои подразделения, а также средства усиления, которые обычно придаются полку в боевой обстановке. От него требуется умение выбрать главное направление в бою и сосредоточить на нём основные усилия. Особенно это важно в условиях явного превосходства в силах и средствах врага.

Командир части, который хорошо освоил систему управления полком и способен обеспечить его постоянную боевую готовность, всегда будет пере-

довым военачальником на всех последующих ступенях командования как в мирное, так и в военное время”.

Из приказа по 39-му Бузулукскому кавалерийскому полку:

“№ 224, лагерь Ветка
8 июля 1923 г<ода>

Согласно приказа 7-й Самарской кавдивизии от 8 июля сего года за № 319, сего числа вступил во временное командование 39-м Бузулукским кавполком.

Основание: приказ 7-й Самарской кавдивизии № 319.

Командир 39-го Бузулукского кавполка ЖУКОВ
Военный комиссар БУШЕВ
Начальник штаба ЛИЦКИЙ”.

Полк стоял в летних лагерях. Горнист трубил утреннюю зорю, и для красноармейцев и командиров начинался очередной день боевой учёбы.

Что ж, Жуков был превосходным кавалеристом. Он мог любому в своём полку сказать: “Делай, как я!” — и ловко, одним махом, сесть в седло, бросить коня в галоп, мгновенным движением выхватить шашку и рубить “лозу” и “горку” из мокрой глины на высоком станке. Так он время от времени проводил занятия с младшими командирами. Знал, что среди них есть сверхсрочники, старые рубаки не хуже него, так что эти выезды были уроками проверки физического состояния и боевой выучки и для него тоже. Слышал сквозь топот копыт возгласы стариков: “Эх, как рубит!” А потом резко осаживал, поворачивал разгорячённого коня и командовал:

— Справа по одному-у! На открытую дистанцию на рубку лозы галопом — ма-арш-ш!

И пошла карусель! Внимательно следил за действиями своих подчинённых, подмечал все ошибки и просчёты. Потом делал подробный разбор.

Из воспоминаний Александра Кроника: “И так же отменно владел он приёмами штыкового боя. Винтовка в его руках казалась лёгонькой, как перо. Преодолевал он провололочные заграждения с удивительной лёгкостью и быстротой: удары прикладом и уколы штыком наносил неожиданные, сильные и меткие.

...Он поднимал эскадрон в любое время суток. Мы совершали марши, учились вести разведку, атаковали, маневрировали. Комэск считал, что полевая тренировка — лучший вид учёбы. Намеченные планы переносить или пересматривать не любил и уж совсем не любил отменять собственные приказы. “Лучше вообще не отдавать приказа, чем отменить отданный приказ”, — сказал он мне однажды”.

Когда Жуков вступил в командование полком, ритм боевой учёбы остался тем же — служба с утренней зóри — побудки — до зóри вечерней — отбоя. А что касается твёрдости приказа, то как тут не вспомнить непреклонного генерала Келлера, который приказал своим полкам в сабельном бою под Ярославцами следовать приказу, полученному перед боем и не отступать от него, что бы ни случилось.

Будущий полководец учился у всех, постоянно, упорно, везде. И это постоянство и упорство, помноженное на лучшие черты характера пилихинской породы, давали прекрасные результаты.

Вот только с личной жизнью у комполка не всё складывалось так, как подобало бы красному командиру и члену партии большевиков.

После того, как у Александры Диевны случился выкидыш, она стала беречься. Врачи советовали покой и предрекали бездетность. Но она вскоре забеременела. А чтобы благополучно выносить плод, уехала к родителям. И, видимо, именно в это время произошла новая встреча Жукова с прежней любовью — Марией Волоховой.

Квартиры командира полка Жукова и комиссара Янина находились рядом. К Антону Митрофановичу к тому времени переехала жить его давняя любовь и фронтовая подруга Полина Николаевна Волохова. А после смерти

родителей из Полтавы в Минск к старшей сестре приехала и младшая, Мария. Старая любовь вспыхнула с новой силой.

Любовь к прекрасному полу у нашего героя была частью любви к прекрасному вообще. Человеком он был физически крепким, красивым, характер имел упорный, по-крестьянски основательный, а потому его любовь к женщинам носила характер такой же основательности и силы.

Признаться, я так и не смог до конца разобраться в обстоятельствах и тайнах этого замысловатого треугольника. И с облегчением снимаю с себя обязанность дотошного исследователя и толкователя взаимоотношений Жукова и его возлюбленных периода 20-х годов. В таких историях до края, чтобы заглянуть в бездну, лучше не ходить. Уж если сам Жуков не разобрался в своих чувствах, то наше дело — сторона...

Младшая дочь от Александры Диевны Элла Георгиевна рассказывала, что её мать и отец в первый раз “расписались в 22-м году. Но, видимо, за годы бесконечных переездов документы потерялись, и вторично отец с мамой зарегистрировались уже в 53-м году в московском загсе”.

Официально Жуков не был женат ни на Марии, ни на Александре. В мемуарах, рассказывая о напряжённой боевой учёбе той поры и неутомимом энтузиазме, с которым его товарищи создавали новую армию, повышали её боеспособность, он, между прочим, пишет: “В начальствующем составе армии люди были, главным образом, молодые и физически крепкие, отличавшиеся большой энергией и настойчивостью. К тому же большинство из нас были холостыми и никаких забот, кроме служебных, не знали”.

Этот абзац Жуков писал, по всей вероятности, сам. “Доработчики” к нему не притронулись — ничего подозрительного не заметили.

Дети и внуки от первых двух жён, конечно же, соперничали между собой, всячески аргументировали своё превосходство. Больше всего в этой семейной дискуссии всегда доставалось и достаётся Александре Диевне. Мол, она заполучила Жукова в семью через партком...

Но вот письма Жукова к ней. Датированы они разными годами. Отношение мужа к ней ровное. Особых сердечных нежностей в письмах Жуков никогда и ни к кому не проявлял.

Дер. Сирод. 12.9.1922.

Здравствуй, милая Шура!

Шлю привет. Прежде всего, хочу тебя успокоить, получил ли я посланные тобой письма. Да, получил... Не знаю, почему шли так долго, наверное, задержались на контрольных пунктах.

Теперь буду писать о себе, так как вижу из писем, что это тебя интересует больше всего. 27 августа прибыл в распоряжение штадива, где я получил назначение командиром 2-го эскадрона 38-го кавполка, куда и прибыл 28 августа. Эскадрон большой и хороший. Так что я занялся серьёзно... Словом, живу хорошо, только тем плохо, что страшно скучно. Деревня глухая, 70 домов. Никуда не выезжаю. До местечка Калиновичей — 6 вёрст, там штаб полка, я пока ни разу не был. Страшно скучаю, хочу безумно видеть тебя, а тут ещё твои письма, полные слёз... Пиши поскорей, куда присылать за тобой и выслать денег... Прости, что плохо писал, страшно болят голова и рука, которую порезал. Твой Жорж”.

Эскадроны полка были расквартированы по окрестным деревням. Вечерами, понятное дело, бывало скучновато. Для Жукова эта скука усугублялась ещё и тем, что он не пил.

А вот более позднее письмо к Александре Диевне:

“Ленинград. 19.10.24.

Здравствуй, милый Шурёнок!

...Вчера, 18.10, закончил последний экзамен, всего держал по семи предметам. Результат следующий: 1-е место по общей тактике “отлично”, 2-е по

тактике конницы “хорошо”, по политграмоте “удовлетворительно”, по стрелковому “отлично”, по езде “хорошо”. Как видишь, Шурик, отметки приятные, и не каждый может это сделать, да и мне это не легко далось. С 6.10 по 18-е, т. е. 12 дней, работал по 18 и по 20 часов, имея определённую цель. Правда, на состоянии отозвалось, начались головные боли, ввалились глаза. Но теперь до 1 ноября буду отдыхать и слегка работать. Сегодня, например, был в городе (с экскурсией). Осмотрел дворец, где жили Александр III и Мария Ф. Во дворце всё сохранилось, как было, роскошь, которую пришлось осмотреть, описать очень трудно. Кроме того, был в Зимнем дворце, где жил Николай II с семейством. Зимний дворец ещё более шикарен и по объёму, и по вкусу. Город очень красив, особенно Невский проспект, но обезображен наводнением, так как все мостовые ещё ремонтируются, и говорят, что к 15 ноября город приведут в нормальный вид...

Кружковая работа, Шурик, у нас уже началась. Езда с 22.10 по 2 часа в день, а остальные занятия начнутся с 1.11. Пока до свидания, милый мой Шурик, целую тебя, твой Жорж”.

Второе, ленинградское письмо к жене содержит любопытный штрих. Сообщая “милому Шурёнку” о своих успехах, Жуков как о наивысшем достижении пишет о том, что он первый в группе по общей тактике. Ему не столько важна оценка — “отлично”, — сколько первенство среди товарищей. Природная, родовая, пилихинская черта — быть первым среди равных. Мы не раз ещё будем наблюдать проявление этой черты и убеждаться в том, какие горы она может двигать. Эта неутолимая жажда первенства и приведёт нашего героя в Берлин — командующим войсками 1-го Белорусского фронта, маршалом Победы.

Вначале — в 1928 году — родила Александра Диевна Зуйкова. Девочку назвали Эрой.

Потом — в 1929-м — родила Мария Николаевна Волохова. И тоже девочку. Её назвали Маргаритой.

Но оставим на некоторое время женщин и вернёмся к службе.

После Николая Каширина 7-й кавдивизией командовал Г. Д. Гай. Дивизия участвовала в больших окружных манёврах, в ходе которых 39-му Бузулковскому кавполку отводилась особая роль. Наблюдатели, в том числе и командующий Западным фронтом Михаил Тухачевский, были поражены быстрым и решительным маневром одного из кавалерийских полков во встречном бою. Полк значительно опередил своего условного противника в развёртывании и фланговым ударом “разгромил его наголову”.

Тухачевский поинтересовался у командира дивизии, кто командует полком. Ему назвали имя Жукова. Такого комполка он не знал. Но действия его отметил, похвалил за быстроту и решительность, за высокую выучку красноармейцев, которая чувствовалась в каждом движении атакующих эскадронов.

В июле 1924 года комдив Гай направил талантливого молодого командира на учёбу в Ленинград. Жукову была выдана следующая аттестация: “Хороший строевик и администратор, любящий и знающий кавалерийское дело. Умело и быстро ориентируется в окружающей обстановке. Дисциплинирован и в высшей степени требователен по службе. За короткое время его командования полком сумел поднять боеспособность и хозяйство полка на должную высоту. В боевой жизни мною не испытан. Занимаемой должностью соответствует.”

Командир 2-й бригады 7-й Самарской дивизии В. Селицкий”.

Командир и военком 7-й кав. Дивизии Г. Д. Гай поставил резолюцию:

“С аттестацией командира бригады вполне согласен. Тов. Жуков теоретически и тактически подготовлен хорошо. За короткий срок поставил полк на должную высоту. Хороший спортсмен-наездник. Должности вполне соответствует”.

Вскоре Жуков отбыл в Ленинград.

В городе революции он был впервые. Здесь его многое поразило. Некоторые свои впечатления он сообщал в письмах к Александре Диевне.

Высшая кавалерийская школа размещалась в корпусах бывшей Высшей кавалерийской школы старой армии. Прекрасная учебная база, налаженный быт, методические кабинеты, манеж для выезда.

Жадный до всего нового, что способствовало совершенствованию его военных знаний и продвижению карьеры, Жуков сразу же с головой погрузился в учёбу.

Начальником курсов в то время был легендарный Примаков. Вскоре его сменил “военспец” Баторский, который реорганизовал курсы, наполнил учебный процесс высокой военной культурой. По его распоряжению была образована особая группа, в которую вошли двадцать пять командиров полков.

Среди двадцати пяти оказались будущие полководцы Великой Отечественной — Баграмян, Ерёмченко, Рокоссовский.

Как все-таки прихотлива судьба!

1924 и 1925 годы в мире были ознаменованы следующими событиями.

В стране принята Конституция СССР — образовано новое государство, раскинувшее свои просторы от моря до моря.

В Германии после провала “мюнхенского путча” арестован и приговорён к пятилетнему тюремному заключению Адольф Гитлер. В камере он писал свой политический манифест — книгу “Майн кампф”.

На парламентских выборах в Италии победили фашисты, Муссолини принял на себя полномочия диктатора.

Лев Троцкий подал в отставку с поста наркома по военным и морским делам. На его место был назначен М. В. Фрунзе, но вскоре его сменил К. Е. Ворошилов.

Умер патриарх Тихон (Василий Иванович Беллавин). Преемник ему не был назначен. В своём завещании Тихон призвал Церковь быть лояльной к Советской власти.

Заключён советско-германский торговый договор.

Последние британские войска выведены из Кёльна (Германия).

На своём XIV съезде партия, которая насчитывает 1 млн 80 000 человек, принимает новое своё название — Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков). Сталин на съезде высказал идею ускоренной индустриализации страны.

Принят закон об обязательной военной службе.

В 1925 году ушли из жизни герои гражданской войны Михаил Васильевич Фрунзе и Григорий Иванович Котовский, поэт Сергей Александрович Есенин. Все — при не до конца выясненных обстоятельствах. Смерть каждого из них так и останется тайной истории.

Иван Христофорович Баграмян те ленинградские дни вспоминал почти с восторгом: “Мы были молоды и, вполне естественно, кроме учёбы, нам хотелось иногда и развлечься, и погулять, что мы и делали: уходили в город, иногда ужинали в ресторане, иногда ходили в театры. Жуков редко принимал участие в наших походах, он сидел над книгами, исследовал операции Первой мировой войны и других войн...”

Другой однокурсник Жукова, Константин Константинович Рокоссовский, вспоминал такую картину: “Жуков, как никто, отдавался изучению военной науки. Заглянем в его комнату — всё ползает по карте, разложенной на полу. Уже тогда дело, долг для него были превыше всего”.

“Георгий Константинович Жуков среди слушателей нашей группы считался одним из самых способных, — вспоминал Баграмян. — Он уже тогда отличался не только ярко выраженными волевыми качествами, но и особой оригинальностью мышления. На занятиях по тактике конницы Жуков не раз удивлял нас какой-нибудь неожиданностью. Решения Георгия Константиновича всегда вызывали наибольшие споры, и ему обычно удавалось с большой логичностью отстоять свои взгляды”.

Удивительное дело, им, молодым курсантам, вскоре предстояло развешаться по своим гарнизонам и полкам, чтобы с новыми силами взяться за боевую учёбу, но на полигоны, рева моторами и лязгая отшлифованными в земле гусеницами, уже выезжали танки и танкетки, бронемашины и артиллерийские тягачи. Техника начинала теснить кавалерию. И многие одно-

кашники Жукова уйдут в другие рода войск. Да и он сам уже скоро распрощается с кавалерийским седлом и шашкой.

Когда были сданы экзамены, Жуков с двумя своими товарищами решил возвращаться к месту службы в Минск своим ходом, на лошадях. 1000 километров марша — это не прогулка. Тем более что они решили преодолеть это расстояние за семь суток. В дороге лошадь Жукова Дира неожиданно захромала. Осмотрел копыто, обнаружил трещину. Кто-то из товарищей предложил залить трещину воском. Так и сделали. Некоторое время Жуков вёл Диру в поводу. Вскоре она перестала хромать, и он вскочил в седло.

В Минске, при въезде в город, группу своих командиров полков, покорявших мировой рекорд, встречал комиссар 7-й Самарской кавалерийской дивизии Григорий Штерн. Комиссар был в приподнятом настроении, он поздравил прибывших с успешным окончанием пробега и сказал, что последние километры надо проскакать полевым галопом.

— Вас там встречает вся дивизия! — сказал он. — Покажите хлопцам, что у вас ещё есть порох в пороховницах!

Порох нашёлся. Хотя последние сутки шли уже на характере. Исхудали лошади. Да и всадникам тоже пришлось прокалывать на ремнях не одну пару дырок.

Это были годы трудовых подвигов, рекордов, свершений и мирных побед.

КАРИНА СЕЙДАМЕТОВА



СЛОВО РУССКОЕ,
БЕСКОЕ, ГРОЗНОЕ

* * *

...А моя любовь иного толка,
А любовь твоя иного склада,
Пусть летит по свету перепёлкой,
Серой птичкой маленькою, ладной.

Расцелуй дни солнечные эти,
Не тревожь лучистое гнездовье,
Где птенцы, что крохотные дети,
Вьются у тебя над изголовьем.

Свитая душой перепелиной,
Преданно порхать одна услада
Навсегда в сторонке соловьиной,
Серой птичкой маленькою, ладной.

Не понять мне, девице-орлице,
Счастья неприметного, простого,
Я вольна-свободна лишь влюбиться
В синь-сиянье трепетного слова.

СЕЙДАМЕТОВА Карина родилась в 1984 году. Автор поэтического сборника "По-зимник". Стихи публиковались во многих всероссийских бумажных и электронных общественно-патриотических изданиях: журнале "Сура" (Пенза), "Дон" (Ростов-на-Дону), "Невский альманах" (СПб), "ВЕЛИКОРОССЬ" и др. Студентка Литературного института им. А. М. Горького. Член Союза писателей России. Живёт в Самарской области.

Дом твой на лугах, лесных полянах
Потаённый отыскать непросто —
Там, где одинаково багряны
Все закаты, а рассветы — росны.

Жизнь моя течёт неторопливо,
Всё-то мне простор, а не свобода...
Вся моя любовь — мотив дождливый,
Летняя нелётная погода.

* * *

*Россия — громадная равнина,
по которой носится лихой человек.*
Антон Павлович Чехов

В руках игрушечный калейдоскоп вертеть,
Событья-стёклышки смыкая воедино.
Понять, что пройдена сумбурно жизни треть,
А Дант писал: "...пройдя до половины..."

Зелёных трав неистовая плоть
Истлеет и земле за всё воздаст,
Останутся лишь Слово и Господь,
Всё будет, как предрёк Экклезиаст.

Век золотой осыплется листвой,
Презренным златом звонко прозвенит.
И под тугой поющей тетивой
Стрела времён нацелится в зенит.

И если Бог — Любовь, и Слово — высь,
Развей обманов прежние дымы!
Здесь травы и созвездия срослись
В стране равнин и ливней — словно... мы.

* * *

Тихий июль. Вечера.
Сядем с тобою вдвоём
Невдалеке от костра,
Поговорим о былом.

Каждый расскажет своё,
Раз уж мы свидетелись вдруг.
Тихий июль разольёт
Дым от кострища округ,

Станет легко и тепло:
Поле-приволье — друзья...
Сколько годков-то прошло?
То ли прошла жизнь твоя?

Ты промолчишь, как тогда.
Я не хочу промолчать.
Вновь золотая звезда
Будет нас тайно венчать.

Мы не о том говорим.
Дай-ка тебя обойму!
Дым от костра — только дым.
Не поддавайся ему.

Звёздное счастье костра
Окружено мошкаррой.
Прелесть земного — игра,
Не обольщайся игрой!

* * *

Мучкой вьюжной, метелицей злоущей
Перемолото снега зерно.
Выпекается нынче не лучшее,
Да и то плохо пропечено!..

Под ногами молочную пахту
Зимка лютая понамела.
Кочевая нам выпала вахта —
Уезжаем с родного села.

В города, за огнями большими
Витражи, витражи, этажи...
Как друг другу мы стали чужими?
Разве так мы хотели, скажи?!

Я не в сказке царевна-лягушка,
Но барахтаюсь, взбив молоко
В масло жизни... Да хлеба краюшка —
То село, что уже далеко.

Далеко... Но всё манит духмяно.
Ностальгический сельский наив!
С земляком о родном-окаянном
На зиме замешу русский миф.

Выпекайся, румяно-морозное,
На печной беспечальной золе,
Слово русское, веское, грозное!
И с припёком цари на земле.

ОЛЬГА ШЕМЕТОВА



СВЕТ, ТВОРЯЩИЙ ЖИЗНЬ

* * *

В городе снова ночь, падает взгляд во тьму...
Я не смогу помочь городу моему —
Слишком он далеко, медленно стал чужим.
Мне было нелегко здесь, а мой город жил
Там, где высокий свод неба объемлет степь,
Где нет таких забот, чтоб поскорей успеть
На дефиле — показ клоунов и певиц,
В вихре безумных фраз телемедийных лиц,
Лезть богачам в глаза, сжав микрофон-весло.
Мне так легко сказать... Городу тяжело
Быть, как глаза, пустым: в треснувшей тишине,
В парке, где Ленин стыл, где голубел в огне
Мой выпускной закат, старых знакомых нет —
Новый пришёл уклад. И на его волне
Вдруг отшвырнуло прочь всех, кто ту степь обжил.
Не захотел помочь нам никакой режим...
Мы оставляли всё, зная, что навсегда.
Так демократий сон кончился, и беда
В щели впустила дым. Но поезда ведь есть!
И, взяв святой воды, каждый принял отъезд.

ШЕМЕТОВА Ольга родилась в г. Кокчетаве (Северный Казахстан). В 1997 году окончила художественно-графический факультет Кокчетавского университета имени Чокана Валиханова. В 1998 году поступила в Литературный институт имени А. М. Горького (семинар С. Ю. Куняева), в 2003 году защитила диплом. Публиковалась в журналах "Юность", "Литературная учёба", "Наш современник". Живёт в Москве.

Ныне вокруг Москва: возле шоссе ларёк,
Блещут огни реклам, музыка в ночь орёт,
Доллары вверх парят, в гости зовут друзья.
Но, переплыв моря, прежними стать нельзя.

В ПУШКИНО

Серое небо окутало город мглой.
В Пушкино тихо, лишь речка Уча журчит.
Берег её лазурный покрыт золой,
И вереница домишек хлебает ши.

А по аллеям летит, как огонь, листва,
В астрах дворы и в зелёных глазах котов.
В старом камине потрескивают дрова,
Дождь отступает, как мировой потоп.

Я ничего не знаю о том, зачем
Жизнь в этот город меня привела: мечтать,
Быт обустроить иль с сумочкой на плече
На местном рынке последний отдать пятак.

Но понимаю, что мне повезло до слёз, —
Есть переулки, заборы, домишек сон,
Серое небо и в линию сжатый плёс.
И хорошо, что на пальце блестит кольцо...

* * *

Посвящается Елене Алексеевой

Что знаем мы о смерти? Бездна лет —
в ней улицы, дома, деревья, люди
незыблемы, но чей-то силуэт
отныне в их толпе уже не будет.

Ему — не быть, а им во мгле стоять
и неизбежно уставать под вечер...
Но серый кот не прыгнет на кровать,
и помнить смысла нет, что время лечит.

И этот страх не только у людей:
деревья гибнут стоя, звери — лёжа.
Но можно ли понять, что быть беде?
Взгляд отвести, который настрожен?

Слова пророков снова нам не впрок.
Но есть ли в этом злая воля свыше?
Нам неизвестен смысл земных дорог,
не ведаем, зачем младенец дышит.

Утраты боль — не порожденье зла,
Она в награду оставляет память.
Нельзя сказать: “Он жил”, “Она жила”, —
ведь вечен Свет, творящий жизнь веками.

Я опять вспоминаю жизнь,
Ту, которой жила когда-то
В тихом городе, где ежи
На тропинках, где небо-вата,
Где на крышах убогих дач
Домотканно-двустенны трубы,
Где качается карагач
И весна надувает губы,
Не желая никак войти
В старый парк, что рассветом болен.
Но туда не ведут пути,
Потому что никто не волен
Выбирать для себя судьбу.
Я могу посетить Варшаву
Иль Париж (и с клеймом на лбу
Оказаться не чуждой шарму).
Но туда, где шумит ковыль,
Мне возврат навсегда заказан.
Потому что настала быль
И закончилось время сказок,
Тех, одной из которых был
Громкий росчерк на карте мира —
СССР, — где меня любил
Этот город, и та квартира
Угловая на этаже
То ли пятом, а то ли вечном...
На оставленном рубеже
Таёт контур, и быстротечно
Пролетают иные дни,
И другие дела тревожат.
Я шепчу лишь: “Не прокляни,
А помилуй, о Боже, Боже...”

Я ПОМНЮ КИЕВ

Я помню Киев в гроздьях винограда.
Мне было десять лет и до распада
Страны, что карту мира берегла,
Ещё дышала жизнь добра без зла.
Крещатик ждал каштановых теней,
И вдаль идущий не был на прицеле.
Купив пломбир, бродила я без цели,
Не ведая глубин грядущих дней.
Мне вдруг букетик подарил цветочник,
И взгляду, как ладонь, раскрылась площадь...
Что тридцать лет спустя горит на ней,
Не знаю я, но ясно вижу лица:
Какая-то безумная столица
Из Африки иль Папуа-Гвиней.
Как будто провели карандашом
Карикатуры из “За рубежом”
(кто помнит эту давнюю газету?)
Омега, альфа, гамма или бета,
О том вещает некий Тягнибок
И громко повторяет: “С нами Бог!”
Но плачет пожилой строитель БАМа,
Но глупо улыбается Обама,

И я смотрю безмолвно на экран —
Европа, Рада, доллары, майдан.
Вот кто-то грузит, подгоняя кузов,
Украшенное золотом джакузи,
А стоны умирающих от ран
Досадно отвлекают на минуту,
Вот двери человек с лицом Иуды
Берёт необоримо на таран...
И понимаю — никуда не деться
От попранных воспоминаний детства:
Там в дальних куполах играло солнце,
И Днепр был золотом, и крепким — чай,
И ветер так распахивал оконца,
Как будто вечный август обещал.
Как плод каштана, медленно крепчал
Вечерний Киев в восемьдесят пятом.
...Четырнадцатый год, удар плеча...
Кому и для чего нужна расплата?

МАРИНА ШАМСУТДИНОВА



ГДЕ МОЯ РОДИНА?

* * *

Я ненавижу трёхцветный гибрид над дырявым забором,
С гимном поддельным, со скипетром в левой руке.
Здесь молодым не дорога — лазейка протоптана вором,
Сточные воды текут из коттеджей по жёлтой реке.

Здесь я давно не наследник, пока поселенец,
Будто с контузией по Сталинграду бреду.
Всюду развалины... Вывески, что ли, писал у нас немец?
Кто же тогда победил у нас, тля, в сорок пятом году?

Речь иностранная: всюду флешмобы и пати.
Девку от парня и в шаге не отличу.
Где моя Родина? Родину, суки, отдайте!
Я не по ней, я по вам поминальную ставлю свечу!..

* * *

Они приходят в каждом поколении,
Герои, что за Родину горой.
За рюмкой прозябают в праздной лени,
Пока не грянет их последний бой.

ШАМСУТДИНОВА Марина Сагитовна родилась в 1975 году в Иркутске. В 2003 году окончила Литинститут им. А. М. Горького (мастерскую С. Ю. Куняева). Автор двух книг стихов "Солнце веры" (2003 г.) и "Нарисованный голос" (2007 г.). Печата-лась в журналах "Сибирь", "Наш современник", "Созвездие дружбы", "Первоцвет", в других периодических изданиях. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Глянь, буйствуют, куражась, в увольнении,
Кто больше выпьет водки из ковша,
Матросова, Космодемьянской тенью
В них колобродит русская душа.

Беспутники, балбесы, уголовники,
Что на спор мнут засаленный пятак,
Из рядовых пробьются в подполковники,
За Родину полягут просто так...

ПАРАД-АЛЛЕ

На фанерной эстраде,
С силиконовых губ
На военном параде
Нас возьмут на испуг.
Соляная примета —
Неживая вода.
Губы скажут: “Победа”, —
Мы услышим: “Беда!”

МОИМ КОСТЯМ

К моим костям пока пристало мясо,
Я — палеонтологическая ваза,
Раскопка миллионов с чем-то лет.
Меня найдут и сильно удивятся
Объёму мозга в самом древнем сланце —
Так примитивен, в общем-то, предмет...
На рухлядь не найти коллекционера —
Век двадцать первый, мусорная эра!..

* * *

Хорошо, что любимый не пишет стихи.
Его речи надменны, добры и тихи.
Без напора и страсти, без дурацких затей
Прячет милое счастье от врагов и друзей.
Потому что святое — дом и тёплый очаг,
Чтоб не стал он золою, не потух, не зачах.
Прячут крепкие стены ровный, ласковый свет.
С ним для целой Вселенной меня нет, меня нет.

МАРИНА ВОЛКОВА



ПОД СВЕТЛОЙ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДОЙ

СЛОВО

Наши души нельзя умертвить ни металлом, ни током,
Не распять на кресте, не купить посулённую мздой.
Между Западом грубым и алчным, зломудрым Востоком
Русский Север сияет под светлой Полярной звездой.

И покуда над Русью рождаются новые зори,
Божье Слово в стихах произносится громко и вслух;
Ни горящий Кавказ, ни китайское Жёлтое море
Не сумеют сломить этот вольный, светящийся дух!

Каждый слышащий рано иль поздно срывает оковы,
Голос крови услышав, что в венах кипит, горяча;
И кидается в бой, повторяя заветное Слово,
Что разит всех врагов лучше пули и пуще меча!

ВОЛКОВА Марина Георгиевна родилась в Санкт-Петербурге в 1981 году. По образованию юрист. Работала в МВД следователем. В настоящее время ведёт авторский проект "Виват, Петербург!" в творческой мастерской "Нордвест-СПб". Победитель конкурсов "Национальное возрождение Руси", "Золотая строфа", "Велесово слово", "Северная звезда". Автор книги "Веру храня в Рассвет". Живёт в Санкт-Петербурге.

РУСЬ МОЯ СНЕЖНАЯ

Русь моя снежная, край мой берёзовый!
Зоренька нежная дымкою розовой
Небо окутала, лес опоясала,
Красная девица, зоренька ясная!
Как по морозу пройду я, румяная,
Будут берёзы да сосны багряные
Все мне навстречу тянуться да кланяться...
Бел тихий вечер. Лишь зорька румянится.
Ветви хрустальные спят, не колышутся,
Песня печальная тянется, слышится...
Долго ль до ночи? А песня старается,
Звёздные очи в ночи загораются,
Падают звёзды на тропочку узкую...
Песню послушать душевную, русскую
Тянутся люди, выходят на улицу,
Свет-белый Месяц на счастье нам щурится.
Ладно на сердце. Душа успокоится,
Скрипнет ли дверца, калитка откроется —
В белой тиши, непроглядно-завьюженной,
Выйдет ко мне ненаглядный мой суженый.
Я обниму его, жаркая, нежная...
Край мой берёзовый, Русь моя снежная!..

* * *

Жёлтое поле. Тихий пейзаж осенний
В старенькой раме маленького окна.
Солнце заходит, и на краю деревни
Красные сосны дремлют под властью сна.

Небо всё ниже. Медленно кони-тучи
Ходят по краю, щиплют траву с полей.
Алый шиповник, что на Купальской круче,
Тонет в закате. Ближе к земле — теплей...

Чёрную землю дождика прочно нити
К небу пришили. И, говоря со мной,
Горечь не бывших, память былых событий
Волхов смывает вольной своей волной.

Рано темнеет, вновь улетают птицы,
Каждый взмах крыльев преумножает грусть.
В огненном злате, словно сама царица,
Их провожает в поле осеннем Русь.

А над рекою белых берёзок свечи
Тщетно сгорают в ярком зари огне.
В Ладоге осень. Тёплый дождливый вечер,
Словно целитель, душу врачует мне...

ХОЧЕШЬ, СПОЮ КОЛЫБЕЛЬНУЮ?

Хочешь, спою колыбельную? Тяжек твой сон,
Болью терзается тело, тоскою — душа.
Слышишь ли льдинок в колодце серебряный звон?
Чуешь ли ветры, что мчатся, ярься и спеша?

Белой волчицей под окнами кружит метель,
Воет, сердечная, горько глядит на луну.
Дай я поправлю измятую за ночь постель,
Тихо спою, не нарушив в ночи тишину.
Долгие зимы унылы, а вёсны — красны,
Сколько их было у нас — не вернуть уж назад.
Сколько проспал ты кругов от весны до весны,
Сколько желаний осыпалось звёздами в сад..
Летом в дубравах могучие кроны шумят,
Рожь на полях колосится, цветут васильки.
Мечешься, бедный мой, сонной отравой объят,
Не выпуская во сне моей тонкой руки..
Знаешь, у Солнца — божественно огненный взор!
Птицы в лесу — словно нежного Леля свирель!..
Солнце тебе заменяет теперь монитор?
Пение птиц — телефона протяжная трель?..
Как же давно не бывал ты в привольном лесу!
В душистой коробке живёшь, а ведь были — дворцы!
Воли бы сердцу! Увидеть бы мира красу!
Под гору в тройке! Звенят под дугой бубенцы,
Ветер свистит за спиною, мой призрачный брат,
Косы мне треплет, целует, шутя, да и пусть!
Хочешь, поедем сейчас же с тобой в Китеж-град,
Там до сих пор изначальная, светлая Русь
В прежнем величье! Не то, что у вас на Москве, —
Звонницы все задохнулись, их сдавленный стон
В смрадном дыму не пробьётся к святой синеве.
Наша-то Явь будет краше, чем твой вечный сон.
Бедный! Я вижу, как душит тебя лютый страх,
Как ты боишься моих непонятных затей.
Нет, мы с тобой не живём в параллельных мирах,
Просто во сне ты не видишь заветных путей.
Просто во сне убиваем мы душу свою,
Капля за каплей и жизнь выпиваем до дна.
Спи, коли спится, а я тебе песню спою,
Долю спряду — будет доля щедра да ладна.
Ниточка тонкая, ладушка, только тянись!
Слышишь меня? За окном белых вьюг круговерть..
Больше не слышишь? Проснись же скорее, проснись!
Сон твой недужный — при жизни досрочная смерть.

РУСЛАН КОШКИН



НАЗОВИ МЕНЯ ПРОСТО — “ТОВАРИЩ”

ОБЩИНА

Занимается зорька над станами спальных районов.
Поднимается солнце на общее правое дело.
Будет славным денёк. Будут светлыми встречные лица.
Здравствуй, день. Здравствуй, солнце, земля, земляки и
землячки!

Что замялся, земляк? Не припомнишь никак моё имя?
Назовёшь меня просто — “товарищ” — и не ошибёшься.
Эй, товарищ! И как же мы жили без этого слова?
Сколько в нём правоты и некупленного благородства!

Ведь товарищи все мы по общему правому делу —
Реконструкции мироустройства посредством Общины.
Без наганов и нар. Никаких “воронков” и расстрелов,
Ни бахвальства, ни скверноприбытчества, ни мшелоимства.

Только братство и радость от общего правого дела,
От всеобщей любви и от неподдельной свободы.
Здравствуй, день. Будешь славным ты милостью Отчей.
Становись, поднимайся, Община! Тебе — мирозданье.

КОШКИН Руслан Леонидович — многократный участник форумов молодых писателей России в Липках, стипендиат Министерства культуры Российской Федерации (2009 г.), финалист литературного конкурса “Илья-премия” (2004 г.), дипломант VI Московского международного конкурса поэзии “Золотое перо” (2009 г.). Автор двух книг стихов “Чур” и “Подобру-поздорову”. Живёт в Кирове.

ПОЧВА

Уставши от политкорректности,
зову своими именами
и исповеданья, и этносы,
и пропасти, что между нами.

С обрыва на краю Отечества
я в пропасть прокричу о вёрстах,
но в гулком эхе человечества
родное мне не отзовётся.

Бездонна, словно твердь небесная,
зияет пропасть пустотою,
и духи лжи и чужебесия
взвиваются над бездной тою.

От отвращения — не от робости —
(о ней не может быть и речи!)
я отшатнусь от края пропасти
и ухвачусь за почву крепче.

Корнями, нитями, наитьями
держи, родная, взгляд мой острый.
Спасительны, когда пленительны
твои размашистые вёрсты.

Ты силой своего воздействия
возносишь сердце к поднебесью.
А почвенность — всегда естественна,
как дух, соединённый с перстью.

ПРОЩАЛЬНОЕ

Если зреет бойня,
если завтра в бой,
расставаться больно,
больше всех — с Тобой.

Если быть в разлуке
до скончанья лет,
буду в каждом звуке
слышать Твой привет.

Если быть в отводе
до скончанья дней,
горечь — горькой вроде —
наливай полней.

За Тебя — до дна я.
Выпьем по одной.
За Тебя, Родная...
— За тебя, родной...

г. Вятка

ЗАХАР ПРИЛЕПИН

ОБИТЕЛЬ

РОМАН

* * *

Смерть к Артёму не пришла: Ксиву и Шафербекова отправили на ночные работы, Крапин не соврал... Блатные из их угла несколько раз поглядывали в сторону Артёма.

Он долго ждал их — кажется, пока не рассвело: боялся, сжимал челюсти, представлял, как заорёт, если подойдут... или начнёт метаться по нарам, всех топча и забираясь под чужие покрывала...

...давил клопов и всякий раз думал: и тебя вот так, как клопа... и тебя вот так же...

...иногда забывался, в голове что-то падало, взвизгивало, орали чайки прямо над головой.

От кашля или скрипа нар вздрагивал, просыпался, весь вспотевший, но никто не стоял рядом, никаких чаек не было, только храп и скрип зубовный.

“Надо гуся себе завести, — думал Артём; мысли были медленные, будто он шёл по грязи, и каждое слово нужно было, как ногу, из тягучей жижи извлекать. — Завести себе гуся... Привязать на верёвочку... Придут резать — гусь загогочет, забьёт крыльями... всех разбудит”.

Под утро Хасаев начал гроыхать чаном в тамбуре для дневальных, и это саднящему от ужаса и усталости рассудку показалось успокаивающим: ну, раз грохочут чем-то — что теперь случится? Ничего... Разве нужно дневальным, чтоб кого-то зарезали? Совсем не нужно...

Только здесь он крепко заснул, и приснилось ему, что он снова в ИСО у Галины и всё подпisał.

И так легко на душе, так славно...

На утренней поверке Артём стоял чумной. Звуки доносились искажённые, словно издалека, как под водой. Люди ходили мутные, воздуха снаружи не было, только внутри. Того и гляди, осоловелая соловецкая рыба проплывёт меж ног.

Рыба действительно появилась.

Вывели перед строем вора, укравшего селёдку из кухни. Наказание, наверное, придумал Кучерава, исполнял его Сорокин: провинившегося били се-

лёдкой по лицу. Он не вырывался, терпел, только закрывал глаза. После третьего удара щека начала кровянить.

Артём отчуждённо и без жалости думал: “А вот если б предложили вместо того, чтоб резать меня, бить селёдкой ещё два с половиной года? Я бы согласился. Подумаешь: бить селёдкой”.

— Селёдку-то выбросят или в суп кинут потом? — спросил кто-то рядом.

На разводе появился незнакомый, крепкий, молодой мужик в очках. Во время экзекуции он смотрел в сторону, иногда трогал очки: похоже, ему всё это не нравилось.

После традиционной малоумной матерщины, которую проорал Кучерава, дали слово незнакомцу.

— Меня зовут Борис Лукьянович, — сухо и не очень громко, но басовито сказал он. — Я занимаюсь подготовкой лагерной спартакиады, посвящённой очередной годовщине Октября. Меня интересуют те, кто всерьёз занимался спортом: бег, прыжки, плавание, бокс, гири, футбол.

— Бег через границу принимается? — спросил кто-то. Раздался хохот.

— А плавание за баланами? — спросили в другом месте. Заржали ещё веселей.

— А комариков считать — это спорт или частное увлечение?

Всем было очень смешно.

“Вот оно”, — понял Артём. Шагнул из строя:

— Я!

— Встать в строй! — прошипел Бурцев.

Артём не двинулся с места: не заметят ещё, а надо, надо, надо, чтоб заметили, позвали, спасли.

“Зови меня скорей, эй, в очках! Я буду прыгать для тебя во все стороны! С мячом на голове и с гирей на ноге! Ну же!”

Борис Лукьянович что-то шепнул Кучераве.

— Сюда иди! — ткнул Кучерава толстым и гнутым пальцем в Артёма. — Смотри, если набрехал! — И, уже обращаясь ко всем, добавил: — Все самозванцы получат трое суток карцера!

Борис Лукьянович нахмурился: слова про карцер ему тоже показались неуместными.

Теперь Артём смотрел на строй, поймав себя на мысли, что с этой стороны роту никогда не видел.

“А приятно так стоять...” — думал Артём удивлённо. Ему немедленно понравилось чувствовать себя начальством.

Афанасьев улыбался и подмигивал Артёму.

“Вот так, Афанас, а фокусников и картёжников сюда не берут”, — с ироничной метительностью размышлял Артём.

Увидел Щелкачова и добавил: “...и шахматистов, Митя, тоже!”

Фельетонист Граков перетапывался, по всей видимости, пытаясь вспомнить какой-нибудь вид спорта, которым он когда-то занимался, но странным образом позабыл об этом. Бокс? Нет, точно нет. Гири? Объективно нет. Плавание? Вряд ли. Футбол? Даже не видел, как это выглядит. Может быть, прыжки? Но что это за прыжки? Как их совершают?

Схожие чувства переживал Моисей Соломонович, который уже пытался прорваться в артистическую роту, и вроде бы его готовились перевести, но всё ещё раздумывали. Теперь он решал вопрос, плыть или не плыть — да и плавают ли на спартакиадах, да и годовщина Октября — далеко ли в октябре уплывёшь?

Сивцев стоял понуро и отстранённо, словно и не понимал, о чём речь: он даже не смеялся, когда балагуры горланили про бег и баланы.

Нашлось всего трое желающих — видимо, угрозы Кучеравы повлияли.

Сразу после развода вызвавшиеся отправились с Борисом Лукьяновичем на проверку спортивных навыков.

Артём чувствовал не волнение, а совершенно неуместное безразличие. Отчего-то он был уверен, что его возьмут. Дышал через нос, размазывал комаров по лицу, шёл, глядя себе под ноги.

Совсем мальчишкой Артём недолго занимался боксом: около трёх месяцев. Вообще у него получалось, но тут всю началась война... Много чего началось.

Не имевший никакой предрасположенности ни к рукоприкладству, ни к подавлению тщедушных и робких, Артём тем не менее был самым сильным в своём гимназическом классе, лучшим на брусьях и турнике и порой несколько даже бравировал своей природной ловкостью и умением метко, с оттягом бить в зубы, сшибая с ног.

При этом разозлиться как следует никогда не умел. После гимназии драться приходилось куда реже.

Его однажды, лет в девятнадцать, двое, немногим старше него, пытались ограбить — снять пальто. Артём прикинул шансы и благоразумно решил убежать. Рванул сначала резво, но пальто пугало ноги, мешало бегу, и вдруг он развернулся и с такой силой ударил первого, нагонявшего, что показалось — у того лопнула щека.

Вроде бы не должно было такого случиться, но Артём так убедительно и чётко это видел, что сам испугался и побежал вдвое быстрее.

Ещё он подрался, когда подрабатывал грузчиком. Там был дядька, тоже грузчик, вдвое больше, и он бы Артёма прибил, когда б не был сильно пьян и оттого неряшлив в замахе. Артём сбил о него кулак до крови, но, надавив дыханье и умаявшись, всё же победил... На работу, правда, не пошёл больше. И так собирался бросать это занятие, а тут ещё с этим бугаём разбираться заново. Хотя в сравнении с тем, что теперь творилось вокруг Артёма, тот случай казался совсем смешным.

В общем, послужной список выглядел не очень убедительным, но не мешал Артёму оставаться сейчас спокойным.

Вот только он не спал. И ещё этот шрам на виске. Если попадут — и он снова разойдётся? Примут его опять в лазарет? Скорей всего нет. Будет ходить с мозгами наружу, пока все не вытекут.

“А драться с кем? — размышлял Артём. — Неужели с этим в очках? Очки-то он снимет? Хорошо б он вообще не видел без очков”.

Спортивную базу решили устроить за монастырём. Возле нового, длинного, ещё без крыши амбара имелась поляна, вроде бы пригодная для игр с мячом; чуть поодаль врыли турник... Собственно, это было всё.

Работали строители — естественно, лагерники: двое — внизу, подавая доски, двое принимали наверху. Десятник, притащив себе откуда-то сена, полёживал внутри амбара и наблюдал. В руках у него был кий, сломанный посередине.

— Здесь будем... — сказал Борис Лукьянович, близоруко осматриваясь: у него с собой была папочка, положить её было некуда.

Он присел на корточки и переписал себе в захватанную грязными пальцами ведомость всех приведённых из двенадцатой роты. Артём заглянул в список — там уже было фамилий тридцать или около того.

— С кого начнём? — спросил Борис Лукьянович и сам тут же выбрал, кивнув Артёму: — Давайте с вас... Говорите, занимались боксом? Насколько серьёзно?.. Впрочем, сейчас увидим... Пиджак, наверное, надо снять? Боксёрских перчаток у нас нет, зато я нашёл вот такие замечательные варежки... Примеряйте. Хорошо? На варежки, в свою очередь, мы приспособим... рука-ви-цы! За неимением спортивного — рабочий инвентарь, хо-хо.

“Какой интеллигентный человек, неужели он сейчас будет меня бить по лицу? — с доброй насмешкой думал Артём. — Раз рабочий инвентарь, дал бы мне черенок от лопаты, всё фора была бы...”

Единственное, что Артёму всерьёз не нравилось, — так это навязчивое внимание строителей, забросивших свою работу и о чём-то пересмеивающихся.

— А что, у вас простой? — спросил Артём десятника: с недосыпа он часто вёл себя как подвыпивший.

— Занимайся своим делом, у них перекур, — ответил десятник недовольно.

— Не обращайтесь внимания, — сказал Борис Лукьянович тихо. Он вообще настроен очень приветливо и добродушно, но чувство веского достоинства слышалось за каждым его словом. Артём уважал таких людей.

— Прямо здесь будем? — спросил Артём, когда Борис Лукьянович, тоже надев варежки, а на них рукавицы, бережно снял этими лапами очки и передал их стоявшему рядом лагернику из двенадцатой, выдавшему себя за бегуна и прыгуна.

— Можем выйти на улицу, — сказал Борис Лукьянович, с костным хрустом разминаясь.

Хруст был впечатляющим.

“Если он так хрустит, — зябко подумал Артём, — можно представить, какой от меня сейчас хруст будет стоять”.

Для виду он поскакал на одной ноге, на другой, сразу понял, что его слишком качает, и начал разминать себе шею и голову, будто пытаясь её выкрутить или вкрутить.

“Надо было за бегуна себя выдать, — подумал напоследок Артём. — Хотя бы не стали бить по голове...”

Борис Лукьянович повёл бой неспешно и бережно, только намечая удары. Через полминуты Артём уже успокоился, а через минуту подумал с некоторым раздражением о противнике: “...Так уверенно ведёт себя, словно и подумать не может... что я могу его сбить...”

Неожиданно для себя Артём перешёл в наступление, был встречен прямым в голову, но не унялся и, настырным рывком сблизившись, провёл “двоечку”.

Борис Лукьянович не шелохнулся, а, напротив, с довольной улыбкой кивнул: продолжайте, продолжайте, очень неплохо.

Минуты через три Артём начал уставать.

— Много суетишься, — сказал Борис Лукьянович, по-прежнему стараясь находиться в обороне и предоставляя Артёму поработать самому.

Лагерники, работавшие на крыше, чтобы лучше видеть поединок, переползли поближе.

Понимая, что сил хватит ненадолго, Артём начал откровенно осаждать Бориса Лукьяновича; тот же двигался мягко, руки держал высоко у лица, призывно выглядывая в щель между мощными кистями...

“...Да как же тебя... — повторял Артём, — ...да как же тебя достать... да как же... тебя бы...”

Потом воздух в грудной клетке Артёма исчез, и образовалось огромное душное облако, заполнившее разом все внутренности. Артём смотрел вокруг глазами, полными слёз, и, раскрыв рот, мучительно ждал, когда же ему, наконец, вздохнётся.

Он пропустил всего один, очень короткий и совершенно незаметный удар в солнечное сплетение.

Двое лагерников, смотревших бой, теперь смеялись, а Борис Лукьянович вообще куда-то пропал.

“Надо мной? — подумал Артём с медленной и душевной тоскою. — Неужели я так смешон?...”

Он нашёл в себе силы чуть разогнуться и посмотреть в сторону смеющихся. Нет, дело было не в нём, слава тебе... В тот момент, когда Артём пропустил удар, лагерник, сидевший на краю стены, не удержался и упал вниз прямо на десятника.

Борис Лукьянович сразу бросился к ним, испугавшись, что десятник задавлен... но всё обошлось.

Станным образом вместе с воздухом к Артёму возвращался и слух — десятник страшно матерился, — и почему-то обоняние: пахло свежеструганой доской, а раньше и не заметил, — и даже рассудок: он вдруг понял, что Борис Лукьянович, отвлекшись на падение лагерника, не заметил, в каком плачевном состоянии находился Артём, прямо-таки убитый в грудь.

— У вас что на виске? — спросил Борис Лукьянович, вернувшись; дыхание у него даже не сбилось. — Шрам? Недавний? Ну, ничего, подживёт за полтора месяца. Я старался не бить туда.

“Ты вообще старался не бить”, — благодарно подумал Артём.

Борис Лукьянович сбросил рукавицы, снял варежки, махнул другим кандидатам: пойдёте теперь вы.

— А мне? — спросил Артём, поспешно сдирая с себя потные варежки и всё ещё не находя воздуха в достаточном количестве. — А что я?.. Можно, я с вами пока побуду?

— Отчего же “пока”, мы вас берём, — бросил Борис Лукьянович, выходя на улицу. — Придётся, конечно, поднатаскать, — добавил он, оглянувшись: — Природные навыки есть, а профессиональных умений — чуть меньше.

“Чуть меньше” он сказал в том смысле, что вообще нет”, — сразу догадался Артём, несмотря на это понимание, в один миг ставший счастливым до такой степени, что ему ужасно захотелось выкинуть какое-нибудь нелепое коленце.

Десятник всё матерился и даже порывался драться, но упавший лагерник от греха подальше забрался снова наверх и там переждал.

Артём поспешил было за всеми смотреть на бегуна или прыгуна, но вдруг вспомнил, какую он себе радость припас. Как знал!

Раздавая посылку, он так и не решился отдать шматок сала, горчицу и лимон. Какое б ни было у него состояние по возвращении из лазарета, сколько бы ни готовился он умереть, а на эти яства рука не поднялась: спрятал в шиджак.

Он уселся возле стены амбара, сплюнул раз длинную слюну, сплюнул два... и, глядя на солнце, начал кусать, яростно надрывая жёсткие волокна, сало и заедать его лимоном. Горчица раскрошилась в кармане, и Артём иногда залезал туда пальцами, возил рукой и облизывал потом всю эту горечь, и снова выжимал лимон в рот, и рвал сало зубами.

Смотрел всё это время вверх, в небо, щурился...

Как солнце себе выдавил в рот: кислое, сольное, горчичное.

* * *

— Жить будете в келье, — сказал Борис Лукьянович. — На занятия приходите сами, без десятника — десятников нет. Потом зарядка, и...

— А сегодня можно?

— Что?

— В келью?

— А когда же?

Артём даже не пошёл в двенадцатую за вещами: решил, что дождётся, когда Василий Петрович будет возвращаться со своего ягодного наряда, и попросит его принести.

Происходящее с ним нельзя было спутнуть.

Первые полчаса от Бориса Лукьяновича Артём не отходил ни на шаг: тот словно стал зарокотом его чудесного везения. Тем более что других двоих из двенадцатой Борис Лукьянович отправил обратно в роту: “Как только будет нужно — вас вызовут”, — сказал он, и ему эти дураки вроде бы поверили, зато Артём всё понял и поймал себя на том, что испытывает тихое и самодовольное злорадство: а меня взяли, а меня взяли!

Пока Борис Лукьянович осматривал амбар и долго, покусывая губы, пересчитывал записанных в его ведомости, Артём повисел на турнике, хотя никакого желания к тому сейчас не испытывал.

“Веду себя, как будто мне четырнадцать лет, и я пытаюсь прикадрить девушку”, — думал Артём, дожидаясь, когда в проёме дверей мелькнёт Борис Лукьянович, чтобы с раскочки, рывком оседлать турник — он когда-то умел делать такую штуку.

Кисти вскоре занули, просто висеть стало невозможно, пришлось оседлать турник, не дожидаясь внимания спортивного начальства.

“А ведь он такой же лагерник, как и я, — подумал Артём, спрыгивая с турника. — Как, интересно, ему доверили всё это...”

Руки пахли железом, салом и горчицей.

Пока Артём облизывался, как кот, — щёки приятно и сладостно горели от лимона и свиного сала, — едва не упустил Борис Лукьяновича, напавшего по своим делам дальше.

При всей своей человеческой привлекательности Борис Лукьянович, кажется, был не очень разговорчив и минуты через три бросил быстрый и задумчивый взгляд на поспевающего следом Артёма.

“Он может подумать, что я стукач, и отправить меня обратно в роту”, — подумал Артём с таким отвратительным, удушливым страхом, какой не испытывал, кажется, даже от угроз Ксивы и Шафербекова.

Но куда было деваться?

Они остановились у входа в Троицкий собор, где располагалась уже знакомая Артёму тринадцатая рота. Борис Лукьянович, видимо, пришёл сюда в поиске очередных счастливых: как раз подходило время обеда.

— Вы можете пообедать в своей роте, а после отправиться обживать новое жилище, — сказал Борис Лукьянович строго.

— А меня туда пустят? — спросил Артём.

— Чёрт, действительно, — ответил Борис Лукьянович и улыбнулся настолько мило, что Артём, если б поманили, так и бросился бы этому очкарику на шею, словно к обречённому старшему брату.

“Надо было оставить лимон и угостить его, идиот!” — выругался Артём.

Борис Лукьянович, переспросив фамилию, записал по слогам надиктованные данные в какую-то уже подписанную неразборчивым начальственным почерком бумагу и передал Артёму: “Такого-то откомандировать в распоряжение... и обеспечить вышеуказанным...”

— Будет исполнено! — громко сказал Артём, принимая бумагу, хотя ему ничего не приказывали.

— Вы всё-таки пообедали бы! — крикнул Борис Лукьянович ему вслед. — И завтра, думаю, можно отоспаться, — на этих словах Артём оглянулся. — Много дел у меня! Надо набирать состав где-то!

Келья, доставшаяся Артёму, располагалась в бывшем Наместническом корпусе на втором этаже. Строгое, белое, с высокими окнами здание чем-то напоминало Артёму его гимназию.

Дневальный на посту прилежно пояснил, куда идти.

Открыв дверь в свою келью, Артём увидел человека. Тот лежал на деревянной, грубо сколоченной, без белья кровати, положив под голову мешок с вещами. Внешний вид его наглядно свидетельствовал о том, что участвовать ни в каких соревнованиях он не может. В лучшем случае, играл в детстве с мячом в компании кузин, хотя и то вряд ли.

Чуть замешкавшись, человек сел и воззрился на Артёма — скорей с раздражением, чем с испугом.

На ногах у него были огромные, тёплые не по сезону ботинки, словно он только что пришёл с улицы, но лицо при этом было заспанное, а волосы вклокоченные.

— Вы кто? — спросил он неприветливо.

— Меня сюда определили жить, — осматривая келью — точно такую же, как у Мезерницкого, — сказал Артём, заодно заметив в руке у собеседника наполовину съеденную нечищеную морковь.

— Это кровать предназначена для моей матери, — заметил человек очень строго и даже протянул руку, как бы указывая, что даже садиться на вторую, тоже деревянную и незастеленную кровать нельзя. Только тут он заметил, что держит морковь, и попытался положить её на деревянный столик возле кровати, что удалось ему с некоторым трудом, так как морковь прилипла к ладони. Видимо, придя на обед, человек заснул с этой морковью, не успев её доесть.

“Вот как”, — подумал Артём, глядя на морковь и пытаясь понять, о какой такой матери идёт речь; впрочем, замешательство его было почти весёлым: тут явно имела место какая-то ерунда, которая обязана была разрешиться хорошо.

— А где ваша мать? — спросил Артём.

— Она ещё не прибыла, — важно ответил человек, грязной и лишкой после моркови пятернёй причёсывая свою всклокоченную гриву, отчего та ещё больше расплзалась в разные стороны.

— Может быть, я побуду здесь до её прибытия? — с улыбкой спросил Артём.

— Нет, — ответил всклокоченный. — Я знаю, как это бывает: сначала вы займёте место, а потом маме будет негде жить.

— Но у меня бумага, — сказал Артём. — И я всё-таки присяду. Мы ничего не расскажем вашей маме о том, что я сел на её кровать.

Когда Артём сел, всклокоченный немедленно встал, и вид у него был такой сердитый, словно он собирался немедленно выбросить гостя вон, что, конечно же, казалось забавным в сочетании с его вдавненной грудной клеткой и длинными, из одних тонких костей, руками.

— Да смотрите же, — сказал Артём, улыбаясь и протягивая бумагу.

Тот взял её в руки.

— Вас зовут Артём? — спросил он. — Горяинов?

— Да. А вас?

— А нас Осип, — ответил всклокоченный в крайнем неудовольствии и, взмахнув бумажкой, твёрдо объявил: — Это ошибка! Вам немедленно нужно пойти и разобраться. Сказать, что вышеприведённое заявление не соответствует действительности!

— Дайте-ка мне... вышеприведённый документ, — мягко попросил Артём, потому что Осип слишком уж широко размахивал рукой с зажатой в ней бумагой. — Я обязательно во всём разберусь, позвольте только отдышаться.

— Разберётесь? Обещаете? — спросил Осип с той строгостью, которую напускают на себя в общении с ребёнком.

— А когда приедет мама? — спросил Артём.

— Скоро, — ответил Осип и быстро добавил: — Но съехать вам будет нужно гораздо раньше, чтоб я успел, — он окинул рукой келью — четыре шага в длину, три в ширину, — всё подготовить...

— Так и будет, — пообещал Артём.

Некоторое время они пробыли в тишине: у Артёма не было вещей, и заняться ему было нечем, а уходить из кельи он не хотел.

Зато уверенно чувствовал, что в комнате есть овощи, помимо моркови на столе.

— Кажется, у вас имеется сухпай? — прямо спросил Артём. — Давайте я приготовлю нам на двоих салат, а потом вам всё верну, как только получу своё довольствие?

Осип больше для видимости задумался, подняв глаза к потолку, и, выдержав паузу, решительно ответил:

— Отчего бы нет, — и с этим выдвинул из-под лежанки ящик со съестным.

Там были картофель, крупа, солёная рыба — Осип значительно отметил, что это сазан, — морковь, лук, репа, макароны, подболоточная мука и мясные консервы.

У Артёма даже голова закружилась.

— Я не знаю, что со всем этим делать, — вдруг признался Осип, взяв морковь в одну руку, а картофель в другую, так что напомнил Артёму монарха с державой и скипетром.

Зато Артём знал.

Вскоре Осип Витальевич Троянский громко и размашисто делился с Артёмом своими наблюдениями и выводами по самым разным поводам.

— В северо-западной части острова Белое озеро переименовали... в Красное! — Его покрытое оспинами, носатое и не очень симпатичное лицо стало вдохновенным и почти привлекательным. — Святое озеро у кремля, — здесь Осип поднимал вверх тонкий и длинный, как карандаш, палец, — называют теперь Трудовое! Постоянная путаница! Мне сложно привести в порядок свои представления об острове. Но самое важное — они! — и Осип поднимал палец ещё выше, словно пытаясь проткнуть кого-то, завис-

шего над его головой. — Они думают, что, если переименовать мир — мир изменится. Но если вас называть не Андрей, а, скажем, Серафим, станете ли вы другим человеком?

— Я Артём, — поправил Артём. Он выставил на стол грубо порезанный салат из репы, моркови и лука и начал ловко очищать рыбу.

— Да, безусловно, извините, — соглашался Осип и продолжал, время от времени облизывая губы, отчего, видимо, они даже летом у него были обветренные: — Вместо того чтоб менять названия, они бы лучше обеспечили нам питание. Вы даже не представляете, какое разнообразие рыбы можно обнаружить в этих водах. Сельдь и треска — это понятно, это и сюда перепадает, хоть и в ужасном приговлении, я ел в карантинной. Но здесь ведь водятся три вида камбалы, навага, зубатка, корюшка, бычки — поморы их называют “керчаки”, до десяти видов выюнов — редкая среди рыб живородящая форма! А ещё сёмга, два вида колюшек — трёхиглая и девятииглая... А озёра? Здесь великое множество озёр — более трёхсот! И в них водятся ёрш, карась, окунь, щука, плотва. И даже встречаются форели! И всё это можно есть! Но мы не едим! Почему?

Артём ещё не нашёл с ответом, как Осип начинал выкладывать новые свои размышления:

— Стоит задуматься, какие тут бывают миражи. Вы ещё не становились свидетелем здешних миражей? О, это удивительно! Обыкновенно невидимый, тем более с низких мест острова Кемский берег иногда появляется на горизонте и кажется близким! Небольшие острова, находящиеся на некотором отдалении от нас, порой кажутся сплюснутыми и приподнятыми вверх. А остров Кутузов порой принимает вид вообще фантазмагорического: то он видится гигантской шапкой, то грибом, то зависшим в воздухе дирижаблем!.. Стоит задуматься: может быть, и мы тоже — мираж? Вот нам с вами кажется, что мы сидим в тюрьме, а мы — жители гриба? Или пассажиры дирижабля?

— Или вши под шапкой, — сказал Артём, как ему показалось, к месту.

Но Осип взглянул на него строго и тут же расставил всё по своим местам:

— Французский геометр Монж давно уже объяснил, в чём тут дело. Причины — в различной плотности верхних и нижних слоёв воздуха и в преломляющем вследствие этого преломлении лучей света!

* * *

Невзирая на объяснения геометра Монжа, Артём всё равно чувствовал себя, как в мираже. Надо было крепче держаться руками за дирижабль, чтоб не выпасть.

Оказалось, что теперь он прикреплён ко второй роте.

Василий Петрович говорил, что в ней собраны спецы на ответственных должностях, но всё обстояло несколько иначе. Помимо хозяйственников и экономистов, всё больше из числа каэров, тут ещё были научные работники — одним из них был Осип, — а также счётные и канцелярские работники из административной и воспитательно-просветительской части. Будущее спортивное празднество, как понял Артём, пустили по линии воспитания и просвещения, поэтому разномастную публику, набранную Борисом Лукьяновичем, тоже переводили сюда.

Подъём во второй роте был в девять утра.

Некоторая сложность обнаружилась в том, чтобы вечером утомонить Осипа, потому что разговаривал он непрестанно. Но в первую же ночь Артём без всяких угрызений совести заснул ровно посередине очередного монолога своего учёного товарища, а тот, кажется, ничего и не заметил.

Зато с утра Осип проснулся в натуральном страдании: казалось, что всё лицо ему замазали столярным клеем.

Артём сходил за кипятком, заодно осмотрелся повнимательней.

Келья располагалась по обеим сторонам просторного коридора. Топка, отметил Артём, была общая. Ровно сложенные дрова в нише стены, видимо, ещё монахи здесь хранили.

Возле дров стояла обувь: сапоги, ботинки, калоши.

“Здесь не воруют!” — удивлённо понял Артём.

Размеренно начавшийся день продолжился совсем хорошо.

Забегал на минуту озабоченный Борис Лукьянович и вручил Артёму на руки 8 рублей 27 копеек соловецкими деньгами. К деньгам было приложено специальное разрешение на свободное посещение магазина и выход за территорию кремля без конвоя.

У Осипа такая бумага уже была; мало того, он имел право свободного выхода на берег моря, а в пропуске Артёма значилось, что ему в такой возможности отказано.

“А мне и не надо”, — подумал Артём, разглядывая пропуск, который держал в правой руке, сжимая в левой деньги.

— Забегите завтра в канцелярию и распишитесь за всё это, — велел Борис Лукьянович, спеша дальше. — А то я всё под свою ответственность раздаю.

На радостях Артём позвал Осипа затовариться в соловецком ларьке — он располагался прямо в кремле, в часовне преподобного Германа.

Но ларёк оказался закрытым.

Тогда отправились в “Розмаг” за пределами кремля.

Артём чувствовал себя торжественно и взволнованно, почти как жених.

Казалось, что часовые на воротах должны сейчас отнять все бумаги как поддельные и отправить задержанных под конвоем в ИСО, где, наверное, Галя уже заждалась Артёма... Но нет, их спокойно и даже как-то обыденно выпустили.

“Как же всё удивительно”, — признался себе Артём, чувствуя непрерывный щекотный зуд в груди.

Даже чайки орали радостно и восхищённо.

Случалось, Артём ходил без конвоя по ягоды, но там всё равно был наряд и никому бы не взбрело в голову вместо работы отправиться по своим делам. А тут он шёл, никому ничем не обязанный и без всякого сопровождения.

Осип, кстати, совершенно не осознавал этой радости: на общих работах в карантинной его продержали всего полторы недели и тут же определили в “Йодпром” — на производство, как он пояснил Артёму, йода из морских водорослей.

Каждый день Осип отправлялся в располагавшуюся на берегу гавани Благополучия лабораторию, которую, к слову, успел разругать за отсутствие самых необходимых для работы вещей.

“На баланы бы тебя, там всё необходимое есть”, — беззлобно думал Артём.

“Розмаг” оказался аккуратной деревянной избой, стоящей на зелёной лужайке, вдали от всех остальных построек: что-то во всём этом было сказочное.

Внутри пахло, как из материнской посылки: съестным и мылом, сытостью и заботой.

Товары подавали четверо продавцов, тоже лагерников, преисполненных своей значимости, — на такую работу без хорошего блата было не попасть.

“Выбор в “Розмаге” не обескураживающий, но простой и самоуверенный, как советская власть”, — сказал как-то Василий Петрович.

Так и оказалось.

Килограмм сельди стоил рубль тридцать, колбасы — два пятьдесят, сахара — шестьдесят три копейки. Одеколон — пять рублей двадцать пять копеек, английская булавка — тридцать копеек за штуку.

Имелись два вида конфет и мармелад — тот самый, которым Афанасьев угощал Артёма. Пшеничный хлеб, чай. Оловянные тарелки, ложки, кружки. Зубной порошок, пудра, румяна, помада для губ, расчёски. Продавались также примус, печка-буржуйка, чугунок и огромная кастрюля.

В отделе одежды предлагались валенки, войлочные туфли, штаны, бушлаты, шапки и огромное количество разномастной обуви, беспорядочно сваленной в несколько ящиков.

— Приобрести, что ли, одеколон? — сказал Артём. — И мармелада к нему. Будем растираться одеколоном и есть мармелад. Как вам такой распорядок на вечер?

— Да, можно, — совершенно серьёзно поддержал его Осип. — А у меня нет денег, — быстро объявил он. — Не купите мне?.. эту... — и, почти наугад поискав пальцем, указал на булавку.

“Вот аячутка...” — подумал Артём, но купил, конечно: сам же потащил его в магазин.

Осип тут же, не глядя, положил булавку в карман.

Ещё Артём приобрёл полкило колбасы, шесть конфет и тарелку с ложкой — вчера он Василия Петровича так и не увидел.

“Надо бы купить буржуйку, — размышлял Артём и тут же сам с собой издевательски спорил: — А ты уверен, что так и будешь в келье жить? Пойдешь, мой любезный, на общие работы опять! И будешь с собой таскать буржуйку зимой в лес!”

По пути назад встретили возле кухонь троих фитилей, дожидавшихся, пока повезут на помойку объедки. Надо ж было попасть ровно тогда, когда повар выставит бак и, по сложившейся уже традиции, вернется на минуту в кухню. В это время фитили рылись в баке, находя кто капустный лист, кто рыбью голову.

Они сами были похожи то ли на обросших редким скользким волосом рыб, то ли на облезших, в редких перьях и грязной чешуе, птиц.

Артём был чуть раздосадован, что ему испортили настроение.

— Зачем они это делают? — ужаснулся Осип. — Послушайте, нужно отдать им колбасу, — он схватил Артёма за рукав. — Эти люди голодные, а у нас есть ещё.

— Да, сейчас отдам, — с неожиданной для него самой злобой вырвал рукав Артём. — Отдайте им свою булавку лучше.

— Зачем им булавка? — не унимался Осип. — Они голодны!

— Идите к чёрту, — сказал Артём и пошёл быстрее.

Через минуту Осип нагнал его.

Руку он держал в том кармане, куда положил булавку.

“Правда, что ли, хотел отдать?” — подумал Артём с лёгким презрением.

— Вы что, не видели фитилей? — спросил он, немного остыв.

— Фитилей? — переспросил Осип и, поняв, о чём речь, ответил: — Нет, почему-то мне это не попадалось.

Слово “это” прозвучало так, будто Осип вынес на своих длинных пальцах что-то неприятное, вроде детской пелёнки.

— Ну, представьте, что “это” — мираж, — сказал Артём. — По Монжу.

— По Монжу? — переспросил Осип и, помолчав, добавил: — Нет, это не мираж.

— Вы вообще почему здесь очутились? — спросил Артём быстро.

— Меня посадили в тюрьму, — объяснил Осип.

— Надо же, как, — сказал Артём.

Они уже были возле своего Наместнического корпуса.

— Эй! — позвали, судя по всему, Артёма. — Стой-ка!

Он оглянулся и увидел Ксиву, Шафербекова и Жабру, спешающих наперерез.

“Шесть рублей 22 копейки, полкило колбасы, шесть конфет”, — вталкивая Осипа в двери корпуса, перечислил Артём про себя всё то, что мог потерять немедленно.

Не считая жизни, про которую забыл.

— Вроде бы нас, — сказал Осип, чуть упираясь у поста дневальных.

— Нет-нет-нет, не нас, — больно толкая его, шептал Артём, готовый закинуть Осипа на плечо и бегом бежать на второй этаж: учёный был щедр и вообще неприятно гибок под одеждой, словно сделанный из сельдечных костей.

Наклонившись над лестничным проёмом и невидимый снизу, Артём услышал грохот дверей и тут же окрик дневального.

— Куда? — спросил дневальный, поднявшись, судя по голосу, с места.

— Вот эти двое нужны... которые прошли, — быстро и чуть шепелявя, сказал беззубый Шафербеков своим гнусным голосом.

У Артёма, как припадочное, колотилось сердце.

— За мной? — спросил Осип, придерживаемый Артёмом за рукав. — Может быть, из лаборатории?

— Стойте на месте! — шёпотом велел Артём.

— Вы откуда? — спросил внизу дневальный.

— Нам нужен Артём Горяинов, — сказал Жабра.

Артём даже вздрогнул. Узнать, как его зовут, было несложно, но он всё равно испытал краткий приступ гадливости, услышав из уст Жабры свою фамилию. Одно дело, когда эта мразь искала неведомо кого, похожего на Артёма, а другое — когда так. Ощущение было, словно Жабра поймал Артёма своими нестриженными когтями за воротник.

— Мало ли кого вам нужно, идите за пропуском, — ответил дневальный.

Артём нагнулся и увидел, как дневальный подталкивает блатных к выходу.

Будто бы зная о том, что его слышат, Жабра обернулся и крикнул:

— Никуда не денешься, понял, фраер?

* * *

“О чём я думаю?! — размышлял Артём ночью под крик никогда не молкающих чаек и язвительные разговоры Осипа. — Что я веду себя, как дитя?! Я же могу пойти к Галине и наговорить про Жабру, и про Ксиву, и про Шафербекова, чтобы всех засадили в карцер... А что я могу наговорить, я же ничего не знаю? Плевать, надо спросить у Афанасьева. Или просто наврать. Наврать что-то ужасное, и эту мразь заморят в глиномялке...”

Чуть шевеля губами, Артём уговаривал себя, не слушая очередные парадоксы Осипа о скучном, ледниковом, мусорном, наносном ландшафте Соловков.

По страсти, с которой Артём убеждал себя, казалось, что всё в нём уже готово к этому шагу и с утра он немедленно отправится в ИСО...

...Но никуда Артём, естественно, не пошёл и, попивая утренний кипяток вприкуску с колбасой из ларька и морковкой из сухпая Осипа, даже не вспоминал своё ночное вдохновенное и горячее бормотание.

В десять для всех будущих стратотерпцев соловецкого спорта Борис Лукьянович проводил разминку. Затем разбивались по группам: бегуны — бежали, прыгуны — прыгали, футболисты гоняли тряпичный мяч: настоящий им пока не выдавали — он был один-единственный. Появились два борца и дюжина богатырей, набранных со всех рот тягать гири. Гирь тоже было немного, и за ними стояли в очередь, без особой, впрочем, охоты.

Помимо борцов и тяжелоесов, команда подобралась молодая, студенческая, из горожан, поэтому и обстановка была шепутной, смешливой, много валяли дурака.

Как-то улетел мяч, а мимо проходил невесть откуда взявшийся батюшка Зиновий. Ему заорали: “Длиннопольй, подай!” — но тот на мяч плюнул, и это всех несказанно развеселило. Тут же кто-то предложил ввести соревнование среди духовенства по метанию кадила — студенты снова покатались от хохота.

Артём вдруг заметил, что не смеялись только он и Борис Лукьянович.

По возрасту Артём оказался посредине остальных: все студенты были моложе него лет на пять—семь, а тяжелоесы с гирями — старше на семь—десять.

Приглядевшись, он понял, что Борис Лукьянович — тоже почти его ровесник, разве что на пару лет постарше. Впрочем, опыта общения с людьми, в том числе с большевистским начальством, у него было очевидно больше.

Артём мысленно признал верховенство Бориса Лукьяновича, но вида не подавал: держался достойно, как бы на равных, твёрдо за шаг до панибратства. Борис Лукьянович это, похоже, отметил, обратился к Артёму раз за

мелкой помощью, обратился два — Артём оказался точен, быстр и сметлив. На третий раз Борис Лукьянович уже перекинулся с ним шуткой, говоря об остальных на площадке в третьем лице. Артём шутку развивать не стал и посмеялся вроде от души, но в меру: так было надо, он это чувствовал.

“Борис Лукьянович имеет право ставить себя чуть выше остальных, а мне незачем”, — понимал Артём.

Перед обедом Борис Лукьянович ушёл, попросив Артёма последить за общей дисциплиной.

Почему бы и нет: гиревиков с борцами Артём благоразумно не трогал, а студенты сами по себе играли с удовольствием до самого обеда.

Вернулся Борис Лукьянович часам к четырём с каким-то белёсым парнем.

— Вроде нашёл тебе напарника, — кивнул он на новенького, — в карцере! На Секирку только пока меня не пускают.

“На “ты” перешёл”, — не без удовольствия отметил Артём, разглядывая белёсого: до сих пор Борис Лукьянович сказал ему “ты” только однажды, когда они дрались, но там ситуация предполагала некоторую близость.

Новоприведённый оказался на полголовы выше Артёма, в редкой неприятной щетине, напуганный и потный.

“Неужели и я так же смотрел?” — подумал Артём, брезгливо дрогнув плечом.

— А давай ты, — предложил Борис Лукьянович, протягивая Артёму рукавицы. — Что мне-то, ты у нас боксёр.

Поглядывая на противника, Артём осознавал своё превосходство. Это было малосимпатичное, но всё равно неодолимое чувство. Белёсый ведь, скорей всего, не знал, что Артём и сам здесь второй день. Напротив, он был уверен, что попал в компанию прожжённых мастеров, давно уже снятых с общих работ. Наглядный страх белёсого усиливал ощущения Артёма, и он всем своим независимым видом подчёркивал: да, мы тут веселимся, да, я нагну сейчас тебе твои ребристые бока, потный шкет.

На этот раз Артёма даже не смущало, а чуть возбуждало внимание окружающих. Гиревики первыми оставили свои гири, вскоре подошли и борцы. Футболисты ещё играли, но многие уже сбавляли бег и откровенно косились на Артёма с белёсым.

— Готовы? — спросил Борис Лукьянович.

Артём коснулся рукавицей лба.

— Висок-то ничего? — вдруг вспомнил Борис Лукьянович.

— Я буду другую сторону подставлять, — ответил Артём; Борис Лукьянович, сдержав улыбку, кивнул.

Всё произошло очень скоро: Артём пугнул слева, пугнул справа, быстро понял, что белёсый плывёт: несмотря на то, что руки держит правильно и вроде бы умеет двигаться, продолжает очень бояться. Ну, и сунул ему, при первой нехитрой возможности, в зубы, куда жёстче, чем следовало бы.

Белёсый упал.

Чайки, и так ведшие себя безобразно, тут вообще захохотали.

Один из студентов, подбежавших поглазеть, насмешливо ахнул, но другие не поддержали: белёсый выглядел весьма жалко.

Подниматься он не стал. Облокотившись на правую руку, стянул рукавицу с левой, зажав её край меж челюстью и плечом, — и тихо трогал ватной губы.

У Артёма сначала едва не свело челюсти в радостной улыбке — вот же как я! — но он быстро понял, что радоваться тут нечему.

Борис Лукьянович помог белёсому подняться.

Артём подумал, что это нужно было сделать ему.

— Ты побережнее в другой раз, — сказал Борис Лукьянович, подмигнув Артёму, и повёл белёсого в амбар.

Подмигивание немного успокоило Артёма.

“Ну, а что, — сказал он себе. — Мне сказали проверить парня — я проверил...”

Но прошло ещё десять минут, и Артём неожиданно понял, какой он крошечный дурак.

“Надо было танцевать вокруг него минут хотя бы пять, а только потом уронить! — горестно и злобно отчитывал он сам себя. — А то неизвестно, кого ещё найдут ему на смену!”

Борис Лукьянович, напоив белёсого водой и предложив ему поесть, вернулся.

Похлопал Артёма по плечу. Тот скривил улыбку, ничего не сказав.

— Подержи очки? — попросил Борис Лукьянович и резко вклинился в ряды футболистов.

Артёму болезненно хотелось, чтоб Борис Лукьянович вместо дурацкой забавы с мячом как-то успокоил его. Но хоть очки дал, и то хорошо.

Он гладил дужку и продолжал тихо злиться на себя.

Тут примешивалось и другое, стыдное чувство: белёсого наверняка вытащили из карцера, где, как рассказывали, творилось чёрт знает что, может быть, даже из той самой глиномялки, которой пугал Жабра... У него была спасительная возможность задержаться в спортсекции — и тут Артём...

— Какая гадость! Подлость какая! — шёпотом повторял Артём, одновременно желая, чтоб белёсый доел, наконец, консервы и свалил отсюда.

“Куда? — спрашивал себя Артём. — Назад в карцер?”

Очень вовремя объявился фельетонист Граков, который непонятно когда и откуда пришёл.

— А ты что тут? — спросил Артём, спеша заговорить не столько из интереса к Гракову, сколько потому, что хотелось отвлечься. — Тоже решил податься в олимпийцы?

— Куда там, — отозвался Граков. — Я теперь по печатной части: газета, журнал...

— В “Новые Соловки” взяли? — едва ли не всерьёз обрадовался Артём, хотя с Граковым разговаривал разве что пару раз и никаких особенных симпатий к этому молчаливому и не очень приметному типу не испытывал; он чуть было не добавил: “...И Афанасьева за собой тащи, вы же из Питера оба”, — но тут же вспомнил, что они общения между собой избегали.

— Борис Лукьянович где? — спросил Граков. — Я по его душу. Готовлю статью о предстоящих соревнованиях.

— А вон, — показал Артём.

Борис Лукьянович, близоручко щурясь, высматривал мяч, это выглядело мило и забавно. Похоже, без очков он ни черта не видел на другом конце поля и определял мяч исключительно по скоплению весёлых студентов.

Студенты, ещё с утра отметил Артём, несмотря на своё серьёзное, хоть и насильно прерванное образование, умели ругаться небоскрёбным матом. Только Борис Лукьянович даже в запале игры выражался исключительно корректным образом.

— Ко мне? — он подбежал, чуть запыхавшийся и приветливый.

— Вот из газеты, — подавая ему очки, сказал Артём. — Товарищ Граков.

Борис Лукьянович посмотрел на Гракова сначала без очков, а потом в очках, как бы сверяя впечатление.

— Я пишу статью о... — начал Граков, но Борис Лукьянович тут же тоскиво скривился:

— Слушайте, я не умею. Вот Артём хорошо говорит. Скажите ему что-нибудь, Артём.

“С чего это? Откуда он взял?” — удивился Артём, впрочем, довольный. Граков тут же развернул блокнот и достал из-за уха карандаш: пришлось медленно отвечать.

— Участие заключённых в спортивных соревнованиях — это... — начал Артём очень уверенно, перевёл взгляд на Бориса Лукьяновича, тот медленно кивнул большой головой с таким видом, словно слушал и тут же переводил про себя на русский иностранную речь, — это не развлечение. Это отражение грамотно поставленной культурной работы Соллагерей. Отражение пути, проходимого исправляющимися, но пока ещё виновными членами общества.

— Вот! — сказал более чем удовлетворённый Борис Лукьянович в подтверждение и начал протирать очки майкой.

— Спорт — это очищение духа, столь же важное, как труд, — чеканил Артём, откуда-то извлекая сочетания слов, которыми никогда в жизни не думал и не говорил. — В спорте, как и в труде, есть красота. Спорт — это руки сильных, поддерживающие и ведущие слабых. Товарищ Троцкий говорит: “Если б человек не падал, он бы не смог приподняться”. Спорт учит тому же, что и Соллагерь, — приподниматься после падения.

— Ах, красота, — по-доброму ёрничая, нахваливал Борис Лукьянович. — Это просто соловьиный сад. Артём, вы могли бы стать великолепным агитатором. Громокипящим!

“Тютчева любит или Северянина? — мельком подумал Артём, чуть зардевшись от похвалы, сколь бы ни была она иронична. — Скорей, Тютчева. И Блока, конечно”.

— Подождите, — попросил Граков, заносающий в свой блокнот каракули, явственно напоминающие хохломскую роспись, но никак не буквы. — Сейчас... Да, слушаю.

Артём изгалялся ещё полчаса, пока не кончились страницы в блокноте у Гракова.

— За вами вчера приходили в двенадцатую роту из ИСО, — сказал Граков на прощанье. — Я как раз собирал вещи, чтоб перейти на новое место... Нашли они вас?

Артём смотрел на Гракова не мигая, даже забыв ответить.

Про Галю он не вспоминал целый день.

“Пора стучать, Артём, пришла твоя пора”, — пропел он мысленно и, не попрощавшись с Граковым, медленно пошёл к амбару, возле дальней стены которого в прошлый раз ел сало с лимоном, — там было отличное место, чтобы подумать, как теперь быть... Будто что-то зависело от его дум.

“Это тебе за белёсого”, — сказал себе Артём.

“Ага, — отозвался он сам себе. — А когда б не было белёсого, то и Галина бы про меня забыла... Может, спросить у неё: “А разве участники спортсекции не освобождаются от обязанностей филёра и доносчика?”” — пытался развеселить себя Артём, но всё равно было не забавно.

По пути его поймал Борис Лукьянович.

— Слушай, Артём, а ты всё равно худоват что-то, — сказал он. — Давай выйдем тебе ещё и сухпай? С завтрашнего дня? Денежное довольствие — как бойцу, а сухпай — как агитатору, верно?

Больше ни с кем Борис Лукьянович таким добрым и шутивным тоном не разговаривал.

* * *

“Вчера не явились, значит, сегодня прямо из кельи заберут”, — предполагал Артём, чувствуя тяжесть на сердце.

Отчего-то вызов в ИСО пугал его даже больше, чем возможность встретить блатных на входе в Наместнический корпус.

“Оттого, что бесчестье страшнее смерти”, — патетично произнёс Артём про себя, заранее зная, что всё это глупые слова, блажь.

По дороге в кремль Артём решительно свернул в “Розмаг” и приобрёл чугунок: “...хоть покормить себя горячим перед грехонаданием”.

Деньги теперь он носил при себе — это как-то придавало ему сил: возникало обманчивое ощущение свободы и весомости.

“А начнёшь стучать, — подзуживал себя Артём, — тебе ещё один паёк назначат, третий. Всегда будут рубли на кармане. Разъешься. Станешь масляный, медленный, щекастый...”

Представил, как, икая, переходит кремлёвский двор, жирный, что твой эппман; стало чуть забавней на душе.

На главной кухне по бумаге Бориса Лукьяновича старший повар выдал ему сухпай, да ещё с капустой, с головкой чеснока, с жирами...

Повар — нестерпимо пропахший баландой, рыбой, пшёнкой и гречкой, бритый наголо, с единственным глазом мужичина — внимательно осмотрел

Артёма, пытаясь на всякий случай понять, что за тип перед ним и отчего ему нужно отдать улучшенный паёк.

Артём подмигнул повару. Как-то было диковато подмигивать одноглазому.

“Пусть думает, что я главный лагерный стукач, — продолжал Артём насмехаться над самим собою, унося паёк, — пусть догадается по моей наглой морде, что я отсидел своё и остался вольняшкой в монастыре из природной склонности к подлости и лизоблюдству! За это меня и кормят!”

Ни блатные, ни красноармейцы не ждали Артёма у корпуса.

Он спешил ко входу в свою роту так, словно о нём печалились в келье сорок ласковых сестёр... или лучше — одна, и не сестра вовсе...

“Может, Галина забыла про меня? — думал Артём, хрустя капустным листом и резво, пока никто не окликнул, поднимаясь на свой второй этаж. — Или ИСО так и не сможет меня найти? Потеряют в бумагах, подумают, что заключённого Горяинова услали на дальнюю командировку, и забудут до конца срока? Так ведь бывает?”

Он готов был поверить во что угодно, лишь бы не встретиться с этой тонкогубой тварью больше никогда.

В келье на своей незастеленной лежанке полулежал смурной Осип с каким-то учебником без обложки.

“Осип дома”, — с тёплым чувством отметил Артём, словно его учёный товарищ тоже мог служить ему защитой. Заодно поймал себя на мысли, что говорит “дома” про эту их клеть, а вот двенадцатую роту, прежний свой помойный клоповник он никогда так не называл.

— Давайте-ка приготовим щи, Осип? — предложил Артём с порога.

— Вы умеете? — недоверчиво спросил Осип, облизнувшись.

Артём умел.

Облизывался Осип только в хорошем настроении, заметил Артём. В плохом, напротив, держал рот запечатанным и сухим.

Печь в коридоре уже кто-то растопил, Артём подбросил поленьев и скорей, пока не заняли место, приспособил свой новый чугунок.

Через полтора часа всё было готово.

— Водоросли штормами выбрасывает на берег, — рассказывал Осип про свою работу, держа миску обеими руками за края, словно та могла упрыгнуть куда-нибудь. — Образуются валы в несколько километров длиной. Они все съедобны, ядовитых водорослей нет. В Англии, Японии, Шотландии из них делают много вкусного. Конфеты, варенье, бланманже.

— Так вы этим занимаетесь? — дурачился вспотевший от долгой суеты возле печки Артём, разливая щи. — Принесёте бланманже из водорослей попробовать?

— Нет, не этим... — отвечал Осип, внимательно глядя то в свою миску, то в чугунок. — Да, делаю бланманже. А ещё мороженое, квашенку, печенье. Но мы пока что занимаемся другим, ибо советской власти не до печенья. Ей нужен вышеназванный йод, чтобы залечивать свои раны.

Осип всегда острил весьма едко и совершенно без улыбки. Юмор подтверждал, что этот человек не настолько рассеян и потерян, как это могло показаться на первый взгляд.

— Помимо того, — продолжал он в той же интонации, — из йода можно делать клеящее вещество альгин, целлюлозу, калийные соли.

— Но вы пока делаете только йод? — уточнил Артём.

— Да, — коротко ответил Осип, зачерпнул ложкой щи и некоторое время держал ложку над миской, не обращая на неё внимания. — Водоросли испепеляют, выщелачивают водой и в этой воде освобождают йод от йодистого калия. Всё очень просто. Для более масштабной работы пока нет возможностей. Хотя у товарища Эйхманиса, естественно, огромные планы.

Осип, наконец, попробовал щи. Артём был уверен, что он даже не заметит, что съел, но всё случилось ровно наоборот.

— Это очень вкусно, — сказал Осип с достоинством. — Научите меня?

Артём размашисто кивнул. К нему откуда-то пришло сильное настроение.

— Большевики вообще обожают всё планировать, заносить в графы и распределять, — продолжил Осип, поднося ко рту следующую ложку. —

Это какой-то особый тип психической болезни: сумасшедшие, но подходящие ко всему строго научно.

Артём весело скосился на дверь и перевёл тему:

— Вы общались с Эйхманисом? — спросил он насколько мог просто и даже легкомысленно, чтоб настроить и Осипа на этот лад.

— Естественно, общался. И сразу потребовал от него привезти сюда мою маму.

“В тюрьму?” — хотел пошутить Артём, но не стал.

— И он? — спросил.

— Немедленно согласился, — гордо сказал Осип.

— А зачем вам мама, Осип?

— Ей без меня плохо, — ответил он уверенно, — а мне она необходима для нормальной работы.

— А как вам Эйхманис показался? — спросил Артём.

— Начальник лагеря — и, значит, подонок, иначе как бы он им стал? — ответил Осип очень просто.

— Так... — сказал Артём, подняв ложку вертикально, словно собирался ей ударить Осипа в умный лоб. — Что там ещё делают вкусное из водорослей?

* * *

С утренней разминки Бориса Лукьяновича вызвали в Культурно-воспитательную часть.

— Артём, проводи? — попросил он коротко, как о чём-то само собой разумеющемся.

Дело нехитрое — провёл.

Час спустя Борис Лукьянович вернулся, но только на минуту, и попросил Артёма отследить, чтоб брусья врыли где надо, а не где попало.

Брусья вскоре принесли.

Дело несложное — проследил.

В остальное время Артём истязал себя на турнике. С баланами это всё было несравнимо.

“И не следит никто, — наслаждался Артём. — Хочу — вишу, хочу — сижу, хочу — в небо гляжу”.

Глядел он, впрочем, даже раскачиваясь на турнике, всё больше на дорогу из монастыря: не спешат ли красноармейцы из полка охраны препроводить его в ИСО, а то там Галина заждалась.

Вместо красноармейцев увидел Ксиву, который с лесного наряда плёлся под конвоем на обед в числе таких же умаянных лагерников, как и он.

Издалека было не понять, смотрит Ксива на Артёма или ему не до того.

После обеда запад спортсекции подстихал: на одном сухпае, подкрепляясь хлебом с морковью, сложно было до самого вечера задорно тягать гири и бодро бегать. Но вернулся Борис Лукьянович, и Артём с удовольствием решил, что теперь это не его головная боль: пусть старший следит за всеми и погоняет их.

Борис Лукьянович явился без пополнения, зато с доброй вестью.

— Друзья и товарищи! — объявил он. — С нынешнего дня помимо дежнего довольствия мы будем иметь ежедневную горячую кормёжку на обед!

Студенты заорали, Артём тоже не огорчился — жрать ему по-прежнему хотелось постоянно.

— Только нам его не довезли почему-то, — с улыбкой сбил настрой Борис Лукьянович. — Артём, может, сходишь, узнаешь, в чём дело?

Понадеявшись, что Ксива уже в роте и с ним удастся разминуться, Артём поспешил в монастырь через Никольские ворота — на главную кухню.

Проследовал с главного входа мимо поста с оловянным выражением лица — даже не окликнули, хотя лагерникам в рабочие помещения главкухни было, естественно, нельзя.

Старший повар шёл навстречу в сапогах, в грязном и чёрном фартуке, с топором. Артёма узнал и смотрел на него с некоторым напряжением, не моргая своим единственным глазом с выжженными ресницами и отсутствующей бровью.

Артём опять не представился, но сразу поинтересовался, в чём дело и где обед спортсекции, которая по личному приказу начлагеря готовится к олимпиаде в честь революционной годовщины? Может быть, написать докладную Фёдору Ивановичу?

Артём нарочно сказал “Фёдору Ивановичу” — так звучало куда убедительней: будто бы он только что сидел с ним за одним столом и пришёл разузнать имена и должности саботажников.

— Что такое? — прорычал повар. — Я велел!

Слова у него были будто порубленные топором, как мясные обрезки: “...шэтэ так? Я влел!”

От греха подальше Артём ушёл дожидаться на улице: вроде как в начальственном раздражении захотел перекурить.

Баки с горячим обедом вынесли через три минуты.

“В следующий раз, — отчитался себе Артём, поспешая за кухонным нарядом, — когда тебя соберутся бить блатные, Бурцев и десятник Сорокин, к ним присоединится одноглазый повар с половником и разнесёт тебе им башку, наконец”.

Площадь была почти пуста, только олень Мишка караулил кого-нибудь с сахарком, а Блэк присматривал за олешкой.

Блатные не заставили себя ждать: Артём услышал их голоса и оглянулся, они были совсем рядом.

— Я эту суку из окна заметил, — скалился рыбьими зубками Жабра. Видимо, пока Артём ходил на кухню, тот успел найти в двенадцатой Ксиву и Шафербекова. Четвёртым с ними торопился какой-то леопард, неисполненный интереса к тому, как пойманного фраера сейчас разделяют на куски или хотя бы проткнут.

— Товарищ часовой! Товарищ красноармеец! — заорал Артём, называя служивого человека “товарищем”, что было запрещено — только “гражданин”! — и побежал к монастырским воротам, слыша топот за спиной.

“У Ксивы ботинки были разваленные, ему бегать неудобно!” — успел вспомнить Артём.

Вслед им залаял, а потом и побежал, скоро нагнав Артёма, Блэк.

— Эй, не кусайся! Эй! — попросил на бегу Артём, потому что пёс нёсся ровно у его ног, скаля зубы. Зато олень Мишка никуда не побежал, но вспрыгивал на месте, подкидывая зад.

Бежавший босиком леопард нагнал Артёма почти у ворот, вцепился в пиджак, надрывая рукав.

— Чего ещё? — спросил красноармеец, не понимая, что творится. — Ну-ка, тпру все! Щас пальну промеж глаз! — Он действительно передёрнул затвор и поднял винтовку.

Остановился только кухонный наряд с баком, Шафербеков же с Жаброй и Ксивой тоже добежали прямо до поста и стояли теперь возле Артёма.

Он быстро переводил глаза с одного поганого лица на другое. Блэк крутился под ногами, коротко полаивая на людей.

— Мне надо выйти, — сказал Артём, подавая пропуск красноармейцу, и пихнул в лоб леопарда, так и не отпускаявшего рукав.

— А чего орал? — спросил красноармеец, возвращая пропуск. Артём ничего не ответил, шагнул за ворота, забрав свою бумагу, и, не глядя, сунул её в карман.

С той стороны ворот остановился и, тяжело дыша, развернулся к блатным, так и стоявшим возле поста.

Артём чувствовал, что спина его была горяча и затылок пылал, как обожжённый. Но тут же осознал, насколько забавна ситуация: он стоял здесь, а эти — там, и выйти они не могли, пропусков у них не было, даже Ксива ходил на лесные работы с десятником.

Выпустили кухонный наряд с баками, и они, настропалённые поваром, заторопились в сторону спортсекции.

— Жабра, иди сюда, — ласково позвал Артём. — Мармелада дам. Хочешь мармелада? — Он действительно достал из кармана приобретённую утром мармеладку. — Лови! — и кинул. — Смотри только, чтоб рот не надорвался опять!

Мармелад поднял леопард и тут же проглотил, не жуя.

— Ксива! — крикнул Артём. — Не ссы криво!

Вспомнил и про Шафербекова: Афанасьев на вениках рассказывал, как этот тип покромсал жену, сложил в корзину и переправил в Шемаху.

— Шафербе-е-еков! — протянул Артём. — Тебе, говорят, жена посылку прислала из Шемахи? Или жену в посылке прислали? Я так и не понял! Сходи на почту, выясни?

Жабра и Ксива стояли, раскрыв рты, вне себя от злости, у Ксивы даже нос посинел. Улыбался и щурился Шафербеков — будто Артём его слепил.

— Ну-ка, пошли вон, — велел красноармеец блатным и, оглянувшись к Артёму, добавил: — И ты шлёпай отсюда, потешник.

Блатные отошли и сели возле монастырской стены.

“Получше тебе, блудень соловецкий?” — спросил себя Артём, подрагивая от удовольствия, словно ему красивая, сисястая девка с длинными крашеными ногтями почесала спину и подула на шею.

“Ещё бы! — ответил себе же взбудораженно. — Только как я пойду назад? Не просить же красноармейца препроводить меня до кельи?”

Он поймал и раздавил пальцем большую каплю пота, скатившуюся из-под волос по лбу.

Навстречу спешил Борис Лукьянович; от нечего делать Артём его подробно рассматривал: брюки клёш, тельняшка, весь полный сил, плечи бугрятся, шея кабанья, уши, как у всех здоровых людей, маленькие.

— Слушай, ну! — начал Борис Лукьянович ещё за несколько шагов. — Я на тебя прямо-таки люблюсь! Обед, вижу, несут бегом! Что ты им сказал такое на кухне?

Не отвечая, Артём ждал, когда Борис Лукьянович поравняется с ним, и только улыбался.

— Искал тебя, отлично, что нашёл, — сказал Борис Лукьянович, подойдя и не замечая некоторой взвинченности в лице Артёма, зато обратил внимание на другое: — О, у тебя рукав надорван... Смотри, сейчас будет совещание у Эйхманиса. Скажу, что ты мой помощник, и вместе зайдём, да? Ты хорошо говоришь. Вступишь, если возникнет необходимость. Тем более что там Граков будет всё слушать опять и записывать. Так что нужны правильные речи. Я их не умею.

— И я не умею, — ответил Артём, толком не успевший успокоиться после случившегося.

— Ты всё отлично умеешь! — убеждённо сказал Борис Лукьянович. — Без обеда перетерпишь? Я тоже голодный. А после совещания сразу пойдёшь отдыхать.

Артём понадеялся, что блатные ушли, но нет: так и сидели там же. Вскинулись удивлённо, леопард встал и почесал в промежности.

— Чего, опять назад? — спросил красноармеец Артёма. Поискав, Артём нашёл в кармане пропуск, весь в горчице и солевых пятнах.

— На суп его можно пустить, — сказал красноармеец, возвращая бумагу.

Вздохнув, Артём шагнул за Борисом Лукьяновичем. Блатные поднялись и медленно тронулись им навстречу.

— Почему не в роте? — заорал на них вдруг налетевший, как вихорь, Бурцев. — Наряд отменили? Здесь объявили привал? Или открыли бульвар?

Ксива при виде Бурцева сдал два шага назад, Шафербеков — один.

— Ты кто такой? — заорал Бурцев на Жабру. — Какая рота? — Жабра шмыгнул носом и быстро пошёл в сторону лазарета, напряжённый всем лицом, будто пересчитывая зубы во рту.

Ксиву с Шафербековым Бурцев так и не тронул, а на леопарда замахнулся стилетом:

— Пошёл прочь, дрянь!

Через полминуты все разошлись, остался один Бурцев, Артём с Борисом Лукьяновичем прошли мимо.

Сапоги на Бурцеве были новые, отличные и начищенные до блеска. С Артёмом он не поздоровался.

* * *

Прошли через монастырский двор и вышли с другой стороны — Управление лагерем располагалось в здании на причале. Через эти ворота заключённых не выпускали, но Борис Лукьянович, видимо, имел особый документ.

Кабинет у Эйхманиса был просторный, полный воздуха. На столе стоял графин с чистой водой. Портретов на стенах не было, только самодельная карта Соловецкого острова с многочисленными флажками.

“Кто-то из заключённых рисовал наверняка”, — подумал Артём.

Когда входили, Эйхманис поднял глаза и ничего не сказал.

При ярком дневном свете стало заметно, что он загорелый. Волосы ровно зачёсаны назад, высокий голый лоб с белой, у самых волос, полоской — видимо, иногда на жаре ходил в кепке или фуражке. Глубокая морщина между бровями. Крупные поджатые губы. Неподвижный взгляд направлен прямо на Бориса Лукьяновича.

Что-то в нём было такое... Артём искал подходящее слово... Словно он был иностранец! Каждую минуту ожидалось, что вдруг он перейдёт на свою, родную ему речь, и совсем не латышскую, или немецкую, или французскую, а какую-то ещё, с резкими, хрустящими, как битое стекло, повелительными словами.

Отдельно в уголке сидел Граков, с чрезвычайно осмысленным видом делающая заметки в своём блокноте.

— Фёдор Иванович, я знаю, что артистам теперь положен допшаёк, артистов сняли с работ... Но нам, спортсменам, я считаю, нужен тройной паёк. Хотя бы до соревнований. У многих недостаток веса... Это может сказать... — чуть стесняясь, но в то же время настойчиво, словно принуждая себя произнести всё, что считал нужным, говорил Борис Лукьянович.

— Борис Лукьянович, с вашей командой только одна проблема, — громко, словно бы на плацу, с чуть нарочитой резкостью отвечал Эйхманис, не смотря на то, что ему, судя по всему, происходящее казалось забавным. — Двадцать три из двадцати семи предполагаемых участников соревнований на ходятся здесь по статье “Терроризм”.

Борис Лукьянович потрогал дужку очков, как бы желая их снять, но раздумал, будто решил: а вдруг не увижу что-то важное?

“Насколько Борис Лукьянович смотрится меньше рядом с Эйхманисом, — отметил Артём. — Или это власть? А если бы на месте Эйхманиса сидел Борис Лукьянович?.. Я бы воспринимал всё иначе?”

— Терроризм! — повторил Эйхманис и поднял карандаш вверх, покрутив его лёгким круговым движением с таким видом, словно готовился бросить в дальний угол кабинета или в Гракова, которого он просто не замечал.

Артём некстати вспомнил, что Галя тоже всё время разговаривала с карандашом в руке.

— У нас что, нет других преступников? — спросил Эйхманис; он чуть ослабил пальцы, карандаш скользнул вниз, Эйхманис поймал его за самый кончик и показывал в воздухе, словно это была стрелка часов; в его неосмысленной игре было симпатичное мальчишество. — Вору есть? Есть. Грабители есть? Есть. Мошенники есть? Оч-чень много! Так почему ж вы набрали одних террористов? Это самая любимая ваша статья Уголовного кодекса? Или вы готовите нам какой-нибудь сюрприз к годовщине Октября?

Борис Лукьянович кашлянул и посмотрел по сторонам — Артём догадался, что тот ищет стакан: ему захотелось воды. Но стакан был только у Эйхманиса.

— Иван! — крикнул Эйхманис куда-то, легко пристукнув ладонью о стол; Борис Лукьянович и Артём вздрогнули, в стакане Эйхманиса мягко качнулась вода. — Кружку принеси, будь добр!

Эйхманис несмотря на то, что обожал муштру, построения и военные смотры, сам был в гражданской одежде. Который раз Артём его видел — и всякий раз это отмечал: в то время как вся лагерная администрация носила форму, он появлялся на людях то в свитере красивой вязки, то в одной тельняшке, а сейчас сидел в элегантном пиджаке, три верхние пуговицы на рубашке были расстёгнуты, виднелась крепкая шея — вместе с тем было в нём что-то молодое, почти пацанское.

Артём поймал себя на чувстве безусловно стыдном: в эту минуту Эйхманис ему по-человечески нравился.

Он так точно, так убедительно жестикулирует, и за каждым его словом стоит необычайная самоуверенность и сила.

Если б Артёму пришлось воевать, он хотел бы себе такого командира.

Принесли кружку. Эйхманис резко, по-хозяйски передвинул графин со своего стола на стол совещаний, стоявший впритык.

— Понимаете... — начал Борис Лукьянович, наполнив себе кружку и бережно отпив; было видно, что ему трудно объясняться. — По статье “Терроризм” чаще всего попадают... студенты. Если студент идёт в террористы, он, как правило... в неплохой физической форме. То есть многие из них готовят себя...

— Ну да, готовят, — в тон Борису Лукьяновичу и вроде бы без раздражения сказал Эйхманис, но Артём почувствовал, что физкультурник опасается поднять глаза на начлагеря.

Борис Лукьянович снова на несколько секунд замолчал.

— Чего не скажешь ни о рабочих, — закончил он, наконец, — ни о крестьянстве... Ни о нэпманах. Ни о большинстве уголовников, у многих из которых здоровье уже подорвано. Есть, я догадываюсь, среди каэров люди, которые могли бы нам...

— Да-да, террористов из новых и каэров из бывших, — засмеялся Эйхманис. Артём, наконец, решился на него мельком взглянуть и сразу встретился с ним взглядом: глаза у начлагеря были серые, чуть надменные и чуть усталые, зато с пушистыми и длинными ресницами; и как он их уберёт до своего возраста? — неясно. Он что, никогда не прикуривал на ветру?

Смех у него звучал так, что было понятно: смеётся в его кабинете только он один, всем остальным это делать необязательно.

Зубы у Эйхманиса были ровные, уши твёрдые, как бы вырезанные резцом, на подбородке заметная ямочка... И только скошенная, ускользящая какая-то линия скул, снова замеченная Артёмом, чуть портила впечатление. С такими скулами сама голова Эйхманиса казалась недостаточно крупной для его тела и напоминала что-то вроде морского валуна, который долго обтачивало море, а потом сплюнуло, сгладив то, чему нужно бы выглядеть резче и очерченней.

— Это будет славная компания, — закончил Эйхманис и тут же спросил у Артёма, впервые переведя на него взгляд. — Вот вы за что сидите, Артём?

Артём едва не поперхнулся, услышав своё имя: он точно помнил, что Борис Лукьянович представил его просто как помощника, никак не называя, да и глупо было бы знакомить начлагеря с рядовым заключённым.

Это знание Эйхманиса могло означать всё что угодно, но Артём явственно почувствовал оглушительную гордость: его знают! Он замечен!

— Я? — переспросил Артём, что вообще было не в его привычках.

Эйхманис коротко и терпеливо кивнул: да, вы.

— За убийство, — сказал Артём.

— Бытовое? — быстро спросил Эйхманис.

Артём кивнул.

— Кого убили? — так же быстро и обыденно спросил Эйхманис.

— Отца, — ответил Артём, почему-то лишившись голоса.

— Вот видите! — обернулся Эйхманис к Борису Лукьяновичу. — Есть и нормальные!

Борис Лукьянович посмотрел на Артёма и ничего не сказал, только ещё раз выпил воды.

Граков не отрывал глаз от блокнота и, кажется, даже не писал, а рисовал или чёркал что-то.

— У меня есть предложение, — вдруг нашёлся Артём, чтоб перевести на другое внимание Эйхманиса и Бориса Лукьяновича. — Может быть, имеет смысл подключить Информационный отдел и посмотреть в делах? Там может обнаружиться информация о людях, которые занимались спортом, но по тем или иным причинам не объявили о своём желании участвовать в соревнованиях. Их можно отдельно и настойчиво попросить. Просто нужно знать, кого именно.

— Иван! — позвал Эйхманис, и тут же в дверях появилось лицо секретаря. — Пошли вестового в ИСО, пусть Галину вызовет.

— Идея очевидная, а в голову не пришла. Спасибо, Артём, — сказал Эйхманис совсем просто, и Артём с трудом не покраснел от удовольствия, но начлагеря уже обращался к Борису Лукьяновичу. — Итак, пайками обеспечим. По общему составу участников ещё проведём работу. А теперь общая организация. Слушаю вас внимательно...

Борис Лукьянович подробно отчитался: перед каждым смысловым абзацем он набирал воздух, словно ему всякий раз нужно было доплыть до следующего раздела.

Эйхманис больше его не перебывал.

Артём с некоторым сомнением думал, а не обернётся ли его инициатива новой, отдельной встречей с Галиной, которую он несколько не хотел видеть.

Она всё не шла.

В разговор ему пришлось вступить ещё раз, когда заговорили о воспитательной нагрузке соревнований. Граков тут по-новому приосанился и с шумом перелистнул свои каляки-маляки, открыв чистый лист.

Артём уже придумал несколько трескучих лозунгов для соревнований и сразу же предложил их на выбор. Ни души, ни сердца он в это не вкладывал, поэтому подобная деятельность давалась ему особенно легко. Но Эйхманис отнёсся к предлагаемому более чем серьёзно и записал себе каждый лозунг, сокращая слова и целые предложения, в чём легко обнаружились навыки студента, когда-то всерьёз посещавшего лекции. Граков, заметил Артём, записывал куда более полно и совершенно не поспевал, понапрасну надеясь на свою память.

В конце встречи Эйхманис без всякого пафоса попыток обобщить картину и набросал несколько тем, чтобы Борис Лукьянович подумал.

Речь его выдавала человека собранного и внимательного.

Когда все поднялись, Эйхманис ещё раз переспросил:

— Вы, Артём, отвечаете за общую дисциплину, но и в соревнованиях тоже принимаете участие?

— Так точно, — спокойно ответил Артём, уже освоившись.

Эйхманис окинул его изучающим взглядом, и Артём тотчас догадался, о чём начлагеря собирается его спросить.

— Бокс, — сказал Артём, чуть улыбнувшись.

Эйхманис кивнул.

— Галина, видимо, у нас чем-то занята, — сказал он. — Вас к ней сведут, она тем временем подготовит нужную информацию по спортивным кадрам.

Артём хотел было сказать: “Да мы знакомы с Галиной!” — но сразу же передумал.

В коридоре, дожидаясь, когда вызовут, сидели священник, молодой парень, по виду из леопардов, и каэр — выправка и взгляд выдавали его.

Все трое внимательно осмотрели Бориса Лукьяновича, Артёма и Гракова.

Артём, не в силах сдержаться, нёс на лице печать посвящённости в неведомые обычным лагерникам вопросы.

Что до Бориса Лукьяновича, то он вообще не заметил других посетителей, а просто был озабочен.

— Сегодня у Мезерницкого посиделки, пойдёте? — предложил Граков Артёму на улице. — Он о вас хорошо говорил.

Они смотрели на море. Над водой летала — то снижаясь, то взмывая, — словно раскачиваясь на невидимых качелях, чайка.

Артём расценил уважительное обращение к нему Гракова как ещё одно доказательство своего нового положения.

— Да? — приветливо переспросил Артём. — А во сколько?

Он вдруг раздумал бояться блатных: кто его тронет после того, как Эйхманис называл его по имени? Артём может растоптать их всех.

“А то, что Борис Лукьянович узнал, за что сидит лагерник Горяинов, — так мало ли кто и за что здесь сидит”, — отмахнулся от себя Артём.

По крайней мере, расстались они нормально. “Неплохо вы придумали с поиском новых кадров”, — сказал Борис Лукьянович, не очень, впрочем, уверенный, судя по его внешнему виду, в том, что сам произносил.

Да и ладно, решил Артём. Главное, что Эйхманису понравилось.

“А то, что тебя опять к Галине приведут? — ещё раз спросил он сам себя. — Означает ли это, что ты полный кретин со всеми своими предложениями?”

“А зачем ей меня делать стукачом, если я и так работаю по отдельному указанию начлагеря?” — с некоторым вызовом ответил себе Артём.

В общем, успокоился: расклад вроде неплохой — даже хороший расклад.

Он шёл к своему корпусу — уверенный, сильный. Чайка настырно кружила прямо над головой, он подпрыгнул и едва не попал ладонью ей по хвосту.

Оставался один вопрос: звать ли Осипа.

“Нужен мне этот невротик или нет? — спрашивал себя Артём. — Разве дело, если каждый будет со своими друзьями приходить?..”

Он благоразумно решил не вспоминать, как Василий Петрович в прошлый раз его самого позвал к Мезерницкому.

“К тому же он так дурно и глупо говорил про Эйхманиса — ничего в нём не понял, — размышлял Артём, имея в виду Осипа и всё пытаюсь придумать вескую причину, чтоб идти одному. — Хотя при чём тут Эйхманис? Ты же не к Эйхманису идёшь на посиделки”, — тихо издевался он сам над собою.

Осипа он позвал, конечно.

Тот вернулся с работы привычно раздражённый: Артём заранее знал, что Осип сейчас начнёт ругаться из-за отсутствия нужного инструмента, или из-за глупейших лагерных ограничений, или из-за хамства администрации, поэтому прервал его сразу:

— Осип, а нас пригласили в гости! — объявил он торжественно, похрустывая морковкой: пообедать сегодня он так и не успел.

Осип, щурясь, некоторое время смотрел на Артёма. Потом ответил:

— Думаете, это уместно?.. Я, наверное, не хочу никуда.

— Пойдёмте, — уверенно сказал Артём. — Нас там отлично накормят... Но мы и с собой принесём кое-чего, — с этими словами он выдвинул свой сухпай из-под лежанки.

Осип заглянул в сухпай, как будто там могло обнаружиться что-то новое и необычное.

...В келье Мезерницкого уже сидели фельетонист Граков и Василий Петрович: Граков — на лежанке, Василий Петрович — у окна на стуле; сам хозяин выступал перед ними.

Артём едва сдержался, чтоб не захохотать, как ребёнок, — он был необычайно рад увидеть своего старого товарища. И Василий Петрович тоже вспыхнул глазами: как если бы дунули на угли.

“Ах, Артём, милый Артём”, — говорил весь вид Василия Петровича.

— Была империя, вся лоснилась, — рассуждал Мезерницкий, размахивая руками; ногти у него по-прежнему были нестриженные и с чёрной окаёмкой. — А вот Соловки. И всем тут кажется, что это большевики — большевики всё напортачили, — Граков, слушая Мезерницкого, смотрел в стол,

чуть подрагивая бровями, словно у него был тик. — А это империю вывернули наизнанку, всю её шубу! А там вши, гниды всякие, клопы — всё там было! Просто шубу носят подкладкой наверх теперь! Это и есть Соловки!

Осип с минуту озирался по сторонам, пока внимание его не остановилось: на столе была разложена разнообразная снедь.

Василий Петрович встал, молча зазывая Артёма на своё место, с таким видом, словно сам сидел тут не первый час и уже притомился отдохнуть, в то время как уставшему с дороги Артёму обязательно нужно присесть.

Всё это, конечно, растрогало Артёма ещё больше. Он положил завернутую в бумагу рыбу на стол и крепко обнялся с Василием Петровичем.

— Вы, что ли, не видите в роте? — серьёзно, с едва различимой иронией спросил Мезерницкий.

— Меня перевели... — ответил Артём. — Это мой друг Осип, учёный.

— “И днём, и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом...” — сказал Мезерницкий, протягивая руку Осипу. Тот пожал её с некоторым неудовольствием.

— Я вам вещи принёс, Артём. А то вы всё не заходите, — негромко сказал Василий Петрович. — Впрочем, и правильно делаете.

Артём почувствовал, что от Василия Петровича пахнет. Запах был неприятный, но странно знакомый.

“Да это же запах барака! Моей двенадцатой роты! — догадался Артём. — Когда ж я успел отвыкнуть?”

И даже как-то легче стало, и отлегло: “Да обычный запах!..” — даже не подумал, а скорее приказал себе Артём. Приказал и подчинился.

— ...прозревали, какой он — народ, — продолжал о своём Мезерницкий, раскладывая принесённые гостями яства в разные стороны: это порезать, это почистить, это на салат, это на котлету. — Может, он такой? Может, он сякой? И тут их, наконец, привезли посмотреть, какой он — народ. Они и прозрели! Только прозрели — во тьму! Прозрели — во тьму! Видят — мрак! И пытаются теперь его описать соответствующим образом: народ — он, знаете ли, тёмный и безмолвный. “Да, тёмный, и ещё — страшный!” “Действительно, тёмный, страшный и как-то душно пахнет!” “И ещё колючий! Пахучий и колючий!” А это шуба, вывернутая наизнанку! Носили эту шубу на себе и не знали, что за дух там стоит в рукавах и под мышками!

— Это что? — спросил Осип, показывая пальцем.

— Это, — прервался Мезерницкий, кстати, совершенно не обидевшись на то, что его прервали, — тюленьё мясо, — и тут же спросил у Артёма: — А вас куда перевели?

— Во вторую, — сказал Артём, улыбаясь.

— И чем теперь занимаетесь? — спросил Мезерницкий без мягкого звука в конце слова.

— Придумываю лозунги, — ответил Артём, продолжая улыбаться.

Мезерницкий, своеобразно сложив губы, покивал: да, мол, неплохо.

— Проще, чем на баланах? — спросил.

— Несколько проще, — столь же серьёзно ответил Артём.

— Мезерницкий, вы вот говорите: прозрели на Соловках. По-моему, была возможность увидеть и понять народ в гражданскую? Разве нет? — сказал с улыбкой Василий Петрович.

— Нет, не говорите, — ответил Мезерницкий, тут же отвлёкшись от Артёма, и Артёму всё это казалось замечательно милым: разговор всех со всеми одновременно. — Во-первых, война, там другие обстоятельства. Там куда меньше быта. Во-вторых, даже на войне, где хватало всевозможного сброды, такого разнообразия типажей, как на Соловках, было не найти, тем более что иных типажей и не существовало тогда вовсе. Да, отчасти знали мужика и рабочего. Казака и осетина. Священника. Сироту. Прочее. Но на войне, как ни странно, люди всегда представляются чуть лучше, чем они есть: их так часто убивают, это очень действует, по крайней мере, на моей памяти нас убивали чаще, чем мы, и я так и не разучился огорчаться по этому поводу. Может быть, оттого, что тех, кого мы убивали, мы не знали во-

все, а порой и не видели вблизи их смерть; зато тех, кого убивали из нас, мы знали близко и видели исход всякой души.

Зашёл, совершенно неожиданно для Артёма, Моисей Соломонович и всем очаровательно сделал руками и глазами: сидите-сидите-сидите, я буду очень незаметным.

Мезерницкий кивнул ему, как знакомому, и начал ловко нарезать тюленьё мясо.

Граков даже привстал, чтоб видеть это.

Артём обратил внимание на его щёки, всегда словно расслабленные, как у спящего.

Моисей Соломонович, стоя у дверей, облизал губы, будто готовясь запеть и борясь с этим желанием.

— А тут, я говорю, тюрьма... — продолжал Мезерницкий, — и люди вдруг оборачиваются другими сторонами. Мы крайне редко убиваем друг друга тут, зато трёмся и трёмся, и трёмся всеми боками, не в силах разминуться, и вдруг прозреваем суть. Это как если бы мы были посажены в полный трамвай, и он сошёл с ума и вёз бы нас целый год или три. Поневоле приходится привыкать друг к другу... Здесь мы познакомились со своими вчерашними врагами в упор и начали даже делить с ними хлеб. Здесь мы остались почти голые — у большинства из нас нет ни званий, ни орденов, ни регалий, только сроки. Здесь мы узнали советского нэпмана и советского беспризорника — эти человеческие виды лично мне не были известны доселе. Здесь я увидел лагерную охрану и конвойные роты, а это есть идеальный образчик трудового народа, на время, с тоскою в сердце оставившего плуг и токарный инструмент.

Граков на этих словах быстро перевёл взгляд с тюленьего мяса на Мезерницкого и обратно.

“Слишком быстрые глаза при таких медленных щеках...” — отстранённо подумал Артём.

Осип, напротив, теперь уже с интересом прислушивался к Мезерницкому, позабыв о тюленьем мясе.

— Вам не кажется, что это не столько народ, сколько плесень на нём? — красивым своим и глубоким голосом сказал Моисей Соломонович. — А разве мы можем судить о вкусе сыра по плесени на нём?

— Есть такие сыры — с плесенью, — сказал Мезерницкий.

— Боюсь, что советская власть готовит другой вид сыра, в котором плесень будет исключена, — сказал Моисей Соломонович. — Только молоко!.. Новый народ — только молоко и сливки. Никакой плесени.

Василий Петрович внимательно смотрел на Моисея Соломоновича. Что-то в его взгляде было... нехорошее.

Моисей Соломонович, испросив разрешения, начал помогать Мезерницкому готовить и накрывать на стол, и свершал это не без остроумной ловкости.

Граков поинтересовался у Осипа, как идут дела в изучении морских водорослей: стало понятно, что они уже встречались и на эту тему имели некоторые беседы.

— ...Вы же так не доживёте до конца своего срока, — тихо, но разборчиво сквозь общий шум выговаривал Василий Петрович Артёму. — Вас точно хотят убить. Вы как-то заигрались во всё это. Я даже не знаю, чем вам помочь.

— Василий Петрович! — Артём даже боднул лбом товарища в его многоумный лоб, чего до сих пор себе не позволял. — Не портите мне моё июльское, зелёное настроение! Да и не случится ничего со мной...

Василий Петрович внимательно посмотрел прямо в глаза Артёму и только вздохнул.

Артём порывлся в принесённом мешке: если что и боялся он потерять, так это присланную матерью домашнюю подушечку — отчего-то она была ему дорога: он даже и не клал её под голову, а куда-то прятал под сердце и так спал на ней; да и то не всегда. Подушечка в пёстренькой наволочке была на месте. Правда, тоже пахла баракком.

Между тем Моисей Соломонович, незаметно для себя, тихонько запел:
— ...Мане что-то скучно стало: “Я хочу, хочу простор... чтоб шикарная коляска... с шиком въехала во двор...”

Мезерницкий, озирая стол, яростно потирал руки.

— Ах, всё Мане нудно стало: платье лёгкое, как пух, итальянские картинки надоели Мане вдруг, — красиво, в нос выводил Моисей Соломонович.

Эту песню исполнял он так, словно шмары и шалавы всяя Руси попросили Моисея Соломоновича: расскажи о нас, дяденька, пожалей.

Дяденька некоторое время жалел, и потом незаметно начинал петь совсем другое, неожиданное.

Когда попадалась Моисею Соломоновичу русская песня, казалось, что за его плечами стоят безмолвные мужики — ратью чуть не до горизонта. Голос становился так огромен и высок, что в его пространстве можно было разглядеть тонкий солнечный луч и стрижа, этот луч пересекающего.

Если случался романс — в Моисее Соломоновиче проступали аристократические черты, и, если присмотреться, можно было бы увидеть щеголеватые усики над его губой, в иное время отсутствующие.

Лишь одно объединяло исполнение всех этих песен, — верней, от каждой по куплету, а то и меньше, — где-то, почти слышимая, неизменно звучала ироническая, отстранённая нотка: что бы ни пел Моисей Соломонович, он всегда пребывал как бы не внутри песни, а снаружи неё.

— Перевели нашего тенора, — сказал Василий Петрович Артёму. — Теперь он по кооперативной части.

Моисей Соломонович, между прочим, принёс с собою дюжину пирожков с капустой и ещё столько же с яйцом.

Стол был не то чтоб очень богатый, зато разнообразный, уставленный и уложенный сверх меры.

— Всё это поедать одновременно не есть признак воспитанного человека, а вот если с чаем — тогда другое дело, — объявил Мезерницкий. — Тогда сочетание рыбы, пирогов с капустой, тюленьего мяса, брусники и моркови становится вполне уместным. Посему, Граков, идите за самоваром — он клокочет на печи в коридоре.

— А что, у вас аналой? — спросил Осип Мезерницкого.

— Это не совсем аналой, — ответил Мезерницкий. — Это тумбочка! Приспособили!

Все засмеялись.

Показалось, что самовар окончательно занял оставшееся в келье место, но когда — “в рифму к аналою”, как подумал Артём, — появился по-прежнему прихрамывающий владычка Иоанн, все с воодушевлением потеснились.

— А я вот... конфет, — сказал владычка, выглядывая место, куда можно насыпать сладкого.

— Конфеты пока держите при себе, — сказал Мезерницкий. — Сейчас мы попросим гостей отведать тюленьего мяса и на освобождённое место... выложим...

Перед едой только владычка Иоанн и Василий Петрович перекрестились, больше никто, заметил Артём.

Несмотря на свой зачаровывающий копчёный и солёный запах, тюленина оказалась безвкусной, как мочалка. Хотя, если закусывать её пирогами с капустой и запивать горячим чаем, получалось совсем даже ничего.

Все жевали, и у всех на глазах стояли слёзы напряжения и умиления.

— У вас ведь скоро кончается срок, Мезерницкий, — сказал Василий Петрович, который буквально уронил слезу, расправившись с тюленьим мясом.

— И не говорите, Василий Петрович, — как бы невпопад и оттого смешно ответил Мезерницкий.

— И куда поедете, опять в Крым? — спросил Граков.

Мезерницкий с едким юмором посмотрел на Гракова, одновременно не отказывая себе в пироге с капустой. Так с набитым ртом и ответил:

— Как же, в Крым, у меня же там гражданская жена... Оттуда в Турцию, из Турции в Париж, оттуда в Москву и снова на Соловки... Так и буду по кругу, — и запил всё это чаем.

Моисей Соломонович беззвучно смеялся на слова Мезерницкого, Артёму тоже было смешно. Зато Василий Петрович совсем не улыбался.

— А всё-таки, куда соберёшься, милый? — спросил владычка Иоанн.

— А в Москву, куда же ещё, — спокойно ответил Мезерницкий.

— В какую Москву! Бегите в деревню, а то опять за манишку и в конверт, — сказал владычка Иоанн и даже показал рукой, как Мезерницкого схватят за манишку. Тут уже все засмеялись, даже Осип, которому смех был вообще несвойственен: речь прозвучала из уст владычки крайне неожиданная и оттого ещё более трогательная.

— Вылечили вашу хворь, владычка? — спросил спустя минутку Артём у батюшки Иоанна.

Все уже были распаренные и понемногу наедались. Самый крепкий аппетит оказался у Моисея Соломоновича и Осипа, который был сегодня неразговорчив, видимо, предпочитал одного внимательного собеседника сразу нескольким шумным.

— Нет, милый, — ответил владычка, — Зиновия выписали. А мне только разрешают погулять на свежем воздухе — размять колено. Вот я к вам и завернул по приглашению Василия Петровича, — и кивнул Василию Петровичу.

Открылась дверь, и Артёму пришлось ещё раз удивиться — на этот раз Бурцеву.

“С другой стороны, он же тут был — отчего бы ему не зайти, — сказал себе Артём, спокойно глядя на Бурцева. — Тут никто не в курсе твоих с ним проблем”.

Бурцев разом измерил взором всех гостей — тем особым образом, который даёт возможность ни с кем отдельно не соприкоснуться глазами.

— У вас тут... аншлаг, — сказал он.

Бурцеву места действительно не было, но, кажется, Мезерницкого это нисколько не расстроило.

Владычка Иоанн порывался подняться, а Моисей Соломонович — вообще выйти из-за стола, захватив, правда, с собою две конфеты, но Мезерницкий встал напротив Бурцева так, чтоб остановить любое движение за своей спиной.

— Давно тебя не было, брат, — сказал Мезерницкий, и Артём сразу почувствовал в его обращении нечто почти уже дерзкое, словно тот захмелел от чая. — Всё в делах?

Бурцев прямо посмотрел на Мезерницкого и ничего не ответил.

— Говорят, у тебя теперь новая должность. И, как я догадываюсь, ты пришёл с визитом, дабы я разделил твою радость, — сказал Мезерницкий.

— Мне предложили перейти в Информационно-следовательский отдел, — спокойно ответил Бурцев.

Он вёл себя очень достойно.

— Как ты растёшь, — сказал Мезерницкий. — Скоро Эйхманиса сменишь, если с такой скоростью...

Бурцев ещё раз посмотрел на своего теперь уже бывшего товарища и ответил:

— Я не клоун, Мезерницкий.

Только когда Бурцев вышел, Артём догадался, о чём был этот диалог.

Клоуном сотрудник администрации Бурцев назвал музыканта духового оркестра Мезерницкого.

* * *

— Давайте-ка я сам, — сказал Борис Лукьянович Артёму. Артём с удовольствием снял перчатки в виде рукавиц и варежек — настоящие, как вчера пообещал Эйхманис, должны были доставить на ближайшем пароходе из Кеми.

— Чемпион Одессы, — кивнул Борис Лукьянович, когда нового кандидата в спортсекцию привели под конвоем.

Артём ничего не ответил, чтоб не выдать словом своих печальных опасений. По озадаченному виду Бориса Лукьяновича было понятно, что одесская школа — это не шутка.

Лоб и нос, плечи и руки — всё выдавало в этом парне состоявшегося боксёра. Когда он снял свой замусоленный пиджак, стало совсем неприятно: мышцы его напоминали те мокрые и десять раз перекрученные рубахи, которые Артём когда-то выжимал вместе с матерью.

К тому же парень был взбешён тем, что его вытащили из роты. Ни с кем соревноваться он желания не испытывал. Но и сдаваться тоже, похоже, не собирался.

На Бориса Лукьяновича поглядывал с неприязнью. На Артёма вообще не смотрел.

Поединок начался так стремительно, что, казалось, вот-вот и закончится.

Борис Лукьянович, до сих пор смотревшийся как самое идеальное среди всех спортсменов сочетание скорости и силы, теперь выглядел мясисто, медленно и озадаченно.

Одесский чемпион бил сразу и со всех сторон, словно у него было шесть рук, и каждая оспаривала право быть самой быстрой и дерзкой.

Через минуту, к удивлению Артёма, Борис Лукьянович начал немного раздражаться, но поделаться всё равно ничего не мог: достаточно было и того, что он до сих пор не упал, хотя один глаз у него уже запыл, и ухо пылало, как поджаренное.

Вообще ничего не мешало ему сказать: “Спасибо, голубчик, мы вас берём”, — но Борис Лукьянович, похоже, немного потерял рассудок от частых зуботычин.

Чемпион дышал через нос — и самое дыхание его было злое, раздражённое, жаждущее унижения соперника.

— Здесь нет канатов, — бросил он с презрением. — Не соизволите ли соблюдать хотя бы видимость квадрата? Я не бегун, чтоб вас догонять.

Донельзя обиженный этими словами, Борис Лукьянович кинулся на чемпиона и через мгновение лежал поверженный и распахнувшийся настезь всеми руками и ногами.

Артём присел возле, похлопал по щеке, позвал — слава Богу, тот начал выплывать, постепенно осознавая смысл предметов, звуки, цвета, причину, по которой Артём находился рядом.

Через минуту он сел, придерживая себя за виски кулаками.

Чемпион, сняв рукавицы с варежками, с необычайной брезгливостью сбросил их прямо на землю, встал спиной к Борису Лукьяновичу, натянул свой пиджак и красиво засунул руки в карманы.

Борис Лукьянович жестом попросил у Артёма очки — так, словно без очков он не умел разговаривать.

— Отлично работаете, — сказал он громко. — Вынужден ходатайствовать о переводе вас в спортсекцию.

— Мне отвратительна вся ваша показуха, — сказал чемпион.

— Вы отказываетесь? — спросил Борис Лукьянович.

Чемпион некоторое время молчал.

Борис Лукьянович успел за это время подняться, не отказавшись от помощи подавшего руку Артёма.

— Мне всё равно, — сказал чемпион.

— Вот и договорились, — равнодушно бросил Борис Лукьянович и ушёл в спортивную, уже под крышей, казарму. Махнул Артёму: идёте, мол, на пару слов.

— Артём, вы ему не противник, — сказал Борис Лукьянович просто. — Во-первых, он тяжелее вас... Но дело, конечно, не только в этом... Вам надо искать противника по вашей силе и вашей подготовке. А то получится быстрое и бесславное избиение. Соответственно, нужен противник и для него.

Артём молчал и слушал: а что было сказать?

— И, кажется, тут есть ему пара, — спокойно продолжал Борис Лукьянович, иногда чуть морщась от боли в голове. — К нам прибыл один британский шпион. Я по его посадке уже определил: может...

— А если мне не найдут пары? — наконец решился спросить Артём.

— Лучше тогда оставьте вас при спортсекции как тренера и моего помощника, — ответил Борис Лукьянович и, взглянув на Артёма, добавил: — В роту не пойдёте пока, не переживайте. Впрочем, вы сами понимаете — это всё ненадолго.

— Тут ненадолго, там ненадолго, а срок — он тоже, знаете, не навсегда, — ответил очень довольный Артём.

Ему никогда не нужно было многого для радости.

Борис Лукьянович всё пытался получить очки, будто лицо у него несколько изменило форму, вследствие чего очки стали и малы, и ещё как-то, что ли, угловаты.

— Думаю, надо тогда в ИСО идти, — сказал он, трогая поочерёдно нос и ухо, — запросите там, кого они ещё могут нам предложить. Фамилию шпиона я вам сейчас запишу, всё время забываю...

Артём шёл в кремль и чувствовал, какое у него превосходное настроение.

Разбирать его на составляющие не было никакой необходимости. Когда так много мирской мерзости клубится вокруг, только и остаётся, что нести ласковую улыбку поперёк лица.

“Вот я сам иду к Галине... — думал Артём словно бы в полудрёме; денёк был тёплый, пригожий, солнце — разнеженное, комары — медленные, — иду к Галине, и что-то там будет, по дороге меня может встретить Ксива с ножом... и Жабра с кольём... и Шафербеков с костью... а я иду себе... Я себе иду”.

На посту в ИСО сидел всё тот же морячок с наглой мордой и чёрными зубами.

Артём вдруг понял, что не знает ни фамилии, ни должности Галины.

Раздумывать было некогда, поэтому он так и сказал:

— Мне к Галине.

— Её нет, — ответил моряк и встал, чтоб перекурить на улице. Шёл прямо на Артёма — стоять на пути не имела смысла, и Артём волей-неволей поспешил на воздух. Морячок всё равно его подтолкнул, просто из вредности и хамства.

“Как бы хорошо было развернуться и зазвездить ему в зубы”, — подумал Артём без обиды.

И чтоб окончательно себя ублажить, неожиданно решил: “А я в библиотеку пойду! Никто и не заметит, что нет меня...”

За всё время своего срока Артём ещё ни разу не был в библиотеке и пребывал в уверенности, что туда так просто не попасть.

Но нет, никто его не остановил.

Он прошёл в читальный зал; там сидели то ли лагерники, то ли вольнонаёмные, листали журналы, на Артёма — никакого внимания. Всё было так обыденно и поэтому — удивительно.

Артём подошёл к заведующему библиотекой, судя по внешнему виду, священнику.

— Добрый день, молодой человек, — сказал он. — Что желаете? Вы, как я понимаю, ещё не записаны здесь?

— Нет, я впервые, — тихо ответил Артём, даже поёживаясь от удовольствия.

— Какая рота?

Артёма быстро оформили и завели на него отдельный формуляр.

— Мне бы стихов, — сказал Артём так, словно просил конфет.

— Чьих? — спросил его библиотекарь.

— А любых, — всё тем же счастливым шёпотом ответил Артём.

Ему и принесли несколько рваных книжиц: Некрасов, Надсон, том из собрания Брюсова, стопку “Красной Нови”, ещё что-то с разнокалиберными буквами, то сидящими, то стоящими друг у друга на головах.

Он сел возле окна. К окну прилетела чайка, постучала клювом: дайте корма. Приглядывалась наглым глазком.

Артём даже не стал читать всё, а просто листал и листал все эти журналы и книжки — прочитает две или три строки, редко когда целое четверостишие до конца — и снова листает. Как будто потерял какую-то строку и хотел найти.

Без смысла повторял одними губами стихотворную фразу, не понимая её и не пытаясь понять.

“Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?..” — шептал Артём, и лицо его было таким, словно он произносил вслух условия изначально неразрешимой задачи по геометрии.

И не заметил бы, как начало вечереть, — голод о себе напомнил.

Так и вышел с этой строкой на улицу: “Чьи ноги... по ржавчине... нашей... тьфу ты! Ноги какие-то, ржавчина. Что я скажу Борису Лукьяновичу? А скажу что-нибудь. Пойду-ка я лучше куплю себе мармелада к вечернему чаю...”

Ларёк в кремле был уже закрыт.

В тот, за пределами кремля, магазин, куда Артём уже повадился ходить, он не решился отправиться — путь пролегал мимо спортсекции, могли заметить — неудобно же.

Артём вспомнил, что здесь имелся ещё один магазин — “Розмар” на причале, в торце Управления СЛОНА: он его заметил, когда ходили с Борисом Лукьяновичем к Эйхманису.

Торговали там, правда, только для вольнонаёмных, конвойного полка и чекистов, но Артём чувствовал себя почти как вольный — после библиотеки... По крайней мере, очень хотел это почувствовать и рад был обмануться.

В пропуске у него значилось, что ему запрещён выход к морю, — но он же не к морю, он в Управление, где и так уже бывал.

Этот “Розмар” был побогаче: у Артёма на миг дыхание перехватило от вида печёнки — ах, как хочется жареной печёнки! — сливочного масла, копчёной колбасы, коробок с чаем.

Впрочем, вида показывать было нельзя, и он поспешил к прилавку; впереди стоял только один красноармеец из роты охраны, продавец насыпал ему леденцов и на Артёма не смотрел.

Когда красноармеец, пересыпав леденцы в карман, вышел, Артём решительно ступил к прилавку, но не успел открыть рот, как продавец его осадил:

— А ты откуда, парень?

— Освобождён по амнистии, остался вольнонаёмным! — вдруг браво соврал Артём, чего не ожидал от себя и мгновение назад. — Будем знакомиться! Леденцов хоч.

На самом деле он хотел печёнки, но её покупка показалась Артёму куда более серьёзным шагом, который немедленно бы вскрыл его обман, а леденцы — что леденцы! — ерунда...

Кажется, во всём этом был смысл, потому что продавец, на лице которого с подзастывшей ухмылкой ещё читалось некоторое недоверие, бросил на весы оставшиеся леденцы вместе с бумажкой, на которой они лежали слипшейся гурьбой.

— Вообще мы закрылись уже, — сказал продавец, втайне недовольный собой.

— Спасибо! — поблагодарил Артём, скорей подсовывая деньги, чтоб продавец, упаси Бог, ничего не спросил: скажем, документ или хотя бы место работы.

Но так и случилось: подавая сдачу, продавец, всё сильнее хмурясь, поинтересовался:

— А куда нанялся-то?

Артём протянул ладонь под сдачу, которую продавец никак не выпускал из своей лапы.

— На Заячий остров, — ответил он, изо всех сил улыбаясь.

— И чем занимаешься?

Артём, продолжая улыбаться, прихватил за кончик бумажный рубль и потянул на себя. Продавец ослабил хватку.

— Шиншилловых зайцев развожу, — сказал Артём, оглянувшись на входе. — Соловецкая порода! Питаются одними каэрами!

На улице, прикрыв за собой дверь, он не выдержал и засмеялся.

“Ай! — восхищался. — Ай, какой я!”

Сунул леденец в рот и, в один мах раскусив его, залюбовался на вечернее солнце и золотые воды: такая сладость была во всём.

Где-то поблизости раздался выстрел. Артём вздрогнул.

Ему не понадобилось много времени, чтоб понять случившееся: оно настигло его разом и наверняка.

Под магазином была тюрьма. Туда сажали за самые злые нарушения режима. И там же время от времени расстреливали.

Расстрел так и называли на Соловках — “отправиться под размах”, что означало: “под “Розмаг””.

Солнце светило, и кричали чайки, и шумел залив.

Артём поискал глазами, куда полетела человеческая душа. Ведь полетела же куда-то?

Леденец был огромный, отвратительный и липкий. Он заполнял весь рот. Артём явственно почувствовал, что у него кусок мыла во рту.

* * *

Его подняли ночью — стук в дверь был ужасным, Артём никогда бы не подумал, что потом можно покрыться так быстро.

Или он спал уже мокрым?

Только присев на кровати, он понял, что если б пришли за ним “вести под размах”, никто б так бережно, хоть и настойчиво, стучаться не стал бы — дверь же не запиралась.

— Кто там? — ссохшимся со сна голосом спросил Артём.

Осип спал как ни в чём не бывало. Он на ночь съел все леденцы, которые Артём ему с удовольствием отдал.

— Это я, — отозвались из-за дверей, не называя имени, но Артём и так догадался: Борис Лукьянович.

Поскорей открыл.

— Артём, извините, Бога ради, но я ничего не могу поделать. Нам надо идти. Собирайтесь немедленно.

— Что такое? — Мало того что Артём был весь взмокший, у него ещё и сердце скакало, как мяч, больно задевая о все рёбра.

— Там приехали какие-то чекисты то ли из Кемпи, то ли даже из Москвы к Эйхманису в гости, — шёпотом сказал Борис Лукьянович, поглядывая на Осипа. “В такую минуту — и боится разбудить этого... сластолюбца...” — мельком подумал Артём, сам ещё не зная, в какую именно минуту и что его ждёт.

— Видимо, начлагеря хвалился им спартакиадой, и они потребовали немедленного развлечения, — объяснил Борис Лукьянович. — Вам придётся участвовать в поединке.

— С кем? — спросил Артём, перестав натягивать штаны. — С чемпионом Одессы? — Хотя сам успел обрадоваться: “...Ну, хоть не расстрел...”

Борис Лукьянович только кивнул.

Дальше Артём одевался молча. В окошко светило ночное соловецкое солнце, замешенное на свете фонарей. Солнце было, как творог, который мать подвешивала в марле, и он отекал бледной жидкостью в подставленную кастрюльку. Цвет этой жидкости был цветом соловецкой ночи.

На улице оказалось свежо, тихо, просторно. Артём подумал, что никогда не видел монастырь ночью.

Чаяк не было вовсе.

С интересом выбежала посмотреть, кто идёт, собака Блэк. Повилила хвостом.

Следом появился олень Мишка, стоявший под рябиной.

“Наверное, гости разбудили наше зверьё, — догадался Артём. — Надо было оставить леденцов олешке. А то скормил всё Осипу...”

— Куда мы идём? — спросил Бориса Лукьяновича.

— В театр, — ответил он. — Там все...

Театр располагался в части бывшего Поваренного корпуса.

Артёма сразу провели в гримёрку.

Он услышал шум на сцене.

— Кто там? — спросили Бориса Лукьяновича.

— Борцы, — коротко сказал он.

В углу гримёрки, закрыв глаза, сидел чемпион Одессы. Лицо у него было бледно и губы плотно сжаты. На челюсти иногда вздувался желвак.

“Он меня убьёт сейчас безо всякого “Розмага”, — спокойно и обречённо подумал Артём.

У зеркала стоял знакомый Артёму гиревик, весь потный и пахнущий. Судя по всему, отработал уже и теперь огорчился тому, как исхудал в последнее время, — таких больших зеркал он давно не видел.

На полу, несколько неуместный, стоял канделябр. “Реквизит, — понял Артём. — Интересно, если сейчас ударить чемпиона Одессы канделябром по затылку, это может как-то повлиять на исход поединка?”

Привели ещё одного артиста — на этот раз циркача.

Он появился в спортсекции только сегодня утром и пообещал подготовить особый номер: разбивание дикого камня на груди атлета.

“А что без камня? — подумал Артём, попытавшись присесть, но сидеть совсем не хотелось. — И без атлета? Чекиста из зала попросит прилечь на минутку? И как охерачит молотом по груди...”

Хотелось пить. Да и то не очень.

— Может, размяться? — предложил Артёму Борис Лукьянович без особого энтузиазма.

— Пожалуй, — сказал Артём и решительно встал.

В темноте закулился он пошёл на шум и полосу противного света: хоть посмотреть, что там.

Там свистели чекисты, а вскоре Артём увидел и борцов: они были голые по пояс и грязные, как чёрт знает что.

Один лежал на животе, поджав под себя ноги и выставив огромный зад, второй силился поднять его, запустив руки под грудь.

Сделав шаг вперёд, Артём увидел и гостей.

Они поставили стол возле сцены. На столе стояли многочисленные бутылки, виднелась нарезанная снедь: зелень, огурцы, колбаса, хлеб.

Человек шесть сидели на стульях. Эйхманис и ещё один, Артёму не известный, стояли возле стола со стаканами в руках.

Эйхманис был в форме, но распаренный и с расстёгнутым воротником. Второй вообще без кителя и заметно более пьяный.

Все были при оружии.

“Господи, зачем я всё это затеял? — затосковал Артём. — Как было просто всё решить, проще не придумаешь — отдавать посылки Ксиве, и всё! Нужны тебе эти посылки? Не сдох бы с голода! Зачем ты сюда вызвался? Ты что, умеешь этот бокс? Ты же ни черта не умеешь!”

— Замолкни! — ответил сам себе вслух.

Пошёл куда-то — надо было куда-то идти, не стоять же на месте.

Только идти оказалось некуда и очень темно к тому же: Артём немедленно налетел на стул, сам едва не упал вместе с ним.

Выпрямился, встряхнулся, почувствовал, как сильно дрожат ноги.

Как передвигаться на этих ногах?

Поднял стул, сел на него. Кажется, так было лучше: в темноте тебя вроде бы и нет, остался один рассудок, но если его погасить, то совсем будет просто.

Попытался вспомнить сегодняшнее, верней, уже вчерашнее стихотворение — ту строчку из него, что какое-то время повторял. Что-то там было про ржавчину и про ноги. Про ржавчину и про ноги. Про ноги и про ржавчину.

“Как это, интересно, может сочетаться? — напряжённо думал Артём. — В одной строчке? Ноги! И ржавчина! И, главное, это несколько меня не удивляло! Но это же кошмар какой-то! Какая-то ерунда! Господи, напхни, что это была за строка! Это ужасно важно! Ничего не получится, если я её не вспомню!”

— Чёрт! — снова окликнул себя вслух Артём. — Чёрт, да перестань же ты, наконец.

Поднявшись со стула, он корил себя молча и злобно.

“А тому, — думал он, — кого застрелили в башку, пока ты ел леденцы, — ему было проще? Ему было легче? Он совсем не волновался? Тебе всего лишь надо выйти на сцену и получить кулаком в морду! Но тебя не убьют! Тебя не расстреляют!”

— Артём! — звал в темноте Борис Лукьянович. — Артём, вы где? Пора!

Снова уронив стул на пол, Артём спешно пошёл на голос.

— Перчаток нет, — суетился Борис Лукьянович рядом со снимающим рубашку Артёмом. — И не привезут. Вот сшили из шинельного сукна, попробуйте.

Артём попробовал. То, что он сам будет бить такими, — ему нравилось. А то, что его, — нет.

Чемпион натянул перчатки совершенно равнодушно.

На Артёма он по-прежнему ни разу не посмотрел.

— Выхода нет. Держитесь. Я буду вместо рефери, — шептал Борис Лукьянович, пока спешили к сцене. — Постараюсь вам подыграть.

— Ну, да, — ответил Артём. — Врежьте ему по печени, что ли, когда никто не видит.

На сцене оказалось чуть светлей, чем хотелось бы, пришлось некоторое время привыкать.

У стола стояло уже четверо чекистов, все, кроме Эйхманиса, краснолицые, мясистые, и все жевали.

Эйхманис пустым стаканом показывал на одесского чемпиона и что-то негромко говорил.

Артём нарочно не прислушивался.

Зато он услышал, как Борис Лукьянович просит его противника:

— ...потяните, а? Хотя бы раунд.

Противник не отвечал, постукивая перчаткой о перчатку. Бой начался, как и предполагалось, ужасно: Артём ощутил себя в центре мясорубки, и то, что он не упал тут же, объективно было чудом.

Выручил Борис Лукьянович, который вмешался при первой же возможности, встав между противниками, снова, негромко, попытавшись сделать внушение чемпиону:

— Я вас прошу, слышите?

Тот просто двумя руками оттолкнул Бориса Лукьяновича, с силой нажав ему на плечи.

— Да и хер с тобой, пёс! — сказал Артём чемпиону.

Тот никак не откликнулся, казалось, что он слабо понимает русскую речь.

“Отстоял полминуты — и хватит!” — отчаянно решил Артём и кинулся навстречу своему позору.

Через семь секунд с кратким восторгом он понял, что ему удалось нырнуть и уйти от удара, который сбил бы с плеч башку, как переспелую грушу. До чемпиона он не достал, но хотя бы ретиво изобразил попытку.

Держать противника на расстоянии вытянутой руки не получалось — тот легко пробивал длинный удар хоть с трёх шагов.

Артём старался изо всех сил и чувствовал своё поразительное бессилие.

Снова вклинился Борис Лукьянович.

— Эй! — заорал кто-то с места. — Уйди! Фёдор, пусть он, бля, не лезет! Только мешает!

Эйхманис улыбнулся кричавшему и скомандовал:

— Борис, уйдите в сторону пока. Это же не соревнования!

Артём, упираясь руками в колени, пытался отдышаться, исподлобья глядя на чемпиона, который ровно стоял на месте и, похоже, нисколько не сбил дыхания.

Борис Лукьянович кивнул Артёму напоследок: делать нечего, теперь сами.

Артём ещё раз посмотрел в зал и вдруг увидел до сих пор не замеченную Галину. Она сидела поодаль, держа в руке яблоко. Выражения её лица было не разглядеть.

Дальнейшее Артём помнил только урывками.

Появилось лицо чемпиона, кто-то крикнул с места: “Давай!” Артём, пряча голову и пропуская удар за ударом, снова бросился вперёд с твёрдым намерением выгрызть этому подонку глотку, он точно заметил, что у него получилась один удар — снизу, в подбородок, — так что чемпион ступил шаг назад и тряхнул головой, словно пытаясь поставить глаза на место, и, похоже, поставил.

Потому что дальше Артём видел только потолки и свет кругами.

Удара он не заметил.

Сначала свет был под веками, и круги были красные.

Потом он открыл глаза, и круги остались, только превратились в жёлтые. Сцена под ним плыла.

* * *

Чекисты орали, как большие, мордастые и пьяные чайки, и голоса у них были довольные.

Артём различил голос Эйхманиса, тоже довольный и возбуждённый.

— Да у них и вес разный! Он тяжелей! Этот легче! Но стоял же! — горючил Эйхманис.

— Стоял-стоял, — ответили в тон Эйхманису. — А потом лежал.

Все захохотали.

Раздалось чоканье.

Борис Лукьянович помог Артёму подняться.

— Ничего, — повторял он. — Ничего-ничего. Очень даже ничего.

Галины в зале уже не было, заметил Артём. Чекистов вообще стало меньше, как будто бы двое или трое вышли. Может, покурить...

— Борис, Артём, спускайтесь сюда, поешьте. Позовите борцов, циркача... — позвал Эйхманис.

— Спасибо, мы... — извиняющимся тоном начал Борис Лукьянович, но Эйхманис просто, словно бы удивлённый, откинул назад голову: “Что?” — и Борис Лукьянович, даром что близорукий, тут же побежал в гримёрку.

Артёма чуть подташнивало.

— Я только рубашку надену, — сказал он Эйхманису.

— Давай, давай, — ответил тот, улыбаясь.

Когда Артём вернулся, все, кроме одесского чемпиона, уже стояли возле стола. Никто ничего не трогал.

— Наливайте себе, — предложил Эйхманис борцам. — А где этот? Скорострельный? — спросил у Бориса Лукьяновича.

— Умывается, сейчас подойдёт, — соврал тот: Артём видел, что чемпион сидит в гримёрке на своём месте, закрыв глаза.

Борцов уговаривать не пришлось, циркач так вообще налил себе стакан вклень, хотя, когда он успел выступить, Артём и не помнил.

— За будущую спартакиаду! — сказал самый крупный чекист, протягивая стакан Эйхманису. — Смотр показал, что... — фразу он не закончил и выпил одним глотком без малого полный стакан.

Эйхманис, в отличие от своего гостя, чокнулся с каждым из лагерных спортсменов и каждому что-то сказал:

— А красиво было... Как вы это делаете?... Борис, спасибо, всё неплохо... Артём, я понимаю, с кем вы имели дело! За вашу дерзость! Чекисты знают цену дерзости. Она порой стоит очень дорого! Тем более вы чуть не сбили его с ног.

Артём ещё не пришёл в себя толком и никак не мог сообразить, что ему думать о себе и своём поражении: это был полный позор или всё-таки нет?

— Ну, угощайтесь здесь, — сказал Эйхманис на прощание, и чекисты пошли прочь. Только самый крупный, пройдя пять шагов, вернулся и забрал со стола непечатую бутылку.

— Да у меня там... склады, — засмеялся Эйхманис. Глаза его при этом были неподвижны.

— Упыются ещё, — ответил тот. — Слишком жирно ты их.

Артём заметил взгляд Бориса Лукьяновича — он смотрел на говорившего с ненавистью. В руке у него был стакан водки, даже не пригубленный.

— Вот я перечисляю, — продолжал Эйхманис, дождавшись чекиста с бутылкой и уходя вместе с ним. — Борьба. Бокс. Гимнастические упражнения на брусьях и турнике, там тоже есть мастера. Футбол. А в финале — пирамида из всех участников...

Борис Лукьянович с облегчением поставил стакан на стол.

— Не будешь, Лукьяныч? — спросил его один из борцов.

На столе, помимо огурцов и колбасы, обнаружилась плошка красной икры и плошка чёрной, в банке из-под какао виднелось топленое масло — вообще не тронутое.

Артём уже знал, что, если топленое масло намазать на хлебушек да посолить, оно будет вкусней сливочного.

Соль тоже была.

Он урвал себе краюху хлеба и намазал её маслом слоем чуть не в палец, сверху — чёрной икрой, а по ней — красной, засыпал всё зеленью и украсил огурцом. Огурец был покусанный чекистами, но это показалось неважным.

— Ещё по одной? — предложил циркач.

Выпили, только Борис Лукьянович снова пропустил; он и не ел ничего, скатал себе хлебный шарик и держал в пальцах.

— Лукьяныч, ты чего? — спросил его один из борцов, уже охмелевший.

— Да я сытый, — ответил тот мягко, но Артём видел, что он брезгует.

Артём вспомнил, что, когда Борис Лукьянович его поднял и он уселся на сцене, вслед за жёлтыми кругами появилось лицо чекиста, который черпал красную икру из плошки рукой — и облизывал потом пальцы.

“Ну, и что...” — сказал себе Артём, откусывая хлеб, собирая свободной рукой икринки, попадавшие на рубаху.

— Я пойду... отнесу в гримёрку ему... — сказал Борис Лукьянович, набирая колбасы — хлеба уже не было.

“А я ведь пьяный”, — с удовольствием подумал Артём; он не запомнил вкуса ни первого стакана водки, ни второго, но тут вдруг пришла обратная волна, и сразу стало весело и душевно, и в груди образовался ватный, щекотливый, ласковый клубок, и захотелось кого-нибудь обнять, и чтоб случилась хорошая песня...

Водка кончилась после третьего разлива, икру из плошек едва ли не вылизали, зелень подъели до последнего лепестка.

Вышли на улицу — солнце покачивалось и дрожало.

Где-то возле кремлёвских ворот раздавались голоса чекистов — они громко матерились, и кто-то кого-то успокаивал.

В келье Артём нарочно вёл себя шумно, надеясь разбудить Осипа, но безрезультатно.

— Как бы хорошо водочки сейчас ещё рюмку, — сказал Артём вслух. — Или пару пи-и-ива... А, Осип?

Осип даже не шевелился.

Это славное настроение как пришло, так и оставило Артёма в один миг.

Он вдруг ощутил себя избитым, обиженным, взбешённым и жалким одновременно.

— Ненавижу проигрывать! — сказал Артём вслух; он был пьян, от него разило перегаром, и он презирал сам себя. — Ненавижу! Заплатить Ксиве, чтоб зарезал его? Закончился мой кант! Только начался и сразу закончился! Пусть его Ксива зарежет...

Артёма резко начало тошнить, и он поскорей завалился набок, чтоб уберечь всё то, что доел за чекистами.

Не было сил раздеться. Хотелось плакать.

Артём поискал рукой в мешке возле кровати и достал присланную мате­рюю подушку. Засунул её под сердце, зубами прикусил покрывало, дышал носом, чувствуя влагу под веками.

Всё вокруг было сырое, клубился чёрный туман, в тумане Артём едва различал самого себя, сидящего на кочке посреди огромной воды.

“Если сдвинуться — сразу упаду в воду, утону”, — понимал Артём.

Раздался плеск.

Из тумана выплыла лодка: сначала её нос, потом мягко, беззвучно про­скользил борт, и Артём увидел старика, стоящего в лодке. В руках у стари­ка было весло.

Лица его было не различить, только бороду, высокий лоб и, кажется, не­зрячие глаза.

Длинная одежда его понизу была сырой.

В самой лодке плескалась грязная вода. Старик стоял в ней едва не по колено.

“Куда на такой? Утонем...” — подумал Артём. Взял лодку за борт — и с силой подтолкнул её, чтоб плыла дальше.

И остался сидеть один.

* * *

Эйхманис был весёлый, с лёгкого похмелья. По глазам было видно, что он лёг спать под утро, встал бодрый и деятельный часов в десять, немедленно выпил водки, а когда провожал гостей — выпил ещё, прямо на причале.

Он прискакал к спортсекции, посмотрел, как достраиваются площадка и здание, спрыгнув с коня, о чём-то поговорил с Борисом Лукьяновичем.

— О, Артём, — заметил Эйхманис. — Хорошо дрался. Я хотел, чтоб ты победил.

Артём почувствовал запах алкоголя — только не застоявшийся и старый, а свежий, ядрёный, как со дна зимней капустной бочки.

— Дело в том, что Артём вышел как замена, — начал пояснять Борис Лукьянович. — У нас есть теперь другой противник в тяжёлом весе...

— Английский шпион который, Роберт? — спросил Эйхманис.

— Да, Роберт.

— А в среднем весе никого? — быстро спросил Эйхманис, глядя на фут­болистов.

— Пока нет. Но Артём мне нужен при спортсекции, — поспешил доба­вить Борис Лукьянович, не понимая, куда клонит начлагеря.

— Да ладно, сами справитесь, раз так, — сказал Эйхманис.

Артём похолодел: решалась его судьба, и, кажется, не в его пользу.

Борис Лукьянович молча смотрел на Эйхманиса.

— Со мной поедет сегодня, — отрывисто сказал Эйхманис. — В коман­дировку. Мне нужны смыслённые, но не каэры. Товар не очень частый! — он засмеялся и тут же чуть скривился: похоже, выпил он вчера много, и по­хмелье иногда наступало.

— Так что нам делать? — спросил Борис Лукьянович.

— Вам? — переспросил Эйхманис со своими характерными начальст­венными модуляциями, от которых сразу становилось чуть не по себе. — Ни­чего, занимайтесь. Артём, идите в свою роту, соберите вещи и ждите на ули­це. Мне ещё нужно пару человек забрать. Говорят, какие-то чертёжники бы­ли в двенадцатой роте? Кабир-шах?

— Да, есть такой, — ответил Артём, лихорадочно пытаясь решить, что случилось: хорошее или дурное?

Гикнув, Эйхманис умчался в сторону кремля.

— Даже не знаю, что и думать, — сказал Борис Лукьянович.

Артём молча подал ему руку, попрощался и пошёл.

Осипа в келье не было.

Разделил имевшиеся деньги на две части: одну с собой взял, другую свернул в трубочку и засунул в материнскую подушку, туда, где нитки разошлись...

Подумал, брать или не брать сухпай.

Остановился на том, что взял картошки, и моркови, и соли в коробке, и чая. Скрутил из куска ткани котомку, разложил всё, завернул и приспособил эту котомку на плечо, связав её концы в узелок.

Сменную одежду брать не стал, только пиджак повязал рукавами на пояс и кепку натянул на случай дождя.

Будет удача — накормят и спать положат под крышу.

А не будет удачи... значит, не повезло.

“А кант — он всё равно ко мне вернулся”, — догадывался Артём, всё ещё боясь спугнуть своё везение.

Спел тихонько: “Не по плису, не по бархату хожу, а хожу, хожу... по острому...”

На улице сразу определил, куда идти: у водоосвяительной башни стояли Кабир-шах и его брат Курез-шах, Митя Щелкачов и ещё один незнакомый молодой лагерник.

Чуть поодаль перетаптывался Ксива.

Артём, не обращая на него внимания, кивнул Мите, подошёл к башне и сел на травку.

Эйхманиса ждать долго не пришлось — снова, похоже, выпивший грамм сто, он появился на этот раз пеший, зато в сопровождении Галины и двух красноармейцев, и осмотрел собравшихся.

Все немедленно подтянулись, Артём тоже, естественно, поднялся, заметив, что Ксива исчез, как и не было.

— Здра, гражданин нача... — попытался заорать Щелкачов, но Эйхманис отрезал рукой: не надо.

— Подвода у ворот, грузимся, — скомандовал один из красноармейцев.

— Я его ищу уже несколько дней, — кивнув на Артёма, сказала Галина негромко, но он услышал.

— Что-то срочное? — спросил Эйхманис.

Галя сделала бровями: почему мы обсуждаем это при заключённых.

— Да куда он денется, — отмахнулся Эйхманис. — Потом закончишь свою работу. А то я свою гоп-команду амнистировал. Не с кем мне...

Начлагеря явно торопился отвязаться от своей подруги, догадался Артём. Он шёл медленно к подводе, ожидая, что его окликнут и вернут.

Но этого не случилось.

Когда садился на подводу, увидел, как Галина с недовольным лицом идёт в сторону ИСО.

Кто-то из шедших по двору лагерников не поприветствовал Эйхманиса как положено, и он, минуту назад пребывавший в благодушном настроении, вдруг закричал в натуральном бешенстве:

— Кто? Кто такие? Рота? Не слышу! Командира роты ко мне!

Стоявший ближе всех красноармеец тут же помчался бегом, ещё не понимая, куда бежит.

Лагерники стояли побледневшие, глядя на Эйхманиса вытаращенными глазами.

Начальник роты благоразумно не нашёлся, зато объявился командир взвода и был схвачен за ворот Эйхманисом.

— Что за дисциплина у вас? — кричал он хорошо поставленным, с яростным хрипом голосом. — Они не знают, как приветствовать начлагеря? Что у вас творится в роте? Слушать мою команду! Начальника роты перевести рядовым в тринадцатую! Этих всех в карцер! Роту после работ — на построение и три часа строевой подготовки!

“Вот так вам, имейте привычку приветствовать начлагеря, ага...” — размышлял Артём, поудобнее устраиваясь на подводе.

Он думал всё это не то чтобы всерьёз, а скорей с некоторой усмешкой над самим собою. Но всё-таки — думал.

И не стыдился себя.

Работой они занялись неожиданной и странной.

Сначала по дамбе, построенной ещё монахами, попали на остров Большая Муксольма. Там со времён игумена Филиппа, подалее от монастыря, разводили скотину. Эйхманис традиции не стал нарушать: издали был слышен бычий рёв, виднелись огромные скотные дворы, пахло.

— Куда мы направляемся, не знаете? — шёпотом спросил у Артёма Митя Щелкачов.

Артём пожал плечами.

— В любом случае, — сказал, помолчав, — волноваться причин не вижу. Едва ли нас в сопровождении Эйхманиса повезут на тайные соловецкие рудники.

Митя улыбнулся, но озираться не перестал.

Эйхманис то уезжал далеко вперёд, то возвращался назад; заметил у дороги рябину и подъехал на коне сорвать гроздь.

Артём подумал-подумал и тоже, подождя, когда Эйхманис ускачет, спрыгнул с подводы, добежал до рябины. Хотя сомнения были: после начлагеря рвать ягоды... в этом имелся некоторый вызов...

“Это ж не его рябина...” — уговаривал себя Артём, догоняя подводу и видя, как хмуро смотря на него сопровождающие начлагеря красноармейцы.

Раздал всем по несколько ягод. Митя, весь кривясь, прожевал одну, а Кабир-шах и Курез-шах не решились: так и держали в руках, иногда прищипываясь к ягодам.

На скотные дворы не заехали, только оставили там подводу. Окончательный путь их лежал на остров Малая Муксольма.

Эйхманис снова пропал куда-то.

Был отлив, и с Большого на Малый добирались пешком, по каменистому дну.

Все с интересом смотрели себе под ноги.

Артём, не сдержавшись в своём мальчишестве, время от времени подбирал маленькие камни и тут же их бросал.

Было заметно, что Щелкачов хочет сделать то же самое, но не решается.

Слева виднелась гора Фавор; Артём едва ли не впервые находил сумрачные соловецкие виды красивыми. Подсыхающая, поломанная высокая трава, редкие валуны в траве, еловый перелесок...

На острове было всего три хаты и часовня.

Эйхманис сидел на пенке возле одной из хат. Рядом с ним стоял бородатый старик, по виду — из бывших монахов. Они разговаривали — очень неспешно. По манере разговора было ясно, что виделись они не впервые.

Лошадь Эйхманиса, непривязанная, неподалёку ципала травку.

В позе старика не наблюдалось подобострастия.

Похоже, местный надзиратель о приезде Эйхманиса предупреждён не был и распознал гостей с заметным запозданием.

Он выбежал в рубахе, направляя её на ходу, только когда заметил лагерников и красноармейцев — начлагеря он проглядел.

— Надзиратель Горшков... — издали начал служивый, подбегая к Эйхманису.

Эйхманис, недовольно скривившись, показал ему рукой, чтоб замолк, и тут же сделал в воздухе круговое движение пальцем: мол, разворачивайся и следуй, откуда явился.

Горшков, споткнувшись на бегу, встал и мгновение думал, как быть. Не найдя иного выхода из ситуации, развернулся и еле-еле двинулся назад, втайне ожидая, что его окликнут.

— Досыпай, — сказал начлагеря вслед надзирателю.

— Я не спал, гражданин Эйх... — резко обернувшись, начал тот, вращая маленькими глазками, но Эйхманис повторил короткое рубящее движение ладонью, будто отрубая любую речь, обращённую к нему, помимо монашеской.

Надзиратель растерянно двинулся дальше, но и спина, и затылок его по-прежнему выдавали мучительное ожидание хоть какого-то приказа начальства.

— Горшков! — смилостивился Эйхманис. — ...Определи людей.

Надзиратель поспешно вернулся и шёпотом указал красноармейцам на третью хату, а всех остальных повёл к старику.

Артём, уже усевшийся прямо на траву, поленился суетиться — а то он дверей в хату не найдёт!

“Эйхманиса Горшков к себе хочет пригласить”, — догадался Артём.

Что-то ему подсказывало, что спешить некуда. Изредка он отрывал по одной рябиновой ягодке и долго потом катал её во рту, с зуба на зуб, будто потешаясь.

— Эй, пойдём, — позвал Артёма Горшков, явно постеснявшись при Эйхманисе назвать заключённого шакалом, как то было принято.

Артём сделал вид, что поднимается.

Горшков отвернулся, и Артём уселся на место.

Старик полез в карман своих задубелых штанов, достал оттуда трубочку и кисет с махоркой.

— Всё дымишь, тюлений староста? — поинтересовался Эйхманис, внимательно глядя на руки старика.

— А чего остаётся делать, хоть так смрад перебить! — без улыбки ответил старик.

Эйхманис в своей манере кивнул.

Артём подумал, что этот кивок может означать всё что угодно: то, к примеру, что начлагеря ценит стариковское остроумие, или то, что предлагает ему ещё поговорить, пока его не отправили “под размах”, где старику самое место.

Эйхманис посмотрел на Артёма, и тот на мгновение пожалел, что не ушёл, однако теперь уже было поздно шевелиться.

Начлагеря смотрел так, словно вдруг различил Артёма среди окружающей их природы.

— Отец Феофан, — сказал Эйхманис, не сводя с Артёма глаз, — а вынеси-ка нам пару кружечек.

Артём не опускал взгляд и смотрел в ответ прямо и спокойно, чуть улыбаясь.

“Так странно в устах Эйхманиса слышать это “отец Феофан”, — думал Артём медленно, не двигаясь с места. Сейчас должно было что-то произойти.

— Достань-ка, — сказал Эйхманис красноармейцу.

Тот развязал привезённый с собою мешок и достал оттуда бутылку водки.

— Закусить? — спросил негромко.

Эйхманис еле заметно и с лёгким нетерпением качнул головой, что читалось как: нет, давай быстреей.

Отец Феофан вынес две кружки, нацепив их дужками на замечательно длинный и словно бы прожаренный указательный палец, который к тому же венчался костяным и загнутым ногтем.

Он так и подставил кружки под водку, не снимая их с пальца.

И лишь когда каждая была наполнена до краёв, бережно стянул крайнюю и передал Эйхманису.

— Артём, иди-ка... — позвал начлагеря. — А вам не положено, бойцы, — добавил он, глядя на красноармейцев, хотя те и не надеялись на такую компанию.

Артём с внешним спокойствием принял приглашение, хотя внутри у него всё ликовало.

— А Феофан у нас не пьёт, — добавил Эйхманис, поднимая сощуренный взгляд на старика. — ...Или запил?

Старик не улыбнулся и не ответил, лишь коротко и неопределённо качнул головой.

— Знаю я вас, монахов, — сказал Эйхманис. — Вы тут всегда брагу готовили из ягод. Грешники!

— А было дело, — спокойно ответил отец Феофан. Эйхманис залпом выпил свою кружку, не чокнувшись с Артёмом. Затем, не глядя, протянул руку — Артём быстро догадался о смысле этого движения и подал гроздь рябины. Эйхманис, удовлетворённо кивнув, отщипнул одну ягоду и закусил ею.

Артём тоже выпил, не закрывая глаз, — нельзя было хоть что-то пропустить.

Эйхманис поднял пустую кружку, и тут уже отец Феофан догадался, что делать, и подставил длинный палец. На него начлагеря вновь надел кружку.

— Двадцать пять лет на Соловках, — кивнул на Феофана Эйхманис, обращаясь к Артёму. — Четвертной ведь? — Отец Феофан согласно моргнул тяжёлыми веками. — Четыре года монашествовал в монастыре, а потом перебрался сюда... на Малую Муксольму... Отстроил себе хату и начал... совмещать труды молитвенные... — здесь Эйхманис сорвал ещё одну ягоду с грозди Артёма и бросил её в рот, — с рыболовством и охотой на морского зверя... И когда появились большевики, места своего не покинул, разве что вдруг начал курить махорку. Мы ему, — улыбнулся Эйхманис не столько даже Феофану или Артёму, сколько славному алкогольному теплу у себя в груди и в голове, — как специалисту, определили восемнадцать целковых жалованья... Занимается он всё тем же, что и прежде: рыбачит, охотится, поставляет рыбу на соловецкую кухню и тюленьё мясо в сельхоз. Нашим свиньям на прокорм. Поэтому зову я его “тюлений староста”. А он откликается. В часовню так и ходишь по сей день, тюлений староста?

— А чего ей пустовать, — просто ответил отец Феофан.

— Горшков-то хоть с тобой молится? — поинтересовался Эйхманис.

— Не замечен, — ответил отец Феофан, рассмешив начлагеря: Эйхманис от души захохотал.

Смех у начлагеря был не очень приятный, но Артём тоже засмеялся — чуть тише, чем Эйхманис, но чуть громче, чем стоявшие рядом красноармейцы.

— Иди, Артём, определяйся, — сказал Эйхманис.

В хате у Феофана вся утварь была самодельной. В красном углу имелся целый иконостас: “Купина неопалимая”, “Сосновская”, “Утоли моя печали” и несколько “Казанских”. На стенах сушили тюленьи шкуры. Пахло там тяжело, душно, зато не человеком — и то хорошо. Иконы во всём этом неистребимом и тяжёлом рыбьёму духе производили странное впечатление: Артём подумал, что если самую маленькую “Казанскую” перенести отсюда в другой дом, то этот дом за час весь пропахнет рыбьим духом. Из самого дальнего сундука, с самого его дна, достанешь кружевные манжеты — и вздрогнешь: как будто в них рыба наряжалась на свои рыбы праздники.

...Отдохнуть им не дали — да и с чего было отдыхать, когда за работу не принимались ещё.

До самого вечера лагерники рыли ямы там, где указывал Эйхманис.

Сначала в одном месте всё перелопатили, потом сдвинулись на полкилометра — и занялись тем же самым.

Назначение Курез-шаха и Кабир-шаха выяснилось очень скоро: оказалось, что они оба чертёжники. Им выдали метр, бинокль, старую карту и отправили без конвоя изучать местность: судя по всему, для создания карты новой и самой подробной.

Артём работал расторопно, быстро, даже с удовольствием и усталости не ведал. Эйхманис это заметил — Артём точно знал, — и оттого стал работать ещё лучше.

Митя Щелкачов, напротив, постоянно уставал — парень он был петроградский, книжный, к работе непривычный.

Третий же лагерник, хоть и совсем молодой, тоже отличался крестьянской хваткой и тихим, ненадрывным постоянством в труде. Звали его Захаром.

Чем все они занимаются, Артём догадался, когда солнце уже садилось, а мокрая от пота спина начала стынуть.

Они искали старые монастырские клады.

Догадался и никому не сказал...

— Здесь всегда была живодёрня, поэтому монахи и не ушли — им привычно! — Эйхманис засмеялся, проваяя взглядом отца Феофана.

Обедать вместе со всеми отец Феофан не стал: поблагодарил и сослался на то, что нужно идти проверять снасти.

Эйхманис не уговаривал.

Похоже, что Эйхманис запил, хотя запой этот был необычный и ничем не напоминал Артёму отцовское мрачное пьянство.

С первого взгляда признаков того, что начлагеря пьёт, было не обнаружить, разве что кожа стала бледнее, а глаза — тяжелей. Речь оставалась стройна, удивляло лишь то, что говорил он заметно больше.

Теперь они сидели на берегу и вкушали яства: Артём, двое красноармейцев, лагерники...

Артём сидел к Эйхманису ближе всех.

Красноармейцы благоразумно держались поодаль и время от времени недовольно поглядывали на Артёма: тот за прошлый день освоился окончательно. Замечая непорядок на скатерти, Артём щедро нарезал то колбасы, то зелени. Его самоуправство красноармейцам не нравилось, и нож в руке Артёма — тоже. Но одёрнуть лагерника, когда тот самим начлагеря усажен обедать, было неуместно.

Эйхманис время от времени кивал ему на пустые стаканы, и тогда Артём разливал водку — себе и Фёдору Ивановичу. Остальные то ли сразу отказались, то ли им и не предлагали.

Курез-шах и Кабир-шах вообще не решались сидеть у самобраного стола в присутствии начлагеря и то неловко присаживались на корточки, то, при малейшем движении Эйхманиса, вставали.

Даже когда он начинал говорить, они поднимались, словно и представить себе не могли, что такого большого начальника можно слушать сидя.

Эйхманис это видел краем глаза и, похоже, веселился, но вида не подавал.

Щелкачов и другой молодой лагерник тоже постарались присесть так, чтоб и Эйхманису не загораживать вид на воду, и красноармейцев своей близостью к начальству не раздражать.

Время от времени Артём на правах непонятно кого брал со скатерти кусок колбасы, огурец, ломоть хлеба — и передавал кое-что Мите.

Митя делился с товарищем, и они очень медленно, молча жевали.

К алкоголю Артём был устойчив; если его и пьянило что-то, так это восхитительная бредовость самой ситуации.

Ужасно хотелось, чтоб это увидели все. И Артём мысленно перечислял, кто эти *все*: Афанасьев... Бурцев... Сивцев... казак Лажечников, если он не помер... Мезерницкий... Моисей Соломонович... чеченцы и блатные... Граков, конечно. Кучерава и Крапин... доктор Али! И эта сука Галина тоже...

Почему-то не хотелось, чтобы свидетелями происходящего стали Осип и Борис Лукьянович, но Артём не стал размышлять на эту тему и просто мысленно удалил их из числа свидетелей ширшества.

Под вопросом оставался также Василий Петрович, и Артём в своих блаженных размышлениях то сажал его напротив, то убирал прочь.

Пожалуй, впервые за всё время отбывания своего срока Артём был настоящим счастливым. И это солнце ещё, прямо в глаза. И весь он пропах копчёной колбасой — ею он, стараясь не отдавать себе в этом отчёт, не спешил угощать Щелкачова и лакомился сам, млея от натурального наслаждения.

Красноармейцам, кроме всего прочего, тоже, видимо, хотелось колбасы, но не будешь же пред Эйхманисом ходить туда-сюда и побирушничать со скатерти: взяли себе по яичку и рыбине — и будьте довольны, товарищи бойцы.

Сам Эйхманис ел мало, водку закусывал то укропом, то петрушкой и, щурясь на солнце, говорил:

— Монастырь — 509 трёхаршинных сажен по кругу, высота — девять метров, ширина — шесть. Восемь башен. Твердь!.. Монах-зодчий сделал каменные ниши в городской стене и внутри башен; сначала их хотели приспособить

сбить под погреба для пороха и снарядов, но раздумали и сделали по-другому. Эти ниши предназначались узникам! Ниша — два аршина в длину и три в ширину. Каменная скамейка — и всё. Спать — полусогнутым! Окошко — три рамы и две решётки. Вечный полумрак. Ещё и цепью к стене... Дарственные манифесты на соловецких сидельцев не распространялись: никаких амнистий!.. Переписка с родными была запрещена! Сроки были такие — “навечно”, “впредь до исправления” и “до кончины живота его никуда и неисходно”. А? “Никуда и неисходно”!

Эйхманис дожевдал петрушку вместе со стебельком и цыкнул зубом.

— А ещё земляные тюрьмы! — негромко и внятно говорил он, обращаясь к Артёму, хотя Артём чувствовал, что Митя Щелкачов, сидящий позади него, тоже слушает изо всех сил. — Знаешь, как они выглядели? Потолок — это пол крыльца. В потолке щель — для подачи еды. Расстригу Ивана Буяновского посадили в 1722 году — Пётр посадил, — а в 1751-м он всё ещё сидел! Под себя ходил тридцать лет! Крысы отъели ухо! Караульщик пожалел, передал Буяновскому палку — отбиваться от крыс, — так караульщика били плетью!.. Земляная тюрьма, огромная, как тогда писали, “престрашная, вовсе глухая”, имелась в северо-западном углу под Корожанской башней. Под выходным крыльцом Успенской церкви — Салтыкова тюрьма. Ещё одна яма в земле — в Головленковской башне, у Архангельских ворот. Келарская тюрьма — под келарской службой. Преображенская — под Преображенским собором... Кормили как? Вода, хлеб, изредка щи и квас. Настаивали при этом: “Рыбы не давать никогда!”

Артём посмотрел на скатерть и на всякий случай взял рыбий хвост, присосался к нему, уважительно косясь на Эйхманиса.

— Знаешь, что дальше было? — говорил Эйхманис. — Синод запретил земляные тюрьмы — жестоко! А соловецкие монахи не засыпали их! А зачем? Удобно! Парашу выносить — не надо!.. Я говорю: здесь всегда была живодёрня! Нашему отцу Феофану оказалось некуда идти! Соловки тюрьмой не напугаешь.

Артёма так и подмывало спросить: если раньше была живодёрня, значит, Фёдор Иванович считает, что и сейчас она осталась такой?

Но не спрашивал — не дурак.

Приехал на лошади Горшков, тяжело спустился на землю.

По нему было видно — не меньше полночи провёл с Эйхманисом за одним столом.

— Садись, Горшков, — сказал Эйхманис.

Тот присел, удивлённо скосившись на Артёма, на этот раз без спроса разлившего водку.

Горшков был, как большинство других чекистов, мордастым, крепким типом. Щёки, давно заметил Артём, у их породы были замечательные: за такую щёку точно не получилось бы ущипнуть. Мясо на щеках было тугое, затвердевшее в неустанной работе, словно эти морды только и занимались тем, что выгрызали мозг из самых крепких костей.

— Я знаю, о чём ты думаешь, — сказал Эйхманис Артёму, снова выпив не чокаясь и на Горшкова никакого внимания не обращая. — Ты думаешь, чем наш порядок отличается от порядка прежнего? Ответ знаешь или сказать?

— Знаю, — сказал Артём.

— Вот как? Говори, — велел Эйхманис.

Горшков — и тот повёл щекою в сторону Артёма.

“Неправильно скажу — перекусит глотку, — понял Артём. — Зажарят и сожрут”.

— Здесь не тюрьма, — твёрдо ответил Артём. — Здесь создают фабрику людей. Тогда людей сажали в земляные ямы и держали, как червей, в земле, пока они не подышали. А здесь даётся выбор: либо становись человеком, либо...

— Ага, либо мы тебя перемелем в порошок, — добавил Эйхманис. — Ты действительно так думаешь?

Артём даже протрезвел. В ушах у него стоял лёгкий звон. День вокруг тоже звенел: всеми деревьями, движением воздуха, птичьими голосами.

Красноармеец сломал неподалёку сук: он готовил костёр.

— Я думаю, у вас тут государство в государстве, — сказал Артём. — Свои владения, свой кремль. Свои палаты, свои монахи. Своя армия, свои деньги. Своя газета, свой журнал. Своё производство. Свои парикмахеры и гетеры. Свои палачи, — здесь Горшков дрогнул щекой и перевёл взгляд на Эйхманиса, но тот не реагировал. Артём продолжал: — Свои театры, служащие и, наконец, заключённые... При въезде, я слышал, заключённым кричат: “Здесь власть не советская, а соловецкая”. Это правда. Религия здесь общая — советская, но жертвоприношения — свои. И на всём этом вы создаёте нового человека. Это — цивилизация!

Артём замолчал и сидел, глядя на скатерть, не решаясь поднять глаза на Эйхманиса. Но неожиданно тот засмеялся:

— И язык ещё, да? Свой язык здесь возникает понемногу, — неясно было, шутит Эйхманис или нет, и Артём на всякий случай кивнул. — Смесь блатного и дворянского, большевистского новояза и белогвардейского словаря, языка театралов и проституток. “Всё смешалось: фрак, армяк и блуза!” Может, Курез-шах и Кабир-шах что-нибудь подкинут нам. А, невинные жертвы большевистской диктатуры?

Курез-шах и Кабир-шах закивали головами.

Эйхманис несколько секунд с видимым удовольствием наблюдал это беспрекословное согласие, потом разом стал серьёзным и, повернувшись к Артёму, чётко продолжал:

— У нас здесь свои классы, своя классовая рознь и даже строй особый, думаю, родственный военному коммунизму. Пирамида такая: сверху мы, чекисты. Затем каэры. Затем бывшие священнослужители, попы и монахи. В самом низу — уголовный элемент, основная рабочая сила. Это наш пролетариат. Правда, деклассированный и деморализованный, но мы обязаны его перевоспитать и поднять наверх.

— Почему каэры так высоко, товарищ Эйхманис? — вдруг подал голос Горшков.

— Кто руководит наукой? — быстро ответил Эйхманис. — Буржуазная интеллигенция и бывшие контрреволюционеры. Кто играет в театре? Они же. Кто организует занятия в клубе, кто организует воспитательную работу в кружках, кто читает лекции?..

Эйхманис отвернулся от Горшкова и завершил мысль, глядя в глаза Артёму:

— Это не лагерь, это лаборатория!

* * *

Проснулся Артём ночью с тем замечательным чувством, когда ты не знаешь, где спишь, но помнишь, что ничего страшного, кажется, не происходит — и даже напротив.

В хате была полутьма, но через минуту Артём смог различить глаза Казанской Божьей Матери, не моргая наблюдающей белую ночь.

Переступив через Митю и Захара, пошёл во двор. Заслышав шум, сразу проснулся и сел Кабир-шах: в полумраке были заметны его напуганные белки.

“...Сияет, что твоя Казанская, нехристь”, — иронично подумал Артём, а вслух сказал:

— Это я, спите. Ночь ещё.

У Горшкова опять светилось окно, похоже, приоткрытое: голоса доносились очень явственно, правда, кто и что говорит, было так сразу не понять, зато частый хохот был ясно различим: это Эйхманис смеялся — лающе, резко, будто издевательски.

Забыв, где тут отхожее место, Артём помочился на угол.

“Как собака...” — подумал он, зевая.

Голова была особенно ясная: вышитое не застаивалось в теле — копал, потел, много пил воды, а под вечер даже искупался, хотя вода была по-осеннему холодная...

На обратном пути вздрогнул: возле хаты стоял отец Феофан. Если б тот не прикурил свою трубочку, Артём так бы и прошёл мимо: настолько монах напоминал что-то не совсем живое, вроде, к примеру, дерева.

“Чёрт, неудобно, — подумал Артём. — Наверняка слышал, как я тут... на угол... Кто мне мешал отвернуться и поссать на траву? Ей-богу, придурок”.

— Доброй ночи, — хрипло сказал Артём и убил на щеке комара.

— Доброй, — спокойно ответил бывший монах.

— Слушайте, отец Феофан, — обрадовался Артём, что с ним разговаривают, и сам тут же простил себе своё скотство — молодость легка на такие штуки. — А Эйхманис — правда он ищет клады?

— Разве то секрет? — ответил старик. — Ищет везде. Все Соловки уже перерыл. И здесь ищет. И спрашивает у меня, где лучше искать.

— А что ты сам не нашёл, отец Феофан? Раз советы даёшь — так искал бы.

— А зачем мне? Я никуда отсюда не собираюсь. Вынешь золото на свет — оно с тебя спросит, зачем ты его достал. У меня и другого спроса хватает. А Эйхманис спросу не боится. Пусть себе ищет.

— Феофан! — крикнули из окна хаты надзирателя, и Артём узнал по голосу Горшкова.

В то же мгновение Артём догадался, что старик только что вышел из горшковской хаты — как бы покурить, но на самом деле хотел сбежать к себе, так как тяготился ночным общением с чекистами. От старика веяло не соловецкой ночью, а человеческим бодрствованием, и одежда его пахла не воздухом и вечером, а людьми и вином.

“...Как собака, — снова успел подумать Артём, — всё чую, как собака...”

— Ай? — откликнулся отец Феофан.

— С кем ты там гутаришь? — спросил Горшков и высунул башку в окошко.

— Заключённый Артём Горяинов! — подумав, ответил Артём и тут же отчётливо разобрал, как Эйхманис внятно произнёс где-то за спиной Горшкова: “Пусть оба идут!”

— Оба сюда! — скомандовал Горшков и шумно вернулся за стол — слышалось дребезжание посуды, кто-то с грохотом сдвинул несколько стульев.

Ничего не сказав Артёму, Феофан смиренно побрёл к хате Горшкова.

Ведомый только хорошими предчувствиями, Артём вернулся за рубахой к своей лежанке и, одеваясь на ходу, поспешил вслед за стариком. Благо тот оставил дверь открытой, а то было б неловко, чертыхаясь, лезть в чужой, тем более чекистский дом — там, на пути, обязательно попало бы какое-нибудь бесноватое ведро, хорошо ещё, если пустое, а не с хозяйскими помоями.

Горшков жил скудно: печь посреди избы, возле печи — кровать, но, судя по тому, что на полу, едва не возле дверей, было тоже постелено, сегодня хозяйское место занимал Эйхманис. За исключением стола и стульев, из мебели имелся только сундук. Над окном висела связка сухой рыбы, над кроватью — шашка и часы на гвозде с тем расчётом, чтоб лёжа можно было дотянуться до них.

Эйхманис сидел во главе стола — нисколько, несмотря на смутные ожидания Артёма, в отличие от Горшкова, не уставший и не обрюзгший от ночного пьянства, но, напротив, будто бы ставший чуть более резким и быстрым и во взглядах, и в движениях. Горшков со своим набыченным медленным видом и тугими щеками явно не соответствовал начальственному настрою.

— Придумал ответ? — спросил Эйхманис отца Феофана.

— У меня их и не было, Фёдор Иванович, ответов-то, — сказал монах.

— Пролетариат лучше Христа, — быстро, будто бы не слушая отца Феофана, сказал Эйхманис. — Христос гнал меня из храма, а пролетариат поселил тут всех: и кто менял, и кто стрелял, и кто чужое воровал... Революция такая, революция сыкая, а где огромная правда, которую можно противопоставить большевистской? Сберечь ту Россию, которая вся развалилась на куски, изнутри гнилая, снаружи — в вашем сусальном золоте? Кому сберечь? Зачем?

Эйхманис быстро обвёл глазами всех собравшихся, и Артём спокойно встретил его взгляд.

— Соловки — прямое доказательство того, что в русской войне виноваты все: что, ротные и взводные из “бывших” — добрей чекистских? Артём, скажи? А то Феофан не знает.

— Все... хороши, — сказал Артём с продуманной паузой. Горшков тряхнул тугими щеками и в который раз уже с бешенством посмотрел сначала на Артёма, а потом на Эйхманиса: как смеет этот шакал?.. — но Эйхманис на взгляд Горшкова снова не ответил.

Он молча и не моргая смотрел на Артёма.

Артём на мгновение почувствовал, что глаза у начлагеря совершенно безумные: в них нет ничего человеческого. Он перевел взгляд на его руки и увидел, что запястья у начлагеря не мужицкие, а будто бы у музыканта, и пальцы тонкие, а ногти — бледные, стриженные, чистые.

— А чего ты не налил ему? — спросил Эйхманис Горшкова. — Налей, он гость.

Горшков, не глядя на Артёма, придвинул ему бутылку и стакан, зацепив и то, и другое в одну руку с жирными и почти красного цвета пальцами без ногтей.

Эйхманис ухмыльнулся.

Феофан смотрел в стол.

Артём налил себе на большой глоток и сразу же выпил.

На блюде лежала неровно порезанная сельдь — пахла она призывно и трепетно. Артём не решился дотянуться к ней, но странным образом почувствовал родство этой сельди с женскими чудесами... Такое же разбухшее, истекающее, невероятное.

Даже губу закусил, чтоб отвлечься.

— Недавно в Финляндию сбежал один — из полка, — с какого-то своего, одному ему понятного места продолжил Эйхманис. — Тут же отпечатали книжку, на русском языке, ты подумай... Мне Бокий привёз только что, — пояснил Эйхманис, коротко взглянув на Горшкова. — Пишет эта мразь в книжечке своей, что за год мы тут расстреляли шесть тысяч семьсот человек. Там, наверное, барышни падают в обморок, когда читают. Мы можем и шесть тысяч, и шестьдесят шесть расстрелять. Но тут в тот год всего семь тысяч заключённых находилось! И кого ж я расстрелял? Три оркестра, два театра, пожарную роту и питомник лисиц? Вместе с лисицами!

Артём подумал-подумал — и дотянулся до пирога, лежавшего на блюде возле Горшкова.

Пирог оказался с капустой: пышный и сладкий, у Артёма, кажется, даже мурашки по телу пошли от удовольствия.

Следом всё-таки ухватил ломоть сельди и забросил в рот: о-о-о. Жевал, с глазами, полными восторга.

Горшков проглотил слону и тяжело выдохнул: “Не нажрался ещё?” — говорил его вид.

“А то тебе мало”, — подумал Артём.

— Пишут ещё, что здесь мучают заключённых, — продолжал Эйхманис, будто бы не замечая происходящего за столом, но на самом деле очень даже замечая. — Отчего-то совсем не пишут, что заключённых мучают сами же заключённые. Прорабы, рукрабы, десятники, мастера, коменданты, ротные, нарядчики, завхозы, весь медицинский и культурно-воспитательный аппарат, вся контора — все заключённые. Кто вас мучает? — Эйхманис снова посмотрел на Артёма, и тот сразу перестал жевать, не от страха, а скорей тихо и ненавязчиво валяя дурака. — Вы сами себя мучаете лучше любого чекиста!

Похоже, Эйхманис начал расходиться — Артём догадался об этом по Горшкову, который медленно убрал руки со стола и выпрямился.

— Голые! — громко сказал Эйхманис тем тоном, каким в театре читают стихи. — Пишут, у нас тут голые выходят на работу! А если это уголовники, которые проигрывают свою одежду? Я сам их раздеваю? Что за идиотизм? Знаете, что будет, если я раздам им сейчас сапоги всем? Завтра половина из тех, кто имеет сапоги, будут голыми!

Эйхманис кривился и словно бы сдерживал припадок.

— Проституток заселяем к монахиням, пишут! А как вы хотели? Чтоб монахини отдельно, а шлюхи отдельно? И ещё отдельно баронессы? И потом проститутки идут голые, а вы удивляетесь? Я потому их и заселяю вместе, что у меня падает сразу и количество драк, и заражённость сифилисом, и разврат, и распад, и ад! — Эйхманис взял стакан и на слове “ад” жёстко ударил им об стол.

— Мы только политических заселили отдельно! — кого-то, то ли присутствующего здесь, то ли отсутствующего, отчитывал Эйхманис. — И ещё священников отселили! И мы роём, своими руками зарабатываем средства, чтоб всем было по нраву! Потому что того, что присылает Москва, хватило бы вам только на гробы! И правильно! Надо уметь зарабатывать самим, мы не в раю. А чего вы хотите — вся страна так живёт! Страну ждёт война! Из мужика давят все соки! Из пролетариата — давят! А вас нужно оставить в покое?

Артём, на счастье, половину пирога уже прожевал и сидел, глядя то на бутылку — там оставалась ещё половина, то на селёдку — её вообще никто не трогал, а она возбуждала натуральным образом, тревожа самое что ни на есть мужское его естество.

Гульба этой ночи была восхитительной. Иногда Артём пощипывал себя за ногу: не снится ли ему это? В голове снова растекался сладостный хмель; он бы и ещё выпил.

Эйхманиса Артём не боялся вовсе. И не понимал, отчего его боится Горшков.

Говорили, что Эйхманис однажды лично расстрелял кого-то ко дню рождения Дзержинского. Может быть, кого-то и расстрелял, но с чего ему расстреливать Артёма?

— Почитать рассказы про нас, так получается, что здесь одни политические, и все они сидят на жёрдочке на Анзере, — говорил Эйхманис. — А здесь домушники, взломщики, карманники, воры-отравители, железнодорожные воры и воры вокзальные, воры велосипедов и конокрады, воры-церковники, магазинные воры, воры при размене денег, которые зовутся вздёрщики, воры, которые обкрадывают гостей своих подруг-проститутки, содержатели малин и притонов, скупщики краденого, фармазоны, которые “куклы” делают и липовые пачки денег используют для покупок, обманывая крестьян... А пишут ведь, что здесь сидят и принимают муку крестную лучшие люди России. Ты, Артём, между прочим, знаешь, что чекистов тут сидит больше, чем белогвардейцев? Нет? Так знай! — Эйхманис вдруг захохотал, глядя на Горшкова.

Смех этот никого не расслабил.

Монах теперь смотрел в окно, будто бы ожидая рассвета, — с рассветом, говорят, пропадает любая нечисть. Горшков же смотрел в стол.

— А содержат их куда хуже, чем многих иных! — сказал Эйхманис с некоторым даже вдохновением. — Артём знает, в каких кельях живут каэры и священники! Чекистам келий не дают! Они в одной казарме все. Хотя, казалось бы, чьи заслуги перед революцией выше? Чекистов или каэров? Как ты думаешь, Горшков?

Горшков закусил губу и начал напряжённо смотреть прямо, словно ответ был мелко прописан на противоположной стене.

— А ничьи! — издевательски ответил за него Эйхманис. — Ничьи заслуги революции не важны! Они ан-ну-ли-ро-вались! И начался новый счёт! Кто работает — тот ест пироги! Кто не работает — того едят черви! Вот сидит Артём — и вдруг он завтра убежит? — Здесь Горшков снова вскинулся и даже поискал револьвер на боку — он там и был: не пристрелить ли бегуна? Но Эйхманис всё не подавал сигнала и продолжал говорить:

— Убежит и расскажет там всем всю правду. А какую правду он знает? Он был в двух ротах, пять раз ходил на баланы, пять раз на ягоды и общался с двумя десятками таких же заключённых, как он. Он опишет свой барак — как будто его бараком ограничивается мир... А здесь не столько лагерь, сколько огромное хозяйство. Загибай пальцы! — приказал Эйхманис Артёму: — Лесозаготовка — лесопильное и столярное производства. Рыбная

и тюленья ловля. Скотное и молочное хозяйство. Известково-алебастровый, гончарный, механический заводы. Бондарная, канатная, наждачная, карбасная мастерские. Ещё мастерские: кожевенные, сапожные, портновские, кузнечные, кирпичные... Плюс к тому — обувная фабрика. Электрификация острова. Перегонный завод. А, у тебя пальцы кончились. Давай начинать сначала...

Эйхманис налил себе стакан, и Артём подумал, что здесь все пьют по часовой стрелке, пропуская Феофана... сейчас его очередь будет.

— ...Железная дорога, торфоразработки, сольхоз, пушхоз и сельхоз. Монахи тут ничего не могли вырастить, говорили “климат не тот”; а у нас растёт — и картофель, и овёс! Лодочное и пароходное сообщение. Стройка новых зданий, ремонт старых. Поддержка в порядке каналов, вырытых монахами. Заповедник и биосад в нём. Смолокурня, радиостанция и типография. Театр, даже два театра. Оркестр, даже два оркестра. И две газеты. И журнал. А ещё у нас больница, аптека, три ларька... Ты, кстати, где купил эту кепку, Горшков?

— В ларьке, — быстро ответил Горшков.

Эйхманис, глядя на Артёма, кивнул головой так, словно кепка Горшкова послужила доказательством всего им сказанного.

— Пишут: плохо кормят. А где я возьму? Природа скудна, естественных богатств — минимум. Все работы и промыслы могут быть только подспорьем. Для. Внутренних. Потребностей. Лагеря. Но мы исхитряемся и кормим столько народа, сколько монахи никогда не кормили. Им бы привезли столько заключённых — они бы передохли у них через неделю... Пишут: лечат плохо. А мы каждый год выписываем медикаментов на 2000 рублей! Где они? А я тебя спрошу! Где? Воруют, может? Но только если я чекистов за это гнобю в карцерах — про это не напишут! То, что у нас школа для неграмотных работает, — не напишут! То, что я открыл церковь, разрешил бывшим священникам и монахам ходить в рясах, — не напишут.

Феофан вдруг с чмокнувшим звуком раскрыл крепко сжатый рот и произнёс:

— Сначала запретить носить рясу, а потом разрешить: и вроде как благое дело зачлось? Можно ещё выпороть кого, а потом маслом смазать по голым костям — ещё одно благое дело.

Эйхманис вдруг повеселел, а то, похоже, ему с каждой минутой становилось всё скучнее.

— О! — сказал Эйхманис, как будто Феофан, наряду с кепкой Горшкова, снова подтвердил его правоту. — А говорил: ответов нет. Я ж знал, что есть.

Феофан молчал, но Артём странным образом всё ещё вслушивался в сказанное им. “Ж” и “ш” старик произносил так, словно это было что-то круглое, лохматое — собрать бы в руку и гладить.

Горшков дважды скрипнул зубами и едва не задохнулся от своего низколобого бешенства, но Эйхманис остановил его самым коротким взглядом, какой только был возможен.

— Феофан, кроме своих святых сказок, ничего не читал наверняка, зато Артём вот Достоевского читал, думаю. Помню, у Достоевского на каторге были кандалы, а за провинности их секли. Как детей. Вас секли тут?

Артём вспомнил, как его Крапин охаживал дрынком, но зачем про это рассказывать? Поэтому просто качнул головой: нет, не секли. Не секли же, действительно.

— И кандалов я на вас не вижу, — сказал Эйхманис, повышая голос. — Снимаете, что ли, на ночь?

Феофан опять чмокнул ртом — у него там, похоже, имелось наготове ещё одно окаяющее слово с пушистыми шипящими, но в этот раз Эйхманис остановил и его:

— То, что ты сказал, — мне нравится. И если Горшков вздумает тебя давить за это — ему тогда самому придётся заниматься охотой на тюленя. Но теперь ты помолчи. Вам вообще, длиннополым, надо заткнуться отныне и навсегда. Я с Артёмом буду разговаривать, ему это никто не объяснит. Ар-

тём, ты любишь стихи? Я иногда читаю стихи. Говорят, что поэты умеют сказать самое... Да. Если о нас напишут стихи и споют песни — значит, нам будет оправдание на века. А про нас уже пишут и поют. Но вот что надо заметить, Артём. Простые люди в русской деревне стихов никогда не читали. Самое главное им объяснял поп — и про Бога, и про Россию, и про царя. Тираж любой книги Блока был одна тысяча экземпляров. А у любого попа — три тысячи прихожан в любой деревне. Это сильнее, чем театр! Сейчас есть кино, но поп сильнее, чем кино, потому что кино — молчит, и там всё... на бегу. А поп — он не торопится. И монах вообще не спешит.

Эйхманис посмотрел на Феофана, проверяя, торопится ли тот успеть поспать до рассвета, или ему и здесь хорошо.

— И если батюшка говорит, что советская власть — от Антихриста, — а они говорят это неустанно! — значит, никакого социализма в этой деревне, пока стоит там церковь, мы не построим! — сказал Эйхманис, со злым лукавством косясь на Феофана, будто бы довольный его молчанием. — Это даже не палки в колёса! Поп тащит наш воз в противоположную сторону, и тащит с куда большим успехом! В самом лучшем случае — силы наши равны. Мужик слушал попа почти тысячу лет, а мы должны научить его слушать нас — за десять! Это — задача!.. И мы её выполним!

Эйхманис с полминуты сидел, глядя в стол и чуть прокатывая пустой стакан меж большим и средним пальцами.

— Рассказывают, что мы убили русское священство, — тихо продолжил он. — Как бы не так. В России сорок тысяч церквей, и в каждой батюшка, и над каждым батюшкой своё начальство. А в Соловках их сейчас одна рота длиннополых — 119 человек! И то самых настырных и зловредных. Где же остальные? А всё там же. Проповедуют о царстве Антихриста. Нет, Феофан? — вдруг крикнул Эйхманис и ещё громче скомандовал: — Заткнись!..

— Да ладно бы только проповедовали! — кривясь улыбкой, продолжал Эйхманис; голос его стал жестяной и бешеный. — Никто ж не рассказывает, что было обнаружено в Соловецком монастыре, когда мы сюда добрались в 1923-м. А было обнаружено вот что. Восемь трёхдюймовых орудий. Два пулемёта. 637 винтовок и берданок с о-о-огромным запасом патронов. Феофан! — снова неожиданно и яростно рыкнул Эйхманис. — На кого хотели охотиться? На тюленей? Из пушек? А? Заткнись!

— Мы понимаем, что это такое? — спросил Эйхманис, точно уже спрашивая не сидевших здесь, а кого-то, находящегося за их спинами. — Неприступная крепость, которую англичане взять не смогли, а царь Алексей Тихайший десять лет осаждал. И она полна оружием, как пиратский фрегат. Монахи здесь, между прочим, издавна были спецы не только по молитвам, но и по стрельбе. И что вы приказали бы предпринять советской власти? Оставить здесь монастырь? Это... прекрасно!.. Прекрасное добросердечие. Но, думаю, вполне достаточно, что мы их всех не расстреляли немедленно и даже оставили тут жить... Пушки, правда, отобрали... Но если Феофан напишет бумагу, что ему требуется пушка, — я рассмотрю...

Эйхманис потряс папиросной пачкой, высыпал табак и выудил, наконец, последнюю папиросу.

Поискал глазами огня, но нашёл старика-монаха и сразу почувствовавшего недоброе Артёма.

— ...Спать идите, — сказал Эйхманис устало и недовольно.

Но лицо у него было такое, словно он не только что смертельно захотел отдохнуть, а напротив: вдруг проснулся и заметил чужих и незнакомых людей.

Артём уже выходил, когда Горшков неожиданно, в один миг, заснул.

На улице они с монахом услышали отчаянный грохот и вскрик человека. Артём приостановился, а Феофан, напротив, поспешил ещё скорее.

В доме раздался смех Эйхманиса.

Подумав, Артём пошёл вслед за Феофаном. Через несколько шагов понял, что за шум был: Эйхманис выбил табуретку из-под Горшкова.

Эта селёдка, со всем её маслом и золотом, не выходила у Артёма из головы — хотя при чём тут его голова...

Выйдя из хаты Горшкова, он сначала ощутил себя в безопасности, а потом вдруг почувствовал, как у него снова томительно заныло внизу живота, будто там сама собою накручивалась какая-то нить, и места внутри становится всё меньше и меньше, всё меньше и меньше, и от этого так хорошо и страшно было на душе, и волнительно, и бесстыдно.

Феофан, зашедший в свой дом, вернулся и спросил:

— Спать-то идёшь?

— Я подышу пока, — хрипло ответил Артём, уже зная наперёд, что собирается сделать.

От алкоголя он стал беспутным и смелым.

— Ну, дыши, — сказал Феофан. — А я дверь прикрою тогда... а то комары.

Комары вились у лица, но эта нить внутри тянула сильнее, и, едва дождавшись, когда Феофан прикроет дверь, Артём поспешил за хату, подавшись от окошек, — и уже взял себя — сгрёб! — всей ладонью за причинную плоть; она была живой, горячей, разбухшей, полной гудящей крови.

У Горшкова снова засмеялся Эйхманис, но было плевать.

Лес, стоявший рядом и полный поющих птиц, ликовал.

Там будто бы работала огромная фабрика. Кто-то отчётливо шил на швейной машинке. Кто-то ударял серебряными спицами — спицей о спицу, спицей о спицу. Кто-то мыл хрустальные чашки в тазу. Кто-то вкручивал скрипучий болт. Кто-то раскачивал остановившиеся ходики. Кто-то токал катушками ниток друг о друга. Кто-то набрасывал звонкие кольца на деревянный перст. Кто-то тянул воду из колодца, наматывая цепь. Кто-то щёлкал ножницами, примеряясь к бумажному листу. Кто-то стругал, кто-то катал орехи в ладонях, кто-то пробовал золотую монету на медный зуб, кто-то цыкал подковой, кто-то подгонял остальных, рассекая воздух плёткой, кто-то цыкал на ленивых, кто-то, наконец, свиристел, — весь лес словно бы подпевал Артёму и всей его восторженной крови.

“Откуда здесь столько птиц? — смутно, будто из последних сил подумал Артём. — Соловецкие леса такие тихие всегда, как вымершие... А сейчас что?”

Едва дойдя до угла, Артём уже заладил себя тешить: комары вились возле голой, снующей туда и сюда руки и никак не могли сесть на неё — это было смешно, но не настолько смешно, чтоб засмеяться: потому что внутри живота безбольно и тихо лопались одна за другой нити, свободы и пространства там становилось всё больше, и на этой свободе стремительно распускался огромный цветок, липкий, солнечный, полный мёда.

И птицы ещё эти сумасшедшие...

Представил себе женщину, белую в тех местах, где у неё белое, тёмную — где тёмное, дышащую открытым ртом, не знающую, как бы ей ещё извернуться, чтоб раскрыться ещё больше.

...В последние мгновения Артём не сдержался и задавил трёх комаров, сосущих его кровь, резко прижавшись щекой к своему плечу, одновременно чувствуя, как будто звёзды сыпаются в его двигающуюся руку...

Через всё тело прошла кипящая мягкая волна — от мозга до пяток — и ушла куда-то в землю, в самое её ядро.

“Так зарождался мир! — вдруг понял, словно выкрикнул криком внутри себя эту мысль Артём. — Так! Зарождался! Мир!”

...Его выплеснуло всего! Как-то неестественно долго расплёскивало — вот так, вот так, да, вот так... Да кончится это когда-нибудь! Было уже и не сладко, и не томительно, а чуть-чуть больно, и тошно, и зябко, и едва раскрывшийся цветок уже закрывался, остывал, прятался, зато комарья стало в семь раз больше, и Эйхманис смеялся, не переставая, и в доме, где ночевал Артём, кто-то заворчался: оказывается, это было очень рядом и очень слышно.

Артём присел, у него закружилась голова, он ощутил ладонью землю, а на земле — густое и влажное, словно здесь кто-то отхаркивался.

Резко поднялся, вытер руку о штанину.

Никакого мира не зародилось — в свете соловецкой ночи виднелись белые капли на траве. Растёр их ногой.

* * *

Эйхманиса с утра никто не видел.

Артём, едва проснувшись и пойдя умываться, не выдержал — зашёл за угол, посмотрел, не осталось ли следов вчерашнего.

“...А то сейчас появится Эйхманис, сразу всё заметит и спросит грозно: “Это кто здесь ночью натворил?” — посмеялся над собой Артём.

На душе было несколько противно. Но терпимо, терпимо... К завтраку Феофан достал сразу шесть сельдей; с утра она ничего женского уже не напоминала, зато вкусна была по-прежнему.

Все ели жадно, быстро, с удовольствием. Облизывали пальцы, улыбались друг другу. За столом почти не разговаривали — так были увлечены.

У Кабир-шаха, отметил Артём, даже белки глаз покраснели от напряжения.

Щелкачов ел аккуратнее всех: чувствовалось воспитание. Иногда он внимательно и чуть щурясь посматривал на иконы, висевшие в избе Феофана.

— Кажется, что, если такую сельдь есть бы каждый день — так и будет выглядеть настоящее человеческое счастье, — вдруг сказал Щелкачов, переводя взгляд на Артёма.

Артём с улыбкой кивнул: он оценил сказанное.

— Спасибо, отец Феофан! — громко поблагодарил Артём на неведомо кем данных ему правах старшего здесь, когда сельдь была доедена.

Он и сам себе постыдился бы признаться, что хочет услышать, как отец Феофан с ним заговорит. Отчего-то казалось, что Феофан хорошо понял, как именно дышал вчера Артём, и от этого в сердце Артёма чувствовался тошный неуют.

Вместо ответа Феофан кинул какую-то тряпку на стол — вроде бы его старые порты. Все тут же начали вытирать об них сорок раз облизанные руки, никто не брезговал.

Феофан вышел из избы.

“...И чёрт с тобой, старый бес, — подумал Артём, — мало ли чем ты сам тут занимаешься всю свою бобылиную жизнь...”

Когда все остальные понемногу побрели на солнечный свет, Щелкачов так мило улыбнулся Артёму, что они сразу же разговорились. Тем более что Артём не выпался и ещё чувствовал брожение алкоголя внутри, а в таком состоянии он почему-то всегда был говорлив, раскрыт настежь и любопытен к другим. Вдвойне хотелось разговаривать из-за Феофана: этот тихий и настырный стыд требовал отвлечения.

— Ты понял, чем мы занимаемся? — спросил Артём задорным шёпотом.

Щелкачов так же весело пожал плечами — в том смысле, что сложно не догадаться.

Артём, тем не менее, вопросительно расширил глаза: а откуда ты мог догадаться?

На этом месте они оба расхохотались, потому что разом поймали себя на том, что после первого вопроса Артёма смогли перекинуться парой фраз, не сказав при этом ни слова.

— Меня и позвали сюда, — сказал Щелкачов, — потому что я иконами занимаюсь.

— Где? — не понял Артём.

— Меня ж перевели из двенадцатой, — ответил Щелкачов. — В музей, который Эйхманис создал.

— Тут ещё и музей есть? — подивился Артём, вспомнив вчерашние перечисления начлагеря: музей-то он и не назвал, загибая пальцы.

— Да-да, — сказал Щелкачов. — В Благовещенской церкви. Две с половиной тысячи икон. Среди них — чудотворные Сосновская и Славянская...

Здесь Щелкачов внимательно и быстро посмотрел на Артёма, и тот сразу догадался о смысле взгляда: Щелкачов пытался понять, значимо ли всё это для Артёма или нет. Сам Щелкачов, судя по всему, был верующим, чего об Артёме сказать было нельзя, но он вида не подал, напротив, кивнул уважительно и заинтересованно.

— Говорят, что Славянская икона — работы Андрея Рублёва, и перед ней молился сам соловецкий игумен Филипп, затем ставший митрополитом Всея Руси и задушенный по приказу Иоанна Грозного, — рассказал Щелкачов.

Артём снова несколько раз кивнул с таким видом, что — да, слышал и он все эти истории, и он действительно когда-то что-то про это знал, но давно забыл.

— И что ты делаешь в музее?

— А сижу в алтаре Благовещения и рисую экспозицию на глаз: определяю век, ценность, содержание... Меня начальник музея выменял у Кучеравы за три церковных ризы, — посмеялся Щелкачов, и Артём тоже хохотнул. — Я немного понимаю в иконах и прочей древности — учился этому. Так что я быстро догадался, зачем нужен... Фёдору Ивановичу. Раскопаем мы какую случайную вещь — ему надо сразу понимать, тридцать лет ей или триста, ценна она или — подними и брось, стоит тут копать дальше или нет.

— Ты не знаешь, он что-то находил уже? — спросил Артём.

— Кто ж нам скажет, — пожал плечами Щелкачов. — Может, и находил. Ходят такие слухи... Будто бы он нашёл в одной бумаге запись, что клад там, где след от третьей головы в полдень на Троицын день, и надо копать на одну сажень вглубь. Под головой, предположили, понимается храмовый купол. Ох уж искали они нужную голову тут, покопали вволю в Троицын день — целый ударник устроили, ничего не нашли... Но то, что он изучил все церковные бумаги и к нему постоянно водят на беседы соловецких монахов, — это я слышал.

Подошёл третий молодой в их команде, Захар.

Он был низкоросл, кривоног, носат, не по возрасту щетинист, видно было, что не брился дня три, а уже так оброс! Если не будет бриться неделю, в свои двадцать или сколько там ему, будет иметь настоящую, чуть курчавую бороду.

Артём ещё вчера хотел у него спросить, где они встречались раньше, но всё забывал.

— Не помнишь? — улыбнулся Захар; когда он, щурясь, улыбался, глаза его будто исчезали под веками. — А нас везли на одном рейсе, мы едва не передушили в трюме: по дурусти полезли самыми первыми — а надо бы наоборот, тогда и места достались бы у выхода, там хоть воздуха можно пошухать.

Артём покивал: да, было дело.

— Мы и в тринадцатой были вместе, но там в толкотне редко нас стелкивало, да я и без бороды был, и всё время на другие наряды... А потом меня перевели в двенадцатую — как раз, когда ты... — Захар, снова сощурившись, посмотрел на Артёма и добавил: — Дрался там с блатными, а потом в больничку попал.

Артёму понравилось, что с блатными он всё-таки, как свидетелям показалось, дрался, а не прыгал от них, как бешеная вошь, с нар на нары...

— Вас, как я понял, взяли в спортсекцию? — спросил Щелкачов Артёма — и он тут же вспомнил, что давно Щелкачову “тыкает”, а тот ему — нет. “Ну, и ладно!” — быстро решил Артём.

Он кивнул: да.

— Бокс? — уважительно произнёс Щелкачов.

Артём усмехнулся. Вдвойне было смешно оттого, что Захар, судя по его виду, слово “бокс” услышал впервые и значения его не понимал.

Никогда особенно не задумываясь об окружавших его людях, Артём легко догадался, что Захар ищет себе дружбы — с ним, Артёмом, — и причи-

ны тому просты: с блатными дружить — себя продать и потерять, а с Щелкачовым — сложно, он умный. Захар искал сближения с понятным ему человеку в надежде, что в трудную минуту тот, быть может, подсобит.

Зато Артём давно уже ни с кем сближения не искал, оттого что догадался: помочь не сможет никто. Мало того — лучше и не отягощать собою никого. К чему было хоть Василию Петровичу, хоть Афанасьеву смотреть на то, как Артёма гоняют блатные, и догнали бы, наконец, когда бы Бурцев первым не разбил ему башку.

“А я ещё сержусь на Бурцева! — вдруг подумал, вернее сказать, понял Артём. — Надо бы сельды раздобыть да ему привезти в дар. Если б не он, меня б уже... порвали бы...”

Щелкачов — тот тоже был не прочь найти в Артёме товарища, хотя бы по той причине, что они пользовались одним словарём, допускали в речи причастные обороты и явно принадлежали к среде книжной. Но Щелкачов был не нужен Артёму тем более, и общался он с ним лишь потому, что ему было душевно и забавно, и сегодня его никто вроде бы не должен был убить, а разве это не повод для радости!

К тому же утро, которое начинается с кремлёвской сельды, — это утро необычайное, доброе.

До обеда они немного поработали: кто копал, кто чертил, Артём всё больше отгонял лопатой всевозможный тысячекрылый гнус.

Красноармеец при них был, но он ни во что не вмешивался и не погонял, наверное, ему так и приказали: присматривать и не лезть.

К обеду появился Горшков — с распухшим лицом и свежей ссадиной, прошедшей через скулу и на висок. В руках у него был свёрток.

Артём смотрел на Горшкова чуть опасливо: кто его знает, что у него после вчерашнего позора на уме.

— Здра, гражданин начальник! — на всякий случай гаркнул Артём, вовремя пнув Щелкачова, чтоб поддержал. Захар подоспел только к “...чальник”.

— Бриться и мыться будете сейчас, — сказал Горшков, будто не услышав приветствия, — а то притащили вшу к нам на островок, на хрен бы она нужна!

Следом заявился Феофан с пирогами.

Пироги были вчерашние или позавчерашние, а то и недельные, но что с того, когда весь день на воздухе, да с лопатой. Все бросились есть, давясь и дыша носом, время от времени обводя округу глазами: не выросла ли поблизости из земли бутылка молока или, пусть с ней, воды.

— Озёрной попьёте сейчас, — сказал Горшков.

...К тому же пироги были не только с капустой, но и с повидлом, и когда это повидло попало Артёму на пальцы, он даже зажмурился: где я? Кто я? Почему я жру повидло? Я что, сплю?

У озера Артём и Захар быстро всё с себя поскидывали и полезли в воду, Щелкачов задумался, а индусы вообще пристыли.

Отчего Щелкачов замешкался, Артём быстро догадался: у него на шее, вокруг пояса и на щиколотках висели мешочки с нафталином и чесноком — Василий Петрович тоже так себя украшал, вшам на страх, — но пахучие обереги, кажется, помогали не очень. Артём однажды тоже такой пытался носить, но скоро решил, что съесть чеснок куда приятнее.

— А вы что, лупоглазые? — заорал Горшков на индусов. — Ну-ка, геть до воды!

Артём заплыл подальше, пить не стал, но рот водой пополооскал, в горле побурлькал ею, три раза сплюнул — вроде как и попил.

Когда возвращался, всем уже раздали мыло, а отец Феофан ходил с бритвой по берегу, будто поджидая того, кто первый решит вернуться.

Курез-шах и Кабир-шах стояли по пояс в воде, слабо оплёскиваясь и глядя на отца Феофана с некоторым страхом.

...Первым решился выйти из воды Захар; судя по всему, купаться он не любил и быстро замёрз.

— Может, щетину я сам? — предложил он. — А ты, отец, голову?

— Небось, больше одного уха не отрежу, — неожиданно пошутил отец Феофан, и все поочерёдно засмеялись, даже Горшков, и тот улыбнулся, но дала о себе знать вчерашняя ссадина, и он тут же скривился.

“Интересно, он мысленно называет Эйхманиса “сухой” или не решает-ся? Или сам себя убедил, что с табурета упал по своей собственной воле?” — веселил себя Артём.

Захар без волос стал совсем пацаном, зато нос у него вырос вдвое и заострился.

— Ты не с Кавказа ли? — спросил Артём, не вылезая из воды, весь в мыле, продолжая расторопно себя натирать.

— С-под Липцев... — ответил Захар, будто ожидая издёвки и очень её не желая. — Крестьяне мы. Но тоже на горе живём. Маленькая, но гора.

Он всё гладил голову, удивлённый своим видом: в деревнях наголо бриться было не принято: по бритой голове в былые времена определяли каторжников... И вот он им стал.

Артём почувствовал, что парень болезненно воспринял его шутейный вопрос, и больше не лез.

Глядя на то, как из воды идёт худощавый, впрочем, недурно сложенный Щелкачов, и выбредая следом, по пути оплёскивая мыло, Артём поймал себя на мысли, может, и неуместной, но всё равно явившейся: он тут был самый видный, самый красивый.

Надо было всего пару дней не работать и питаться пирогами с селёдкой, чтоб всякая дурь в голову полезла...

Побритый наголо Щелкачов изменился не очень: как был питерский головастый мальчик с внимательными глазами, так и остался. Разве что ушей прибавилось на голове, и синюшный череп сменил.

Пришла очередь побриться и Артёму — Феофан делал своё дело ловко и бережно.

Артём всё ждал — особенно в момент, когда Феофан крепко брал его за подбородок двумя пальцами, выбривая под губой, — что тот скажет шёпотом: “А тебе, охальник и рукоблуд, за то, что ты запоганил траву возле моего окошка, я отсеку сейчас нос...” — но ничего такого не случилось.

Солнце уже теряло жар, когда Артём ополоснулся, смыл мелкие остриженные волосы и кожную шелуху с плеч, и вдруг, глянув на своё отражение в воде, едва не засмеялся в голос: такой чистотой и юностью светилось всё его лицо, такой восторг ощущало тело, — что какая тут тюрьма, и при чём она тут! — если целая, до самого солнца, жизнь впереди! Солнце плавало рядом в воде, как кусок масла.

Индусы между тем всё никак не могли решиться на то, чтоб доверить свои лица и волосы бородатому монаху с лезвием. Они так и стояли в озере по пояс, покрытые мурашками и вконец озябшие.

Артём разохотился было посмаковать картину пострижения индусов, но тут неожиданно образовался Эйхманис, трезвый и бодрый.

— Здра! — заорал Артём очень искренне.

Эйхманис привычно обрубил крик рукой: умолкни.

— Ты в какой роте, Артём, я забыл? — спросил Эйхманис, и Артём, сначала ответив, в какой, потом быстро — нехорошо голым говорить с начальством! — натянув рубаху, уже внутри рубахи подумал, что с ним общаются уже не как с заключённым, а как с бойцом, солдатом, армейцем. “И это просто замечательно, — думал Артём, выныривая из рубахи так ретиво, что едва не оборвал себе уши, — это ужасно приятно...”

— И где живёшь? — спрашивал Эйхманис. — В келье?

Артём ответил, что да, в келье, на два места, и зачем-то уточнил: с Осипом Троянским, ботаником.

— А, я знаю про него, — сказал Эйхманис.

— Он сказал, что скоро меня должны отсюда переселить, потому что он обратился с просьбой разрешить его матери приехать к нему с материка и проживать с ним в келье, — пояснил Артём, отчего-то догадавшись, что Эйхманису это будет любопытно.

— Мать в келью? — улыбочиво переспросил Эйхманис и посмотрел на Горшкова. — Как весело, — Горшков на всякий случай кивнул. — Думаю, он чего-то недопонял, — сказал Эйхманис, и Горшков снова кивнул, на этот раз куда убеждённой.

— В общем, Артём, я посмотрел на всех вас, — продолжил Эйхманис. — Будете работать при мне, задачи я объясню, ты будешь старший группы.

Артём щёлкнул бы каблуками, если б не был босым, но пятки всё равно медленно соединил и подбородок поднял чуть выше.

— Горшков, сделай ему бумагу, что он командирован в монастырь и обратно, — велел Эйхманис, на Горшкова не глядя. — А ты, Артём, получишь там обмундирование на всех и продукты. И инструменты кое-какие — там Горшков всё напишет в заявительном письме.

“Жаль, что в военных уставах не прописано, что, помимо ответа “Будет исполнено!”, можно в особо важных случаях подпрыгивать вверх, — совершенно спокойно и очень серьёзно думал Артём, — подпрыгивать и орать”.

* * *

Собрался спешно, всё принохиваясь — Феофан явно наготовил чего-то грибного и вкусного, из печи шёл важный дух.

Когда уже выходил, заявили навстречу все остальные лагерники, неся на лицах усталость от долгого смеха: Курез-шаха и Кабир-шаха всё-таки выгнали на сушу и обрили.

— Суп с грибами будет вам, каторжные, — посулил отец Феофан, тоже немного развеселившись.

Все разом уселись за стол в благоговейном ожидании: лица вытянулись и сосредоточились.

Артём решил остаться: ему так не хотелось лишиться обеда, что даже бритые и оттого почему-то обрусевшие на вид индусы не смешили его.

Суп пах, как лесной концерт. Эти чёртовы грибы выросли под птичий в сто тысяч голосов гомон и теперь сами запели: их голоса струились вокруг и волновали невероятно...

Но тут объявился Горшков.

— Ты чего пристыл тут? — в меру строго сказал Артёму. — Я за тобой ходить буду?

Артём загнулся, не зная, что ответить, — хорошо, что ещё не уселся за стол и не начал суп хлебать.

— Держи свою бумагу, — сказал Горшков недовольно. — Провожатый ждёт, мчи пулей.

“В который раз он хотел назвать меня шакалом, но из-за того, что я старший группы, — снова не решился, — догадался Артём и тут же посмеялся над собой: — Что-то ты слишком о многом стал догадываться, догада. Может, все твои догадки — ерунда? И всё не так, и ты — дурак, Артём?”

С красноармейцем он знакомиться не стал, сел на лошадь и поехал следом.

Верхом, надо сказать, он катался впервые, и поначалу было боязно, что лошадь окажется норовистой и сбросит Артёма наземь — вот и будет тебе тогда “старший!” — но нет, она спокойно пошла вслед за красноармейской кобылой.

Трясло, конечно, но если приспособиться, то и ничего; красноармеец никуда не спешил, спасибо ему. Через несколько минут Артём успокоился.

“Как скоро ты превратишься в Бурцева, дружок? — задиристо спрашивал он себя. — Начнёшь ли бить Щелкачова лопатой по хребту?..”

Посмеивался, но ответа до конца не знал...

Нет, конечно, он и представить себя не мог в такой ситуации, но — вдруг?

“Если, к примеру, Эйхманис попросит? — Что попросит? Ударить Щелкачова лопатой?..”

Ни к чему не придя, Артём вообще перестал думать, а только озирался и поглаживал себя по голове ладонью: это было приятное чувство.

Если по пути попадались лагерники из числа работавших за пределами кремля, Артём выправлял осанку, и выражение лица его становилось независимым: ему так хотелось показать, что он теперь не просто шакал, как и все, а *шакал верхом на лошади*, и даже красноармеец впереди не столько охраняет его, сколько сопровождает.

Судя по тому, что на Артёма смотрели в основном неприветливо, лагерники кое о чём догадывались. Например, о том, что этому бритому наголо парно выпал кант. Или даже фарт.

В монастырь явились уже ближе к ночи.

Артёму, конечно же, хотелось, чтоб он подъезжал, а там — р-раз! — и Василий Петрович идёт или Афанасьев... Ай, как хорошо можно было бы порисоваться! Но красноармеец заставил Артёма спешиться у ворот, забрал повод и пошёл в свою сторону.

— Эй, а мне куда? — негромко окликнул его Артём.

— А я, мля, знаю, — сказал красноармеец, не оборачиваясь. — Куда приказано — туда и следуй.

Потом всё-таки смилостивился, обернулся.

— Завтра соберёшь всё, что приказали, и двинем взад. Стой на площади, как соберёшься, жди меня. До полудня должны уехать.

На воротах Артём показал своё командировочное письмо, его пропустили, и он поспешил в келью.

— Надеюсь, что мама Осипа ещё не приехала, — бубнил вслух Артём. — А то Осипу придётся спать на полу...

Постучалась самозванная мысль о том, что мама Осипа могла бы оказаться вполне моложавой... А что? Если, допустим, ему двадцать с небольшим, а она родила его молодой... Но Артём тут же оборвал себя: мерзость, какая мерзость, прекрати!

Монастырский двор был пустым. Артём подумал и решил, что, наверное, ни разу не случилось такого, чтоб он оказался здесь совсем один.

“А вдруг все ушли? — то ли усмехнулся, то ли затаился в надежде Артём. — Осталось двое постовых, и больше никого нет?..”

“И не было”, — ответил он сам себе.

Только две чайки вкрикивали и кружили над двором, мучимые бессонницей и мигренью.

Навстречу одинокому человеку с разных концов двора двинулись олень Мишка и собака Блэк — каждый в своей манере. Блэк — достойно, но чуть пританцовывая своим мускулистым телом и сдержанно помахивая хвостом. Мишка — бестолково готорапливаясь, словно опасаясь, что, если он запоздает, всё вкусное достанется псу.

“Вот и лагерники, — посмешил себя Артём, — зайду сейчас в любую роту, а там нары полны всякого зверья. Кроты, крысы, лисы — все грызутся, дерут друг друга, обнохивают... Кто там на воротах у меня проверял документ, я забыл уже, — и Артём всерьёз посмотрел в сторону поста. — Может, там два козла сидели, с козлиными глазами, а я и не заметил...”

Мишка и Блэк приближались.

“А у меня и нет ничего”, — с привычным огорчением подумал Артём, глядя на зверьё, и осёкся, нащупав в кармане кусок пирога: не помнил даже, когда прихватил его. Вроде после бритья на озере... кажется, да... Чей-то обедок лежал там — зажрались. Или не обедок, а кто-то оставил, пока брили, и Артём умыкнул, не задумываясь.

Разломил пирог, левую протянул псу, правую — оленю, оба взяли поднесённое, даже не принохиваясь. Касание звериных влажных губ осталось на обеих руках.

Артём так и пошёл в свой корпус с этим ощущением: лёгкого и чуть мокрого тепла.

Зверьё доело всё разом, олешка сделал пару шагов вслед, но понял, что ничего больше нет, и остановился, а Блэк сразу знал, что, если дадут один раз и уходят, значит, всё. Благодарно дождался, пока Артём исчезнет за дверями корпуса, и пошёл досыпать.

В келье пахло кисло, Осип, как обычно, спал крепко, Артём, особенно не церемонясь, стянул ботинки, потянул с плеч пиджак, и тут его сосед неожиданно вскинулся, напуганный шумом. Артём даже застыл — так и стоял с полупущенным пиджаком на руках.

— Кто? Что? — вскрикнул Осип: в глазах его гулял ужас, он не узнавал своего товарища и двигал ногами, отползая в угол. — Уходите! — то ли приказывал, то ли умолял он. — Прочь! Мне не надо этого!

— Осип! Осип! — Артём хотел взмахнуть рукой, но мешал пиджак. — Это я, Артём!

Несколько мгновений Осип пытался осознать смысл сказанного.

— Я напугался... — сказал он шепотом. — Думал: чекист. — Потом долго тёр виски.

* * *

— Сконструировал аппарат для осаждения и фильтрации йода, — рассказывал Осип с утра, под завтрак. — Большой чан с двумя фильтрами. Мешалка и труба подвижны электричеством. Труба снабжена вентилятором. Знаешь, как было до этого?

— Как? — поинтересовался Артём; он всё равно ничего не понимал и лишь время от времени думал: огорошить Осипа словами Эйхманиса о том, что едва ли в келью к нему подселит мать, или не лезть не в своё дело. Кстати сказать, кому-кому, а Осипу Артём не очень хотел хвалиться своим новым назначением. Хотя всё равно с трудом сдерживался, вопреки здравому смыслу.

— До сих пор осаждение велось вручную, в бутылках, — объяснял Осип; отчего-то, говоря о бутылках, он показывал поднятую вверх морковь, которую держал в руке. — Процесс, во-первых, трудный для рабочих, а главное, вредный: пары брома, окислы азота, пары кислоты, пары йода — и всем этим люди дышали.

— Ужас, — согласился Артём и повторил. — Окислы. Пары.

— Да, — кивнул Осип, довольный, что его слышат. — А я сделал так, что запаха почти нет, усилий прилагать не надо — всё идёт само собою, — и тут же, без перехода, мелко засмеялся, немножко даже подпрыгивая на своей лежанке. — Как же я вчера был напуган! Отчего вы побрились? Вошёл кто-то без волос — как бес, рук не видно, и будто свисает мантия... Я думал, что пришёл забрать... даже не меня, а душу.

Осип так же резко перестал смеяться, как начал.

— Ешьте морковь, — сказал Артём, кивнув Осипу на зажатый в его руке овощ.

— Мне пора, — вдруг ответил Осип и засобирался.

— А мама ваша? — не сдержался Артём. — Она скоро приедет?

— Ой, — встрепенулся Осип. — Спасибо, что напомнили. Мама уже выехала. Вам нужно зайти в ИСО и заявить о необходимости предоставления вам нового места.

Артём поперхнулся, но ничего не сказал, только в который уже раз подумал: “Вот анчутка... К нему мама приезжает, а я иди в ИСО. Чёрта с два я туда пойду!”

Пока Артём размышлял, Осип уже ушёл, забыв попрощаться.

Артём ещё раз умылся и даже решил на себя посмотреть — в их корпусе имелось общее зеркало. Из зеркала глянул бешеными и яркими глазами взрослый, повидавший жизнь пацан: загар чуть в белую крапинку, как подсоленная горбушка хлеба, башка красивая... По Арбату бы её выгулять... Ох...

“Отъелся за последнее время, как волчара”, — с удовольствием подумал Артём, чуть-чуть даже прищёлкивая зубами.

Он очень себе понравился.

Он был полон летних сил.

По командировочному письму получил на лагерном складе одежду на свою группу: размер определял на глаз, ему никто не перечил, давали выбирать.

Себе, естественно, подобрал влитое: сапоги болотные, высокие, галифе с леями и гимнастёрку с раскосыми карманами.

Придётся сразу в новое, умытый и наглый вышел на улицу с таким чувством, будто ему сейчас должны честь отдавать красноармейцы.

На радостях позабыл забрать необходимый инструмент. Вернулся на склад, получил три лопаты, кирку, топор, совок, полотно, ведро, щётку и веник — это Щелкачов заказывал.

“Стирать землю с золотых украшений и складывать их в ведро, как рыбу”, — посмеялся Артём; его всё смешило.

Ещё карандаши и бумагу — для индусов с их черчением. Со всем своим барахлом — тюк одежды, ведро, — ошетилившийся черенками лопат, чертыхающийся и попеременно что-то теряющий, еле выбрел на монастырский двор и там снова всё уронил.

Набежал Афанасьев, кинулся помогать — всё такой же весёлый, чубатый, леденец во рту, видно, вчера хорошо раскинул святцы.

— Тёма! — пропел Афанасьев, поигрывая конфеткой в зубах. — И что, тебя ещё не убили?

— Нет, я теперь при Эйхманисе, — сразу выпалил Артём: сколько ж можно было в себе это таить!

— В качестве? — весело спросил Афанасьев и схватил себя за чуб, видимо, чтоб голова не отвалилась.

— Это, брат, секрет! — в тон ему ответил Артём, чуть дурачась.

— Но не шутишь?

— Честное соловецкое! — съёрничал Артём: ещё месяц назад ему и в голову б не пришло острить так. — А ты?

— А я тоже готовлюсь к переводу, — похвастался Афанасьев. — По театральному делу. Но ты кручёней, ты верчённей, ты вообще лихой паренёк, а? А придет-то как? Дьявол меня разорви!

В ответ Артём только сморгнул с достоинством: да, лихой; да, разорви тебя дьявол.

— Ну, я побег, — нарочито коверкая язык, сказал Афанасьев. — У нас репетиция. Скоро премьеры. Сам гражданин Эйхманис явится. Ты одесную от него сидеть будешь? Или ошуюю?

Артём захохотал, Афанасьев тоже; они по разу толкнули друг друга, как пацаны, и разошлись, только Афанасьев ещё раза три оглянулся.

Уже когда на некотором отдалении был, сдержанно, быстро осмотревшись, крикнул:

— А лопаты-то куда? Ведро? Ты его мыть будешь? Или зарывать?

Это уже были совсем нехорошие шутки, тем более что вокруг невесть кто бродил, но Артёму по-прежнему было всё равно: он картинно плюнул в сторону Афанасьева и отвернулся.

Там, куда он отвернулся, в поле зрения как раз объявился Ксива: он нёс куда-то свою отвисшую губу.

Артём, у ног которого лежало всё его барахло, перебрал ногой, что ему больше всего сейчас могло бы пригодиться, и остановился на кирке.

“Башку ему отшибу”, — решил он, не очень отдавая себе отчёт в том, серьёзен он или нет.

Ксива, кажется, тоже догадался, к чему идёт дело, и, враз оценив ситуацию, достаточно поспешно пошёл своей дорогой и даже губу прибрал.

Артём ещё постоял, играя киркой: “Ну, кто тут? Выходите, черти! Семеро варёных на одного пережаренного!”

Вернувшись к тюку с одеждой, Артём уселся на него: “А то унесут сейчас, как будешь объясняться...” — подумал он мельком.

На мгновение задумался, что он всё-таки немного смешной в своих болотных сапогах посреди двора, но не захотел об этом размышлять, отмахнулся.

Пришёл Блэк, потёрся боком. Артём расчесал ему в том месте, где у собаки была бы борода, если бы она росла. Блэк благодарно закатил чёрные глаза. Дышал он сладким собачьим духом — Артём с детства любил этот запах.

Олень Мишка выжидательно стоял рядом: тут только чешут или могут угостить сахарком?

Даже соловецкие, такие тоскливые, облезлые, почерневшие стены, пустые монастырские окна, словно бы пахнувшие чекистским перегаром, нелепые звёзды на куполах — даже это всё на сегодняшнем солнце играло, немало раскачивалось и, если прикрыть глаза, двоилось, троилось.

Но когда одна беда миновала тебя, а судьба своего требует, всё равно выйдет другая.

Где-то на самом дне билось, как ручеёк, слабое предчувствие, что лучше притаиться и проспать в такое утро, но как было внять этому чувству?

Откуда ни возьмись, появился десятник Сорокин со своими потными подмышками, пахнувшими, как с утра пойманная и уже тронутая солнцем рыба, со своими грязными, как соломенная труха, слышимыми младенческими волосами, со своим мутным взором бешеной собаки и губами, полными слюной, словно их, как конверт, промазали клеем, но не заклеили.

Он был очень пьян.

В жизни его очевидным образом произошло важное событие; ощущение этого события клубилось вокруг него, как рой помойной мошкеры.

Чайки сопровождали Сорокина остервенелыми криками: им тоже, наверное, казалось, что он под мышками несёт по рыбине.

Сорокин первым увидел Артёма и с полминуты, время от времени моргая, разглядывал его, пытаясь вспомнить, когда и где видел этого типа. Болотники, галифе с лямками и гимнастёрка с раскосыми карманами сбивали с толку, но Сорокин поднапрягся и, наконец, озарился.

Перед ним был тот самый шакал, что однажды унизил его перед лагерниками.

Сорокин обещал запомнить его — и, надо же, запомнил! “Мне продукты ещё надо получить”, — некстати и с лёгкой тоской подумал Артём, оглядываясь: неудобно же идти с этими лопатами к ларьку... Или на кухню? Что там было написано в командировочной бумаге?

— Ты, шакал, думал, моя амнистия спасёт тебя? — начал Сорокин издалека. Его шатало, но не так, чтоб очень, и вообще, подумал Артём почти отстранённо, он здоровый мужик, этот десятник. — Я из тебя сейчас выбью длинную соплю, — цедил Сорокин, подходя всё ближе. — И удавлю на этой сопле.

Когда Сорокину оставалось полтора шага, Артём, безо всякого усилия и ни о чём не думая, быстро привстал с тюка и ударил бывшего десятника в подбородок снизу.

Сорокин упал.

Артём снова сел на тюк.

Он сидел и смотрел в небо, рядом лежали лопаты, кирки, Сорокин, стояло ведро, в трёх шагах, подняв уши, застыл удивлённый Блэк, олень Мишка, напротив, отбежал чуть дальше, но всё равно оказался на пути красноармейцев, которые всё видели и спешили к Артёму.

За шиворот, как нашкодившего щенка, его подняли с тюка и дали оплеуху.

Артём хотел всадить ещё и красноармейцу, но его уже остужало, как чугунок, снятый с огня и опущенный под воду: ещё шипело и парило, однако с каждым мигом становилось холодней и холодней.

— Куда его? — спросил один красноармеец второго. Тот, присев на колени, теребил Сорокина:

— Подох, чё ли?

Не услышав ответа, со скрипом поднялся и чуть озадаченно оглянулся, видимо, ожидая немедленно увидеть поблизости доктора Али, которого отчего-то не было.

У Сорокина изо рта натекла слюна. В слюну села и чуть не увязла там крупная муха.

— У меня командировочное удостоверение от Эйхманиса, — злобно сказал Артём, но смотрел при этом всё равно на Сорокина: неужели?..

— Завали пасть, — ответил ему красноармеец, причём говорить он начал одновременно с Артёмом и успел произнести свою угрозу ещё тогда, когда Артём выговаривал по слогам “командировочное удостоверение”, однако

на фамилии “Эйхманис” красноармеец что-то понял, и второй оплеухи уже не последовало.

— В ИСО его, — сказал он.

— Будете отвечать перед начальником лагеря за потерю имущества, — объявил Артём, чувствуя жестяной вкус каждого слова: Сорокин смотрел в небо полуоткрытыми глазами, которые уже не выдавали живого человека.

— А этого куда? — спросил второй красноармеец своего товарища, кивая на Сорокина.

— Лопаты бери пока, сложим внизу в ИСО, — ответили ему. — А десятнику врача позовём.

Станным образом Артём пошёл ко входу в ИСО с пустыми руками — вослед ему два красноармейца несли тюк с одеждой, инструменты и ведро. Они сами сообразили, что выглядят смешно, но было поздно — не бросать же теперь всё это.

У самого входа Артём обернулся и едва не вскрикнул от счастья, как уколотый: Сорокин вдруг сел и с неожиданной страстью начал отирать лицо руками. Увидев это, Блэк залаял, будто рассердился, что труп ожил.

Вид Сорокина и все его движения говорили о том, что он ничего не понимал и ни о чём не помнил. Просто вот слона нашла...

— Живой, — сказал Артём красноармейцу радостно.

— Пошёл, — ответил красноармеец Артёму и втокнул в дверь.

Инструменты и форму оставили возле дежурного, и когда Артёма повели наверх, он уже на втором этаже догадался, кого сейчас увидит.

Ну да, вот и третий, а куда же ещё...

Помощник дежурного по ИСО попытался доложить, но знакомый женский голос ответил:

— Не надо, я видела в окно.

Галина сидела за столом. На стене, за её спиной, по-прежнему висели портреты Троцкого и Дзержинского.

— Садитесь, — сказала Галина, мельком подняв глаза на Артёма. Естественно, она что-то писала, но, подняв глаза и тут же опустив, не сдержалась и снова посмотрела на него.

Артём прошёл к её столу — табурет был тот же, он помнил, и пока сидел, успел заметить, что портрет Ленина остался на месте, под стеклом стола, а портрета Эйхманиса, который там тоже был, теперь уже не оказалось...

“Или нет, — вдруг понял Артём. — Он на том же месте, просто Галина его перевернула... чтоб не видеть!”

— Вернулся, наконец, Горяинов, — сказала Галина и быстро, как-то даже деловито облизала губы. — Тебя тут наши бумаги ожидают уже который день. О добровольной помощи Информационно-следственному отделу, которую ты обязуешься оказывать.

Она была без формы — в рубашке с закатанными рукавами, две верхних пуговицы расстегнуты, шея коротковата, но лицо красивое, чуть вспотевшее, кожа смуглая, глаза широко расставлены, взгляд внимательный и чуть злой, мочки ушей проколоты, но серёжек нет, скулы крепкие, зубы белые, губы обкусаны, как у подростка, и шелушатся.

“Влип? — почти спокойно подумал Артём. — Или нет?”

— Гражданин Эйхманис направил меня с поручением, — ответил Артём и полез в карман за командировочными бумагами...

— Я тебя не спрашиваю, Горяинов, кто тебя и куда отправил, — перебила его Галина; едва видная капелька слюны слетела с её губ и попала на бумаги, разложенные перед ней. — Речь идёт о том, что ты многократно нарушил дисциплину и порядок, отбывая срок в Соловецком лагере особого назначения, за что должен быть немедленно наказан. Твоя келья теперь — карцер, ясно тебе? — голос её звенел и высился. “...Влип-влип-влип-влип...” — отстукивало в голове у Артёма.

— Я пытаюсь объяснить, — хрипло начал он, — что бывший десятник Сорокин попытался препятствовать исполнению приказа товарища Эйхманиса...

— Гражданина! — перебила его бешеная женщина. — Гражданина Эйхманиса! Тебе он не товарищ, тебе не объяснили ещё? Мало просидел? Может быть, тебе удвоить срок? Хотя ты и свой в карцере не досидишь!

Галина даже встала из-за стола, она неотрывно смотрела на Артёма, пытаясь прожечь его насквозь, убить немедленно, сейчас же, будто именно Артём являлся отвратительным сгустком всего того, что она ненавидела и чему яростно желала смерти.

Артём это чувствовал, и ему становилось всё страшней.

“Господи, отпусти меня, — лихорадочно думал он. — К блатным, к Ксие, к Жабре, куда угодно...”

— Гражданин Эйхманис назначил меня, — почти выкрикнул Артём и тут же забыл или ещё не придумал впопыхах слово, которое должно было обозначить смысл его назначения, — назначил своим ординарцем! И я должен выполнить его приказ!

“Что я несу, Боже мой... — кричало всё внутри, — меня же убьют за это!”

И оба они, кажется, кричали: он — голосом ребёнка, заслонившего рукой лицо от ужаса, она — голосом покинутой и обиженной женщины, требующей, чтоб ей немедленно доказали, что она любима, нужна, что без неё мир пуст, а с ней...

— Кем? Кем, ты сказал? Повтори! — требовала она, готовая захохотать, и, обойдя стол, подошла к Артёму в упор, словно собираясь вцепиться ему в лицо. На ней была тугая юбка.

Она встала перед Артёмом и оперлась задом о свой стол.

— Ординарцем, — упрямо и громко повторил Артём, глядя на эту юбку. — Как вы смеете меня задерживать?

В голове его, совсем ему непонятная, появилась откуда-то извне фраза: “Она так нарочно”.

“Она нарочно так, — думал кто-то вместо напуганного и леденеющего Артёма. — Она нарочно так. Она нарочно так. Ты должен угадать. Ты должен угадать. Иначе она уйдёт, сядет за стол — и тогда всё...”

Не отдавая себе отчёта, он, так и сидевший на табурете, вдруг чуть наклонился, взял её за ногу и влез, влез, влез этой своей рехнувшейся рукой ей в тугую юбку — насколько смог, — а смог только до колена, но это уже было... это уже было кошмаром, расстрелом, червивой ямой.

“Угадал? — вопил какой-то бес внутри Артёма. — Что, угадал?!”

— Ах, ты тварь! — сказала Галина внятно и, как показалось, совсем бесстрастно.

Но Артём уже вставал, комната качнулась, застыла как-то боком... Откуда-то — он увидел это мельком, словно выпал из разверзнувшегося неба и полетел вместе со всей этой комнатой на огромной скорости, — появились её тонкие, обкусанные губы и потная щека, и он в эти губы вцепился, пытаясь спастись и не разбиться вдребезги.

Тут же почувствовал, как она одной рукой взяла его за гимнастёрку, собрав ткань в кулак, а другой — за шею, очень больно вколов в его кожу даже не ногти, а когти: “Тварь, тварь, ты тварь!” — вот что вопила её рука.

Взбесившийся тонкий змеиный язык её был у него во рту, и сопротивлялся там, и бился, как ошпаренный...

“Чай только что пила, с сахаром”, — подумал кто-то вместо Артёма, потерявшего рассудок.

Вырвав когти из его шеи, она столь же резко поискала что-то в паху у него, никак не умея найти.

— Да расстегни ты это всё, где там у тебя... — велела она бешеным шёпотом.

* * *

Эти болотные сапоги — они были так неуместны: он спускался вниз с третьего этажа по лестнице на негнущихся ногах. Ноги дрожали.

“Болотные сапоги, потому что ты — в болоте”, — приплыла к нему пер-

вая мысль, и он её нёс, и она покачивалась в его мозгу, как палый лист на воде.

Вышел на улицу, не помня как, запомнил только, что, пока спускался, в нескольких кабинетах стрекотали печатные машинки, напоминая каких-то птиц. Птицы клевали буквы. Буквы разбегались в стороны.

Очень удивился, что на улице солнце — оно слепило. А казалось, что должен быть вечер. Казалось, столько всего прошло уже. Целая жизнь взметнулась вверх, рассыпалась, как салют, и пропала.

...И руки тоже у него дрожали.

Он облизал губы. Губы пахли чем-то чужим.

Едва ли не в самое лицо налетела чайка, гаркнула что-то.

Он вдохнул, осмотрелся и что-то вспомнил.

Сначала — что тут был Сорокин, и его уже нет.

Потом — что у него были лопаты. Кирки. Ведро. Топор. Тюк с одеждой и болотными сапогами. Бумага для черчения и карандаши.

Артём развернулся и вошёл в ИСО.

Ничего не говоря, он двинулся к инструментам, сваленным прямо тут же, у входа.

— Э! — крикнул дежурный красноармеец. — Ну-ка, положи!

Тут в ИСО вошёл другой красноармеец, и Артём узнал своего вчерашнего провожатого.

— М...нь ты берёзовый, где тебя носит, йодом в рот мазанный? — заголосил он.

Артём смотрел на него, как контуженный.

— Забирай инструмент, чего ты его здесь вывалил? — велел провожатый.

— Петро, нельзя, — ответил ему дежурный. — Изъят.

— Как, ёп-те, нельзя, ты чо, — всплеснул руками провожатый. — Там товарищ Эйхманис ждёт.

Дежурный был слегка озадачен таким известием, но позиций не сдавал.

— Тебе что сказали в кабинете? — спросил он Артёма.

“Она мне велела: “Выйди!” — вспомнил Артём, но не стал об этом говорить. Голос у неё был сиплый, и прядь прилипла к виску.

— Ничего не сказали, — тихо ответил Артём. Даже голос у него дрожал.

— Сейчас разберёмся, — сказал дежурный и, кликнув своего помощника из подсобки, велел: — Сбегай на третий, спроси у Галины, что с изъятым инструментом делать.

— Тьфу! — сказал провожатый; Артём знал теперь, что его зовут Петро.

Петро, ещё раз обозвав Артёма, вышел курить, на ходу сворачивая цигарку.

Две минуты Артём ждал, изредка трогая пальцами холодную стену.

Вернулся Петро, спросил:

— Ну?

Ему никто не ответил.

Наконец спустился помощник дежурного и отчитался:

— Инструмент передать Эйхманису, Артёму Горяинову приказано остаться в кремле до особого распоряжения и вернуться в свою роту.

Артём тяжело дышал через рот, стараясь не смотреть по сторонам, чтоб не встретиться с Петром глазами.

“Сама ты тварь”, — подумал он очень отчётливо и уверенно.

“Она не боится, что я сейчас всем скажу, что я её...” — остервенело спросил он себя.

“И сегодня же вечером тебя пристрелят, придурок”, — ответил он сам себе.

— Чего ты встал, образина? — крикнул Петро на Артёма. — Тащи хоть до лошади это барахло, — и для ясности ткнул Артёма в бок.

Артём собрал, что смог, Петро придержал дверь и выпустил его во двор.

— Как я всё это повезу теперь один, ты подумал, твою-то мать? — спросил Петро, разглядывая сваленное Артёмом возле его лошади.

— Ещё продукты надо получить, — ответил Артём никаким голосом.

— Бумагу дай, — сказал Петро.

Он ушёл за продуктами, Артём ждал его полчаса, чувствуя себя мразью, пылью, подноготной грязью... И эти ещё болотные сапоги на нём.

Чайки орали в самые уши.

“Чтоб тебе сгореть! — даже не с бешенством, а с какой-то неизъяснимой жалостью, что не может сгореть немедленно, думал Артём о себе. — Чтоб тебе сдохнуть, сгнить немедленно! Как же ты родился такой корягой! Такой кривой корягой! Кривой, червивой корягой! С пустой своей головой! С пустой своей головой поганой! Как же? Как я ненавижу тебя! Как же я ненавижу!”

Он оглянулся по сторонам, ища хоть какого-нибудь спасения... И вдруг нашёл её окна — вот же они! — и у окна стояла эта тварь, эта паскудная развратная тварь!.. Но тут же отошла, исчезла, едва поймала его взгляд.

О, как бы он закинул туда камень — с какой бы радостью! Какую бы истерику устроил бы здесь! Как орал бы, что эта сука только что сняла трусы перед лагерником, я бл...ю буду, что говорю правду! Вспорите ей живот — там моё семя! Что же ты делаешь, сука, ты же губишь живого человека! Посмотрите на это окно! Где ты, тварь, куда ты там делаешь? Она спрашивала: “Где у тебя там?” Показать? Вот у меня там! Показать ещё раз? Вот здесь!

Дико — но Артём вдруг снова почувствовал возбуждение: горячее мужское возбуждение, острое и очень сильное.

Естественно, он ничего не кричал, и только вдруг понял, что у него выкатилась огромная незванная слеза. Он подхватил её уже на лету, как холодное насекомое, и сжал в кулаке.

“Твоё тело — взбесилось!” — сказал он сам себе, не понимая, как то, что у него творится в паху, может сочетаться с тем, что творится в его голове.

Вернулся Петро с мешком съестного.

Над головой у него толпой кружились чайки, словно он нёс на голове мясную требуху.

Он ещё раз оглядел всё, что ему предстояло везти, и посоветовал:

— Улепётывай, м...нь.

Артём развернулся и пошёл.

Через три шага вспомнил и, не оглядываясь, ответил:

— Сам ты м...нь.

Ещё семь шагов он ждал, что его догонят, но никто не догнал.

* * *

Кажется, он даже заснул. Будто шёл, шёл по шаткому льду и упал в прорубь, но в проруби оказалась не вода, а земля, причём горячая, словно разогретая, и очень душная.

И он спал в этой душной земле.

Потом лежал, закрыв глаза, и пытался ничего не слышать, ничего не понимать, ничего не помнить.

“А вот я сейчас открою глаза и увижу маму, — молил он. — И окажется, что я дома, и мне двенадцать лет, и меня ждёт варенье, и муху поймал паук в углу, и она там жужжит, и я придвину стул и, встав на цыпочки, буду смотреть, как он там наматывает паутину на неё, чтоб потом утащить муху в расщелину меж брёвен стены. А мать скажет: “Тёмка, как тебе не жалко? Мне вот жалко муху! Господи, что ж она так жужжит! Иди скорей чай пить!”

— Что она так жужжит, мама? — спросил Артём вслух.

Он открыл глаза. Никакой мамы не было.

Постучались в дверь.

Артём сел. На полу лежали болотные сапоги — так бы и порезал их на куски!

“Какого чёрта они не откроют сами, — подумал Артём, невесть кого имея в виду под словом “они”. — Дверь не заперта!”

— Кого там? — спросил он громко.

Дверь медленно — зато со скрипом — отворилась, и на пороге образовался Василий Петрович.

Артём выдохнул так, словно если не весь груз, то хотя бы часть его вдруг упала с души.

— А я увидел вас, как вы по двору идёте. И такой красивый, такой поджарый и помолодевший... Когда б вас в Москву — комсомольские барышни бы таяли... и в таких сапогах! — с порога зажурчал Василий Петрович, весь щурясь, как рыболов.

— Тьфу на них! — сказал Артём, глянув на сапоги, и снова почувствовал, как близко у него слёзы.

— Отчего же это, — удивился Василий Петрович, тоже заметив сапоги на пути у себя. — Мне бы такие очень понадобились — осень уж близится, осень, а мои развалились совсем.

Артём вдруг вспомнил и зажмурился от душевной боли, что свою собственную одежду он сложил в тот тюк, куда засунул форму для всех остальных, и её теперь красноармеец увёз к Эйхманису. Да что ж это такое-то!

Он бросился к окну: вдруг этот Петро так и стоит во дворе? Но его, естественно, не было, а на том месте перетаптывался олень Мишка.

День уже явно прошёл: наполнил белёсый соловецкий вечер.

— Что такое, друг мой? — спросил Василий Петрович озадаченно. — Что вы мечетесь, как Чацкий?

Артём обернулся и некоторое время смотрел на Василия Петровича, ничего не говоря.

— Да и чёрт с ним! — решил он, наконец, вслух, махнув рукой.

“Тебя завтра же расстрелять могут! — сказал себе Артём, — А ты о старых штанах печалишься!”

По совести говоря, он уже не очень верил в то, что его убьют: а за что? Его задержали в ИСО, он не виноват. Десятника ударил? Так он уже не десятник был, а освобождённый по амнистии бывший лагерник, к тому же пьяный.

Вся эта правота, конечно, выглядела шатко, но она же была.

— Как вы сюда попали, Василий Петрович? — спросил Артём, ещё не улыбаясь, но понемножку оживая.

— Я же ягодами то одних, то других кормлю, — готовно отвечал его старший товарищ. — Везде свои люди, без блата никак; они ж все не пойдут в двенадцатую роту за брусничкой, вот я им и разношу время от времени... И вам вот принёс, — в каждом слове милейшего Василия Петровича были разлиты ирония и самоирония, доброта, и лукавство, и новоявленная мудрость соловецкого жития.

Он выставил на стол кулёк смородины вперемешку с малиной — Артём и не помнил, когда ел эти ягоды.

— Можно? — переспросил он.

— Нет-нет-нет, — с деланой строгостью запротестовал Василий Петрович. — Только смотреть. Полубуетесь вволю, чтоб подразниться, — и я дальше по ротам понесу свои ягоды, — и засмеялся. — Кушайте! Кушайте, Тёма.

Василий Петрович уселся напротив Артёма, на кровати Осипа.

Артём схватил кулёк, тут же зачерпнул горсть ягод и отправил в рот.

Как испитанный человек, он предложил и Василию Петровичу, на что тот, не переставая солнечно щуриться, ответствовал, подняв вверх раскрытую ладонь и несколько раз качнув ею влево-вправо.

— Как там в нашей роте? — спросил Артём, облизываясь.

— А всё как-то так, — ответил Василий Петрович, — в тяготах и суете. Лажечников умер. Неужели не знаете? Вроде бы, когда вы лежали в больничке, тогда и умер? Афанасьева к артистам перевели. Блатные — блатуют и лютуют иногда. Кормлю их ягодами, Артём, представляете, какой позор старику? Бурцев... Ну, про Бурцева вы сами всё поняли — лучше он не становится, только хуже. Китайца из нашей роты он, кажется, доконал совсем: уехал наш доходяга в карцер, и с концами... Крапин — на Лисьем острове, кого-то там разводит, кажется, не совсем лисиц...

— А вы, значит, всё ягоды собираете? — спросил Артём, как бы поддерживая разговор — ему было ужасно вкусно и говорить не хотелось.

— А я всё ягоды, — согласился Василий Петрович. — А вы?..

Артём дал понять, что сейчас дождёт и ответит, а сам подумал: “Сейчас я скажу милому Василию Петровичу, что начальник лагеря Эйхманис назначил меня старшим в поиске кладов — да-да-да, кладов! — на соловецких островах, после того, как мы с ним два дня пили самогон, — да-да-да, с ним пили самогон! — а сегодня я приехал сюда и на третьем этаже Информационно-следственного отдела во время допроса изнасиловал сотрудницу лагеря... или она меня изнасиловала. Да-да-да, разделись почти донага, на мне остались так понравившиеся вам болотные сапоги и спущенные галифе, а на ней — рубашка с закатанными рукавами, и мы неожиданно вступили в плотскую, чёрт возьми, связь. Скажу — и Василий Петрович решит, что я сошёл с ума. И будет прав... Забыл сказать, что Галина — любовница Эйхманиса, Василий Петрович”.

Прокрутив этот монолог в голове, Артём почувствовал натуральное головокружение и болезненную тошноту.

“Это ни в какие ворота...” — сказал он себе, чувствуя, как на лбу и висках разом появился бисерный пот.

Так как Артём всё не отвечал, а лишь делал странные знаки глазами — мол, ем, всё ещё ем, и сейчас всё ещё жую, а теперь глотаю, — Василий Петрович решил ответить за него сам:

— Мне казалось, вы попали... как они это называют? На спартакиаду?.. Но я прохожу последние дни мимо спортивной площадки — вас там не видно.

— Да, — очень твёрдо ответил Артём, но больше ничего не сказал.

И к ягодам он больше не прикасался, держа кулёк в руке. Рука была мокрой.

— Ну, хорошо, — кивнул тактичный Василий Петрович. — Потом расскажете. Я что зашёл: раз уж вы здесь, пойдёмте на наши соловецкие Афины? Мы сегодня собираемся. Мезерницкий, опять же, про вас спрашивал. И владычка Иоанн интересовался.

— А когда? — встрепенулся Артём.

— А вот сейчас, — сказал Василий Петрович, поднимаясь. — Вы, как я вижу, не очень заняты. Там, не поверите, будет некоторое количество пьянящих напитков. У вас есть какие-то закуски?

— У меня? — Артём полез под свою лежанку, так и не выпуская из рук кулёк с ягодами.

— Дайте я подержу, — предложил Василий Петрович.

Не глядя, Артём протянул ягоды. Следом — обнаруженные в ящике консервы.

— О, мясо-гороховые... — с интересом сказал Василий Петрович. — И ещё одни. Где вы их набрали?

— Не помню, — ответил Артём снизу.

— Хорошо живёте, — сказал Василий Петрович.

— Хорошо, — эхом отозвался Артём.

* * *

— А что, другой обуви у вас нет? — спросил Василий Петрович, когда Артём обувался. — Там, знаете ли, не очень сыро.

— Василий Петрович, прекратите, — с некоторой даже болью попросил Артём.

— Ну, как хотите, как хотите, — примирительно сказал Василий Петрович.

Встречались опять у Мезерницкого.

— Мы приветствуем вас, Артемий, милый наш товарищ по несчастью! — шумел хозяин, обводя рукой то ли накрытый стол, то ли гостей за столом.

— Отчего же... — раздумчиво ответил Артём, разглядывая стол.

— Отчего же “товарищ” или отчего же “по несчастью”? — громко переспросил Мезерницкий.

Артём, будто ничего не понимая, но с улыбкой посмотрел на него в ответ — на том и закончили.

Над столом сияла радуга. Там имелись следующие напитки: лиловый денатурат, желтеющая политура, очищенный солью шеллачный лак — весь в чёрных лохмотьях. Рядом стоял неочищенный — “...на любителя”, — пояснил Мезерницкий. Зеленеющий вежеталь. Цветочный одеколон для дам, хотя никаких дам не было.

— “Букет моей бабушки”, — отрекомендовал Мезерницкий последний напиток.

В соловецких ларьках, между прочим, время от времени продавалась даже водка, в том числе и заключённым, по 3 рубля 50 копеек за бутылку, но на её покупку требовалось отдельное разрешение, появлялась она редко, уходила по блату, поэтому соловецкие лагерники старались обходиться своими возможностями.

— Что за праздник? — доброжелательно спросил Артём, разглядывая из-за плеча Мезерницкого, кто тут ещё есть в келье.

— Разве русские люди пьют, чтобы праздновать? — спросил Мезерницкий.

— Празднуют, чтобы пить, — с нарочитым бесстрашием сказал Граков; он привстал и подал руку Артёму.

— А владычка Иоанн нас благословит, — сказал Мезерницкий, обращаясь к батюшке.

— Упаси Бог, милый, — сказал владычка, улыбаясь Артёму, но разговаривая с Мезерницким. — Молю Господа, чтоб сия трава не пошла вам во вред.

— У Мезерницкого именины, — шепнул Василий Петрович Артёму.

— Что ж вы! А я пустой, — озадаченно ответил Артём. Василий Петрович покачал головой в том смысле, что ничего и не надо.

— Колесо истории едет мимо целых народов, а нас задело заживо, — отвечал Мезерницкий владычке. — Мы лечим раны, — и снова показал на радужный стол и покачивающиеся напитки.

— Переехало! — в тон Мезерницкому добавил Граков, видимо, имея в виду колесо истории.

— Нас всех намотали на это колесо, — продолжал Мезерницкий, степенно кивнув Гракову в знак согласия. — Не поймёшь, где голова, где зад, руки-ноги торчат в разные стороны, один глаз вытек, другой всосало в черепушку, и он там плавает, между мозгом и носоглоткой, боясь выглянуть наружу, но!.. Но, друзья мои!

— Вы лошадь погоняете, голубчик? — ласково спросил Василий Петрович Мезерницкого.

— Нет! — очень серьёзно ответил Мезерницкий. — Но ставлю разделительное “но”! Потому что всю свою юность мы проговорили о народе. О народе, как о туземцах. О его величии и его судьбах. О его непознанности. Мы даже идею Бога, — тут Мезерницкий быстро взглянул на владычку, — познали и обрушили, но до народа так и не добрались. И вот оно! Состоялось место встречи! Место встречи народа и Серебряного века! Серебряный век издыхает, простонародье просыпается. Что мы должны сделать? То, что не сделали толстовцы и народники, — вдохнуть дух просвещения в туземные уста и уйти с миром.

— Мировоззрение Мезерницкого несколько противоречиво, — с мягкой улыбкой сказал Василий Петрович. — Не далее как в позапрошлый раз он говорил, что аристократия, и даже, ясней выражаясь, белогвардейцы и каэры, в силу своего естественного превосходства способны постепенно заменить большевиков. По той простой причине, что большевики мало что умеют, а раздавленная и обесчещенная аристократия умеет всё, что легко доказать, наблюдая управленческие кадры Соловецкого лагеря, где, как выражался Мезерницкий, одни “наши”.

— Да, всё меняется, — согласился Мезерницкий. — Человек меняется, я меняюсь, идёт постоянный обмен веществ, целые народы меняют кровь на кровь, око на око, огонь на огонь — что вы хотите от меня? Всё течёт! Я тоже теку.

Произнеся речь, Мезерницкий исхитрился глазами показывать Артёму на напитки: этот? Или этот? Что предпочтёте?

— Да любой! — сказал Артём вслух. — Всё одно!

— Не скажите, — ответил Мезерницкий и налил Артёму что-то зелёное.

— Я одного не понял, — сказал Василий Петрович. — Отчего ж дух просвещения надо вдохнуть именно здесь? Неужели ж нет другого, более удобного места в России?

— Нет! — уверенно и даже чуть тряхнув головою, ответил Мезерницкий. — Здесь мы — уста в уста. Там красноармеец, пролетарьят, беспризорник — любой из них убежит, спрячет голову матери или жене в подол, в мох, в корневища... Как ты его лицо обернёшь к себе? А здесь — всюду его лицо, куда ни дыхни.

— Вы ведёте разговор... как акробат, — с некоторым, впрочем, добрым разочарованием сказал Василий Петрович.

— Здесь происходит исход не только Серебряного века, — будто бы не услышав, а на самом деле отвечая на сказанное, говорил Мезерницкий. — Здесь заканчивают свой путь последние Арлекино. Последние денди. Взгляните, к примеру, на эти болотные сапоги, — и Мезерницкий указал на сапоги Артёма, одновременно чокаясь с ним.

— Прекратите, слышите, — с улыбкой попросил Артём, удивлённо чувствуя, что краснеет. — Я не нарочно...

— Хорошо, хорошо, — поспешно согласился Мезерницкий и поискал глазами, кого бы привести в качестве примера: владычка Иоанн не очень подходил. Граков — тоже нет. Василий Петрович... увы.

Пример явился, как заказывали.

Артём сразу вспомнил, кто это и как его зовут, — Шлабуковский, артист. Это он лежал с лихорадкой в больнице и объяснил Артёму, что ему который день ставят градусник с чужой температурой. Вернее сказать — с его, Шлабуковского, температурой...

Но это был другой человек! Во-первых, он был в чёрных перчатках с белыми стрелками. Во-вторых, с тростью. В-третьих, в ботинках с замшевым верхом и отличных, от портного, брюках. Наконец, в твидовом пиджаке.

— Вы опять вынесли на себе весь театральный реквизит, душа моя, — сказал Мезерницкий.

Шлабуковский равнодушно, со скрытым весельем отмахнулся. Похоже, он тоже узнал Артёма.

— Ну, что, спала температура? — спросил Шлабуковский.

— У нас же общая температура, — ответил Артём. — Судя по вам, спала!

Шлабуковский почти беззвучно захохотал, кажется, очень довольный шуткой. Артём никогда не видел такого смеха: неслышного, но заразительного.

— Шлабуковский, прекратите ваш припадок удушья; когда вы, наконец, научитесь смеяться вслух, — донимал его Мезерницкий, но, похоже, они были настолько дружны, что вправе были не обращать друг на друга внимания.

— У вас там шарлотка подгорает, — сказал Шлабуковский с большим достоинством и поставил трость в угол, положив сверху перчатки.

— Чёрт! — сказал Мезерницкий по поводу шарлотки, владычка Иоанн перекрестился. Мезерницкий выпил залпом свою дрянь, и Артём понял, что ему тоже пора, но спросил у Шлабуковского: “А вы?” — тот оглядел стол и ответил: “Чуть позже!” — с таким видом, словно через семь минут должны будут принести его любимое шампанское 1849 года.

Артём выпил. Чувство было такое, словно ему плеснули в рот и заодно в глаза краску, перемешанную с кислотой, — это не глоталось, но жгло и душило.

Некоторое время он пребывал в уверенности, что сейчас умрёт.

Открыл рот, попытался выдохнуть: воздух исчез.

Чудом появился Мезерницкий, будто знавший заранее, чем дело закончится, — в руках он нёс сразу четыре кружки ячменного кофе.

— А вот, а вот, — засуетился он около Артёма. — А запить. А остыл уже.

Артём скорей сделал глоток: разбавил краску.

Но, удивительно, воздух едва начал проникать в лёгкие, а на душе уже становилось теплее и будто бы чище.

Владычка Иоанн смотрел на него, как на родное дитя, и, едва Артём вздохнул, батюшка и сам задышал.

Он обладал удивительным качеством — ни с кем не разговаривая, поддерживать всякий разговор: настолько полным понимания и вовлечённости был его взгляд.

Мезерницкий опять ушёл и вернулся с блюдом, на котором располагалось что-то пышное и очень ароматное, несмотря на то, что чуть подгоревшее, — видимо, та самая шарлотка.

— Бог ты мой, а я и не поверил, — всплеснул руками Василий Петрович. — Думал, шутка. Как же вы её приготовили, голубчик?

— На Соловках, как мы знаем, возможно всё, — отвечал Мезерницкий, ставя блюдо на стол, который поспешно пришлось освободить, причём бутылки и склянки разноцветно зависли на вытянутых руках гостей, по-птичьи подыскивая себе место. И лишь когда всё спиртное и съестное обрело некоторый покой, честно рассказал:

— Купили сушеную дикую грушу, Василий Петрович — уже поддела. Нашли масло и повидло. Тюлений жир. Наконец, чёрные сухари. И вот вам — угощайтесь. Артём, ещё по одной? Тут все непьющие.

— Под шарлотку я всё-таки рискнул бы, — сказал Василий Петрович.

— Ну, так рискнём! — сказал Мезерницкий и налил себе с Артёмом по второй, а Василию Петровичу — прорывную.

— Артём, — сказал Василий Петрович чуть патетично, хотя в глазах его было наглядное лукавство, — мы с вами столько...

— Ягод съели, — подсказал Артём.

— Да, — согласился Василий Петрович, будто бы даже охмелевший заранее. — И ни разу ещё не выпили. Непорядок!

— Выпьем не раз ещё, — сказал Артём, тоже немного — насколько умел — расчувствовавшийся.

— Думаете? — очень серьёзно спросил Василий Петрович, словно Артём знал нечто, ему неизвестное.

— Думает! — ответил за него Мезерницкий, уставший их ждать со стаканом в руке. — *Ergo bibamus!* — и сам себе перевёл с латыни: — Следовательно, выпьем!

И выпил.

Артём во второй раз потерял воздух и снова застыл в его ожидании. Василий Петрович на удивление легко перенёс употребление ещё более, казалось бы, злого, в чёрных лохмотьях напитка, и поспешно искал младшему товарищу кружку ячменного кофе, заодно самовольно отломил ему — но не себе! — кусочек ещё не тронутой шарлотки.

Тем временем Мезерницкий заставил всех на минуту задуматься.

— Знаете ли вы, мои образованные друзья, что выражение "*ergo bibamus*" — "следовательно, выпьем" — позволяет прекратить любой спор и любую фразу превратить в тост?

Артём сначала выпил глоток кофе, а потом уже попытался осознать смысл сказанного. Внутри него песочными волнами осыпалось сознание и подступал тяжёлый хмель.

— Граков, будешь пить? — спросил Мезерницкий как бы в качестве примера, подтверждающего его слова.

— Вы же знаете, я не пью, — сказал Граков чуть напуганно.

— Я не пью, *ergo bibamus!* — завершил Мезерницкий и действительно ещё разлил по одной.

— Милый ты мой, дай же ты ребёнку отдышаться, как с цепи сорвался! — не удержался тут владычка Иоанн.

— Да! — осушив третью, воскликнул Мезерницкий. — Именно! С цепи сорвался, *ergo bibamus!*

Все захохотали, и владычка тоже тихо засмеялся, прикрывая глаза рукой.

— Так решительно не получится разговаривать, — пожаловался со слезой в лукавом голосе Василий Петрович и, естественно, тут же попался на крючок.

— Решительно не получится разговаривать, *ergo bibamus!*

Пришлось пить ещё одну.

Все застыли, как дети в игре, переглядываясь и сдерживая смех. У Артёма внутри неожиданно стало сладко-сладко: и Эйхманис, и красноармеец Петро, и тюк с одеждой, и десятник Сорокин с потными подмышками, и эта сука ушли сначала далеко-далеко, а потом всё та же сука, перевернувшись в мягком и чарующем воздухе, вернулась обратно, и он неожиданно почувствовал её запах, и её дыхание, и её обветренные губы...

Остальные между тем пытались найти хоть какое-то слово, которое не способно было бы привести к немедленному употреблению радужного алкоголя.

Мезерницкий, то ли сурово, то ли смешливо осматривал гостей, как бы пребывая в засаде, но одновременно нарезая шарлотку. Ногти у него на этот раз, заметил Артём с удовлетворением, были чистые и стриженные.

“Именины же!” — пояснил он себе.

Владычка Иоанн, кажется, готов был прочесть молитву перед принятием совместного ужина, но, видимо, всерьёз опасался немедленно услышать *pro ergo bibamus*.

— Как я вас, — строго, но с иронической, всех расслабившей модуляцией в голосе сказал Мезерницкий. — Говорить, однако, можно о чём угодно! Просто результат любого спора предопределён!

И все разом, будто желая вдосталь наобщаться, пока их не поймали за рукав, заговорили.

* * *

— Я был в Крыму: ещё дамы, ещё эполеты, но ничего этого уже нет, эта жизнь умерла!.. Есть мёртвые города, где уже никто не живёт и остались лишь руины. А это был мёртвый город с живыми людьми! — говорил Мезерницкий, который как-то странно пьянел: как будто его обволакивало тёплое, чуть туманное облако; оно глушило любые звуки, и каждое слово давалось ему с некоторым трудом. — Грустно? Грустно! Но отчего же нам не грустить сейчас — всего этого тоже скоро не будет.

— Чего? — не понял Шлабуковский.

— Всего, — и Мезерницкий развёл руками. — Рот, баланов, леопардов, десятников, Эйхманиса... ничего! Вы не понимаете, что мы из одного мифа тут же перебрались в другой? Троя, Карфаген, Спарта... Куликово поле, Бородино, Бастилия... Крым, Соловки. Понимаете?

— Я не хочу в миф, — сказал Шлабуковский. — Я хочу в кроватку с пижамками. И рисованными амурами в головах. И чтоб я в пижаме... Тем более я не вижу никакой разницы между Крымом и Соловками. По-моему, Крым в момент прорыва туда большевиков и махновцев оторвало от большой суши, какое-то время носило по морям и вот прибило сюда. Публика примерно та же, только она забыла уплыть вовремя в Турцию.

— Вы, Шлабуковский, анархист и мещанин в одном лице, — сказал Мезерницкий. — Хотя, с другой стороны, кем ещё нужно быть, чтоб пойти в артисты.

Граков рылся в книжках на полочке.

Василий Петрович сидел за столом и задумчиво жевал что-то, не более травинки величиной.

Артём забрался с ногами на лежанку Мезерницкого, сняв сапоги, в которых было чересчур жарко, и внимал одновременно и Шлабуковскому, и владычке Иоанну, который только что всё-таки пригубил рюмку чего-то липового.

— Церковь — человечество Христово, а ты вне Церкви, ты сирота, — тихо говорил владычка Иоанн. — Верующий во Христа и живущий во Христе — богочеловек. А ты просто человек, тебе трудно.

Артём слушал владычку, и ему казалось, что голова его очищается, как луковица, — слой за слоем... И сначала было легко, всё легче и легче, как будто он научился дышать всем существом сразу, и всё вокруг стало прозрачнее... Но одновременно нарастала тревога: что там, внутри у него, в самой сердцевине, — что?

Вот ещё одно слово владычки, для которого Артём был как на ладони — и вот ещё одно, и вот ещё третье... А вдруг сейчас последний лепесток отделят, а там извивается червь? Червь!

Будто бы беду ответили — так почувствовал Артём, когда Мезерницкий, похоже, умевший, невзирая на своё облако, одновременно и говорить, и слушать, вдруг оставил свою тему и перебил владычку:

— А я вот иногда думаю, отец Иоанн: какое христианство после такого ужаса?

Владычка Иоанн чуть устало, но очень миролюбиво посмотрел на Мезерницкого. Глаза у владычки были совсем засыпающие: умаялся, бедный.

— А первохристиане что? — спросил он негромко, но таким тоном, словно первохристиане только что были где-то здесь. — Их рвали львы. А Христа что? Его прибили гвоздями! А Он — Сын Бога! Бог отдал Сына.

— Вся Россия друг друга прибивала гвоздями, — сказал Мезерницкий. — Она теперь не хочет в Бога верить. Пусть Бог верит в неё, его очередь.

Владычка через силу улыбался, словно смотрел на свое чадо, которое распалилось, но сейчас успокоится.

— А Он верит, Он верит, — согласился владычка. — Его очередь — всегда, Он и не выходит из очереди. Сказано: любяй душу свою — погуби ю, а ненавидяй душу свою — обращает ю. Россия свою душу возненавидела, чтоб обрести.

— А она обретаёт, — вдруг взял на тон, а то и на два выше Мезерницкий. — Обретаёт! — даже Граков обернулся на этот голос, а Василий Петрович перестал жевать травинку.

Мезерницкий сделал такое движение двумя руками, словно разорвал это самое невидимое облако и вылез, наконец, наружу, вспотевший и замученный.

— Батюшка у нас книг не читает. В России попы вообще книжность не очень любят, поскольку она претендует на то место, что уже занято ими... на место, откуда проповедают, — сказал Мезерницкий очень чётко, Василий Петрович на слове “попы” поднял посуровевшие глаза и всё-таки смолчал. — Но тем не менее Россия уже сто лет живёт на две веры. Одни — в молитвах, другие окормляются Пушкиным и Толстым. Граков, что там у тебя? Толстой или Пушкин? Тургенев? И Тургенев хорошо! Потому что беспристрастное прочтение русской литературы, написанной, между прочим, как правило, дворянством, подарит нам одно, но очень твёрдое знание: “Мужик — он тоже человек!” Самое главное слово здесь какое? Нет, не “человек”! Самое главное слово здесь — “тоже”! Русский писатель — дворянин, аристократ, гений — вошёл в русский мир, как входят в зверинец! И сердце его заплакало. Вот эти — в грязи, в мерзости, в скотстве — они же почти как мы! То есть почти как люди! Смотрите, крестьянка — она почти как барышня! Смотрите, мужик умеет разговаривать, и однажды сказал неглупую вещь, на том же примерно уровне, что и мой шестилетний племянник! Смотрите, а эти крестьянские дети — они же почти такие же красивые и весёлые, как мои борзые!.. Вы читали сказки и рассказы, которые Лев Толстой сочинял для этого... как его?.. для народа? Если бы самому Толстому в детстве читали такие сказки, из него даже Надсон не вырос бы!

— Вы к чему ведёте? — спросил Василий Петрович несколько озадаченно.

— А вы подождите, Василий Петрович, — ответил Мезерницкий. — *Ergo bibamus* нас всё равно ждёт, оно неизбежно. Пока же — о Толстом, и то в качестве примера. Можно Толстого сменить на Чехова... Граков, поставьте книгу на место, хватит её жать! Будет такая же история. Чехов —

он вообще никого не любит; но всех он не любит как людей, а мужик у него — это сорт говорящих и опасных овощей... Это что-то вроде ожившего и злого дерева, которое может нагнуть и зацарапать. Наши мужики ходят по страницам нашей литературы, как индейцы у Фенимора Купера, только хуже индейцев. Потому что у индейцев есть гордость и честь, а у русского мужика её нет никогда. Только — в лучшем случае — смекалка... А чести нет, потому что у него в любую минуту могут упасть порты, — какая уж тут честь!

— И всё-таки? — спросил Василий Петрович, которому монолог Мезерницкого с самого начала не нравился.

— Большевики дают веру народу, что он велик! — сказал Мезерницкий, явно сократив себя — слов у него в запасе было гораздо больше. — И народ верит им. Большевики сказали ему, что он не “тоже человек”, а только он и есть человек. И вы хотите, чтоб он этому не поверил? Беда большевиков только в одном: народ дик. Может, он не просто человек, а больше, чем человек, только он всё равно дикий. По нашей, конечно же, вине, но это уже не важно. Что делать большевикам? Понятно, что: не падать духом! Но сказать мужику: мы сейчас вылепим из тебя то, что надо, выкуем. Мужик, естественно, не хочет, чтоб из него ковали. Его, понимаете ли, секли без малого тысячу лет, а теперь решили розгу заменить на молот — шутка ли! Однако уже поздно. Сам согласился.

— Мы-то здесь при чём, голубчик? — спросил Василий Петрович.

— Мы? — искренне удивился Мезерницкий. — Мы вообще ни при чём — нас уже нет. Мы сердимся на немца-губернёра, что он кричит на нас: как он смеет? Вот бы его убить! Мы бегаем по лугу и ловим сачком бабочек. Потом они лежат и сохнут в коробках, забытые нами. Мы совращаем прислугу и не очень стыдимся этого. Мы воруем папиросы из портсигара отца... Мы — в эполетах, и заодно лечим триппер — в этом самом своём Крыму, в жаре, голодные, больные предсмертной леностью мозга... И всё собираемся взять Москву, всё собираемся и собираемся, хотя ужасно не хочется воевать — как же не хочется воевать, Боже ты мой! Тем более что индейцы победили нас, у них оказалось больше злости, веры и сил. Индейцы победили и загнали нас в резервацию: сюда.

Мезерницкий сел и очень твёрдой рукой разлил по стаканам — во все стаканы разное.

Артём подумал: отчего же молчит владычка, повернулся в его сторону, а он спит.

Некоторое время Артём смотрел на него с нежностью, пусть и хмельной, иначе никогда бы не посмотрел так, и владычка вдруг открыл глаза, будто почувствовал, что на него смотрят.

В то же мгновение, как его глаза открылись, владычка улыбнулся Артёму, словно добро к нему отношение только и ждало, чтоб проявиться, и с трудом пережидало батюшкин сон.

Владычка быстро перекрестился и, приговаривая: “...Пора, пора, не встану завтра...” — тихо поднялся с таким видом, словно вокруг всё было в стекле, и нужно было исчезнуть как можно тише. Мезерницкий, набрав воздуха в грудь, продолжал в это время что-то говорить, обращаясь почему-то к Гракову; тот поддакивал на разные лады:

— Есть смысл!.. Да-да... Безусловно!.. Отчего бы и нет!..

“У владычки, — думал Артём, — наверняка было в запасе множество чудесных слов в ответ, — но не было смысла тратить их на пьяных и разбитых людей”.

“Заплутавшие мои, милые...” — вот о чём говорил весь извиняющийся и тихий вид владычки.

— Вот только не надо думать, что у меня бред, — сказал Мезерницкий, даже не прожывая взглядом владычку, но обращаясь уже ко всем.

— А никто так и не думает, — ответил Шлабуковский. — Мне тоже налей.

— А мужика тоже будут перековывать в лагере? На воле нельзя? — спросил Артём, едва владычка ушёл: при нём он не хотел участвовать в споре.

— А много ты видел на Соловках мужиков? — спросил Мезерницкий. — Большевики ждут, что мужик и так их поймёт... Если не поймёт — его сюда привезут доучивать... Поймёт сам — ему же лучше. Но в любом случае, Тёма, ковать привычней в кузнице. *Ergo bibamus!*

* * *

— Эти разговоры — они болезненные... Рваные! Но цените их, Артём. Они были в Петербурге. Иногда были в Москве, но реже... Теперь они есть только здесь, и больше их нигде не будет... — говорил Василий Петрович по дороге назад, провожая Артёма. — Какая подлая изжога от этих напитков...

— А владычка? — спросил Артём то, что ещё в прошлый раз собирался спросить. — Почему он с вами? Разве ему это нужно?... — Артём искал подходящее слово и, не найдя, добавил: — По чину?

— Ему-то? — усмехнулся Василий Петрович. — Нет, это нам всю жизнь было не по чину... Ты знаешь, когда я был ребёнком, и отец, — а отец мой был барин, хоть и промотавшийся, — когда он приглашал батюшку в наш барский дом исполнить службу, после службы священника за общий стол не сажали. Ни у нас, ни у соседей, нигде — не са-жа-ли! Это было *моветон*. Его кормили отдельно... Закуску выносили, даже рюмку водки иной раз. И он там ел, один, как дворня... Я уж не говорю про петербургские среды: туда было легче привести чёрта на верёвке — о, все бы обрадовались необычайно! — чем батюшку... Мы все умели — и желали! — разговаривать без попа... А теперь хотим при нём, с ним, вот как повернулись! Чтоб он слышал нас! И жалел!

Василий Петрович о чём-то задумался, но потом другая мысль увела его в сторону, и он, побежав за ней, тут же об этом заговорил вслух:

— Однако я скажу: у Мезерницкого семь пятниц на неделе. Никогда не поймёшь, в чём суть его отношения. Он последовательно говорит взаимоисключающие вещи.

— А он в чём-то прав, — задумчиво сказал Артём; его слегка мутило, но с этим можно было справиться, — о кузнице, к примеру.

Василий Петрович встретнулся, словно он был птицей, и в него бросили камнем, но ещё непонятно — кто.

— Можно иначе сказать — это лаборатория, — продолжал Артём чужими, недавно слышанными словами, хотя жест Василия Петровича заметил.

— Тёма, душа моя добрейшая, о чём ты, никак не пойму, — сказал Василий Петрович, остановившись.

Артём пожал плечами и прямо посмотрел на Василия Петровича.

— Артём, а вы были в цирке? — спросил вдруг Василий Петрович. — Нет? Я к тому, что это не лаборатория. И не ад. Это цирк в аду.

Помолчал и добавил:

— Фантасмагория.

— Я общался с Эйхманисом, — сказал Артём очень спокойно. — Он говорит много разумных вещей. И видит всё с другой стороны.

— Это да, — с некоторой уже издевательской готовностью согласился Василий Петрович. — А вы-то со своей видите, Тёма?

— Не надо горячиться, Василий Петрович, вы сами отлично знаете, что я вижу.

— Я? — искренне удивился Василий Петрович. — Я думал, что знаю, да. Но теперь не уверен! Что вы вообще делаете рядом с Эйхманисом? Вы никогда не слышали такой поговорки: “Близ царя — близ смерти”?

Артём молча смотрел в глаза Василию Петровичу и не отвечал.

— Хорошо-хорошо-хорошо, — неизвестно с чем соглашался Василий Петрович. — Просто расскажите мне, что он говорил, вкратце... А? Что-нибудь о перековке? Переплавке?

Артём по-прежнему молчал.

— Я, естественно, не знаю точно, но могу догадаться, — сказал Василий Петрович шёпотом: на улице хоть и был вечер, но по двору ещё ходили

туда и сюда лагерники и красноармейцы. — Зато я точно знаю, чего он вам не говорил, — здесь Василий Петрович взял Артёма за плечо, сказал: “Отойдём”, — и буквально придавил его к ближайшей стене.

Над головой Артёма была полукруглая арка из белого камня, за спиной — огромный валун стены, пахнувший водой, травой, огромным временем, заключённым внутри него.

— Обсуждали вы такие темы, как посадка заключенных в одном бельё в карцер, представляющий собой яму высотой не более метра, потолок и пол которой выстланы колочими сучьями? — спросил Василий Петрович, дыша Артёму в лицо. — Эйхманис сообщил вам, что лагерник выдерживает не более трёх дней в таком помещении, а потом —дохнет? Рассмешил он вас шуткой про дельфина? Это когда лагерники, услышав красноармейскую команду “Дельфин!”, должны прыгать, допустим, с моста, — если их ведут по мосту, — в воду. Если нет моста, надзор порой расставляет лагерников на прибрежные валуны, и те, заслышав команду, ныряют. И хорошо, если на дворе август, а не ноябрь! А если не прыгают, их бьют, очень сильно, а потом всё равно кидают в воду!.. Не вспомнил Фёдор Иванович, что на местных озёрах лагерников в качестве наказания заставляют таскать воду из одной проруби в другую? Не рассказывал, как тут в Савватьевском скиту жили политические — те самые, что вместе с большевиками устраивали их революцию, а потом разошлись во взглядах и сразу угодили на Соловки. Да, они тут не работали, да, только устраивали диспуты и ссорились. Однако когда политические однажды отказались уходить раньше положенного срока с вечерней прогулки, наше руководство подогнало красноармейский взвод, и дали несколько залпов по живым, безоружным людям! Героям, говорю я вам, их же собственной революции!.. Вы, Артём, каким-то чудом избежали обших работ, уже которую неделю занимаетесь чёт знает чем и перестали понимать очень простые вещи. Напомнить их вам? Думаете, если вас больше не отправляют на баланы, значит, никто не тягает брёвна на себе? Думаете, если вам хорошо, всем остальным тоже стало полегче? Здесь люди умирают! Каждый день кто-то умирает! И это — быт Соловецкого лагеря. Не трагедия, не драма, не Софокл, не Еврипид, а быт. Обыденность!

Василий Петрович всё сильнее сдавливал плечо Артёма, потом вдруг ослабил пальцы, убрал руку и отвернулся.

Ещё с полминуты они молчали.

— Да и вас самого тут чуть не зарезали, — донельзя усталым голосом сказал Василий Петрович. — Чуть не затоптали насмерть. Как же так?

— Это не всё, — вдруг сказал Артём. — Он говорил про другое. Он говорил, что мы сами... мы сами себя... И я вижу, что это так.

Василий Петрович быстро обернулся, и глаза его были расширены и едвали не блестя.

— Мы сами себя — да! — разом догадавшись, о чём речь, продолжил Василий Петрович. — Но зачем же он поставлен над нами началом? Чтоб мы сами себя ещё больней мучили?

Где-то поблизости болезненно крикнула чайка, словно ей наступили на хвост, а несколько других заклекотали в ответ.

Василий Петрович упёрся двумя руками в стену возле головы Артёма и нависал над ним.

Артём чуть склонил голову в сторону: смотреть нетрезвому, взрослому, раздражённому, под пятьдесят лет мужчине в глаза — не самое большое удовольствие в жизни.

Отвечать больше не хотелось.

Свистящим шёпотом, будто его озарило, Василий Петрович воскликнул, вдруг перейдя на “ты”:

— Да ты попал под его очарование, Артём! Это несложно, я знаю! Но ты помни, умоляю, одно. Эйхманис — это гроб повапленный! Знаешь, что это такое? Крашенный, красивый гроб, но внутри всё равно полный мерзости и костей!

Артём, наконец, поднял руку и высвободился, почти оттолкнув Василия Петровича.

Он стоял в шаге от него, рассматривая съехавшую набок неизменную кепку товарища.

— Я любил тебя за то, что ты был самый независимый из всех нас, — сказал Василий Петрович очень просто и с душой. — Мы все так или иначе были сломлены, если не духом, то характером. Мы все становились хуже, и лишь ты один здесь становился лучше. В тебе было мужество, но не было злобы. Был смех, но не было сарказма. Был ум, но была и природа... И что теперь?

— Ничего, — эхом, неожиданно обретши разум, ответил Артём.

А что он ещё мог ответить?..

Поискал глазами, где его рота, и резко направился туда. Через два шага его всё-таки вырвало. Артём даже не остановился, лишь переступил через гадкую лужу, вытер губы рукавом — от рукава ужасно пахнуло одеколоном и желудочным соком — и поспешил к своему корпусу.

Чайки гурьбой слетелись клевать то, что осталось на земле после того, как он ушёл.

* * *

Утром пришёл красноармеец, сказал: “Собирайся!”

Артём спал плохо и мало, проснулся до зари и долго лежал лицом к стене, не шевелясь. Сначала пытался не думать — ничего не вышло, потом пытался думать — тот же результат.

Пока Осип собирался на работу, Артём делал вид, что спит.

— Что ж так пахнет духами, — несколько раз спросил Осип, нюхая воздух. — Артём! Артём, спишь?.. Или одеколоном?

“Нет, бля, не сплю — дрова рублю”, — мысленно отвечал Артём, желая Осипу, как в той приговорке, осипнуть и вообще провалиться к чёрту.

А потом — красноармеец.

Артём сидел на лежанке, пытаясь по его виду понять, что же теперь случится.

Ничего понять было нельзя, пришлось собираться.

О, эти болотные сапоги.

Красноармеец внимательно смотрел, как Артём их надевает.

Женские чулки Артёму было бы менее противно натягивать.

“Что он так смотрит, — думал Артём. — Может, он собирается снять их с меня сразу после расстрела?..”

Иной раз такими мыслями Артём себя удивительным образом взбадривал, но тут получилось едва ли не наоборот: его вдруг снова затошнило, руки потеряли крепость, сапоги не лезли, и не лезли, и не лезли — это был смех и позор какой-то...

Артём встал — носок так и не пробрался вовнутрь, несколько шагов он прошёл, как хромым конём.

— Натяни сапог-то, — сказал красноармеец равнодушно. — Нет, что ли, другой обувки-то?

— Нет, — ответил Артём, сам едва услышав свой голос.

Дорога вела в ИСО.

На втором этаже он встретил Бурцева; тот быстро спускался вниз, под мышкой — папка с бумагами, дорогу не уступил, пришлось посторониться и красноармейцу, и Артёму... Так и прошелестела эта сволочь мимо, даже не кивнув, как будто и не были знакомы никогда.

На третьем этаже всё в том же кабинете ждала Галина, с поджатыми губами, с ледяным взглядом, но пахнущая духами.

Кивнула ему на табуретку.

Артём сел.

Фотография Эйхманиса под стеклом был перевёрнута лицом вверх, с удивлением заметил он.

“Зря она ему рога не пририсовала”, — подумал Артём из своего душевного подземелья.

Галина придвинулась ближе к столу, в упор, так что объёмная грудь её тяжело застыла ровно над столом.

— Если ты, — сказала Галина одними губами, — скажешь хоть слово — проживёшь ровно столько, сколько нужно, чтоб довести тебя “под размах”. Никакого карцера не жди, по тебе донесений — как раз на три расстрела. Тебе хватит и одной пули.

Артём поднял глаза на Галину и кивнул.

Она тоже кивнула: хорошо.

— Никому ещё не похвастался? — чуть громче спросила она. — О чём вчера шептался с Василием Петровичем своим во дворе?

Артём проглотил слюну, не зная, что сказать.

— О другом, — выдавил он.

Галина недолго разглядывала Артёма.

— Так как ты у нас остался без работы, — сказала она, вернувшись к бумаге на своём столе, — пришлось... оформить тебе новую должность... С сегодняшнего дня Артём Горяинов направляется... сторожем в Йодпром. Ваш сосед Осип Троянский там работает, так что... теперь поработаете вместе. Придёте — вам всё там покажут... На таких должностях у нас обычно духодетство трудится в поте лица... Вот будете, как попович.

Некоторое время они сидели молча.

Галина постукивала карандашом по столу.

На щеках её выступил румянец, заметил Артём.

Выражение глаз её с ледяного понемногу сменилось на чуть более живое, словно бы она задумала какое-то озорное девичье дело.

— Спасибо, — сказал Артём тихо и внятно.

— Ага, — сказала Галина беззаботным голосом, каким, наверное, разговаривают барышни на Арбате.

Вниз по лестнице Артём почти бежал, как в гимназии, несказанно много лет назад...

“Живой, живой, живой, — повторял он. — Я живой. Я такой живой. Я не хочу быть богочеловеком. Я хочу быть живым сиротой. Без креста и без хвоста... Да!”

Некоторое время он метался по келье, как влюблённый перед свиданием. Впрочем, собирать ему всё равно было почти нечего: паёк как участник спартакиады он уже не получал, вещи у него остались только тёплые, зимние, а погода ещё нежилась, отекала солнечно в преддверии августа.

“Что же мне теперь, голодным быть?” — встрепенулся Артём, благополучно забыв, что если б ему полчаса назад сказали бы: кормить тебя не будем вовсе, зато не расстреляем, он был бы согласен, благодарен и безмерно счастлив.

Есть очень хотелось. У него под лежанкой, помнил Артём, были овощи, хоть и много, а хотелось чего-нибудь вроде мяса большим куском.

Не раздумывая, он выдвинул ящик из-под кровати Осипа. Осип был богат: похоже, только что получил посылку. Сушёные вишни и черешни. Варенные в сахаре груши. Макароны в марлевом мешочке. Рис, гречка, горох. Горчица, сало. Орехи... Хлеб.

“Только несколько вишен и горсть черешен...” — рассудительно решил Артём и тут же набил полный рот.

“И сала... — разрешил себе, — один кусочек”. Благо оно было нарезано и недоедено.

“Наверное, матушка, так и прислала ему сало — нарезанным, — догадался Артём. — А то сам Осип так и грыз бы его, пока челюсти не вывернул”.

Одним кусочком не обошлось, и тремя бы не обошлось тоже, если б Артём не скомандовал себе: всё, пора, пора, уходи. Всё-таки сушёные вишни и сало — это чудесная штука.

“Как вернусь домой — только этим и буду питаться”, — решил Артём. До Йодпрома было два километра сосновым лесом.

Артём знал эту дорогу, да она и нехитрая была: из кремля на север, мимо тишайшего, как Алексей Михайлович, озера по гранитной набережной, через пути узкоколейки — и спустя несколько минут работающих кто где ла-

герников и конвойных совсем не будет видно, потому что дальше прямо, прямо, прямо, лес слева, лес справа, очень спокойно, почти беззвучно, только если прислушаться, услышишь ручей, текущий в Святое озеро.

“Не по плису, не по бархату хожу... а хожу-хожу по острому ножу...” — тихо напевал Артём по дороге. Ему казалось, что это очень весёлая песня.

“Если б я умел размышлять, — думал Артём, — я стал бы как Мезерницкий: я был бы уверен сразу во всём, особенно в самом неприятном, и эта уверенность не огорчала бы меня...”

“Какие все люди непонятные, — думал Артём. — Никого понятного нет. Внутри внешнего человека всегда есть внутренний человек. И внутри внутреннего ещё кто-нибудь есть. Вот Шлабуковский — он какой? Афанасьев — какой? Граков — кто там внутри Гракова? Моисей Соломонович — разве он то, что он есть, то, что поёт свои бесчисленные песни? Бурцев? Крапин? Кучерава? Борис Лукьянович? Щелкачов? Захар? Лажечников?.. Хотя нет, он уже умер... Ксива? Жабра? Каждый из них был ребёнком, который залезал маме на колени? Когда они слезли с этих коленей?”

Ему не очень хотелось вспоминать вчерашние слова Василия Петровича, хотя, с другой стороны, он ведь сказал, что Артём здесь становился лучше, как это странно, ведь сам он не замечал за собой ничего такого. Он вообще себя не замечал, он просто был тут и делал всё, чтобы не умереть.

“Но ведь и другие так же делают, — думал Артём. — Или не так же?.. А как делают другие? В чём моё отличие от них? Надо бы спросить у Василия Петровича, а то я не понимаю”.

Артём нарочно не вспоминал Эйхманиса и Галину, потому что это были трудные мысли, они тревожили его, по-разному, но тревожили, а он не хотел тревожиться.

Тем более если Артём на мгновение отпускал своё сознание на волю, он тут же очень внятно чувствовал ладонью грудь Галины, которую он разыскал в её рубашке, оторвав четвертую пуговицу сверху, и вывалил наружу, и сосок её, ужасно твёрдый, упирался ему ровно посередине ладони... Куда было идти с такими мыслями?..

Если они настигали, надо было бежать от них, как от комарья, чтоб не сожрали. Вот и сейчас Артём немного пробежал, рванувшись с места, и снова почувствовал, какой он лёгкий, молодой, красивый. Убеждение было такое, что если он с размаху влестится плечом в сосновый ствол, то сосна, крякнув, завалится.

Через сто метров сбавил шаг, дыхание почти не сбилось, зато навада эта осталась позади, и ладони снова были пусты — хватайся ими за воздух, следуй дальше.

У дороги лежала поваленная берёзка. Листья её были красные, словно напитались кровью.

С дороги налево, до деревянной калитки, и там, на пригорке, стояло белое здание, аккуратное, как торт, три окна с торца, четыре — с лица, посредине крылечко со ступеньками: Филиппова пустынь. Здесь и располагался теперь Йодпром; раньше он был в другом месте, видимо, только что переехал.

Возле здания в палисадничке виднелось что-то вроде бревенчатого курятника с маленьким окошком и маленькой дверцей; быть может, это была келья того самого Филиппа, кто знает. Как бы только он входил в эту дверцу? Разве что кланялся каждый раз до земли.

Поодаль дома стоял высокий крест, под крестом — колодец.

Артём по-хозяйски прошёл туда выпить воды.

Теперь это будет место его обитания.

Вслух он об этом не думал, но вся душа его молила, чтоб здесь он и остался до конца срока — посреди леса, никем не видимый, никому не нужный, всеми забытый.

“Наверное, она хочет, чтоб я ни с кем не общался и заткнулся, — подумал Артём. — Так я готов рот запечатать и принять обет молчания...”

Вода была холодной и вкусной.

— Ну, что, дедушка Филипп, — сказал Артём вслух, — принимай постоляльца! Без креста и без хвоста.

Осип встретил Артёма удивлённо, даже спросил вроде как в шутку, потому как шутить он не очень умел, и прозвучало это сурово:

— Вас присматривать, что ли, за нами прислали?

Артём хмыкнул.

Осип и сам, видимо, догадался, что был отчасти бестактен, поэтому тут же перевёл разговор:

— Мы совсем недавно перебрались сюда. Тут неплохо. Пойдёмте, покажу, как живём.

Коллеги Осипа к Артёму никакого интереса не проявили — люд здесь был учёный, занятой; Артём и сам не стремился с ними знакомиться.

— Ничего тут не трогайте, — предупредил Осип, кивнув на всевозможные приспособления и препараты, чем, естественно, вызвал у Артёма тихое желание всё к завтрашнему дню поломать и перепутать.

В помещении было шесть комнат: три были заняты под лаборатории, две пока пустовали.

— Будем переделывать в жилые и перебираться окончательно, чтоб не тратить время на хождение туда и сюда, — сказал Осип.

Ещё здесь имелась кухня, причём там жили морские свинки, шесть штук.

— Вы их едите? — спросил Артём вполне серьёзно.

— Нет-нет, их выращивают, — ответил Осип. — Здесь не только Йод-пром, но и биосад... разводят животных... Нам, кстати, сказали, что сторож будет ими заниматься. Так что, может, познакомить вас с этими созданиями?

— Потом-потом, — отказался Артём. — У меня будет много времени.

На чердаке, заметил Артём, стоял непрерывный грохот и шум.

— А там кто? — спросил Артём. — Обсерваторию строят?

— Нет, — ответил Осип. — Наверху живут крольчата. Двенадцать штук. Пойдите посмотреть?

— Позже, — сказал Артём. — Я хочу посмотреть свою комнату.

Он вдруг почувствовал, что не выспался, и заснёт сейчас невероятным сном, каким не спал уже не сосчитать сколько дней. Всегда ведь кто-то мешал или кто-то, пусть даже Осип, посапывал рядом, и мог зайти кто-то из надзора в любую минуту, поднять и обидеть, и дневальные орали, и комзвода погонял дрынком, а тут только кролики на чердаке... и эти ещё, свинки...

— Тут ничего нет, только вот покрывало... Быть может, эта фуфайка заменит вам подушку, — показывал Осип, раскрыв дверь, но Артём, даже не дожидаясь окончания его речи, обвалился на пол, отогнал фуфайку в угол, сунул её под голову, хотя пахла она невозможно: краской и, кажется, кроличьим помётом, и человечинной, — ну, и что? Артём уже спал, как убитый.

Во сне, будто не через одну дверь, а через сорок дверей он услышал невозможно далёкую и в то же время ясно слышимую человеческую речь.

— А здесь что? А это? А тут? — повторял один и тот же голос, густой и неприятный настолько, словно заговорила простуженная гусеница.

Артём понимал, что явился какой-то чин из кремля, и с ним были красноармейцы, потому что они непрерывно топотали туда и сюда, и вот-вот должны были зайти в комнатку сторожа, а сторож спит и ничем не занят, и это отличный повод немедленно его выгнать вон, а то и отправить в карцер, но Артём всё равно ничего не смог поделать с собой и недвижно лежал, заваленный всем своим сроком, чёрной землёй, в которой искал клады, обрывками слов и жестов Эйхманиса, жаром Галины и её истекающим, влажным запахом, шёпотным бормотанием Василия Петровича, отвисшей губой Ксивы, культей Филиппка, баланами, крестом владычки Иоанна, варёными грушами из посылки Осипа...

— А тут нет пока ничего, закрыто, — соврал где-то рядом, почти над ухом Осип, и гусеница упозла за ним, и снова стало почти тихо, только кролики что-то разыскивали на чердаке, находили, съедали и снова разыскивали, передвигаясь словно не на лапах, а на квадратных колёсах.

“Или это Эйхманис?! — вдруг кто-то зарычал внутри Артёма. — Вдруг Эйхманис? Зайдёт и спросит: “А это кто? Артё-ёём! А чего ты тут делаешь?””

Артём загнал голову в самый рукав телогрейки и как будто умер: никаких сил уже не было бояться.

— Эй, да что же с вами такое, — тормозил его Осип. — Вы будете приступать к своим обязанностям или нет? Пора уже сторожить. Пойдёмте, я согрел вам чаю. И научу, чем кормить свинок.

Артём поднялся, отчего-то совершенно пьяный, с головой, вскипячённой от неожиданного и сильного сна. Путая ноги, пошёл вслед за Осипом.

Даже не спросил, Эйхманис ли приходил или кто другой. Предпочёл решить для себя, что это было в бреду.

— Свинок буду кормить кроликами, — хрипло сказал Артём, — а кроликов — свинками.

* * *

Осип был человек, помнящий о том, что порядочность и порядок — слова однокоренные.

На кухне, где в своих ящиках за нехитрой деревянной загородкой обитали морские свинки, Осип повесил листок, где переписал их имена: Рыжий, Чиганюшка, Чернявый, Желтица, Дочка и Мамашка.

“Он что думает, я с ними буду разговаривать?” — с мрачной иронией думал Артём.

Зато Осип действительно показал, где тут чайник, хоть и не согрел его, вопреки обещаниям.

Кормить морских свинок следовало овсом, брюквой и репой.

В отдельной клетке обитали ещё и белые мыши, тридцать штук. Артём поискал глазами: нет ли ещё листка, где перечислены все мыши по именам, и не дай Бог перепутать — сдохнут от обиды.

“Надеюсь, тут карцер не предусмотрен за каждого погибшего мыша, — раздумывал Артём всё в той же тональности. — А то я попрошу перевести меня на баланы”.

“А что — баланы? — ответил он себе чуть серьёзнее. — Я сейчас бы смог”.

Не отдавая себе в том отчёта, он говорил с Василием Петровичем, оспаривая его вчерашние слова.

Артём ничего уже не помнил толком — ни сжирающего людей комарья, ни матерных потешек Кучеравы, ни зверского труда, ни ощущения скользкого и неподъёмного дерева на плече.

“Только найти бы с чем чаю попить. Вот морковка. Это, наверное, кроликам предназначается. Кролики сегодня останутся без морковки”.

Горячий черничный чай с морковкой, в пустом доме посреди леса, в нескольких километрах от Информационно-следственного отдела, охраны и надзора.

“Нет, как бы всё-таки сделать так, чтобы обо мне забыли...” — в который раз мечтал Артём, поглядывая теперь уже на репу.

В ответ на его мысли в окно постучали.

Оказалось, что это может напугать взрослого, сильного, молодого человека.

Артём почувствовал, что ноги у него подкосились, хоть он и сидел на стуле.

“Кто это? — запрыгали, как блохи, мысли в голове. — Ко мне? Я сторож — как я должен сторожить? Умереть, а морских свинок спасти? Может, вообще не отзываться? Кому тут нужно ходить вечерами? Или Осип чего забыл?.. Или святой Филипп пришёл меня проведать? “Кто пил из моего колодца?””...

Снова постучали.

Артём поставил кружку, взял со стола нож и пошёл к дверям.

— Кто там? — спросил он громко.

— Открывай, — очень спокойно ответил женский голос. Это была Галина.

— Ну, быстрее, — глухо сказала она. — Не могу разобраться с ключом. Артём поспешно открыл.

Галя была одна и легко, без шороха, юркнула в помещение, будто какой-то неучтённый зверёк этого биосада.

— Ждала, пока уйдут, — потирая накусанные комарами щёки, говорила она, безошибочно двигаясь в сторону кухни. — Тележатся, как все учёные.

Она говорила с Артёмом, будто со старым знакомым. Он молчал, и внутри него снова всё дрожало.

“Я скоро в желе превращусь на таких нервотрясках...”

Зайдя в кухню, Галина положила руки на чайник и стояла так какое-то время, не оборачиваясь, вроде бы разглядывая зверьё, но вроде бы и не видя его.

— Знал, что приеду? — спросила.

— Знал, — ответил Артём, хотя ничего он не знал и даже думать про неё такое не решился бы.

— Тварь, — сказала она довольно, обернулась и поцеловала его в губы.

* * *

Она уехала, кажется, через час... или чуть позже — Артём толком не помнил.

Сначала, одевшись в темноте, твёрдым голосом велела, чуть-чуть насмешливо и требовательно, как подросток:

— Теперь разговаривай со мной. Я хочу, чтоб ты говорил.

Артём сморгнул и замешкался, будто не знал больше ни одного слова.

Десять минут назад, за шаг до почти уже неизбежной потери сознания, он прошептал передавленным от пронзительного восхищения голосом: “Галя...” — и чуть укусил её за плечо.

Теперь он ни за что не решился бы само имя это произнести, да и кто он такой, как он может сметь?..

— Нет, сначала нужно тебя покормить, — сказала она, не дождавшись от него ни слова. — Где ты бросил мою сумку — при мне сумка была?

— Я не видел, — тихо сказал Артём.

— “Не видел...” Ищи теперь, — ответила она.

Сумка лежала прямо при входе. В сумке были мясные консервы и, Боже ты мой, апельсины, четыре штуки.

— Я один съем, — сказала она, очищая апельсин. — А ты — вот эти. Ел такое?

— Откуда это? — спросил Артём, не трогая жёлтые удивительные фрукты.

— Прикатились, — ответила Галина серьёзно.

Они были на кухне, Галя присела на стул, Артём стоял.

Недлинные, чуть ниже плеч, волосы она распустила и, когда разговаривала, иногда дула на падающие пряди или поправляла их рукой, быстро поглядывая на Артёма.

— Урчат, как голуби, — сказала она, кивнув на морских свинок, и тут же протянула Артёму апельсин: — Ешь. Умеешь?

Артём взял апельсин.

Он стоял босой — не надевать же ему было болотные сапоги!

Тем более что в Йодпроме топили, видимо, учёные нуждались в тепле для работы.

— У тебя что, нет другой обуви? — спросила она скорей заботливо, чем издевательски. — Почему ты в болотных сапогах всё время?.. И ты их так долго снимаешь.

Артём пожал плечами. Потом тихо сказал:

— Нет.

Она ещё раз посмотрела на него, чуть дольше, чем обычно, и сказала:

— Ладно, я поеду. Сторожи.

Артём тронулся было за ней, к выходу, но Галя остановила:

— Сиди тут, пока я не уеду. Не надо... провозжать. Потом закроешься.

Хлопнула дверь.

Он не выключал свет и долго сидел на кухне.

Морские свинки заснули.

Артём съел один апельсин; он был вкусный, но во рту, не менее сильный, чем апельсин, был вкус этой женщины — её кожи и пота.

У него не было ни радости, ни удивления, и не думать ни о чём получалось очень просто: если он ступал в себя, пытаясь найти хоть какое-то чувство, какую-то мысль, то ходил по себе, как по пустому дому, заглядывая в каждую комнату и ничего не находя, кроме тихого сквозняка.

Это был не плохой сквозняк и не страшная пустота, как будто хозяин तो ли переехал куда-то, то ли съехал оттуда навсегда. Но вот куда?

Ненадолго задремал под утро. Сон был такой, словно он всю ночь при страшном гомоне и мерцающих огнях делал какую-то удивительную и редкую работу, требовавшую не только сил, но и выносливости, и яростной радости... моряк в тропиках? Что-то такое. Во сне весь этот тропический гомон и всполохи огня, и птичий перещёлк непрерывно длились, кружились, взмывали в небеса.

Проснулся он от голосов учёных. Дверь-то он не закрыл за ней, тоже мне — сторож!

— Апельсины! — удивлялся кто-то. — Сторож питается апельсинами!

Артём поскорее вышел из своей каморки. Осип как раз, видимо, направлялся к нему: столкнулись лоб в лоб.

— Товарищи спрашивают, можно ли воспользоваться апельсиновыми корками, — мы будем добавлять их в чай при заваривании. Догадываюсь, что это... своеобразно.

— Конечно, — сказал Артём негромко, сам вспоминая, не осталось ли случаем ещё чего-нибудь.

К утру тепло в Йодпроме спало, было зябко, чуть болела голова.

— Откуда они у вас? — спросил Осип.

— Прикатились, — вернувшимся эхом повторил Артём.

Через пять минут он пошёл отсыпаться в свою келью.

По дороге в монастырь стало чуть лучше — задувал ветерок, вынося из головы кутерьму короткого сна, навевая, казалось бы, невозможную и, тем не менее, вполне ощутимую беззаботность.

Деревья стояли задумчивые: лето ведь на осень повернуло.

“Осень — хорошо”, — подумал Артём.

Мысль о Галине была сладкая, горькая, кислая — как щавель: тихо сводило челюсти.

“Галя... тоже хорошо”, — осторожно подумал Артём, внимательно следя, как отзовется его сознание на эти внутренне проговариваемые слова.

Сознание пульсировало.

“Тыклады должен был копать. А когда вернётся Эйхманис, тебя самого закопают, — почти уже весело думал Артём. — И никто искать не будет... А мама?”

Его несколько не печалили все эти мысли — только по той причине, что в этом лесу, в одиночестве, поверить в них было крайне сложно.

Он вдруг сообразил, что так и несёт в руке один апельсин, который забрал с кухни.

Начал счищать кожуру прямо зубами, попробовал было и её сжевать тоже, но нет — невкусно, горько. Зато апельсин — да, чудесный, спасибо, Галя.

От её имени, второй раз за утро мысленно повторённого, у него закружилась в голове, возникло желание крикнуть...

“Надо же, впереди тюрьма, и там действительно — Василий Петрович прав! — убивают людей... А тут тишина, иду один — свободен. Каково? Может, пойти ещё куда-нибудь?”

В лесу послышался шум.

Потом на дорогу вышли два красноармейца. Они закурили, встав возле большого чёрного валуна, время от времени посматривая на Артёма.

Когда он проходил мимо, красноармейцы уже забыли про него и о чём-то разговаривали, цедя злые, тяжёлые и горькие, как махорка, слова.

Неподалёку раздавался стук топоров и жуткий мат. Вроде бы кого-то били.

Артём прибавил хода.

На входе в монастырские ворота встретил Кучераву, тот вылутился — впрочем, мельком, — на Артёма: похоже, не узнал.

Артём даже потрогал своё лицо, погладил себя по бритой башке: может, что-то такое изменилось в нём, что он стал совсем иным.

По монастырскому двору ходили люди, но он не хотел с кем-либо столкнуться, и смотрел в булыжную тропку свою, и торопился.

В роте было пусто: все на работах — один Артём...

Он упал на свою лежанку лицом вниз, по-прежнему оглушённый всем с ним происходящим, и улыбался в материнскую подушку, никому на свете не видимый.

Через две минуты, а может, и через одну даже открылась дверь, он быстро оглянулся.

— Что, не закрывается? — спросила она. — Ну, да, нельзя же вам. Давай твои сапоги сюда положим...

Она быстро своими ножками сдвинула болотные сапоги к дверям и, на ходу с усилием снимая юбку, вернулась к лежанке Артёма.

Встала возле неё, одним коленом упираясь в край; на Гале остались коричневые сапоги на каблуках, с посеребрёнными застёжками.

Всё это было ужасно соблазнительно, до спазма в груди.

— Только быстро, — сказала она строго. — Ты умеешь быстро?

— Я не знаю, — ответил Артём, глядя на неё снизу вверх.

* * *

Прерывисто дыша и расширяя глаза, больно вцепившись ему в затылок, она вдруг назвала его “Тёмка” — одними губами, куда-то в висок, — но он услышал, как его имя толкнулось с её дыханием о его кожу...

Получилось так, словно бы, сказав ей, неожиданно для самого себя, “Галя” вчера ночью, он назвал первую часть пароля, а сейчас она произнесла отзыв.

Они назвали друг друга по именам — и только после этого немного научились говорить. По крайней мере, Артём.

Она стояла у дверей, глядя на него пьяными глазами.

— У тебя вода есть? — спросила.

— Нет... Вот в кувшине.

— Подай.

Артём подал.

— Бр-р, — смешно скривилась она и отдала кувшин обратно.

— Они иногда делают обход, — сказал Артём, кивнув на дверь.

— Ну, и что? — спросила она. — Вот я сделала обход, проверила... — и тихо, очень красиво засмеялась.

Оказывается, Артём никогда не слышал, как она смеётся. Он тихо улыбнулся, пытаясь своими грубыми неловкими губами повторить линию её губ.

— Ты за меня переживаешь или за себя? — спросила она, сразу став строгой.

— За тебя, — твёрдо ответил он, выбрав “ты” между “ты” и “вы”.

— А за себя?

Артём пожал плечами, не сводя с неё взгляда и получая пронзительное удовольствие от того, что мог смотреть ей в глаза.

— Ты можешь подумать, что он со мной сделает? — сказал он, улыбаясь, хотя улыбка была скорей выжидающей.

— Он тебя убьёт, — ответила Галя; в голосе её было что-то детское: так ребёнок говорит, что сейчас придёт папá и всех накажет.

Артём кивнул.

Галя вышла.

— Здра! — кто-то гаркнул тут же в коридоре.

Артёма едва не подбросило от этого крика.

С минуту он сидел, не шевелясь, потом, когда её строгие каблуки стихли, опять лёг.

Он лежал с бешеным сердцебиением, рот был сухой, глаза сухие, и в голове — словно сухой сквозняк просвистел.

“А если меня действительно расстреляют из-за неё? — думал он. — А за что? — Как за что? Сожительство с заключёнными из женбарака карается карцером, а тут... — А что тут? Про сотрудниц ИСО ничего нигде не сказано... — Ага, самому не смешно? Идиот!”

О начлагеря Артём старался не вспоминать. Сама фамилия “Эйхманис” звучала так, как взмах ножниц, которыми отрезают голову.

Пролежав ещё минуту, он почувствовал, что покрылся потом — мелким, будто лихорадочным.

“Нет-нет-нет, — успокоил он себя, — всё будет иначе: ей не захочется, чтоб я тут был, и она оформит мне амнистию — скотит срок вдвое или даже втрое... И я поеду домой”.

Потом он опять думал о ней: “С ума она сошла? Совсем она, что ли, сошла с ума?”

Всплыло слово “фантасмагория” — недавно его кто-то произносил...

А кто? Василий Петрович, вот кто.

Артём вскинулся: ведь Василий Петрович вчера приносил ягоды, а он их не доел. Где же они? Или доел? Или всё-таки оставил в келье?

На общем столике, ближе к лежанке Осипа валялся пустой кулёк: вот кто их доел.

“Ах, так”, — сказал Артём, благополучно забыв, что сам ещё вчера лакомился из запасов Осипа салом, вишней и черешней.

Выдвинул ящик с продуктами; там остались только крупы и варёные груши, остальное Осип, наверное, унёс с собой на работу, догадался Артём.

Груш не очень хотелось — снова хотелось сала или, на худой конец, сыра, в любом случае, чего-нибудь животного, имеющего отношение к плоти, крови, молоку.

— А у меня же были деньги! — вспомнил Артём, схватил материнскую подушку, куда их спрятал, прощупал пальцами: да, на месте.

“Сейчас пойду в ларёк... Куплю себе на все... Что там есть? Колбасы бы, ох... Хватит на колбасу?”

Чтоб выйти, надо было обуться; и опять эти чёртовы сапоги...

“А если мне Эйхманис велит сдать одежду? Он же наверняка велит. Положим, сменная рубаха и штаны у меня есть. Зато из обуви — только валенки. Придётся покупать. Может, не тратиться на колбасу? А то будешь босой, как леопард, бродить... Не в валенках же... Нет, ужасно хочется колбасы... Иду за колбасой, определённо. А если Ксива? Жабра? Шафербеков? Они обещали из тебя самого сделать колбасу... К чёрту, к чёрту. Надо срочно колбасы... Кстати, паёк мне положен или нет, у кого бы спросить?”

Артём спешил вниз, в сапогах ноги едва гнулись, и, едва выйдя из корпуса на улицу, увидел Митю Щелкачова.

Охнул от радости и тут же вперил в него взгляд: что, что, какую весть он принёс?

— Слава Богу! — воскликнул Митя, очень довольный. — А то ваш дневальный меня не пускает и за вами идти тоже не желает! А я вот... вещи принёс! Нам их привезли — форму и... Вот ваш мешок, держите. Вы куда делись? Мы так и не поняли.

— Не важно, не важно, — отмахнулся Артём. — Как... Фёдор Иванович?.. Эйхманис, он как — что-то сказал обо мне?

— Эйхманис! — довольно повторил Щелкачов. — А Эйхманиса-то и не было больше! Он как тебя отправил тогда, больше не появлялся. Говорят, в Кемь уехал.

— И что же вы делали?

— А ничего не делали, — засмеялся Щелкачов. — Слушали мат Горшкова. Здесь настолько любопытно ругаются, что я решил составить словарь брани...

Приняв мешок и глядявываясь в Митю, словно у того на лице имелось подтверждение всему им только что произнесённому, Артём чувствовал себя как дитя, вставшее после новогодней ночи засветло: побежало дитя босиком к ёлке, а там деревянный конь в яблоках — огромный, в половину настоящего, целая армия солдат трёх армий, не считая партизан, три бутылки лимонада, часы с подзаводом, сабля и ещё что-то, в ёлочной мишуре закопанное, страшно ещё и туда потянуться — сердце может разорваться.

— Митя, — сдавленным голосом сказал Артём, — подожди меня минутку. Сейчас я сниму эти... сапоги, переоденусь, и пойдём в “Розмаг” — не переносимо хочу тебя угостить чем-нибудь.

— Полноте, — махнул Щелкачов рукой. — Не стоит.

— Молчи, — велел Артём и бегом помчался назад.

Как же хорошо в своих ботинках, в своей рубахе: чувствуешь себя словно защищённым своим же собственным теплом, нагретым когда-то и удивительным образом не выветрившимся.

Колбасы не было, кончилась к вечеру, так что купили в “Розмаге” брынзы. Артём сказал: “На все!” — и на обратном пути, не обращая ни на кого внимания, начали есть.

Тут же подскокили леопарды, двое, Артём отломил — не жалко, — но велел: “Больше не подходите — пинка дам”. — “А я тебе в харю плюну!” — ответил леопард, а рот его уже был полон брынзой.

Артём захохотал, толкнул Митю — смешно, мол, но тот улыбнулся в меру, ему, видимо, было не так забавно.

В дворовой соловецкой сутолоке Артёма быстро различили Мишка и Блэк. Им тоже досталось прикорма и ласки. Только чайки мешали, оготело и неумолчно требуя своего.

Брынза была чудесная, мягкая, кислая, молочная — хоть плачь.

— Как там наши сарацины? — спрашивал Артём. Щелкачов секунду подумал и с удовольствием засмеялся, поняв, что речь идёт про Кабир-шаха и Курез-шаха.

Сзади Артёма ощутимо хлопнули по плечу.

“Блатные...” — ёкнуло у него в сердце.

А там был Борис Лукьянович.

— Артём! — они с искренним чувством обнялись. — Где вы? Как? Освободил вас начлагеря? Мне без вас немного сложно — мало кому можно довериться тут.

— Ой, да я хорошо, — улыбался Артём во всё лицо. — Хотите брынзы?.. Меня перевели на новую работу, но я спрошу, можно ли к вам, — отвечал он, хотя сам чувствовал, что привирает — от всей души, но привирает: какая, к бееу, спартакиада, когда у него такая... что?.. работа? жизнь? песнь?

Когда у него такая фантазмагория!..

— Да, да, спросите, — сказал Борис Лукьянович. — Тем более что паёк на вас все эти дни выписывали — я же не получил приказа о вашем переводе. Так что можете забрать вам причитающееся. А то что вы — брынзу! Хотя это вкусно, конечно, спасибо... Завтра получите сухпай, да?

Артём закрыл глаза, открыл, взял себя за ухо и так некоторое время шёл.

“Нет, не сплю”.

* * *

— Как ты меня назвал?

— Шарлатанка.

— Какое хорошее слово. Как леденец во рту, по зубам катается... Ещё как-нибудь назови.

— Шкица.

— Это что?

— Как шкет. Только дамочка.

— Шкица... Шкица. Тоже хорошо... А что ты не стал дела иметь с проституткой? Рубль ей отдал. И не стал. Дурачок.

Артём недолго молчал, рисуя пальцем не видимый ему самому узор на стене. Они лежали в темноте в его сторожевой каморке.

“Ей рубль, а вообще три”, — вспомнил он.

— Не стал, — сказал он, помолчав.

— Какой гордец, — тихо засмеялась она. — Теперь дождался своего?

Артём на мгновение перестал рисовать на стене: а вдруг она сейчас рассердится? Вторая его ладонь лежала поверх её руки, не сжимая, не пытаясь сплестись пальцами, просто — поверх. Их руки — это единственное, чем они соприкасались сейчас.

Артём попытался через свою ладонь почувствовать: как она — злится или просто шутит? задирает его? или сама себя злит нарочно?

Он ничего не ответил на всякий случай.

— Иди тогда чай мне приготовь, — велела Галя.

Артём смахнул со стены свои не существующие на самом деле рисунки и пошёл на кухню.

Странное дело: оставляя её на минуту, он сразу же терял всякую веру в реальность происходящего и тем более — в её человеческие и, дико сказать, женские чувства.

— Осип сделал термос. Сам, — доложил он, поспешно возвращаясь, — теперь у нас всегда есть кипяток.

Уйдя всего на две минуты, он успел испугаться: а как теперь её настроение? Не разошлось ли по швам, не обернулось ли чем-то невозможным и жутким? Артём неизменно чувствовал, что вероятность этого огромна: только моргни — и тут же не узнаешь мир вокруг себя.

Своим голосом, произнося в темноту комнаты слова, Артём словно пробовал, есть ли тут жизнь, и если есть — то какая она: тёплая, млекопитающая или холодная, вздорная и пожирающая людей целиком.

Так шарят дрожащим фонариком или шипящим факелом в подземелье, всякую минуту опасаясь увидеть такое, что поседеешь навек.

— Троянский? — переспросила она из темноты.

Артём и не понял поначалу, о чём это она.

— А? Да, Осип. Троянский.

Несколько часов назад Артём, с этим самым Осипом переругавшись, перетасил в свою комнату диванчик из того помещения, где учёные собирались сделать перекурочную.

“А где мои друзья будут курить, когда похолодает?” — разозлённо и чуть в нос спрашивал Троянский. “Стоя! Стоя надо курить!” — отвечал Артём негромко, двигая диван: ему никто не помогал; учёные вообще с каждым днём воспринимали его присутствие всё недовольнее.

Воспользоваться термосом Осип тоже не предлагал Артёму, но он и не спрашивал.

В качестве столика под чай Артём, снова отлучившись, принёс тумбочку, на которой велось записи о весе морских свинок и прочие наблюдения за их насыщенной жизнью.

Когда он вернулся во второй раз, Галя сидела совсем одетая, только с распущенными волосами, трогала рукой этот самый диванчик.

— Вшей тут нет у тебя? — спросила.

— А надо? — поинтересовался Артём с улыбкой.

Она не засмеялась.

— Я там пирог с навагой принесла. Давай поедим. Я сама ничего не ела весь день. Включи свет! Только окно... прикрой чем-нибудь.

Артём сделал всё, как велели.

Присел возле столика на колени — налил ей и себе по чашке.

Тем временем она потянулась за своей сумкой.

Сумка была не совсем женская — кожаная, военная, на ремне, — только небольшая и почти новая. Зато внутри имелся вполне дамский набор: пудра, помада, духи. Артём заметил это, когда она открыла сумку и начала там, в женской манере, что-то поспешно и чуть раздражённо перебирать: да где же?

Искала, видимо, расчёску, но не нашла, зато обнаружила другое.

— Смотри, какие у меня записки, — сказала.

— Кому? — спросил Артём, дуя на чай, хотя он был не такой уж и горячий.

— А никому. Лагерники пишут. Изъяли. Слушай. “Пойду к лепкому, и ты приходи. Без тебя таю как конфетка. Остаюсь до гроба твоя верная”. А? Вот это любовь. А вот слушай ещё, — она повибирала в сумочке, там было много, непонятно зачем она их носила при себе: “Вам из весная Галя хочет с вами знакомица”. Понял? Галя! Из! Весная! — она будто бы ожидала, что он засмеётся.

— Да, — очень серьёзно ответил Артём.

Она посмотрела на него секунду и, чего-то не найдя в его лице, выдохнула:

— Ну, ладно... — и убрала записки. — А с чем чай? Травой пахнет какой-то.

— Я туда еловые веточки добавляю, — сказал Артём, напряжённо разглядывая её: что-то происходило, и это надо было остановить.

— Правда? — спросила она и наклонилась к чашке. — Интересно... Не хочу такой. Поеду.

Она вдруг поднялась, подхватила сумку — сумка раскрылась, одна записка выпала, Галя её не заметила, обошла сидящего Артёма и поспешила к выходу.

Он тоже поднялся, пошёл следом, тоскливо понимая, что вот и всё, кажется, вот и конец, и что случится потом, никто не объяснит ему, но ничего хорошего, наверное, не будет.

Сейчас она уйдёт и — прощай, фарт необычайный.

А если он попытается, скажем, поцеловать её в щёку на прощание, то случится вообще что-то ужасное.

Хотя если он не выйдет её провожать, будет совсем плохо.

В общем, выбор невеликий и печальный.

— Галя из весная, — пояснил он тихо. — Я это понял так, что сделанная из весны.

Она остановилась, держась за косяк двери, и ещё раз посмотрела на него.

В прихожей было темно, и глаз её Артём не мог рассмотреть.

Тогда он добавил наугад:

— Ты.

* * *

Всё это было болезненно и невозможно, держалось на каких-то ветхих неразличимых нитях, которые — вздохнёшь — и оборвутся... но каким-то чудом продолжалось.

Он шагнул к ней, а ей некуда было деться — позади двери, впереди он.

Потом их куда-то на кухню занесло, они страшно напугали морских свинок: звери попрятались, люди уронили и чайник, и термос, всё вокруг было в кипячёной воде... пока не нашли себе места в каком-то новом углу, на старом кресле, искусили друг друга — так и помирились.

Артём не сразу пришёл в себя, рассудок ещё туманился и пропадал... Вот Артём, почти уже без рассудка, безрассудный, ощутил себя отчего-то поплавок, который вздрагивает, вздрагивает, вздрагивает и у него там, внизу, — рыба, она поймала его, или он поймал её, тут уж не поймёшь, и вот сейчас он должен эту рыбу извлечь на белый свет. Она вся сырая, золотистая, небывалая, жадная... Или его утянет на дно этот самый поплавок, и он там задохнётся совсем, и это чувство неразрешимости всё длилось и длилось, и длилось, и этот, и этот, чёрт его побори, поклёв всё продолжался, круги по воде шли всё чаще, всё жёстче, и вода одновременно становилась всё гуще, как олово, в этой воде не выживают, в этой воде гибнут навсегда, да, это точно, да, да...

А потом вдруг кто-то перевернул разом всю реку, вместе с отражённым в ней солнцем или звёздами, или рыбами, и всё полетело сверху, как из корыта: солнце, рыбы, звёзды.

Руки у неё были смуглые, в пушке. А грудь и... ещё одна часть тела — ослепительно-белые, как мороженое...

— Я хочу чай твой. С ёлками, — сказала она хрипло. Накричалась. И встать пока не могла — надо было, чтоб он первый сделал это.

Он поднялся, вышел и впервые куда увереннее почувствовал, что вернётся и теперь, наконец, всё будет хорошо. Теперь уже не может быть плохо. По крайней мере, сразу.

Термос, к общей радости, не разбился.

— А пирог-то, — крикнула она из комнаты, где, судя по голосу, одевалась. — Пирог забыл. Пирог неси!

Они пили чай, и Галя сказала:

— Спрашивай меня: почему ты. Я же должна объяснить.

— Я не имею права обращаться без разрешения, — ответил Артём.

Она засмеялась: тихо и тепло.

Отсмеялась и сказала:

— Ты ударил Сорокина. Я поняла, что тебя за это посадят в карцер и скоро убьют. Ты шёл к ИСО — весь такой юный, потный, я даже запах твой почувствовала, хотя как это возможно, с третьего этажа... И у меня всё. Сжалось всё.

Артём смотрел в чашку.

— Я тебя до этого видела, но ты был не такой. Когда вы там дрались перед Эйхманисом и его гостями, — фамилию “Эйхманис” она произнесла с каким-то особенным и, как Артёму показалось, мстительным чувством... но, может, только показалось? — там тебя было не жалко. И вообще всё было противно там. Только... ну, не важно.

Артём поднял глаза и очень тихо, бережно посмотрел на неё, чтоб не сбить этот тон, этот голос... Хотя сам подумал мельком: “Ещё как важно”.

— А, нет, я же тебя до этого вызывала. Когда ты валял дурака, а в конце сказал, что умеешь целоваться. Я подумала: “Сейчас вызову Ткачука, и ему выбьют все зубы. По крайней мере, передние, и сверху, и снизу... И будешь после этого целоваться”. Наглые твои глаза зелёные... крапчатые... — она вдруг посмотрела ему в глаза, словно проверяя.

Артём неслышно сглотнул слюну и ничего не стал думать о том, что слышит. “Ну, да, ну, вот так”, — к этой фразе можно свести то, что он почувствовал и по поводу Ткачука, и по поводу глаз.

— И потом мне нужно было тебя... взять на работу, — продолжила она. — Не потому что сексотов не хватает — здесь каждый пятый сексот, — а просто... Надо было. И ещё я разозлилась. Может быть, всего больше разозлилась оттого, что ты мне стал нравиться. Мне никогда не нравился ни один... здешний. Вы все для меня были... к примеру, как волки или лошади — другая природа.

Галя немного помолчала. Артёму показалось, что она поймала себя на своей неуместной искренности, но тут же махнула рукой: чего теперь? После всего вот этого? После кресла, которое едва не развалили на семь частей?

— Если б ты не полез ко мне — ничего бы не было, — с едва заметной, словно бы внутренней, в скулах спрятанной улыбкой сказала она. — Так и пошёл бы в карцер. Но ты точно угадал, когда надо... Все лезут, когда не надо. А когда надо — наоборот, не лезут... С одними приходится смиряться, других — тормошить. И то, и другое — неприятно. Ты взял и угадал — впервые. Не веришь? — спросила она неожиданно громко.

— Почему, почему? Верю, — сказал Артём. — Можно я пирог теперь буду есть?

Она снова засмеялась, на этот раз откинув голову, и он увидел её шею: голую, незащищённую. Смех у неё был такой, словно он был всегда чуть замороженным, а сейчас оттаял. И таким оттаявшим смехом она не смеялась очень давно. Весь день. Или месяц. Или всё лето. Всё время было не смешно ей, а тут вдруг стало смешно.

— Ешь, ешь, — сказала. — Я тоже хочу. Ты зверей покормил сегодня?
— Да, — сказал он, и сам не мог вспомнить, врёт или нет. — А зачем они здесь?

— Как зачем? — она ела пирог и запивала чаем, и стала совсем домашней и беззаботной. — Тут же биосад.

— Я знаю. А что это?

Галя закрутила головой — в том смысле, что смеяться уже устала, да и чай с пирогом мешают... но всё равно смешно.

— “Знаю. Что это?” — необходимо передразнила она Артёма. — Это Фёдор приказал. Эйхманис.

Странным образом теперь в его фамилию она вложила безусловно уважительное чувство.

— В мае... когда? Прошлый год или уже позапрошлый... очень давно. Всю северо-восточную часть острова объявили заповедником. Озёра, болота, лес, который нельзя вырубать, — всё вокруг вошло в заповедник.

— Зачем?

— Затем, что леса много порубили, и звери стали пропадать, а не хочется, чтоб остров был лысым и безжизненным. Фёдор заложил питомник лиственниц... потом ещё каких-то деревьев. И вот биосад появился. Фёдору надо оленей вырастить, этих ещё... морских свинок... ондатру хочет развести, чтоб прижилась; её к вам в озеро запустили — видел тут озеро рядом?... И тех, кто здесь был, и тех, кого не было никогда, — всё зверьё ему откуда-то привозят... — она снова крутанула головой: то ли волосы смахнула, то ли какую-то мысль, то ли всё это ей казалось забавным и ненужным, хотя не поймёшь, может, и наоборот: очень серьёзным и нужным.

— Тут сначала, когда лагерь организовали, шла охота с утра до вечера. Ногтев любил... Это начальник лагеря был до Фёдора, знаешь? А потом Фёдор запретил охоту... Он и чаек запретил истреблять, а я их сама перебила бы, голова раскалывается к вечеру, окно не открыть... Хотя сам Фёдор охотится иногда. Но только на тех зверей, которых много... Не то, что Ногтев. Тот вообще так и стрелял бы с утра до вечера.

— Вот политических расстреляли, мне говорили, когда Ногтев был... — сказал Артём, кусая пирог: он вообще что-то разнежился и обмяк.

Галя, напротив, перестала жевать и спросила тем, другим своим голосом, про который Артём скоропостижно забыл:

— Кто сказал?

Артём, полулежавший, сел, дожеввал пирог и только после этого ответил очень спокойно и как мог доброжелательно:

— Здесь все про это знают. Ни для кого не секрет.

Галя вздохнула.

“А о чём мне с тобой разговаривать? — быстро подумал Артём. — Я ничего не знаю, кроме лагеря. И, кажется, ты, Галя, тоже ничего не знаешь, кроме лагеря. Может, лучше будет, если ты спросишь меня, за что я отца убил? Или мне поинтересоваться, почему ты работаешь на Соловках, а не гуляешь по Красной площади под ручку с кем-нибудь во френче и в галифе?..”

Она задумчиво покусала нижнюю губу.

— В общем, слушай, — сказала. — Если тут про это все говорят, надо, чтоб кто-то знал, как было на самом деле... К ним было особое отношение — потому что это не уголовники и не каэры. Это да, революционные деятели, не понявшие большевистской правоты и в этом упорствующие... Но никому не надо было их расстреливать. Они сами этого добивались целый год. От Фёдора бы не добились. А от Ногтева добились. И то пришлось постараться. Они жили в Савватьево. Ни работ, ни охраны, полное самоуправление. Они там лекции читали друг другу, на фракции разбились... Межфракционная борьба, — Галя весьма едко усмехнулась, — ругались, мирились, чего только не было. Прогулки — круглые сутки, и днём, и ночью. Электричество там не гасло до утра. Семь часов свиданий в неделю! С Ногтевым не общались, орали на него: “Пошёл вон, палач!” — и он уходил. Фёдор тогда был его заместителем, он приходил вместо Ногтева, но с ним общались только старосты, остальные тоже... выказывали презрение... Единственные, кого политические

видели, — солдаты на вышках. Но солдатам Фёдор запретил общаться с политическими. Так они сами приходили к вышкам — поначалу редко, потом стали ежедневно, а потом и несколько раз на дню. Чего только не кричали, повторяя неприятно... Иначе как “бараны” к солдатам не обращались. А потом — тебе самому не дико? Здесь люди работают, и даже гибнут иногда, едят одну треску, — по крайней мере, одиннадцатая, двенадцатая и тринадцатая роты живут тяжело, я же знаю... А у этих диспуты — да и какие диспуты! — всё пустое, всё ссоры из-за каких-то закорючек... Тут вся земля вверх дном, а они...

Галя, похоже, снова успокоилась, и даже откусила пирога, и запила чаем, и, словно кстати, вспомнила:

— Ты знаешь, что у них паёк был выше красноармейского? Они ели лучше, чем те, кто их охраняет! Так им ещё и посылки слали, а красноармейцам — нет! Знаешь, сколько им посылок приходило: шесть тысяч пудов в год! И хоть бы один сухарь оттуда своровали! Никогда. Зато у красноармейцев не было цинги, а политические умудрились заболеть. Сказать, отчего? Оттого, что они валялись целыми днями, закисая от безделья... Знаешь, какие у них требования были? Чтоб каждую партию заключённых проверяли их старосты и решали, кто политический, а кто нет. Нет, ты подумай! Они что думают, во Франции или где там — в Финляндии — им такое позволили бы?... Старосты хамили Фёдору. Кричали, что мы доставим и предоставим всё, что им нужно, и даже втрое. Открыто хаяли советскую власть.

Галя допила чай и достала оттуда ёлочную веточку.

Кажется, она начала всё это рассказывать только потому, что ко всей этой истории имел отношение Эйхманис.

Артём, признаться, сам уже был не рад, что завёл об этом речь.

Но, с другой стороны, всё сказанное Галей было очень интересно — он смог бы теперь ответить Василию Петровичу!

И ещё вот что он заметил: саму Галю эта история волновала, и, рассказывая её, она словно бы хотела оправдать Эйхманиса — это чувствовалось.

— Потом пришло распоряжение из Москвы ограничить срок прогулок до шести часов, — продолжила она. — Фёдор распоряжение зачитал, один, без охраны зайдя к ним в скит — он всегда так ходил. А у них там, естественно, свои топоры, ножи... В распоряжении было написано: прогулки с девяти утра до шести вечера. Ведь можно нагуляться до шести вечера, если начнёте в девять утра, да? Тем более, если не работаешь? А они вот решили, что не нагуляются. Ну, и электричество в двенадцать ночи отключалось. Тоже по распоряжению Москвы... Политические отказались признавать эти требования.

Галя бросила веточку обратно в чашку: надоела.

— Окончательное решение принял Ногтев. Они же назло всё делали: им трижды объявили о необходимости разойтись. Но они нарочно ходили под фонарями. Кто-то дал команду, и началась стрельба, причём красноармейцы стреляли вверх. В толпу стреляли только трое, я знаю их всех, ногтевские сподручные: одного, Горшкова, перевели с глаз подальше на один остров тут, другого в Кемь... Остался Ткачук только. Если б все красноармейцы стреляли в толпу — перебили бы политических поголовно, это было нетрудно.

Галя подняла глаза и посмотрела на Артёма.

“Тут уже про Галю из веснуню не скажешь”, — подумал Артём, скорей весело, чем напуганно.

— А потом они, — вспомнила Галя, — устроили голодовку с требованием вывезти их на материк. Их и вывезли, пожалуйста. Только я не думаю, что там им будет лучше. Они здесь жили, как у Христа за пазухой. Всей работы — дров себе нарубить на отопление дома. И того не хотели! Себе самим заготовить дрова было ниже их достоинства. А жечь дрова, которые им другие заключённые нарубили, — нормально. Им хворост для варки пицци — и тот рубили, привозили, и они не гнушались! Оставалось только денщиков потребовать для конных прогулок по острову... Глупо это всё с их стороны, Тём.

...Раз “Тём”, то отчего б тогда совсем не расхрабриться: кажется, всё-таки можно.

— Говорят, что Ногтев несколько раз лично убивал одного или двух, сходящих с парохода, — сказал Артём, каждое слово произнося твёрдо, но будто бы вкрадчиво, словно оставляя себе возможность забрать любое из них назад в случае, если они вызовут раздражение.

Галя, словно донельзя уставшая, пожала плечами:

— Как ты себе это представляешь? Знаешь, как тут называют слухи? Параша! Очень гадкое и точное слово. Выстрелил, наверное, один раз в воздух. Убивал!.. Может, и убил кого-нибудь когда-нибудь. Я не знаю, и никто этого не видел — ты не верь. Если кто видел, он в соловецкую землю зарыт... Да и где теперь Ногтев? Он нехорошо закончит, помяни моё слово.

“А ты — хорошо, Галя?” — едва не спросил Артём.
Даже так: Галя.

* * *

После вечерней поверки в лагере он шёл в Йодпром.

Куковали кукушки вслед, но он не считал, сколько раз.

Так торопился, словно Галя уже ждала его там.

Даже дороги толком не замечал — она с каждым днём становилась всё короче и короче: рукой подать, две тысячи метров, смешно, в один разбег можно взять.

Потом ужасно злился на учёных — те никак не хотели собираться и расстаться со своими свиньями.

— Несите их в лагерь, в свои кельи и спите там в обнимку со своей морской поросятиной, — вслух бубнил Артём, запершись в своей каморке: душевное возбуждение его было столь велико, что он ничем не мог заниматься.

Сухпай получил, высыпал его на пол и теперь строил башню из луковиц и консервов. Луковицы падали. Брал в руку, припихивался к ним, они тоже пахли плотью, почвой, ядрёной жизнью.

Вконец озлившись на учёных, хотел уже запустить луковицей в стену, но остановил себя: вспомнил, как неделями ныл желудок от голода, и на запах прокисшей пшёнки текла слюна...

...Да, проходил тут случайно мимо больницы — почувствовал ужасный запах, даже пошатнулся, но через мгновение вспомнил: да это ж винегрет, который он ел и млеет от удовольствия, когда лежал там. Винегрет так пахнет!..

Резко поднялся, отправился к учёным.

Троянский чуть ли не на цыпочках выходил из кухни, прижав палец к губам:

— Тс-с! Они очень пугливые.

Артём хмыкнул.

Троянский сунул ему в руки листок — всё тот же, с именами свинок, чтоб Артём, наверное, всё-таки выгучил за ночь все имена наизусть или, как минимум, повторил.

— Рыжий, Чиганюшка, Чернявый, Желтица, Дочка и Мамашка, я помню, — сказал Артём.

— Нет, я там описал вкратце их приметы, вы ж не знаете, чем они отличаются, — сказал Осип. — А мы пробуем их называть исключительно по именам.

— А они вас? — спросил Артём.

Троянский не ответил — посчитал, наверное, что это плоская шутка.

В проём дверей Артём увидел, что свинки лежат на большом подоконнике, видимо, принимают солнечные ванны.

— Вы с ними побольше разговаривайте, — предложил Троянский.

— А как же, — ответил Артём. — Я им стихи читаю, пою колыбельные. Анекдоты рассказываю...

Троянский быстро посмотрел на Артёма.

— Приличные, — добавил Артём.

— Никогда не замечал у вас привычки кривляться.

Артём пожал плечами: ему было всё равно.

“Как бы дал по лбу...” — подумал он почти равнодушно.

“Ты уже Сорокину дал недавно”, — ответил он сам себе.

Учёные еле-еле ушли, с Артёмом традиционно не прощаясь. Он подождал ещё минуту: может, кто-то остался? Увлёкся производством мармелада из водорослей.

Нет, тишина.

— А свиньи-то что? — всполошился Артём. — Так и лежат на подоконнике? А как замёрзнут? Обвинят в халатности.

Он поспешил на кухню, с размаху раскрыв дверь, перепуганные свинки, хоть и были на полу, но загромождённо бросились друг к другу — напугались.

Им хотелось сбиться в одну кучу-малу, однако верхние совсем не хотели быть наверху и норовили забраться в самый низ, из-за чего у свинок ничего не получалось.

— А-а-а! — загомосил донельзя довольный Артём. — Страа-ашно!

Некоторое время он любовался на животную кутерьму и суету, потом тихо прикрыл дверь.

Подождал с минуту, пока там всё притихнет, потом заново всё повторил, получая от этого совершенно упоительное мальчишеское удовольствие.

— А чего спи-и-им! — закричал он, рванув на себя дверь: зверьё напугалось ещё пуще, куча-мала, как и в прошлый раз, не удавалась, страх был неумный, искренний, подвижный.

“Так и срок можно скоротать! — ликовал Артём, хохоча вслух. — Как бы только они не передохли от разрыва сердца все...”

Здесь он сам едва не получил удар, потому что наверху раздался визг и жуткое грохотанье.

— Лося, что ли, они завели и на чердак затащили! — выругался Артём, бросившись на шум.

Выбегая, успел заметить, что свинки в третий уже раз кинулись в одну кучу, всё с тем же, уже теряющим очарование глупым желанием каждой порсятину оказаться ниже всех.

На чердаке было ещё хуже: картина преступления проявилась немедленно.

Крупный рыжий кот сидел в кроличьем вольере и держал в зубах довольно большого крольчонка.

Тот был явно уже не жилец, едва пузырился тихой кроличьей кровью и предсмертно дрожал.

У кота были совершенно злодейские глаза.

Глаза эти яростно смотрели на Артёма.

В глазах, казалось, осмысленно живут две проникновенные мысли. Первая: “А ты ещё кто такой?”, — вторая: “Ох, не успею ни съесть, ни спрятать!”

— Да едрит твою мать! — в сердцах выругался Артём: так его дед ругался, московский купец третьей гильдии.

Кот сморгнул, но кролика не выпустил, а перехватил покрепче.

Теперь Артёму показалось, что кот согласен на переговоры, примерно такого толка: “Давай съедим напополам, раз так, чего орать-то...”

Остальные кролики в кромешном ужасе вжались в разные углы вольера, иные даже зажмурились. Кролики были чёрного и серого окраса.

— Я сейчас убью тебя, — уверенно пообещал Артём коту, озираясь в поиске того, чем это можно сделать.

Обнаружился железный совок, которым стребали кроличий помёт.

Завидев в руках человека совок, кот вмиг оставил тихую свою добычу — Артём было подумал, что эта хищная тварь бросится прямо на него, и даже успел слегка напугаться, — но коту был просто нужен чердачный лаз за спиной Артёма, который оставался открытым.

Скрежеща когтями и по-бойцовски взревев, кот рванул мимо Артёма; вслед ему полетел совок, но разве тут попадешь!

Артём бросился к бездыханному кролику, схватил его за шиворот и так и побежал за котом.

Торопиться, впрочем, было некуда: кот пропал.

— Куда ж ты делся? — громко спрашивал Артём, весь позеленевший от натуральной злобы. — И откуда ты взялся? Я ж тебя не видел ни разу! Иди, кролика доедай своего, что бросил-то. Иди, гад!

Трижды обошёл весь Йодпром — без результата. Все двери и окна были закрыты, чёрт знает, куда спряталась эта сволочь. Сдвинул диван, заглянул под все столы, тумбы и кресла, ещё раз побеспокоил морских свинок — тишина.

...Бездумно мерил шагами коридор, обращаясь куда-то в потолок на манер героя древнегреческой трагедии:

— И что я теперь буду делать? Как я объясню смерть моего подопечно-го животного? Ответь!

“Может, в лесу добыть зайца? Силки поставить и поймать? — всерьёз задумался Артём. — Кто у нас охотник? Василий Петрович вроде охотился. Может, он расскажет, как делают силки?.. Да нет, какой он, к чёрту, охотник, он же говорил, что никого убить не смог ни разу...”

“Или Бурцева попрошу? “Брат Бурцев, забудем прошлое! Поймай мне зайца! Век не забуду!” Должны тут длинноухие водиться ведь! Никто и не отличит. Пусть Осип придумает теорию, как в неволе домашние кролики постепенно превращаются в диких зайцев...”

— Или снять с кролика шкуру и натянуть на кота? — вслух предположил Артём. — Слышишь, гад? Натяну на тебя шкуру, будешь с длинными ушами ходить, подонок...

Вернулся ни с чем на кухню, открыл термос, плеснул себе чайку. Решил, что хоть свинок надо покормить — они были ужасно прожорливы.

Предложил им моркови и капусты — те не отказались.

— Что ж вы столько жрёте, сволочи? — спросил Артём, удивляясь.

Наверху вновь ожил кроличий питомник: уселись на свои велосипеды с квадратными колёсами и поехали туда-сюда то по кругу, то наискосок.

“О, — подумал Артём. — Одного сожрали, они три минуты побоялись и снова давай разыскивать, что тут можно погрызть... Всё как у нас на Соловках, никакой разницы”.

Кота Артём мысленно прозвал “Чекист”. Вылитый ведь.

— Кыс-кыс-кыс! — позвал Артём: может, отзовется на ласку.

“Убью хоть одного чекиста”, — сказал он себе.

Как же, так он и прибежит!

Чекисты в ласке не нуждаются.

Только чекистки... иногда.

Гали всё не было.

Кролик — чёрт бы с ним. С каждой минутой Артём всё явственней тосковал по Гале.

Старался отвлечься, вспоминал о чём ни попадя, но чувство к женщине находило, как проявиться. То вдруг в руках, в ладонях возникало навязчивое, как зуд, ощущение её тела — лопатки, шея, другого всякого, — и тогда Артём прятал руки в карманы, сжимал их в кулаки, чтоб зуд пропал. Тогда на губах чувствовался её вкус, её сладкий пот, мурашки на её шее, и Артём кусал свои губы и облизывался, как тот самый кот.

“Сгинь, Галя! — просил. — А то начну выть тут... Все звери передохнут от ужаса...”

Галя не покидала его.

Незаметно вновь подкрадывались мысли, тёплые и навязчивые.

“Почему, если проститутка в тот раз велела мне “быстро”, — это мерзость? — спрашивал себя Артём. — А если Галя... — он перехватывал воздуха, чтоб додумать, — если она спросила: “Ты можешь быстро?” — от этого заходится сердце? Почему? Ведь одно и то же?”

Он ловил себя на том, что он опять о Гале, о Гале, о Гале, и спешил далеко прочь, куда-нибудь на волю, в Москву, в Зарядье, в любой трактир с тарелками гороха на столах или в кинотеатр...

Представил вдруг так чётко и явственно, как сидит в кинотеатре, пронёс с собою бутылку пива, и на экране женщины (естественно, похожие на Галю) заламывают руки и раскрывают огромные чёрно-белые глаза, и беззвучно кричат...

...Вышел из кинотеатра, вознамерившись погулять. “Куда, куда, куда хочу идти? — скороговоркой спрашивал он себя. — Вот, к примеру, на Пречистенку — просто пошляться, там жил один дружок... Встречу его, он спросит: “Где был? Давно не видел, Тёма, тебя! — А на Соловках... Разве не знал?” — ответит Артём будто нехотя.

Про Соловки уже все знали года с 23-го. Сказать, что был на Соловках, — это красиво, в этом есть жуть и мрачное мужское достоинство.

Хотя... дружок начнёт спрашивать, за что посадили, — лучше не надо этого разговора.

“Тогда иначе, — мечтал Артём, — познакомлюсь с девушкой... Юной, в юбке, с колечком на мизинце. “Как ты жил?” — спросит она, глядя его отросшие уже волосы... — Многие было... Соловки были... Не спрашивай лучше...” — так Артём отвечал бы уставшим голосом, полузакрыв глаза.

Он поймал себя на том, что и сам сейчас лежит, глаза полузакрыв, и весь разнеженный, как будто ледяного пива попил на жаре.

Сел, засмеялся вслух над собой.

Встряхнул себя вопросом:

— А как же Галя? Какая ещё девушка с колечком, когда есть Галя? Может, вернёмся с ней, начнём вместе жить? А что? Родим детей. Они вырастут. “Папа и мама, — спросят однажды, — вы где познакомились? — А в тюрьме. Папа убил вашего дедушку и сел в тюрьму. А мама хотела посадить папу в карцер и тоже убить. Но потом раздумала и, вызвав его в свой кабинет, сказала “...Да где ж там у тебя?..” Как вам, дети, такая история?”

Артём снова засмеялся.

В дверь стучали. Это было совсем весело и очень многообещающе.

“Открывай, сирота, — велел он себе, — без креста и без хвоста!”

* * *

Артём заметил, что про Эйхманиса она могла говорить в любую минуту и с любого места, едва разговор его касался, но даже если и не касался — тоже.

Он мог выглянуть из-за всякого события, словно мир был полон его отражениями и отчётливыми следами.

— ...Он забыл про тебя уже, — говорила Галя, глядя в потолок, вроде бы успокаивая Артёма, но на самом деле в её словах слышалось некоторое пренебрежение: кто ты такой, чтоб тебя Фёдор помнил. — Для него не имеет значения: заключённый, нет. Не потому, что он вас считает за людей, — он никого не считает за людей. Поэтому он иногда кажется человечным — потому что ему всё равно. Здесь одни лагерники работают везде, он с ними и общается, а с кем же ещё ему общаться? Ты думаешь, ты один такой? Ой, тебя Эйхманис позвал к себе! Наверняка ведь так думал? Да ему просто скучно с этими красноармейскими скотами, а большинство из них — скоты! Если завтра всех красноармейцев посадили бы, а его бы назначили их перевоспитывать, в нём бы ничего не дрогнуло. Почему? Потому что Эйхманис куда больший скот, чем все вы, вместе взятые...

“По-моему, ты просто любишь его”, — подумал Артём, но смолчал: а какое ему дело!

— Если по правде, он ни с кем не хочет разговаривать, ему плевать, — цедила свою трудную и болезненную речь Галя. — Но он видел, как Троцкий вёл себя с людьми, и хочет быть похожим на него. Он работал с ним... Мы там и встретились впервые... — эту тему она тут же расхотела продолжать и разом подвела итог: — Но если ему понадобится тебя расстрелять, он даже глазом не моргнёт. Фёдор убил сотни людей.

Они сегодня ничего не делали друг с другом: Галя пришла какая-то необычная, не стала его целовать, и Артём, естественно, не решился к ней подступиться.

Легла на диван — сразу было видно, что устала, — а когда пошла речь про красноармейских скотов и про Троцкого, Артёма как озарило: она же пьяная.

Галя почувствовала, что он догадался.

— Водку будешь? — спросила.

Артём промолчал, глядя на Галину, — она и не ждала ответа. Всякий раз, уже запомнил он, в её сумке что-то было — без подарков Галя не приходила.

— Откуда такая водка? — удивился он, увидев извлечённую бутылку с разноцветной наклейкой: со времён нэпа он не видел ничего подобного, а потом ведь ещё был сухой закон, всё самое вкусное давно допили.

Галя насмешливо посмотрела на Артёма и ответила:

— Хорошая водка всегда в наличии для оперативно-следственных мероприятий.

Артём кивнул, хотя ничего не понял.

— На расстрелы... — пояснила она через минуту, так и не найдя стакана, который высматривала по комнате, поворачиваясь всей головой, как птицы смотрят.

Он сходил за кружкой.

Когда вернулся, Галя уже сидела на диване, чуть раскачиваясь.

— После расстрелов хочется выпить, — пояснила она, наливая, — это сложная мужская работа.

Артём втянул воздух носом, чувствуя отвратительный запах водки.

— И что теперь? — невятно спросил он, хотя она догадалась всё равно, про что вопрос.

— Насухую расстреляют. Водой запьют, — ответила Галина и неровным движением сунула ему кружку в руки, водка качнулась и лизнула руку. Ощущение было — как лёгкий ожог. Хотелось подуть туда.

Он выпил залпом.

Будто камень проглотил.

Он застрял где-то посреди грудной клетки.

— Эйхманис сегодня так хохотал, — вдруг вспомнила она, начав с какого-то места, на котором сама загнулась. — В административном отделе одна белогвардейская сволочь собралась, по его же собственному выбору. Теперь они назначают старших на разные участки работы. И знаешь, что придумали? Они должность дают по фамилии. Не понял? Ну, смотри. Счетовод — естественно, Серебренников. Из белогвардейцев. Зоологическая станция — Зверобоев. На электрофикации — Подтоков. Астрономическую обсерваторию затеяли — Медведицына поставили, а он только в бинокль умеет смотреть, — здесь Галя засмеялась, видно, что-то вспомнив. — Догадался, почему Медведицын? Я сама не сразу догадалась! Большая Медведица, созвездие. Эйх сразу раскусил — ему смешно!..

“Значит, “Эйх”?” — отметил про себя Артём.

— Есть ещё Дендрологический питомник! — вспомнила Галина. — Там работает Владимир Дендярев... То ещё жульё. Но, в отличие от Зверобоева с Медведицыным, хотя бы знает свою работу. И чувствует, что его ценят. Обнаглел до такой степени, что потребовал себе гужевого транспорт! Так Фёдор велел предоставить ему козла! Дендярев не отказался, и теперь ведёт козла до Никольских ворот, потом садится на него верхом и въезжает в монастырь. Дальше спешивается и передаёт поводья красноармейцу, а тот привязывает козла возле поста!..

Галя снова засмеялась, хотя смех её был злой и звучал так, словно она его, как водку, неопытно расплёскивала из себя.

Артёму отчего-то было совсем не смешно. Какая-то несмешная водка в горло попала, наверное.

— Он тут распустил всех, — говорила Галя со всё большим раздражением. — Этому козла — ладно. Селецкий, который руководит лесозаготовками, — бывший начальник царской тюрьмы, — сказал, что ему нужен револьвер. И заключённому выдали револьвер! Фёдор велел! Бурцев, которого перевели в ИСО из твоей роты, тоже захотел револьвер — и ему пожалуй-

ста! Осип твой потребовал мать — ему привезут. Ему без мамы неприятно сидеть в тюрьме! Ещё потребовал командировку на материк — его отправят скоро, без конвоя!.. Граков тут рассказывал... — начала она какую-то новую историю. Артём чуть дрогнул веком, но вида не подал; она осеклась, и тут же продолжила о другом: — Все спеццы из заключённых, что управляют заводами — кирпичным и прочими, — живут с женщинами: Фёдор разрешил гражданские браки. И ты думаешь, кто-нибудь ценит это, рассказывает на воле? “Я сидел на Соловках, мне дали временную жену, возможность гулять по острову, платили зарплату, которой мне хватало на то, чтоб покупать в ларьке лучшие папиросы, сладости к чаю и кормить собаку и кота, которые скрашивали мою жизнь в лагере”? Нет, никто про это не говорит! У всех настоящие жёны дома! Но все всё равно обижены! Все, уверена, расписывают свои крестные муки, вся страна уже знает про Соловки, детей Соловками пугают! Зато местные чекисты на Фёдора каждую неделю пишут доносы... И если б не его отношения с Глебом — Глеб Бокий, знаешь?.. — Фёдора бы самого сюда давно посадили.

Галя снова начала, по-птичьи поворачивая голову, что-то себе искать, и Артём догадался, что теперь и ей самой нужна посуда.

Снова сходил на кухню, вернулся с морковью, хлебом и двумя кружками: одна — с чаем, другая — пустая. Когда подходил к своей сторожевой комнатке, с удивлением услышал, что Галя продолжала разговаривать, словно и не заметила его отсутствия.

— Потому что вы все люди, а он — полубог, — заключила она и подняла пустые и чёрные глаза на Артёма.

— Бога же отменили, — сказал Артём, бережно раскладывая снедь и тихо расставляя кружки.

— Богов и не было никогда. Были только полубоги, — сказала Галя, выкладывая каждое слово отдельно и с паузой, чтоб они не слиплись в её захмелевшей гортани.

“Из двух полубогов, — отстранённо подумал Артём, — можно сделать одного бога. Ленин и Троцкий — раз, и готово... Хотя Троцкий, кажется, уже вырван из иконостаса — как зуб изо рта”.

Ему было тревожно.

“Лучше бы она ушла”, — думал он, глядя на Галю.

Галя налила водки и тут же опрокинула её в себя.

Артём подумал, что сейчас закашляется, но нет, она её проглотила и посидела с полминуты, закрыв глаза, без движения.

Он тоже не шевелился.

Потом выдохнула и только после этого будто бы проснулась.

Тихо, с трудом, раскрыла глаза, а тут Артём, Тёмка!

Галя улыбнулась.

Улыбка тоже была чужая и опасная.

— Правда, что в ротах молодых мальчиков пользуют? — вкрадчиво спросила Галя.

— Не знаю. Не видел, — сказал Артём, глядя на неё, только не в глаза смотрел, а в губы, которые странно потеряли свою форму и всё время неприятно кривились, словно зубы во рту нагрелись и обжигались.

— Правда, — сказала Галя уверенным шёпотом. — Используй меня. Я твой... как ты говорил? Шкет! Давай, как будто я здесь лежу на нарах... напуганный.

— Не надо, — попросил Артём очень тихо. — Мне не нравится. Ты не видела, как там. Не играй в это. Пожалуйста.

Ей было всё равно: губы её продолжали кривляться.

— Тогда я тебя использую, — сказала она.

Медленно сползла с дивана, со скрежетом отодвинула мешавший на пути к Артёму табурет — хлеб упал, морковь скатилась, кружки запрыгали, звеня боками...

И тут Галя очень искренне, совсем не пьяно завизжала, в её голосе был такой жуткий испуг, что Артём оцепенел.

Она смотрела куда-то за диван.

— Галя! Да что там? — крикнул он, вскакивая.

— Ты... — не находя воздуха, без голоса выдохнула она в ответ, видимо, едва-едва придя в себя. — Ты жрёшь сырое мясо?.. Ты рехнулся совсем, шакал?

Артём наконец увидел, в чём дело: сбоку от дивана лежал кролик, которого он где-то бросил, пока искал кота.

Ужас был в том, что кролик был наполовину сожран — у него, кажется, не было одной ноги и части живота, из которого свисали мелкие кроличьи кишки.

Артём схватил кролика за уши, кишки раскрутились ещё длиннее.

— Тварь, меня вырвет сейчас! — взвизнула Галя.

— Это не я! — заорал Артём. — Это Чекист сожрал!

— Какой чекист? — заорала в ответ Галя. — Я тебя застрелю сейчас, контрик! — она действительно полезла в кобуру, которой не было у неё на боку, и, заметив это, она пнула валявшуюся возле ноги кружку.

— Это кот! Замолчи, наконец! — гаркнул Артём вне себя, и в ту долю мгновения, когда они оба молчали, раздался грохот.

Стучали в дверь.

Опрометью Артём бросился к дверям, по дороге вспомнил про Галину: где она? С ней-то как? Прибежал назад — её уже нет... По дверям опять грохотали...

— Да ч-ч-чёрт! — выругался Артём и снова метнулся ко входу, открыл.

Там стояли двое из надзора. Впрочем, как сказать — стояли: держались друг за друга.

— Шакал! Где был? — спросил первый и толкнул Артёма в грудь.

Пахло от него погано, будто он водку закусывал лягушачьей икрой с болотным илом.

— Кроликов проверял на чердаке, — с ходу ответил Артём.

— Га! Я же тебе говорил, — сказал второй и тоже пихнул Артёма.

Они прошли туда, где горел свет, — Артём оставил, когда бегал за кружками, — но на кухне не нашли того, что искали.

— Тут, одни, бля, крысы водяные, — громко сказал красноармеец; “тут” он произнёс как “тыт”, а слово “водяные” вытянул изо рта так, словно оно было длинное и отвратительное, как червь.

— Где кролики, ты, хер? — позвали Артёма.

— Он же сказал: на чердаке, — вспомнил один красноармеец.

— Электричество включи, шакал, — велели Артёму. — Не видно ни ляда.

Артём подумал и включил.

— Вот так, бля! — обрадовались свету надзорные и, грохоча, полезли на чердак.

Артём стоял внизу.

На чердаке раздалось топотанье, мат-перемат, снова топотанье, кто-то, кажется, упал... потом хохот.

— Да хватит одного, — сказал красноармеец, спускаясь и отхаркиваясь.

Артём посторонился, чтоб не плюнули на него. Потом сделал ещё шаг назад, чтоб его снова не пихнули.

— Тут есть кто ещё? — спросил красноармеец, не глядя на Артёма.

— Нет, — сказал он.

— А бабы есть?

— Нет, — повторил Артём.

— На, раздай и пожарь, — сказал красноармеец, сунув Артёму кролика со сломанной шеей.

“На всю ночь тут останутся...” — лихорадочно думал Артём.

Появился второй красноармеец, последние ступени ему не дались, и он с грохотом их пересчитал.

Посидел на полу, потом кряхтя поднялся. Заметил кролика в руках Артёма, молча забрал, крикнув своему товарищу, пропавшему на кухне:

— На хрен ты ему дал? Мы с ним тут будем сидеть, что ли? Пошли в женбараке возьмём эту... Ляльку. Она и приготовит.

Артём стоял на месте, моля, чтоб всё это, наконец, завершилось.

Надзорные ещё три минуты что-то мычали на кухне и потом не прощаясь ушли, оставив все двери открытыми.

Артём медленно, боясь сглазить, двинулся следом, в дверях увидел огромную белую ночь, в её свете всё было, как голое; торопливо закрылся.

— Галя! — позвал тихо.

В сторожевой камерке её не оказалось. И в лаборатории — нет. И в других комнатах — тоже нет.

Наконец на кухне он отдернул штору и увидел её. Она сидела на подоконнике и гладила кота.

Кот мурчал, зажмурившись, но одним глазом всё-таки поглядывая на Артёма.

— Он и свинок хотел сожрать, — шепнула она, кивнув на кота.

“Красноармейцы прямо рядом с ней стояли”, — понял Артём; ему уже было почти смешно. Хорошо хоть шторы плотные, а если б нет?

Галя была совершенно протрезвевшая.

— Оцарапалась, — сказала она ясным голосом. — Тут гвоздь где-то, — и показала палец с пунцовою каплей.

Артём взял Галю за запястье и слизнул кровь, тут же вытер язык о горбушку руки и снова слизнул.

— Вода поёт. Как тетерев, — сказала она, прислушиваясь.

Это из крана подтекало и потом, с еле слышным журчаньем, струилось где-то под полами.

* * *

Про главное Артём с утра, когда запускал учёных, забыл.

Тем же вечером в Йодпроме Троянский встретил его с таким видом, как если бы ему всё открылось про Артёма самое ужасное, самое невозможное. И теперь Осип не знал, что с этим знанием делать.

— Не сообщил утром, простите, — быстрым извиняющимся шёпотом сказал Артём; отвёл Троянского в свою комнату и в ярких, впрочем, в основном надуманных подробностях рассказал про пьяных надзорных.

Приврал заодно, что те забрали не одного кролика, а двух.

— Вы должны написать бумагу об этом — на административную часть, — тут же сказал Осип. — Иначе с нас спросят.

— Вы что? — тихо ответил Артём. — Я не буду ничего писать. Они завтра придут и уже мне свернут голову.

— Вы разве трус? — спросил Осип, сплющив слово “трус” в губах до такой степени, что оно будто бы так и осталось висеть на губе, зацепившись последней буквой.

“Разве что вы дурак”, — подумал Артём, искренне скучая от глупого разговора и думая лишь о том, как бы побыстрее выпроводить этих чертей.

— Осип, а вы поинтересовались у товарища?.. — сказал, входя в комнату, ещё один учёный муж. У него в руках была кроличья голова с ушами, позвоночником и ещё какими-то шерстяными лохмотьями.

— Да, кстати, — всплеснул руками Осип. — А это что тогда?

Кролика Артём вчера выкинул вместе с котом в окно. Кот тут же принялся грызть мёртвую крольчатину. Артём был уверен, что никаких следов там не останется. Тем более что под окном были кусты — какого беса учёные мужи искали в этих кустах, непонятно.

“Хоть бы уши обглодал, чекистская сволочь”, — подумал Артём и, усмехнувшись, спросил:

— Вы хотите сказать, что я съел двух кроликов? Сырых? Вместе со шкурами? И у второго не доел голову?

— А вы хотите сказать, что это чекисты съели сырых кроликов? — спросил Осип.

Услышав про чекистов, второй учёный, покашливая, удалился. Кроличью голову он унёс, держа за уши.

— Они их не ели, они забрали их с собой, — терпеливо повторил Артём.
— Да, — саркастически скривился Осип. — А одному кролику оторвали голову и выбросили её в окно. Не можете мне описать в подробностях, как это выглядело?

— Я не наблюдал этого, Осип, я не знаю, — сказал Артём, глядя Осипу в глаза и очень жалея о том, что не чувствовал никаких сил к тому, чтоб ударить этого тонкого и саркастичного человека по лицу. Это совсем было бы подло — не Сорокин же, не Ксива с мокрой губой.

— Итак, — сказал Осип с таким видом, будто он стоял на кафедре. — Или вы пишете бумагу в административную часть, или мы сами будем вынуждены её написать.

— Сами, — добродушно предложил Артём. — Только проваливайте отсюда поскорей.

— Что значит “проваливайте”? — вскрикнул Осип. — Это вам тут нечего делать! А мы в город больше не пойдём. Слишком много времени уходит на это.

— В какой “город”? — не понял Артём.

— В монастырь, в кремль — туда, в эту тюрьму, — сказал Осип быстро. В проёме дверей снова появился учёный муж, на этот раз без кролика, но за его спиной отсвечивал мудрой плешивой головою третий.

— Вы не имеете права, уходите, — ещё раз повторил Артём, понимая, что вот теперь он окончательно глупо выглядит.

Учёные переглянулись и поочерёдно хмыкнули; возникло чувство, что они таким образом общаются друг с другом.

— Смотрите, что у него есть, друзья мои! — сказал один из учёных, указывая пальцем.

Все трое вперились во что-то обескураживающее.

Артём склонился, ожидая увидеть на этот раз наполовину объеденную морскую свинку.

Но нет, то была недопитая бутылка водки.

Учёные в голос засмеялись — только не Осип.

Он вышел, презрительно взмахнув полой своего халата.

Артём, себя не помня, кинулся за ними следом в их учёные покои, схватил первую попавшуюся колбу и запустил ею в стену.

Не сказать, чтобы учёный люд проявил готовность к немедленному поединку, даже своими превосходящими силами. Однако и страха в их глазах не читалось.

— Да он пьяный до сих пор, — сказал один из них.

— Завтра же на вас будет написано подробнейшее заявление, — глухо пообещал Артёму другой, сидевший к нему спиной и даже не обернувшийся.

Артём выбежал на улицу, хотел было немедленно отправиться в кремль, но тут же раздумал: надо же Галио встретить, всё рассказать ей!

“Где она обычно ждёт?” — решал Артём, озираясь; сердце колотилось, губы дрожали — всё было невозможно обидным и нелепым.

Вдруг он понял, что надо забраться на крышу — оттуда лучше видно.

Вернулся в здание и сразу отправился на чердак: промелькнула мысль передуть оставшихся кроликов и покидать вниз, учёным на радость...

Гали не было видно нигде.

Удивительно, но ещё пели птицы — в тихом вечернем свете, в нежнейшем тепле подступающей белой соловенцкой ночи, — и пение тоже было тихое и тёплое.

Подлетела куда-то совсем близко кукушка и несколько раз гукнула. Артём поискал глазами: ага, прямо на столб во дворе уселась — крупная какая птица! Он первый раз в своей жизни увидел кукушку.

Она тоже заметила Артёма и сразу сорвалась с места, быстро взмахивая большими крыльями.

Оказывается, сверху было видно море.

Море лежало недвижимое, словно неживое. В море виднелись каменистые островки. Артём долго смотрел в даль вод.

Сердце его успокаивалось.

Солнце садилось не вниз, как там, в России, — оно словно бы катилось ровно по горизонту и так закатывалось понемногу.

Вид у солнца был такой, словно оно плавится и отекает, как мороженое, и к тому моменту, как уйдёт за горизонт, ничего от него не останется. Завтра встанет вместо огромного солнца куцый, еле тёплый шарик, весь вклокоченный от стыда.

Говорят, что солнце здесь всходит и заходит почти на севере. Значит, север — там.

“...А если в келью Филиппа нам пойти? — размышлял Артём, примитив бревенчатую избушку в палисаднике. — Дедушка Филипп, пусть погрешит, мы тихо...”

Комары пропали совсем.

Облака были розовые и фиолетовые и пенились красиво и ароматно, как французское мыло.

Виднелось ещё озеро. На воде время от времени появлялись быстрые круги, наверное, это плавали те самые ондатры, которых завёз Эйхманис.

Если б не круги, озеро казалось бы недвижимым и твёрдым, как из стали. Заходящее солнце лизало эту сталь, как дети железо в морозное своё русское детство, но только к озеру язык солнца не прилипал.

“А меня ж этой работы лишат — чего я тут сторожу? — вдруг напугался Артём. — Учёных, что ли?.. А ещё донос их, ой...”

Надо было, чтобы скорей явилась Галя и разрешила его сомнения.

Артём искал глазами то здесь, то там, потом снова затихал, не дыша. Пока он на крыше — ничего не происходит и не произойдёт. Только кролики внизу колобродят.

Кто-то, услышал Артём, влез на чердак: “...Проверяют, не жру ли, мерцающая глазами в полутьме, ещё одного крольчонка...”

Он едва успокаивался, как снова начинало нудно тянуть под сердцем: отчего же ему никак не удаётся прожить в покое хотя бы неделю! Артём представлял себя как то ли зверя, то ли человека, ползущего вверх по скале: то один камень обвалится под ногой и ухнет вниз, то другой... То какая-то птица начинает кружить вокруг его печени, и ни рукой от неё не отмахнуться, ни плюнуть в неё...

Так остро он всё это почувствовал, что поймал себя на том, что держится руками за крышу изо всех сил.

И хорошо, что держался, — потому что вдруг увидел в лесу человека.

Минуту вглядывался — может, блазнится... Взмахнул рукой, но человек не ответил.

“Галя? Нет? Если Галя — почему с другой стороны от дороги? И в какой-то странной рубаше незнакомой...”

Артём, стараясь не очень шуметь, спустился вниз... Учёные, оказывается, все уже легли спать. Самый беспокойный из них, видимо, только что проверил кроликов и тоже улёгся.

Мимо колодца, через заборчик, забирая выше, Артём пошёл в лес, к тому месту, где видел человека.

“Галя, наверное, а кто же? Даже не буду здороваться, а сразу поцелую её”, — решил он.

В лесу было гораздо темнее, чем на крыше, но вроде бы он верно запомнил направление.

От неожиданности Артём издал совсем новый для себя звук: “Хак!” — вырвалось из него, как если бы выпала из глотки мелкая внутренняя кость.

Перед ним стоял мужчина, старик.

Быть может, старик.

Уже после Артём попытался вспомнить, какой он был, и воспоминание выглядело так, словно в краску белой ночи добавляли ещё краски, густой, мутно-белой, и ещё, и снова — пока весь образ не размывался.

Он не был голым — на нём была рубаша, а на ногах, кажется, штаны; а вот имелись ли ботинки, или лапти, или сапоги? Скорей, он казался вросшим в землю, как дерево — или что?

Ноги, наверное, утопали в траве.

Ростом он был с Артёма, борода — белёсая, как эта самая белая соловейская ночь. Глаз было не различить.

Он был очень худ, больше любого фитиля, но стоял твёрдо. Посоха у него не было в руках, он ни за что не держался.

— Кто ты? — выдохнул Артём, не дойдя нескольких шагов; но сам он не желал знать, кто это; он заговорил лишь затем, чтоб ощутить, что ещё не онемел от ужаса.

Артём разом весь, до поясицы покрылся потом и на полушаге, не дождавшись ответа, развернулся и побежал в сторону окон, где были люди — живые, домашние, человеческие люди.

Никто его не окликнул.

Уже к утру, после случайного, вздорного, недолгого сна Артёму стало казаться, что, когда он побежал, старик протянул руку, и в руке были ягоды. Но как он мог это увидеть?

* * *

Когда взошло солнце, всё вчерашнее стало нестрашным и каким-то, право слово, дурацким.

Артём сходил на это место, никаких следов, естественно, не нашёл; да и не искал особенно — ему нужно было срочно увидеть Галю.

“Может, она передумала?” — спрашивал он себя, взбивая ногой мох и траву.

“Передумала — что?” — отвечал себе.

Учёные ещё спали.

Чтоб не встречаться с ними, решил немедленно пойти, — как это теперь, оказывается, принято говорить, — в город.

Когда уже выходил, слышал писк морских свинок — они привыкли к утренней кормёжке; но возвращаться не стал — вот пусть учёные и кормят.

Какая-то птица провожала Артёма, перелетая с дерева на дерево.

Иван-чай, недавно застилавший всё вокруг, опадал, повсюду стояли кучи метёлки.

Зато ощутимо пахло грибами.

Навстречу шли люди, наверное, на утренние работы. Через минуту Артём с удивлением разглядел людей из своей прошлой роты — ощущение было не самое лучшее.

Показалось, что они сейчас все как один начнут на него указывать и орать: “А вот фило! А он отлынивает! А пусть на баланы вместе с нами!”

Едва не дрогнул: хотел уже развернуться и пойти в обратную сторону. Совсем глупо выглядело бы...

Его тоже признали: на лицах появилось что-то вроде оживления.

Артём вдруг понял, насколько он лучше выглядит, чем те, кто идёт ему навстречу. Они были, как выжатые, с почерневшими глазницами, со впавшими ртами — серое старичье.

Ксива тряс губой так, что, казалось, она раскачивается из стороны в сторону, будто кадило, и всё дёргал Шафербекова, идущего впереди, но тот не отвечал: он и сам хорошо видел Артёма.

Шафербеков раздумывал о чём-то, но решения придумать не мог.

Сивцев поглядывал на Артёма словно бы с надеждой: а вдруг скажет хорошую весть или даст пирога.

“И Самовар тут!” — удивился Артём присутствию здесь бывшего генеральского денщика, который верой и правдой начал служить Бурцеву, однако ушедший в ИСО новый его хозяин прислугу за собой не потащил — пережитки: так что иди-ка ты, дядя, на баланы, советские люди сами умеют начищать себе сапоги.

“Здороваться, нет?” — пытался решить Артём; тем временем сблизились, Артём кивнул Сивцеву; денщик, не здороваясь, пронёс мимо своё самоварное лицо. “Старый дурак”, — посмеялся Артём, не спуская, впрочем, глаз с губы Ксивы и сизой щеки Шафербекова.

Благо наряд сопровождали десятник и два красноармейца, а то ещё неизвестно, как бы всё обернулось...

С каждым шагом, как слепая ископаемая черепаха, подползал навстречу Артёму монашьярь.

Но когда он оказался ближе, впечатление стало немного другим: он увидел красные кремлёвские купола, обитые золотом, и если сощуриться, возникало такое чувство, что солнце тёплыми волнами стекает по красной жести.

“Надо бы Афанасьеву про это сказать, может, пригодится”, — взял себе на заметку Артём.

Он шёл к воротам широким кругом, так, чтоб увидеть здание, где жила Галя, — возле монастыря, в общей для всех чекистов бывшей Петроградской гостинице, на втором этаже. Артём проходил мимо этого дома несколько раз, но окон её не знал. Зато знал многое другое, и это знание было головокружительным.

— Ваш пропуск, — спросил красноармеец.

— Наш пропуск, — ответил Артём, подавая бумагу. Красноармейцу такой тон не понравился, но что поделаешь, казённую бумагу не съешь.

Вот она, зелёная стрела Преображенского собора. Афанасьев говорил, что этот собор весёлый, лёгкий, будто даже смешливый. Ещё он говорил, что купола его полны киселём.

“Если Гале про это сказать? Поймёт она?” — задавался вопросом Артём.

Бывший соловецкий митрополит колол дрова для рабочих кухонь.

Раздался осипший сигнал — это пришла “Нева”, Артём помнил голос этой посуды ещё с тех пор, как грузил бочки с треской на причале.

“Вот разве что поесть я хочу”, — понял Артём, глядя на митрополита и слушая “Неву”.

Он же получил продуктовый паёк, как помощник Бориса Лукьяновича, там было чем поживиться.

“А прежняя рота твоя ворочает баланы в холодной воде, — сказал себе Артём, и сам же себе ответил: — И что мне? Сгореть со стыда? Я тоже ворочал”.

Чуть запоздавший, вёл свою группу Василий Петрович.

Тут Артём уже встал на дороге — не обойти: ему хотелось начать утро с того, чтоб его простили, тогда и день обещал удалиться.

Василий Петрович мотнул головой, тронул кепку, было видно, что он сердится по-прежнему, но что ж теперь — обходить этого бритого загорелого подлеца?

— Я на минутку, на минутку, — сказал Артём, приобняв Василия Петровича, говоря негромко и быстро. — Я не знаю, как часто ваши Афинские вечера собираются, Василий Петрович, и о чём вы там говорите, но я там видел Гракова... Вы будьте в его присутствии чуть внимательней, ладно? А то он пересказывает ваши разговоры кому попало.

Василий Петрович, так ничего Артёму и не сказавший, строго кивнул, сжал Артёму локоть и поспешил обратно к своей ягодной команде.

“А ведь я мог бы до сих пор ягоды собирать! — вспомнил Артём, глядя им вслед. — Василий Петрович уговаривал ведь... Хорошо было бы? И не случилось бы того, что случилось. Что ты, Артём, выбираешь?”

Выбор его был понятен, однако на данный момент недоступен.

Он так и не пошёл есть: а вдруг Галя появится и уйдёт по своим делам, уедет в Кемь или в Москву, и с концами? Эта шарлатанка, этот шкет, эта... У Артёма снова захолонуло сердце, и на мгновение чёрная рассыпчатая, трепещущая многими крыльями стрекоза появилась в глазах.

“Да что ж с тобой такое...” — едва ли не вслух засмеялся он. По уму, надо было бы давно убраться со двора, но Артём нарочно бродил под окнами ИСО: “Может, заберут, — поёживаясь, думал он. — Или самому пойти с повинной... Товарищ красноармеец, я съел двух кроликов на вверенном мне объекте, требую отвести меня в кабинет к Галине, она меня накажет”.

“Заберут сейчас, да не туда, — узнаешь...” — одёргивал себя Артём в который раз, и сам себя не слушался.

На дворе было довольно многолюдно, но все торопились по своим делам, никто не шлеялся без смысла и заботы.

Прошли трое красноармейцев, не глядя на Артёма. Он подумал, что и красноармейцы, и блатные всегда казались ему на одно лицо, как китайцы. Блатные — грязные, как обмылки, со сточенными зубами; красноармейцы — со своими собачьими лицами и вдавленными глазами. Как их было отличить? Проще было одну чайку отличить от другой.

Каждая пролетавшая мимо чайка старалась как можно громче проорать в ухо. С утра они всегда были голодные и злые. Эти твари за последнее время вовсе разучились охотиться и питались исключительно на помойках или возле кухни. А ещё промышляли воровством или открытым грабежом. Натуральное древнее, до Екатерины ещё, казачество!..

Блэк с Мишкой сделали круг за Артёмом, потом отстали: от него пахло солнцем, дураком, желанием, но не едой.

“Ой, а я знаю этого человека...” — угадал Артём.

Он заметил Виоляра, бывшего мексиканского консула, про которого рассказывал Василий Петрович. Виоляр поехал к родне своей жены в Тифлис и оттуда вместе с любимой угодил на Соловки.

Виоляр тоже никуда не спешил, но чего-то ждал, находясь в состоянии явственного душевного волнения. Он стоял на углу ближайшего здания, переступая с ноги на ногу и томясь.

“Может, он тоже Галю ждёт?” — посмеялся Артём, тут же ощутив свою шутку, как лёгкий удар под дых: нет, это было вовсе не смешно.

“Сейчас женбарак поведут, дурачина”, — пояснил себе он, и в подтверждение его догадки появился строй женщин, направлявшихся на общие работы: “На торф, скорей всего”, — прикинул Артём.

В ближайшем к Виоляру ряду шла высокая тонкая женщина, вид её был горд и подбородок высок, но глаза источали такую тоску, что сердце защемило.

Поразительно, но женский строй, обычно матерящийся много хуже мужичья, при виде Виоляра стих, кажется, все знали, что у *них* свидание, и мешать не хотели. Они даже чуть тише пошли — все, включая конвоиров.

Виоляр держался за каменный угол, перебирая тонкими пальцами, и улыбался... Пожалуй, можно было бы сказать: улыбался изо всех сил. Если бы строй шёл мимо него на минуту больше, лицо Виоляра, наверное, вдруг лопнуло бы резкой, поперёк, трещиной...

Но едва строй прошёл, Виоляр вдруг собрался и, несколько даже облегчённо вздохнув, отправился по своим делам: кажется, он работал где-то при “Розмаге”.

Зато Артёму стало ещё муторней.

— Вижу тебя, вижу, — негромко произнёс женский голос у него за спиной. — Стоишь, как глупый. Ты бы ещё рукой мне начал размахивать: “Я тут, эй!”

Голос был очень довольный.

Артём не оглядывался, чтоб не спугнуть это чудо. Внутри у него словно вспорхнула стая мелких птиц.

— В Преображенский собор иди, на самую крышу, где погорелые окна. Скажи, что у тебя наряд там... мусор разгрести. Вот ключ, в кармане у тебя, а то там замок. По крытой галерее иди, а не через роты.

* * *

— “Спасайте — не спасайте, ведь жизнь мне не мила, а лучше приведите, в кого я влюблена...” — негромко и лукаво пропела Галя, отряхивая юбку и свои колени.

Она сегодня была, как приручённая.

Артём ни слова не говорил, только смотрел.

Он и подумать не мог, что она в него влюблена, — с чего бы это? Но не огорчался: подумаешь, влюблена в кого-то, а поёт всё равно здесь, мне.

И если бы только пела, люди добрые...

— Тут ведь не смотри, что всё выгорело, — была церковь, ты понял? — сказала Галя.

Артём кивнул.

— Ты всё понимаешь, — согласилась Галя.

Свет здесь был неявный, пыльный, пахло горелым хламом, и Галя всматривалась в Артёма с таким видом, словно собиралась забрать его отсюда и отнести к себе домой.

На стенах ещё сохранились росписи: то одним, то другим глазом смотрел из разных углов Христос, клоками торчали бороды, отчётливо была видна розовая пяточка младенца.

— Есть люди, у которых мысли — желания, а желания — мысли, — сказала Галя. — А у тебя ни желаний, ни мыслей. Твои мысли — твои поступки. Но и поступки твои все случайные. Тебя несёт ветром по дороге. Ты думаешь, он тебя вынесет, но если он тебя вынесет куда-нибудь не туда?

Артём пожал плечами, чуть улыбаясь.

— Твоё понимание живёт отдельно от тебя, — сказала Галя. — Ты никаких усилий не делаешь и обычно не знаешь о том, что понимаешь. Но если тебя спросить — ты начнёшь отвечать, и вдруг окажется, что ты опять всё понимаешь.

Артём снова улыбнулся — ему было очень приятно всё, что она говорила; только он иногда прислушивался, не ползет ли кто-нибудь на чердак.

— Как же ты такой радостный сюда попал? — спросила Галя даже не его, а себя. Артём и не отвечал, хотя подумал: “Сюда много кто попал...”. — Тебе бы место... у моря, чтоб ты нырял, а барышни пугались, не утонул ли. “Вот я тут и ныряю”, — хотел ответить Артём, но снова не стал.

— Только твоё понимание для твоей радости лишнее, поэтому ты не думаешь ни о чём, — заключила Галя, ещё раз всмотревшись в него. — Я всё никак не решу: объяснить тебе хоть что-нибудь или оставить тебя в твоём чудесном полубытии?

Артём, чуть закусив нижнюю губу, смотрел на неё. У Гали по шее стекла капля пота.

Она вдруг зажурилась и чихнула, и сразу после этого засмеялась.

Артём в который раз прислушался: не идёт ли кто сюда.

— Кровля собора, — сказала Галя, подняв указательный палец вверх, — была шашечная: когда начало гореть, шашки ветром бросало до Святого озера! Верста, наверное! Говорят, было очень красиво... Когда сюда пятьсот лет назад приплыли монахи, тут был зелёный луг. А когда сюда пять лет назад пришли мы, — пожарнице.

“И они построили храм, а вы — тюрьму”, — подумал Артём отстранённо, даже добродушно, безо всякой обиды на свою судьбу.

— А я знаю, что ты подумал, — сказала Галя.

Артём был уверен, что не знает, но всё равно немного испугался: “Опять сейчас начнётся”, — подумал он неопределённо.

— Эйхманис говорил: тут всегда была тюрьма, — примирительно сказал Артём на всякий случай: а вдруг всё-таки знает?

— А чего это ты про Эйхманиса разволновался? — с ходу спросила Галя, как ждала.

— Почему? — искренне удивился Артём. — Я не разволновался.

— Всё время вспоминаешь про него.

“Это не я вспоминаю, это ты сама вспоминаешь”, — так и рвалось с языка у Артёма, но он заткнулся, не стал об этом.

— При царях — ладно, — не слушая его, торопилась Галя. — Знаешь, кто тут сделал новую тюрьму? После революции? “Союзники” — белогвардейские товарищи: они сюда сослали представителей Временного управления из Архангельска, те показались им слишком “красными”. А?

Артёму было почти всё равно, но ей, очевидно, нет.

— Теперь тут обижают семь тысяч человек, — говорила Галя о том, что, видимо, давно хотела сказать. — А до сих пор тысячу лет секли всю Россию! Мужика — секли и секли! — Артём поёжился: их точно сейчас ус-

лышат, как она всё это объяснит? Что читает лекцию заключённому Горяинову? — Всего пять лет прошло, но кому сейчас придёт в голову отвести взрослого человека на конюшню, снять с него штаны и по заднице бить кнутом? — почти уже кричала Галя. — Ты не думал об этом? Как быстро все про всё забыли!

— Зато здесь бьют дрынком по голове, — сказал Артём глухо: это самое малое, что он мог сказать.

— И что? — спросила Галя с вызовом, сузив бешеные глаза.

— Мне казалось, что так не должно быть при новой власти, — сказал Артём, ни о чём не думая: а с чего ему было молчать теперь?

— Не так складось, як казалось! — чьими-то чужими словами выкрикнула Галя, лицо её было яростным и неприятным, она привстала с таким видом, словно хотела ударить Артёма по лицу, расцарапать ему щёки и глаза до крови, чтоб ему было больно, больно, больно — большее, чем ей.

Артём тоже встал. Она крикнула: “Ты!..” — хотела, наверное, добавить обычное здесь “...шакал!”, но не стала. Ногами они растревожили пыль, стало противно дышать. “Тварь!” — наконец, придумала она и ударила его даже не кулаком, а будто бы когтями в грудь, под левое плечо. “Прекрати!” — тоже почти выкрикнул он, схватил её за руку, рванул к себе. Он явно был сильнее неё, но она тоже оказалась цепкой, сначала упиралась, потом вдруг со злобой и всерьёз вцепилась зубами ему в кисть руки. Артёму некуда было деться: не орать же! Он зажмурился, стиснул челюсти, терпел — было действительно больно, и сразу потекла кровь по руке, — прокусила ведь, ты посмотри...

Галя отпрянула, он тут же перехватил своё запястье рукой, зажал рану.

Она стояла с сияющими глазами: что? понял? ты же всё понимаешь! Ну, так понял ещё раз?

Крови у неё на губах почему-то не было.

Артём дышал через нос.

— Испакостил меня, ещё и ведёт контрреволюционные разговоры, — сказала Галя прочувствованно, будто бы свершив месть.

Артём ещё почти минуту смотрел на неё молча, потом засмеялся: это было смешно — про разговоры.

Она тоже попыталась засмеяться и вдруг заплакала. Артём впервые видел её слёзы и испугался.

— Галя, — позвал он и приобнял её, ожидая, что она оттолкнёт его, но она не оттолкнула. Но и не приникла. Плакала негромко, не жалостливо, но уверенно, словно ей надо было выплакаться немедленно.

Он попытался повернуть её лицом к себе, и она, наконец, поддалась, повернулась.

Вдруг он сказал ей прямо в пахнувший его кровью рот:

— Я люблю тебя.

Она услышала, но вела себя так, словно ничего не произошло.

Чуть отстранилась, руками вытерла лицо; оно было не раздражённое, но и не приручённое уже, а просто лицо.

— Для женщины надо хлопотать, голуба, — сказала она, не глядя на Артёма и чуть разглаживая заплаканные веки и растирая щёки. — Ты, кстати, помнишь, что тебя могут расстрелять в любой день? И как мне быть? Когда я хочу платок с разводами, бретки с резинками и пудру “Лебяжий пух”?

— Ты похлопочи, — сказал Артём тихо с ударением на “ты”. — А потом вся твоя жизнь будет, как лебяжий пух.

— Я похлопотала. Сторожем должен был идти ваш владычка Иоанн, а пошёл ты. А батюшка больницу сторожит и двор возле неё метёт.

— Выпусти меня — я буду хлопотать, как последний раб, — повторил Артём.

— Выпущу, — вдруг просто ответила она, и тут же: — В театр идём завтра? Премьера.

И, не дожидаясь ответа, взяла сумку и направилась к выходу.

— Галя. Работать мне где? — спросил Артём, чувствуя себя мелко и стыдно.

— Ты сторож? Вот и сторожи. На тебе ответственность, — ответила она, не оглядываясь, и, выйдя, быстро начала спускаться вниз по лестнице.

Через несколько минут Артём шагнул следом. У дверей, когда закрывал чердак, его едва не хватил удар: на полу возле входа, полуголый, сидел беспризорник, леопард, хлопал глазами, ничего уже от голода и одичания не боясь. Среди всех эти погорелых росписей и прокопчённых святых он выглядел, как натуральный малолетний чёрт.

— Брысь, чтоб тебя! — с перепугу выругался Артём, чуть не выронив ключ.

Тот даже не двинулся, набрал в рот соплей погуще и сплюнул.

Чего ему было надо — неясно. Подслушивал, нет? Тут такое происходило!..

Артём уходил с опаской, торопясь: вдруг да бросится на спину этот чертяка.

Отпустило, едва увидел взрослых лагерников при свете: блатарей, доходяг, шваль человеческую — все свои, хорошо.

— Прибрался, матери твоей бис? — спросил внизу дневальный.

— Иди, проверяй, — ответил Артём через плечо. — Чистота, как в детской.

Он вышел на улицу, поднял голову.

Два окна в погорелом соборе.

* * *

Они встретились глазами, когда он входил в зал. Место Артёма было ровно перед Галей, в третьем ряду.

“Она нарочно так, — догадался Артём. — Чтоб я думал про неё весь спектакль”.

В последний миг перед тем, как сесть, Артём поднял глаза и увидел в невысокой боковой ложе Эйхманиса. К счастью, тот разговаривал с кем-то и Артёма не заметил.

Артём поскорее уселся, чувствуя, как голова гудит от прилива крови. Не без труда справился он с желанием сползти под ряды и там затаиться.

Галя тем временем не унималась. Ей нужно было кого-то окликнуть, сидя ей это показалось неудобным, и она встала, при этом задев затылок Артёма бедром.

Пожалуй, это было приятно, но не пред глазами Эйхманиса. Артём чуть наклонил голову, чтоб дать Гале покрутиться вволю, но едва разогнулся и сел прямо, тут же почувствовал её руку у себя на плече, причём мизинцем она дважды быстро пощекотала его шею. Перегнувшись через Артёма, Галя сказала кому-то, сидящему впереди него:

— Френкель, вас Эйхманис ищет, идите к нему в ложу, — и только после этого убрала руку.

Человек, которого искал Эйхманис, быстро поднялся, обернувшись, едва кивнул Гале, осмотрел Артёма — как раз в то мгновение, когда Галина рука сползала с его плеча, — руку эту заметил, но сделал вид, что ничего не видел, отвернулся в сторону и, прося прощения, двинулся к началу ряда.

Он был невысок и малоприметен, но что-то в его движениях, в его крепко сжатых, чуть влажных губах выдавало человека жуткой, упрямой воли.

— Нафталий Аронич, — услышал Артём голос Эйхманиса, — иди сюда, надо быстро переговорить.

Френкель поднял голову, сдержанно улыбнулся и снова кивнул, но чуть иначе, на военный манер.

Одновременно с Френкелем вдоль первого ряда неспешно шёл Моисей Соломонович. Он давно уже высмотрел Артёма и с необычайной приветливостью махнул ему рукою. Здравовался он, впрочем, почти со всеми, на самые разные лады, словно его приветствия были сувенирами из лавки: каждому доставался свой.

— “Мара, Мара, что я буду делать, когда погонят на остров Соловки! Ты здесь будешь вдоволь наслаждаться, а я погибну, сгину от тоски...” — перездоровавшись вроде бы со всеми, красиво пропел Моисей Соломонович. Артём был почти уверен, что это сделано и для него тоже, чтобы показать, насколько соседствовавший с ним горемыка освоился теперь: может пропеть сомнительную песенку на глазах у чекистов, и ничего ему за это не будет.

Френкель, увидел Артёма, быстрым взглядом окинул Моисея Соломоновича, и во взгляде этом была неприязнь, но настолько мгновенная, что едва ли кто-то ещё заметил это.

Зал быстро собирался, рассчитан он был человек на пятьсот.

Артём случайно заметил усевшихся рядом Виоляра и его жену: сцепившись руками, они смотрели прямо перед собой, ничего, похоже, не видя и не слыша.

Все сидели вперемешку — красноармейцы и заключённые; самое высокое начальство, впрочем, располагалось в двух боковых ложах, а первые ряды были густо усеяны сотрудниками администрации и управленцами.

Из рот, что гоняли на общие работы, поблизости не было никого — зато через три места от Артёма трогал большим пальцем щёку Бурцев: “Хорошо выбрит, нет?” — да возле него с обеих сторон, едва не в половину ряда, располагалась всякая, как Артём мысленно определил, погань из Информационно-следственного отдела.

“Наверное, Бурцев захочет понять, как я здесь оказался”, — подумал Артём без особого удовольствия. Лучше бы Галя посадила его в самый дальний угол.

Галя могла бы усестись и на первый ряд, но оттуда, осенило Артёма, ей нельзя было бы видеть Эйхманиса.

И, может быть, его, Артёма.

Или ей хотелось видеть их обоих сразу.

Сам Артём разглядывал серый занавес с белой чайкой. В лагере всё было в этих чайках, он так давно с ними свыкся, что только когда занавес начали раздвигать, вспомнил: такая же чайка была символом Московского художественного театра.

Первые минуты действия он вообще не понимал, что происходит: Галя за плечом, Бурцев неподалёку, Эйхманис слева... Артём несколько раз скопился туда, в начальственную ложу, и увидел, что Френкель так и не ушёл — остался сидеть возле начлагеря. Как-то он видел этого Френкеля на построениях — обычный заключённый, чего он там расселся в ложе?

По сцене туда и сюда бегали заламывающие руки девушки, судя по всему, дочери купца, который сидел по центру и так раздражённо расчёсывал руку бороду, что, казалось, она сейчас отвалится.

Тем более что в бороде был Шлабуковский, в обычное время её не носивший.

Голос, в отличие от бороды, у Шлабуковского оказался собственный, и непомерный: хватило б и на два зала — он даже шептал так, что его отчётливо было слышно.

Ещё Артёма удивило то, что сидевшие вокруг него и особенно позади не просто следили за действием, но всякую двусмысленную реплику воспринимали двояко.

— На что ты рассчитываешь, скажи на милость? — спросил купец у появившегося на сцене молодого человека.

Помимо четырёх дочерей, у купца оказалось ещё и два сына — первым предстал зрителям младший.

— Предоставьте мне свободу спать, гулять и есть, когда я хочу! — воскликнул сын, полубернувшись к залу, и услышал в ответ хохот и одобряющий гул.

Артём чуть оглянулся — и сразу увидел Эйхманиса, который тоже смеялся и рукой указывал Френкелю на зал. Френкель почтительно склонил голову, но улыбки на его лице не было.

Бурцев, кстати, тоже не улыбался, но, похоже, внимательно изучал дочерей купца. Зал его бесил.

— Порядку не будет, — сказал Шлабуковский, выдержав нужную паузу, и Эйхманис снова улыбнулся, а на первых рядах кто-то захохотал.

Следом появилась мать, как водится в русской литературе, сердобольная и тихая, в меру сил пытающаяся защитить детей от злой судьбы и скорого на расправу отца.

— Все у нас тихие и смиренные, — со слезой в голосе шептала она одному из сыновей, делая широкий жест рукой, осеняя и зал тоже.

— При отце! — обрывал её сын и разве что не указывал на Эйхманиса. — А так за пазухой ножи у всех!

Зрители снова гудели, отчего-то довольные собой, лавки скрипели, царило замечательное оживление, словно все сидевшие в бывшем Поваренном корпусе бывшего монастыря собирались после занавеса сесть в трамвайчик, а то и на личный автомобиль, и отправиться, куда захочется.

Эйхманису очевидным образом нравилось всё происходящее: он отвлекался от сцены, лишь когда зал особенно шумно отвечал репликам артистов.

— Имеет право! — кричал купец.

— Ваше право — палка о двух концах! — отвечал старший сын.

— Дрын! — крикнул кто-то ему в тон, и это было поводом для мгновенного веселья, которое, впрочем, затихало немедленно, потому что за событиями в пьесе никто не забывал следить, и сопереживание было явное, прочувствованное.

Сказать, что актёрская игра оказалась бесподобна, Артём не мог бы, но, вне сомнения, это был настоящий театр, не любительский.

На реквизит Эйхманис явно не поспешил: мебель стояла купеческая, крепкая, шторы на окнах висели такие, что хоть платья из них шей, под конец открыли шампанское — так даже оно вспенилось, дало настоящий аромат.

Все доверились действу безоглядно.

В последней сцене купеческие дочери и старший сын с невестой, стоя спиной к зрителям, приникли к несуществующим окнам, в ужасе глядя на только что застрелившегося отца. За сценой действительно прозвучал выстрел, похоже, из револьвера, и, чтоб разглядеть то, чего в действительности за сценой не было, многие встали, особенно задние ряды... Кто-то тем временем уже аплодировал, кто-то кричал “Браво!”, дочери кушца поспешили за кулисы, но тут же выбежали обратно, приведя за руки Шлабуковского. Слава Богу, он не был убит, все были несказанно рады его видеть, и Эйхманис тоже. Только Виоляр, мало понимавший по-русски, смотрел на сцену удивлёнными глазами, не отпуская руку жены.

Артём не выдержал и обернулся на Галю, словно бы имел ко всему происходившему отношение. Она улыбалась и по-домашнему, как родной и любимый человек, моргнула ему сразу двумя глазами. Артём опешил, поспешил отвернуться и встретился взглядом с Афанасьевым; тот выглядывал из-за сцены, держа себя рукой за рыжий чуб, и, казалось, в глазах его было понимание, совершенно Артёму не нужное.

Хотя, может быть, всё-таки показалось.

Когда уже все поднялись на выход, Афанасьев снова появился и крикнул:

— Тёма! Тёма, не уходи пока.

Артём, извиняясь и не глядя в лица идущих навстречу, двинулся к сцене, стараясь держаться подальше от ложи Эйхманиса.

Они шумно обнялись с Афанасьевым.

— Пойдём, я тебя познакомлю со Шлабуковским! — позвал он; Артём не успел ничего ответить — разгорячённый и покрасневший Афанасьев говорил без умолку. — Как он дал кушца, ты видел? Я наблюдал за Эйхманисом — тот даже руки потирал, — и Афанасьев показывал как.

В этой гримёрке Горяинов уже бывал.

— Вот, это мой друг Артём, — представил Афанасьев, причём из-за плеча товарища Артём и видеть не мог, кому его представляют. — С Фёдором Ивановичем работает, — отчётливым шепотком добавил Афанасьев.

Артём, наконец, сделал шаг вбок — Шлабуковский беззвучно, чуть устало хохотнул: то есть поднял подбородок и открыл рот, трижды выдохнув.

Артём понял теперь, отчего тот так смеётся — без звука. С его-то голо- сом захохочешь — можно и посуду перебить.

— Да мы знакомы, — пояснил Артём.

— А, чёрт, — засмеялся Афанасьев, схватил себя за чуб и отвёл к сто- лу, где щедро, на два блюда, были нарезаны колбаса и брынза, и хлеб ле- жал рядом, и кто-то уже нёс самовар, а Шлабуковскому откуда-то из-под по- лы подавали рюмку с чем-то зелёным.

— Это было прекрасно, восторг, — сказал Артём, улыбаясь.

— Ещё... — и Шлабуковский поднял два пальца, показывая кому-то, кто принёс ему рюмку.

Рюмки тут же появились, целая перезвончатая россыпь — у двух актё- ров, игравших сыновей, Афанасьева, Артёма, ещё кого-то.

Женщин не было — похоже, им предназначались другая гримёрка. Из- редка доносились женские голоса.

— Идут, идут! — оповестил кто-то, стоявший у дверей.

Все разом опорожнили рюмки, стаканы и кружки — и побросали в лов- ко подставленную кошёлку.

Когда в гримёрку вошёл Эйхманис, кошёлка как раз задвигалась под стол.

За Эйхманисом втиснулись Френкель и Борис Лукьянович. Артём уже было отвернулся в надежде, что удастся переползти в дальний угол и остасть- ся незамеченным — на глаза попалась борода Шлабуковского, мелькнула шальная мысль её натянуть: хорош был бы он с чёрной бородой, да без во- лос... вдруг Артём увидел, как в проёме дверей показалась Галя, нарочито спокойная.

“К чёрту, — отчётливо подумал Артём. — К чёрту. Что ей надо?”

— А театр? — спрашивал Эйхманис Бориса Лукьяновича, продолжая только что начатый разговор. — Вы видели репертуар нашего театра? — Шлабуковский встрепенулся, но никто на него не обратил внимания. — Здесь половина постановок не могла бы идти на материке. А карикатуры ви- дели в нашем журнале? А симфонический оркестр? — и Эйхманис усмех- нулся. — Думаете, я не понимаю, что они дают Рахманинова? Ненавистни- ка советской России и эмигранта? Тот же оркестр играет “Прощание с дру- зьями”: марш, который я знаю с юных лет, но назывался он тогда — “Дву- главый орёл”!

— Я слышал, — глухо отвечал Борис Лукьянович. — Я тоже знаю этот марш.

— Знаете такое выражение: “Иго моё благо”? — продолжал Эйхманис; Артём вдруг догадался, что начлагеря подшофе — он его уже заставлял в та- ком состоянии. — Или как там ваш купец сейчас говорил? — обратился Эйх- манис на этот раз к Шлабуковскому, и тот сразу привстал, пытаясь вспо- мнить и понять, какую из реплик имеют в виду, — “...а хочется мне прежде всего, — процитировал Эйхманис по памяти, — о душах ваших думать...”

— “...мне кажется, в них корысть да вражда”, — закончил Шлабу- ковский.

— Так! — сказал Эйхманис и безо всякого перерыва, вполне приветли- во поинтересовался: — Артём, как там обмундирование, получил?

— Получил, — ответил Артём, глядя на Эйхманиса глазами совершен- но, как ему самому показалось, крутлыми — от стыда и ужаса.

— Ну, садитесь, — обратился Эйхманис уже ко всем, тут же повернул- ся к Френкелю с тихим вопросом: — Принесли? — Френкель, в свою оче- редь, подал знак кому-то за Галиной спиной, и оттуда, через головы, пополз- ли бутылки вина — две, три, четыре... — Празднуйте, — сказал Эйхманис широко разводя руки. — Спектакль был... — Артём почувствовал, что у всех, имеющих отношение к постановке, чуть-чуть приостановилось серд- це, особенно у Шлабуковского, который, по-видимому, был ещё и режиссё- ром... — достойный нашего театра.

Больше ни слова не говоря, Эйхманис развернулся и медленно пошёл к выходу. Френкель шёл рядом, рукой отстраняя попадавших на пути ар- тистов.

Галя, видел Артём, будто нехотя пропустила Эйхманиса, не глядя на него и в то же время необъяснимо как обращённая именно к нему.

Эйхманис, чувствуя это, прошёл мимо Гали, как проходят мимо голой, без стекла, керосиновой лампы.

* * *

Возвращались по кельям хорошие-прехорошие: Шлабуковский под руку с Тёмой, следом не в такт приотпывал Афанасьев, распевая с длинными то ли многозначительными, то ли просто пьяными перерывами:

— Рви, солдат... пи... ду... на час... ти! ...особливо... чёрной... мас... ти! Артёму казалось, что поэт смотрит ему прямо в затылок, когда поёт.

“...Неужели догадался? А как?”

— Смотрите, у Мезерницкого свет, — оповестил компанию Шлабуковский, указав тростью. — Сейчас мы к нему нагрнем! Афанасьев, не так ли? Артемий?

— Эх, мне же на смену, — только сейчас вспомнил Артём. — Мне же давно пора.

— Да ладно, подождёт ваша смена, — отмахнулся Шлабуковский. — Вы же при Эйхманисе работаете, Афанасьев сказал. А Эйхманис нам велел: “Празднуйте!” Это был, позвольте, приказ!

Станным образом Артём нашёл слова Шлабуковского убедительными.

“А что будет-то? — хорохорился он. — Кто с меня спросит? Учёные? Я их кроликам скормлю всех...”

Зато Афанасьев упёрся:

— Нет, нет, я туда не ходок.

— Послушайте! — сказал Шлабуковский, нависая над поэтом — он был на голову его выше и вообще статен, — вы туда не ходили оттого, что водились с одними урками и фактически лежали на дне среди раков и... пивок. Но теперь — теперь вы приобщены к храму искусства и, можно сказать, имеете право — наверх...

— Я всегда имел право, — с неожиданным и грубоватым пафосом отвечал Афанасьев, — но туда мне не нужно.

Шлабуковский только открыл рот, чтоб произнести ещё один монолог, однако Афанасьев, сказав “Адьо!”, отправился своей дорожкой, а именно, вдруг красиво засветев, позвал Блёка и сделал с ним круг рысцой по двору, размахивая припасённой колбаской.

— Нам тоже надо было положить колбасы к вам в карманы, — раздумчиво сказал Шлабуковский. — Ну, ничего — нас примут и с пустыми руками — мало ли я их прикармливал.

Дневальные, похоже, знали особое положение Шлабуковского: его никто ни о чём не спрашивал — он заходил в свой корпус так, как не столь давно в лучшие московские и петербургские рестораны.

Они уже были возле кельи Мезерницкого, когда оттуда вышел Василий Петрович.

— О, гости нежданные, — устало и не очень радушно удивился он. — ...А мы уже расходимся.

— Даже шарлотки не осталось? — спросил Шлабуковский и смело вошёл в келью.

Так получилось, что Василий Петрович остался на пути Артёма.

— Ну, что? — спросил Василий Петрович, не сходя с места.

— В театре был, — ответил Артём, ещё не очень распознавший настроение старшего товарища.

— И как? — спросил Василий Петрович всё в том же тоне.

— Очень понравилось, — искренне ответил Артём, и так как Василий Петрович молчал, и молчание можно было расценить как ожидающее, продолжил: — Старшего купеческого сына играет Иван Комиссаров — бывший бандит, он с пулемётом грабил подпольные валютные биржи, а такого бари-

на умеет делать, — Артём засмеялся. — Вы никогда не были? А после спектакля несколько пьес сыграл местный оркестр. Тоже... впечатлительно.

— Оркестры, ч-чёрт! — впервые на памяти Артёма выругался Василий Петрович, глядя куда-то в сторону. — А у помещиков тоже были свои крепостные театры! На кой же дьявол надо было менять одних на других?

“В каком-то я дурацком положении оказался, — сокрушённо, но вместе с тем весело подумал Артём. — Галя меня кусает за то, что я про дрын вспоминаю, Василий Петрович рвёт на части за крепостной театр. Чего я делаю посредине между ними? Пересадите меня на мой край опять...”

— Что играл вам этот прекрасный оркестр? — с издевательской любезностью поинтересовался Василий Петрович.

— Рахманинова, — шмыгнув носом, ответил Артём: он всё уже понял, нужно было как-то заканчивать разговор, только он не мог понять, как: прорваться ли к Мезерницкому, идти ли в свою келью или, не заходя туда, спешить в Йодпром.

— Рахманинова? — делано удивился Василий Петрович.

— Да. И ещё “Проклятьем заклеимённый”.

— И как?

— Звучит, — ответил Артём.

— Я слышал, слышал, как тут звучит пианино, — мстительно продолжал Василий Петрович. — Его тоже сослали на Соловки, оно поёт мимо нот. Только глухие люди не способны это слышать!..

Артём пожал плечами, но в темноте этого не было видно, да и кого тут волновали его жесты...

— Если б прислушались, сразу осознали бы: всё, что вокруг вас, — какофония! Какофония и белибердовые сказки! И варвары, изъясняющиеся на неведомом наречии, решившие обучить нас — нас! — своему убогому языку! Своровали всё — страну, свободу, Бога... Теперь ещё и язык воруют! У меня в голове навалены эти слова, торчат углами... “Проклятьем заклеимённый” — это что? Опера из жизни индейцев? “Диктатура пролетариата” — это как? Может, это блюдо? Из чего его готовят? “Интриги Антанты”, “весна революции”, “светлое будущее”, “тяготы царизма”, “борьба классов” — а это что такое? Названия канонеров? Что за воляшок? Вы знаете смысл этих ругательств? В качестве чего их можно использовать? На этом языке можно спросить: “Который час?” Или, скажем, раскланяться и сказать: “Доброго вам утра!” За что нас одарили этой уродской речью? “Чрезвычайная комиссия!” — а? Кофейня — знаю. Булочная — знаю. Чайная — знаю. А чрезвычайная — это что? Самая главная чайная? Или это означает, что у нас до сих пор не было никаких дел, а теперь вдруг настали такие важные дела, что — Боже ты мой! Ведь они не просто важные, а чрезвычайные важные! Глаза на лоб лезут от их важности! Всё кругом новое, в кумаче! Раньше были кумовья, а теперь сплошные кумачи! Тогда жили-были шерочка с машерочкой, а нынче с ним ещё прилепилась каэрочка... Вашего купеческого сына в финале, надеюсь, расстреляли? Пьеса-то из новых? Про тяготы и эксплуатацию?

— Нет, это старая пьеса.

— Вот! — поднял вверх палец Василий Петрович. — Старая пьеса! Всё вокруг — старая пьеса! В самой старой пьесе было сказано: “Не надо бояться тех, кто убивает тело, но душу убить не сможет, скорее надо бояться тех, кто может и душу, и тело погубить в геенне”. Знаете такого автора, господин товарищ Артём?

Артём повернулся, чтоб уходить, но Василий Петрович поймал его за рукав. Пальцы у него всё-таки были железные.

— Чекист, впервые поднявший над Соловецким монастырём красный флаг, сел сюда как заключённый, — начал шептать ему на ухо Василий Петрович; казалось, что он пьяный в хлам, но алкоголем от него вовсе не пахло. — Вы ничего ещё не поняли, Артём? Их всех сюда же и посадят. И здесь же и зароят. Тут Бог близко. Бог далеко от себя пропащих детей не отпускает. Этот монастырь — не отпускает! Никогда! Бунт в 1666 году был — его подавил Иван Мещеринов, подчинённые ему стрельцы побивали монахов

каменными, устроили тут бойню, и трупы потом не хоронили. Так Иван Мещеринов сам вскоре сел сюда же! И грек Арсений, который правил церковные книги — из-за чего, собственно, и взбунтовался монастырь, — он тоже сел! И они сидели все вместе! И жрали из одной поросячей плошки! И вы так будете сидеть: и Эйхманис твой, — здесь Василий Петрович начал говорить вообще одними губами, — и все его бл...и, и ты, глупец, с ними! Этот монастырь — он же с зубами! Ты видел его сторожевые башни? Они же — каменные клыки! Он передавит всех, кто возомнил о себе!

— Василий Петрович, — очень вятно сказал Артём, — отпустите мою руку. Или я вас ударю.

— Да, конечно, — согласился Василий Петрович и очень мягко отпустил руку. — Безусловно, ударите. Я вам напоследок вынужден передать: Мезерницкий просил вас более не навещать его.

— В чём дело? — не понял Артём.

— Вы же приближённый Эйхманиса, да? И гордитесь этим. И все мы рады за вас. Мне уже рассказали, в каком окружении вы сидели только что в театре. А ещё, говорят, вы далеко за полночь вдвоём с Эйхманисом пьёте водку и обсуждаете огромные вопросы. Это очаровательно... В молодые ещё годы — подобный успех, о!.. Но такие люди в нашем кругу неуместны.

— Да что за... — почти прокричал Артём, но махнул рукой и в ярости побежал вниз.

— Неуместны! — крикнул ему Василий Петрович вслед.

“Что за херня! — лихорадочно бубнил Артём, громыхая по ступеням, — Фарисей! Фарисей и безмозглые дураки! Мезерницкий сам играет в духовом оркестре! Шлабуковский — в театре! А Граков — в газете... Я же, дери за ногу, предупредил их про Гракова, и мне теперь заказан сюда вход? Мне! За то, что я два раза рыл для Эйхманиса землю и один раз сидел в театре среди сволочи из ИСО? Да пошли они все к растаковой матери! Знать я их не хочу! И этого старого болвана тоже! Пусть он собирает свои ягоды, пока не околет...”

Артём даже остановился, едва преодолевая желание взбежать наверх и оттащить Василия Петровича за его старые уши в синих прожилках, взять его за шиворот и бить носом в ссаный кошачий угол.

Надо было на работу, на работу! Там можно успокоиться, а здесь больше нечего делать, вообще можно теперь не возвращаться сюда.

Артём бегом добежал до поста, сунул красноармейцу пропуск и перетаптался в бешеном нетерпении, пока тот пытался уловить листком фонарный свет.

— Может, мне вслух прочитать? — спросил Артём сдавленным от злобы голосом.

— Бабе своей будешь вслух уроки давать, — сказал красноармеец и безо всякого почтения поинтересовался: — Ты где спал, тюлень?

Артём сморгнул, немного помолчал и глупо спросил:

— К...то?

Красноармеец свернул его пропуск вчетверо, положил в карман и громко харкнул в сторону.

— Выход за пределы уже запрещён. Ты опоздал на два часа. С минутами. В следственный корпус твою бумагу отнесу завтра с утра. Будешь им всё объяснять. А пока пошёл в свою роту отсюда и доложи командиру о том, что я тебе тут сказал. Пусть он сам думает. Потому что за невыход на работу тебе всё едино карцер.

Артём сжал зубы и пошёл назад в свой корпус.

Если б разжал зубы на миг — завыл бы.

* * *

Ему несколько раз за ночь виделся один и тот же полубред: как он отправляется к Гале, подробно рассказывает ей о самоуправстве красноармейцев, она берёт наган, вместе они спешат к воротам, и — бах! бах! — всё

в дыму, красноармеец на земле, Артём подбирает его винтовку. Второй из наряда, сняв с головы будёновку и прижимая её к груди, падает на колени.

Артём так не хотел отпускать эти им самим надуманные виденья, что зубами вцепился в покрывало: очнулся с этой дерюгой во рту, с трудным похмельем — вроде бы и не от вчерашнего вина, хотя, может быть, и от него тоже.

Ещё было утро — и сразу же, едва открыл глаза, взвыл гудок электростанции. Теперь, оказывается, подъём был не в пять, а в шесть и будили уже не колоколом.

С мутным сердцем и тошнотой Артём начал одеваться, но потом вдруг остановился.

“А зачем я? — спросил себя. — Куда? Чтоб на меня орал начальник роты? Да кто он такой? Я вообще должен быть в Йодпроме, чего мне делать на построении? Как все разойдутся — пойду к Гале, и пусть она вернёт мне пропуск... Всего-то! А какой ад был в голове ночью! Ничего ж не случилось!”

В коридоре суетились с завтраком, пахло едой; Артём ногой выдвинул ящик из-под своей лежанки, отломил хлеба, стал есть — без всего... Потом подумал, поискал соль — посолил, получилось совсем хорошо.

Лагерь выявлял в себе всё новые качества, думал Артём: оказывается, тут имелась возможность не только погибнуть на балахах, но и попасть в некий зазор, затаиться, пропасть — и тебя могут не заметить, забыть.

“А почему бы и нет? — подзавопил себя Артём, кусая хлеб. — Тут семь тысяч человек, разве им жалко, что один так и останется сидеть в своей келье? Разве остальные без меня не справятся?”

— Справятся, — ответил он себе вслух и рухнул на кровать. Выпростал из-под себя покрывало и влез под него с головой. Некоторое время в темноте доедал хлеб — это было новое, забавное ощущение. Кажется, даже в детстве он никогда не ел под одеялом.

Комроты, комвзводы, десятники и дневальные — все знали, что у Артёма особая работа и по утрам он отсыпается.

“Вот и отсыпаетесь!” — сказал себе Артём и действительно заснул.

...Пробуждение было обескураживающим: в келье хлопотливо разговаривала женщина, и точно не Галя — голос был старушечий, ласковый, торопливый.

Такого просто быть не могло. Артём резко сел на кровати.

— Ой, — испуганно вскрикнула женщина.

Она не была старухой — просто голос дребезжал от волнения; на вид ей было немногим больше пятидесяти, и выглядела женщина молодо. Высокий лоб и, как это Артём определил, длинные щёки сразу выдавали в ней, во-первых, интеллигентную особу, во-вторых, что самое важное, мать Осипа Троянского, который стоял здесь же, крайне недовольный присутствием Артёма.

— Это твой сосед? — спросила мать Троянского, одновременно улыбаясь Артёму, но с таким видом, словно на соседней кровати его сына спал странный зверь, вроде ондатры, который мог и не владеть человеческой речью.

— Несомненно, — сказал Троянский. — И он давно должен был найти себе другое место.

— Да, я хочу двухэтажную квартиру на Пречистенке, — ответил Артём, растирая кулаками скулы.

— Вы что, ссоритесь? — спросила мать по-прежнему испуганно.

Артёму даже жалко её стало, тем более что Троянский брезгливо не отвечал.

— Я Осипу всё время мешаю, — пояснил Артём, вполне добродушно. — И здесь я не к месту, и там, где мы работаем, я ему в тягость...

— Там, где мы работаем, — ответил Троянский, нажимая на “мы”. — А вот что вы там делаете, я так и не понял.

Артём посмотрел на мать: вот видите, я же вам объясняю.

Мать совершенно неожиданно приняла сторону Артёма.

— Осип, так нельзя, — сказала она очень твёрдо. — Нас теперь учат, что есть законы общежития, и тебе, видимо, некоторое время, пока всё не выяснилось, придётся их соблюдать.

Удивительно, но на Осипа это оказало воздействие, по крайней мере, в нём словно убавили температуру, и он продолжил заниматься тем, чем до сих пор занимался: перекладывать из материнских сумок продукты в свой ящик.

— Давайте лучше я вас покормлю, — предложила женщина. — Меня зовут Елизавета Аверьяновна, и у меня есть борщ — в Кеми исхитрилась сварить и довести сюда. Тут вот дневальный разогрел, я его за это яичком угостила.

“...А что, борщ же, — подумал Артём, лукаво объясняя себе свою утреннюю покладистость. — К тому же надо всё объяснить Троянскому про кроликов... а то ерунда какая-то...”

— А меня — Артём, — представился он и сбросил с себя покрывало, чем на мгновение смутил женщину — был бы казус, если б он назвал себя и, неожиданно распахнувшись, предстал голый из-под одеяла; но Артём спал одетым и даже в носках.

— Он и в поезде-то не хотел ездить никогда — там посторонние люди, а тут... — по-матерински просто пояснила Елизавета Аверьяновна Артёму поведение сына и обвела взглядом келью.

Артём тоже обвёл: да, мол, посторонние... толпятся...

Борщ между тем пах так, что Артём неизвестно на каких запасах воли сдерживался от желания схватить миску и выбежать с ней в коридор.

— Осип? — выжидательно спросила мама.

Троянский, наконец, задвинул ящик с утроившимися за утро запасами.

— Да, Артём, я прошу, — чинно сказал он, указывая на стол.

Артём с необычайной готовностью вновь уселся на свою лежанку, ближе к столику.

— Осип, я хочу открыться, — торжественно сказал Артём, глядя, впрочем, на борщ, где плавало лохматое мясо, куском в половину миски. — Одного кролика действительно забрали красноармейцы. Но другого задрал кот.

— Что же вы молчали! — всплеснул Осип руками. — Мы бы приняли меры! — он даже засмеялся, что вообще было ему несвойственно. — Этот жулик наловчился залезать через слуховое окно, представляете? Он сегодня ещё одного крольчонка задушил. Мы были готовы его убить! Но в нашей среде, к сожалению, никто не способен на это.

— Да о чём вы? — с улыбкой спросила Елизавета Аверьяновна и положила в борщ сметану.

Во рту Артёма сразу накопилось столько слюны, что он не смог говорить.

Первая же ложка ударила в голову так, словно Артём залпом выпил чудесной, пламенной, с царского стола водки, а потом сам царь жарко поцеловал его, скажем, в лоб.

Артём одновременно вспотел и стал полностью, до последней жилки, счастлив.

Счастье это желало длиться и длиться.

Этот борщ был не просто едой — он был постижением природы и самопостижением, продолжением рода и богоискательством, обретением покоя и восторженным ликованием всех человеческих сил, заключённых в горячем, расцветающем теле и бессмертной душе.

Они съели по три тарелки, пока бидон не опустел.

Несколько раз Артём едва не перекусил свою ложку.

Елизавета Аверьяновна тем временем достала из своих сумок халву — издающую тихий, сладкий запах, похожую на развалины буддистского храма, занесённого сахарной пылью.

Допив через край остатки борща и пальцами подцепив листик капусты, другой рукой Артём потянулся к халве, и Осип — со своей стороны — тоже.

Они в четыре руки разломали этот храм и немедленно стали поедать его осыпавшиеся обломки. Артём чувствовал на губах соль, жир, липкую прелесть халвы, восторг, упоение.

После халвы они ещё съели по три пышных, сладострастных булочки с домашним яблочным вареньем и, наконец, насытились.

— Как вы тут живёте, расскажите мне теперь, — вкрадчиво попросила Елизавета Аверьяновна: было видно, что вопросов у неё накопилось сто или даже тысяча, а она пока лишь один выложила.

— Вы бы сами хоть чего-нибудь поели, — вспомнил Артём. — Давайте я чайник вскипячу.

— Не надо, я термос принёс... — сказал Осип, доставая термос из своей сумки, раскрыл его, принохался: — Тёплый... Вполне.

— Он сам сделал термос, — похвалил Осипа Артём.

— Он всегда был выдумщик, — сказала Елизавета Аверьяновна, протирая кружки. — Ещё когда в гимназии...

— Здесь никогда не было глубокой жизни ума, — вдруг перебил её Осип. — Трудовая коммуна, хозяйствование — да. Христос являлся? Быть может. Но русская мысль тут всегда спала — одни валуны вокруг, какая ещё мысль. И Эйхманис эту мысль не разбудит: всё, чем он занимается, — кривляние.

Артём картинно поджал губы и внимательно оглядел дверь. Елизавета Аверьяновна с улыбкой посмотрела на сына, потом, уже переставая улыбаться, — на Артёма, и затем, уже с мольбой и печалью в глазах, — снова на Осипа.

— Но ты же работаешь, — сказала Елизавета Аверьяновна, — и очень успешно.

— Артём, знаете, что Соловки по форме похожи на Африку? — спросил Осип; видимо, у него шла какая-то непрерывная борьба с матерью, густо замешанная на обожании. — Не замечали? Соловки — вылитая Африка. А мы тут — чёрные большевистские рабы.

— Фёдор Иванович сегодня разговаривал со мной, — тихо, стараясь быть веселой и услышанной сыном, сказала мать, но обращаясь отчего-то к Артёму. — Фёдор Иванович говорит, что Осипу необходима командировка — с целью продолжения научной работы. И он готов отпустить его — под моё честное слово.

— Это мне нравится, — сразу же, как будто заранее придумав ответ, крайне язвительно воскликнул Троянский. — Здесь я на консервации. Работы, по сути, никакой. И вот меня, как мясную консерву, распечатают и скажут: “Птица, лети!” Я немного полетаю, потом вернусь, и меня опять закатают в консервы. Как прекрасно, мама.

“Зачем он злит свою мать, какой болван... Такой обед портит”, — ду- мал Артём, рассеянно улыбаясь.

Елизавета Аверьяновна изредка взглядывала на него и тоже словно пыталась улыбнуться, всё ожидая и никак не умея дожидаться, когда всё происходящее обратится в шутку.

— Мне тут давеча Эйхманис, — продолжал Троянский, похоже, испытывая удовольствие от своей, хоть и перед матерью, дерзости, — цитировал, не поверите, письмо Пушкина Жуковскому. Пушкин пишет... сейчас... — и Троянский пошевелил в воздухе пальцами, вспоминая, — “шутка эта пахнет каторгой. Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырём”. Знаете, зачем цитировал? Затем, что он искренне уверен, что спасает нас. Съедаю — спасает!

И Троянский оглядел всех с таким видом, словно они должны были вот-вот захохотать, но вот отчего-то не захохотали.

К чаю так никто и не притрагивался. Он стоял на столе, холодный, без малейшего дымка.

— А лабиринты, Артём? — вдруг вспомнил Троянский. — Вы знаете, что здесь на нескольких островах выложены из камней лабиринты? Не большие, в человеческий рост, а маленькие, в один камень — даже кошке такой лабиринт будет мал. Я думаю, что этим лабиринтам очень много лет. Скорее всего — пятый век до нашей эры. Сначала их строили германцы, потом у них переняли лопари... не важно. Никто не знает их предназначения... Я предположил, что в центре лабиринта — захоронение. И выложенные камни — это сложные пути, чтоб душа покойного не могла выйти на волю.

Троянский ещё раз посмотрел на мать, но от неё понимания ждать было тщетно — она всего лишь женщина. Попытался найти интерес в лице Артёма, но Артём катал песчинку халвы на столе.

— Так вот, — решительно завершил Троянский. — Нынешние Соловки стали таким лабиринтом. Ни одна душа не должна выйти отсюда. Потому что мы — покойники. И вот мою упокоенную здесь душу вдруг выпускают из лабиринта. Добрейший Фёдор Иванович, радетель, попечитель и всемилостивец! Мама, ты ещё не заказала службу в его честь?

Елизавета Аверьяновна моргнула так, словно сын застал её за некрасивым делом, например, он вошёл в свою комнату, а она там читает его дневник.

Сын криво усмехнулся: всё ясно, мама, всё ясно.

— И вот, широко размахивая крыльями, я буду парить над материком, вдыхая полной грудью... — Троянский вдруг закашлялся, мать сделала движение, чтоб помочь ему, но он остановил её рукой: не надо! — Буду парить, — продолжал он, откашлявшись и чуть раскинув, как птица, руки, — а на ноге у меня будет длинная, в тысячу вёрст, незримая проволока. Едва возникнет желание — и меня на полуслове... или на полукрике — карк! — потащат назад.

— Я обращалась, Осип, во все инстанции, и пересмотр дела возможен, — снова тихо и внятно повторила мать.

— И главное, никому там не расскажешь, что здесь происходит, — говорил словно оглохший Троянский. — Я вроде бы птица, и как бы на воле, но клюв мне надо держать прикрытым. “Наелся, барчук, и начал изгаляться над матерью”, — с серьёзным раздражением подумал Артём.

— А я бы поведал, да. Или хотя бы перечислил, — прошептал Троянский уверенно и жёстко. — Собачья похлёбка! Каменные мешки! Они стреляют в нас! Они сажают нас в ледяные карцеры!

— Кто тебя сажал, что ты врёшь, — скривившись, неожиданно перебил его Артём, впервые перейдя на “ты” с Троянским. — Всем хочется рассказать про карцеры, где сами они ни разу не сидели, а про то, что здесь зэка бегают на оперетки, политические шляются по острову, а каэры ходят в цилиндрах и в лакированных башмаках, поедая мармелад, никто не расскажет. Мать пожалел бы.

Троянский раскрыл удивлённые глаза и с минуту смотрел на Артёма, даже не моргая.

— Плебей, — заключил он какую-то свою, длинную и витиеватую, мысль вслух. — Хам. И раб. Иди вон, там тебя покормят мармеладом с руки.

* * *

Артём поспешил на улицу, чуть поглаживая руку, — он ударил Троянского в губы, как и хотел, того бросило назад так сильно, что показалось: сломалась шея! Голова мотнулась резко и безвольно, к тому же Осип ударился о каменную стену затылком. Мать ахнула, кто-то уронил бидон из-под борща, одновременно очень отчётливо на улице раздался выстрел, в ответ ещё несколько...

— Цо то бендзе, цо то бендзе, — повторял Артём, пытаясь вспомнить, откуда он запомнил эту фразу... Вспомнил: Митя Щелкачов рассказывал, что так он в детстве дразнил поляков, живших в соседней слободе. “Цо то бендзе” означало: “Что-то будет”.

Навстречу снизу, чудовищно громыхая, бежали красноармейцы, Артём прижался к стене, чтоб их пропустить, но, оказывается, спешили по его душу. С размаху, очень сильно его ударили в висок, тут же сгребли, сдирая кожу, за голову, и бросили вниз по ступеням:

— На улицу, шакал! Строиться на площади!

Артём покатился через голову, он распахал себе скулу о железные перила и, кажется, вывихнул руку.

“За что меня? За что?” — изо всех сил пытался понять он.

“Меня будут бить, убивать перед строем? Перед всеми? И Галину?” — с трудом поднимаясь и чувствуя кровь, текущую по лицу, спросил Артём.

Но внизу, у дверей, он заметил, что всех остальных, застигнутых в кельях, так же, с боем, с матерной бранью, уродуя и калеча, гнали на улицу.

На площади уже толпились заключённые — десятки... а вскоре — и сотни, тоже изгнанные из рот или согнанные с ближайших работ, из порта, с узкоколейки, из административных зданий, прачечных, кухонь, плотничьих и столярных мастерских. Несколько музыкантов с перепугу выбежали с трубами, один со скрипкой... Актёров выбили на улицу с репетиции чего-то исторического — Шлабуковский сначала стоял в короне, потом снял её и держал в руке, не зная, куда деть. Рядом с ним толпились пажи в смехотворных панталонах.

Пошёл дождь, и Шлабуковский, не думая, надел корону на голову — как будто она могла спасти от ливня.

Артём, исподлобья озираясь и держась в стороне от зверствующего конвоя и непрестанно охаживающих дрынами кого ни попадя десятников, занял место в битом строю. Он встал во второй ряд, который достать было сложней всего, потому что первый без конца ровняли кулаками и палками, а последние ряды столь же ретиво подбивали до искомого ранжира.

...Кто-то орал, кто-то плакал, кто-то выл, кто-то истерично спросил: “За что, начальник?”

Надо всем повис истеричный клёкот чаек — и сквозь этот клёкот, сквозь мерзейший человеческий мат, сквозь гай и рёв, сквозь беснующийся на соловейском дворе дождь Артём, наконец, расслышал самое главное:

— Мезерницкий стрелял в Эйхманиса!

“Он что, с ума сошёл? — не понял Артём. — Зачем?”

Тут же шёпотом, сипло, поворачивая чёрные, одинаково грязные головы, переспрашивали:

— Убил? Не убил?

Неясно было, чего больше в этом вопросе: тайной надежды на смерть Эйхманиса или, напротив, истового желания, чтобы всё обошлось, потому что смерть начлагеря означала, что погибнут все и немедленно.

“Как же я не заметил!..” — вдруг удивился Артём.

Мезерницкий лежал посреди площади мёртвый. Ему стреляли в лицо, потому что щеки у него не было, и потом стреляли в спину. Он лежал в луже крови, а неподалёку лаял Блэк, и не было ясно, кого он прогоняет: красноармейцев, лагерников, смерть...

Когда площадь уже была полна народа, в южные, Иорданские, всегда закрытые ворота прямо на коне влетел Эйхманис.

Красноармейцы сняли ружья с плеч, готовые к любому приказу.

Все смолкли.

Земля бурлыкала пузырями, словно вскипая.

Дождь сделал ещё круг и ушёл куда-то под красные крыши, намотался на зелёный шпиль Преображенского собора...

Только чайки вскрикивали и непрестанно сыпали сверху на строй помёт. Никто не вытирался.

— На колени! — в бледной ярости вскрикнул Эйхманис и выхватил шапку из ножен.

Строй повалился так, словно всем разом подрезали сухожилия — несколько тысяч сухожилий одной беспощадной бритвой.

На коленях стояли священники, крестьяне, конокрады, проститутки, Митя Щелкачов, донские казаки, яицкие казаки, терские казаки, Кучерава, муллы, рыбаки, Граков, карманники, нэпманы, мастеровые, Френкель, домушники, взломщики, Ксива, равнины, поморы, дворяне, актёры, поэт Афанасьев, художник Браз, скупщики краденого, купцы, фабриканты, Жабра, анархисты, баптисты, контрабандисты, канцеляристы, Моисей Соломонович, содержатели притонов, осколки царской фамилии, пастухи, огородники, возчики, конники, пекари, проштрафившиеся чекисты, чеченцы, чудь, Шафербеков, Виоляр и его грузинская княжна, доктор Али, медсёстры, музыканты, грузчики, трудники, кустари, ксёндзы, беспризорники — все.

Эйхманис был в одной рубахе и, похоже, не мёрз, хотя от земли шёл ледяной пар, и в строю многие стучали зубами, не в силах сдержаться, и держались руками за землю, будто в неустанной морской качке.

Артём успел заметить, что Троянский не пожелал падать на колени и тут же получил прикладом по затылку... Теперь он валялся на животе, за строем... Где осталась его мать, было непонятно.

Бурцев тоже встал на колени и стоял строго, чинно, полужакрыв глаза, как на присяге.

“Ну, и кто теперь клоун?” — подумал, прерывисто дыша, Артём, переведа взгляд с Бурцева на Мезерницкого...

Сам Артём и не заметил, как встал на колени.

И только спустя минуту вдруг понял, что и он тоже, вместе со всеми, стоит здесь, облизывая дождь с губ, желающий только одного — жизни.

Хотя одно удивительное чувство жило в нём: что все, стоящие сейчас на коленях, стоят за дело, и лишь он один — за так, просто не желает послушаться и готов разделить общую вину.

Ничего не произнося, Эйхманис пролетел — свирепый, с обнажённой шашкой — вдоль рядов.

Конь под ним ликовал и всхрапывал.

Страх, распространяемый его движением, был вещественный, почти зримый: этот страх можно было резать кусками, вместе с людьми.

Чайки уже не просто кричали, а дразнились то человеческими, то звериными голосами.

Блэк узнал понятную ему речь и вдруг с бешенством залаял в ответ, а чайки залаяли на него.

Эйхманис рубанул шашкой невидимую цепь — и в тот же миг, раскрутившись со шпиля, зайдя по-над головами, посыпал крупный, как ягода, дождь.

— Рассатанился, — прошептал кто-то рядом с Артёмом.

Кажется, это был голос владычки.

Артём попытался поднять глаза, чтоб посмотреть вверх.

Тяжёлая капля ударила ему ровно в глазное яблоко.

ТАТЬЯНА ВОЕВОДИНА



ГОРЯЧЕЙ ПОЖАРА

* * *

Владимиру Маяковскому

Выше Пизанских и прочих башен,
Шире цветочных ковров в полях
Ваш агитаторский гений и ваши
Стихотворенья на костылях.

Проклят пусть будет тот перекрёсток
Ваших больших, неуклюжих рук!
Нет, нет, не то... я ревную просто
К сёстрам и лицам других подруг.

К жизни, родившей вас раньше веком,
К тем, кому голос ваш был знаком.
К тем, кто касался губами века,
К тем, кто махал вам узорным платком.

Если б вы вечно остались жить,
Здесь, на земле, не в сырой могиле,
Я бы ни с кем вас не стала делить
И украла б у ста тысяч Лилей.

Я хотела бы слушать лишь ваши стихи
И танцевать под хромые строки
Так, чтоб руки дрожали и голос хрип,
А в глазах — плясали пороки.

ВОЕВОДИНА Татьяна — студентка Литературного института им. Горького (семинар С. Ю. Куняева). Живёт в Калининградской области.

Я бы стала вам другом, невестой, сестрой —
Мне не важно, мне только бы рядом.
Я бы вам запретила, своей же рукой,
Брать револьвер, остановила бы взглядом.

Дорогой, если речи вам эти милы,
Явитесь в зеркале овальном, над раковиной.
Приходите в мои чёрно-белые сны,
Шепча “Татьяна” мне, а не Яковлевой.

Если вы всё ещё верите в то,
Что все мы немножко лошади,
Я приду сквозь окно, сквозь туман алых штор.
Ждите. В три ночи на Лубянской площади.

* * *

Обмороженными пальцами, запёкшейся кровью губ —
Так я люблю тебя, губы жуя на морозе.
Составь караван из влюблённых, к которым губ, —
Тобой не целована — первой пойду в обозе.

И нет конвоя, напротив: хотел прогнать,
Убить, когда бы, греха за собой не зная,
Ты мог убийцей ночами спокойно спать
И ждать в покое своей колыбели рая.

О, ты, обманом посмевающий забрать ключи
И, в дом пробравшись, ни сыном не став, ни мужем,
Ты слышишь, мне, не целованной в злой ночи,
Ещё один, самый преданный друг не нужен.

Я лучше с волком буду по-волчьи выть,
Убийце серому быть предпочту сестрою.
Быть может, море научит так слёзы лить,
Чтоб ты солёною мог захлебнуться — мною.

Но в этот вечер я снова в твоих ногах,
В руинах, словно когда-то пред греком Троя.
И только в снах я уже навсегда — волна —
Возле тебя, ушедшего камнем на дно морское.

* * *

У меня не болезнь, не страсть,
Не ревность, не спесь, не мания.
Я лишь не должна была знать
О чём-то существовании.
Не озноб, не позор, не смех,
Не в круглых колёсах спица...
Как мне теперь от всех
Любвей твоих отмыться...
От каждого не звонка
Горю горячей пожара.
Нас больше не будет... да,
Нас больше не будет — парой.
И каждый твой не приход —
Мой шанс оказаться ближе
К озёрам холодных вод,

Мой шанс захлебнуться в жиже,
Которая льнёт ко рту,
Как по водосточным трубам, —
Ты всё ещё помнишь ту,
Которой касались губы.
Нет, пойманным ты не стал,
Я масла не жгла с фитилем.
Ты просто меня назвал
Не так, как меня крестили.

* * *

Если бы можно было, можно бы было
В углях камина сжигать пустоту “нельзя”,
Как бы любила я! Как бы тебя любила,
Только нельзя ещё... только ещё нельзя.

Если бы море — дом, если бы море — суша,
Если бы жабры мне, если бы чешуя...
Лишь говорить с тобой, лишь говорить и слушать,
Если бы можно, но только пока — нельзя.

Только бы звёзды мне. Только бы... Солнц — не надо.
Если бы рядом мне, просто во тьме скользя,
Пылью бы звёздной, пылью бы — только рядом...
Только бы пылью... но только и ей нельзя.

АНАСТАСИЯ БЕЛЯКОВА



НЕ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ В САДУ КАМНЕЙ...

* * *

Из меня Пенелопа какая-то не ахти:
я ращу только котика, волосы да чужих детей,
отгоняю стервятников — муж скоро должен прийти, —
он вернётся, мой Одиссей.
Но проходит неделя, месяц, за годом год,
я живу как придётся, и меня всё устраивает вполне,
выгоняю любовников — скоро муж придёт! —
он соскучился и устал на своей войне.
Говорят, что забыл он меня, говорят,
чтобы сбила с себя всю спесь:
за окном — 21-й век! — он ведь мог бы и позвонить...
провожаю с утра нелюбимого — муж почти что здесь, —
он вернётся, он помнит. Не мог забыть.

“...ты давно победил...”
Пенелопа докуривает и идёт готовить обед.
“Это ж надо было нам так далеко зайти”.
Она вешает белый флаг, вынимает ключи, оставляет свет.
— Что стоишь под дверью? Разувайся и заходи.

БЕЛЯКОВА Анастасия Геннадьевна родилась в 1990 году в Москве. Учится на 5-м курсе Литературного института. По образованию хореограф-постановщик. Печаталась в литературном альманахе “5х5”. Живёт в Москве.

* * *

Дело вовсе не в том, чтобы в радости, горе или беде,
и не в том, что не о чем, кроме как о погоде, работе да о еде, —
просто я хочу находить тебя в темноте
и засыпать, уткнувшись тебе под мышку.
Дело вовсе не в том, что я так устала
от своих гостей и чужих страстей,
и не в том, что другие не то и вообще не те, —
просто, их обнимая, я не хочу завести детей,
просто про них у меня выходит книжка.
Дело вовсе не в том, что пришла пора
набраться смелости и выбирать,
время хоть и не лечит, но терпит, пока нам приятно играть.
Просто мы оба скоро начнём умирать,
хоть и неясно, с чего бы вроде.
Дело вовсе не в том, что мне надоело врать,
просто нам будет вместе стареть под стать.
Что ты там, замешкался, дед?
Давай застилай кровать.
приходи пить чай на веранду
и давай поговорим о погоде.

* * *

мой воинственный мальчик, это не поле боя:
это просто наша с тобой кровать.
я устроюсь подмышкой, глаза закрою
и не стану с тобой ни во что играть.
приходи безоружным, мой милый воин,
мне давно не страшно тебе проиграть.
приходи, мне ведь так хорошо с тобою
просто быть и спокойно спать.

приходи ко мне с радостью, с пораженьем, горем,
приходи бессердечным, с дырой в груди,
приезжай на такси, возвращайся морем
и бесценное время моё кради.
приходи ко мне, забывая роли,
просто руки на плечи мои клади.
возвращайся домой, даже если мы в ссоре,
засыпай со мной. приходи.

лишь твоё дыхание меня усыпляет,
был бы кто, чтобы твой сердечный ритм отбивал,
кто бы спел мне — он тебя вспоминает,
и бессонница мучает тоже, и он тоже безумно устал,
что он так же лежит и скучает,
понимая, что снова провал.
мой любимый, так уже не бывает,
чтобы я вдруг выиграла, когда ты проиграл.

* * *

Ты сажал деревья в саду камней:
ты хотел, чтобы стало весенней и зеленой.
ты просчитался, мой мальчик, здесь только ещё темней.
камень выдержит всё: я почти кремень.

Ты наделал столько в заборе дыр,
что ещё десяток — и рухнет мир.
Приезжай ко мне завтра, устроим пир:
будем мантры учить и пить кефир.

Сколько ты сумел приручить иуд,
ты меня поцелуешь — и меня предадут.
ты умело используешь пряник и кнут.
да, мой мальчик, ты крут, ты, бесспорно, безмерно крут.

ты провёл со мной двести безумных дней.
ты просчитался, мой милый, здесь нет теней.
ты просчитался, мой мальчик, седлай коней:
не растут деревья в саду камней.

МАРИЯ ЗНОБИЩЕВА



ВЗОШЛА ДУША

* * *

Не русский дух, и Русью здесь не пахнет.
Едва держась на самолётных трапах,
Улыбчивые девушки и парни
Находят неприличным этот запах.

Сказал один: “Что дал тебе твой воздух,
Раз от него ты вспыхиваешь спичкой?
Он пахнет потом, кровью и навозом,
Блевотиной и пивом в электричках.

Нас слишком много, раненых и ранних,
Чтоб жить одной надеждой на спасенье.
Чего жалеть, ведь каждый в мире странник...
Ведь так сказал когда-то твой Есенин?”

Но мой Есенин рано понял цену
Всем странствиям, не уводящим в небо.
Он болен был землёй и миром целым,
И тем не мил тебе, что трусом не был.

Тебе бы поотвязней приколоться,
Как статую, боготворя Свободу,
Но если наплевать во все колодцы,
Скажи, откуда брать живую воду?

ЗНОБИЩЕВА Мария родилась в Тамбове в 1987 году. Окончила Тамбовский государственный университет. Автор шести поэтических сборников. Слушатель семинара А. Казинцева и С. Куняева на форуме молодых писателей России.

— Воды куплю! Не дам себе засохнуть.
Она везде, поверь, одна и та же.
...Уходит в небо лайнер ваш высокий.
Стою. Прощаюсь. И не плачу даже.

ОСТЫВАЮТ ОЗЁРА

Никакого с тобой разговора
Не ведём. Осторожно идём.
Остывают лесные озёра,
Покрываются льдом.

Столько звука вокруг — ты послушай! —
Крик вороний, ветвей говорок,
Гул небес, надрывающий душу,
Шум недалних дорог.

Обречённым молчаньем повисли
Облака с чужедальних сторон,
Но кричат мои тайные мысли
Громче этих ворон.

И дробится ледок под ногами,
Открывая в излуках траву,
Что под нашими дышит шагами
И поёт: “Я живу!”

Луч кричит, прямо в сердце вонзаясь,
И в рассеянном снежном дыму
Бьётся сердце, как загнанный заяц,
Но так сладко ему.

Светел взгляд твой, и нет в нём укора.
Там, в глазах твоих, — новый мой дом...
Но зачем голубые озёра
Покрываются льдом?

СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Здесь схоронили бабушку, а следом
В тугой земле похоронили деда.
Вся в трещинах, земля была суха,
Как жизнь, бездонна и, как смерть, глуха.

Я снова прихожу на их могилы.
Несу в себе тебя, их правнук милый,
Чтоб древо рода снова зацвело
Земному безразличию назло.

Плечо к плечу по всей длине погоста
Растут кресты невиданного роста,
Умерших сосен ссохшаяся плоть.
Растут, как город, в месяц по три ряда,
Как будто для Невидимого Града
Сзывает новых жителей Господь.

Шесть метров, облицованные плиткой,
С оградой, клумбой, тумбочкой, калиткой,
С надгробья отшлифованной плитой.
Или другие шесть — в траве забвенья,
С неразличимой датой рожденья,
С разоблачённой чёрной пустотой.

Любовь и память пишут свой постскрипtum.
Калитка отворяется со скрипом.
Колышет ветер душевные цветы,
И пахнут тленом белые пионы,
И гнутся так, как люди при поклонах,
И лепестками трогают кресты.

Здесь тишина. Молчат односельчане.
Как бабушка сказала б, “осерчали”.
Но на кого отныне им сердчать?
Им всё равно теперь, “взошли ль картошки”, —
Взошла душа! А значит, по одежке
Теперь им больше некого встречать...

Расти, дитя, и думай о хорошем.
Молчит земля, беременная прошлым,
А если скажет миру что-нибудь,
То это слово — наш с тобою путь.

Я жизни жду, а думаю о смерти,
И в этой ежечасной круговерти
Мы все идём от света и на свет.
А значит, смерти не было и нет.

ВАСИЛИЙ ПОЛУШКИН

ПОЖИВЁМ ЕЩЁ НА РУСИ

Солнце светит, дожди идут,
Над землёю плывут облака.
Полевые цветы цветут,
Бесконечно течёт река.

Где-то в светлых просторах Руси
Дремлют сказочные леса.
В волнах плещутся караси,
Птицы плещутся в небесах.

Неприятностей ты не жди
При любых поворотах судьбы.
...Раз пошли грибные дожди,
Значит, будут в лесах грибы.

Значит, хлеб уродит земля,
Будут ветра ждать тополя.
Будет русский ветер гулять
По бескрайним русским полям.

Ты от ветра не прячь лицо —
Слабым ветер добавит сил.
... По молитвам Святых Отцов
Поживём ещё на Руси.

БЕРЕЗОВАЯ БЫЛЬ

Как рыцарей манил святой Грааль,
Пыль всех дорог, минуты поединков, —
Меня зовёт берёзовая даль,
Берёзовая быль, сквозная дымка.
Мне чудится: пока вокруг оси
Наш хрупкий мир вращается веками,
То не переведутся на Руси,
Найдутся чудотворцы с чудаками.
Ах, сколько вас, глядящих в небеса,
Седых и русых, молодых и старых,
Идущих по берёзовым лесам,
Где лет пятьсот не будет тротуаров!

А может, тротуары ни к чему —
Мы по земле родной ходить умеем.
Пойду с берёзой белой обнимусь —
Василь Макарыч обнимался с нею.

КРАЙНОСТИ

Россия... Не скажу худого слова.
Какая есть — любить и принимать.
А к детям временами ты сурова,
Как и любая любящая мать.

Жить добровольно узником бессрочным
В бескрайнем и загадочном краю...
Я в песнях соловьёв твоих полночных
Знакомые напевы узнаю.

На миллионы каверзных вопросов
Один ответ — любить... простить... понять.
И вновь Есенин — или Ломоносов
Растут в безвестных русских деревнях.

Лицом в ковыль от вражьей пули падать,
Любить — безумно, а рубить — сплеча...
Россия...

Говорить о ней не надо.
О ней могу лишь петь — или молчать.

ПЕСНИ ВОЙНЫ

Русь жива. Русский дух не исчезнет.
Не пропасть, не погибнуть стране...
Будем петь незабытые песни
О великой Священной войне.
О ребятах, за Вислою спящих,
И о запахе горьком травы.
О смоле на поленьях горящих,
О дорожках-путях фронтовых.
О солдатах, степями идущих, —
Дорогая, им светит звезда.
Да о птицах споём непоющих,
О ветрах, что гудят в проводах.
Да о клёне кудрявом зелёном,
Крыльях чёрных, просторных полях...
Незнакомой руке на ладони,
Об орлятах и о журавлях.
О солдатах споём неизвестных,
О шальных соловьях по весне...
Незабытые русские песни
О Великой Священной войне.

г. Тюмень

ОЛЬГА КОЧНОВА

Р. С.: С ЛЮБОВЬЮ. ОСЕНЬ

Осень — это пора подведения итогов,
нежных чувств, тёплых кофт и, желательно, пледов.
Осень часто приходит, чужое исторгнув,
наносное срывая, как марки с конвертов.

Это время, когда все так схожи с волками —
ищем логово то, что теплей и уютней.
Ткнувшись носом в родное плечо, замолкаем —
нет мгновенья прекрасней и сиюминутней.

Это время объятий любви с любовью,
время искренней страсти в бокале глинтвейна.
Это время признаний, но не пустословья.
Осень! Порцию страсти налей мне!

Я крашу ногти тёмно-рубиновым лаком,
выхожу в темноту листопадовой ночи.
Лёгким, хищным, крадущимся шагом
подойду.
Обниму его.
“Любишь?”
“Да. Очень!”

* * *

Здесь осенью такая тишина,
что можно ясно по ночам услышать,
как бледно-серебристая луна
слегка звенит над обветшалой крышей.

Шурша в саду среди опавших звёзд,
крадётся к молоку вчерашний ёжик.
Как много время провело борозд,
оставив дому след на тёмной коже.

Незряче шаря в облаках рукой,
скрипит натужно дерево-калека.
Из страха перед будущей зимой
зверьё подходит к дому человека.

...Такая тишина, что давит грудь —
как будто никого на свете близких.
Приходит ёж, лакает Млечный Путь
из старой, чуть потрескавшейся миски.

* * *

Осенью нет одиночества,
есть лишь уединение.
Знаешь, порой так хочется
неба осеннего.

Серого, со стаей галочьей,
в озере отражённого.
Листьев в лесу, слетающих
изнеможённо.

Письма читать недлинные,
а отвечать романами.
Чтобы — туман над нивами
и над полянами.

Осень. Уединение.
Тонкая с миром нить.
...Страшно, когда весенние
майские грозы, летние,
ягоды знойные спелые
некому подарить.

г. Тверь

ЕКАТЕРИНА КОРНЕЕНКОВА

* * *

Что теперь у меня остаётся?
Эта глупая пошлая связь,
Та, что сотовой связью зовётся,
Ведь другая нам не удалась?

Что осталось на память от чувства:
Пара точек, крючки запятых?
Да, признаюсь вам честно, не густо...
Но раз способов нету иных...

Пусть улыбка, что счастье дарила,
Станет скобкой холодной и злой,
Только знай: я вживую любила
И желаю остаться живой.

ПРОЩАНИЕ

Я прощаюсь с тобой,
Городок милый мой,
И свой поезд в Москву ожидаю.

Для меня стал ты всем,
И не знаю, зачем
Я сегодня тебя покидаю?

Покачнулся вагон,
Растворился перрон,
И в окошко врывается ветер.

Замелькали дома.
Не замечу сама,

Как неслышно опустится вечер.
Половинку души
Оставляю в тиши,
Во дворе, где прошло моё детство.

Мне не сможет помочь
Непроглядная ночь,
От тоски никуда мне не деться.

Здесь остались друзья,
Заменить их нельзя.
Я по ним бесконечно скучаю.

В сердце Гродно храня,
Утро нового дня
Я в Российской столице встречаю.

ТЫ ЕСТЬ...

Вновь дождик моросит
По тёмной мостовой,
И каблук шуршит
Опавшею листвою.

Блестит асфальта гладь,
Распахнуты зонты.
А мне лишь нужно знать,
Что на Земле есть ты.

Ты где-то на Земле...
И в мареве дождей
От этой мысли мне
Становится теплей.

И чтобы продолжать
Жить в мире суеты,
Мне просто нужно знать,
Что на Земле есть ты...

*г. Железнодорожный
Московской обл.*

МАРГАРИТА ЧЕКУНОВА

* * *

Это серый рассвет понедельника.
День смиренный, как странник босой.
Утро дышит смолою ельника
И сентябрьской пряной росой.

Как отрадно и сонно он катится,
Как минутки бегут в пустоте...
Хорошо бы сейчас расплакаться
В очищающей простоте.

Здесь прибытие осени бросило
Всю прислугу кустарную ниц!
Ввысь глядит ясноглазое озеро
Из своих камышовых ресниц.

На пригорке прохладно и здóрово,
Прояснилась рассвета струя.
Где-то с лихостью поезда скорого
Мчатся ветры и стынут поля.

В ЯЛУТОРОВСКОЙ РОЩЕ

Мне казалось, мы с рощей — подруги:
Я её отпечаток несу,
Та в серебряном рокоте вьюги
Тоже кроткую прячет красу.
Но суровой, неласковой с виду
Сибирячкою, знающей честь,
Жгучей стужей, как колкой обидой,
Встретит каждого путника здесь.
Белый сумрак ложится кругами.
Я не верю в обманчивый вид,
Если стелется снег под ногами
И снегирь красногрудый парит.
“Это Родина!” — шепчут берёзы.
“Это Родина!” — мчатся столбы.
“Это Родина!” — в иней белёсый
Спрятан тополь у хмурой избы.
И глядит сквозь рассветную алость
Роща в гладкую стужу пруда
Так взыскательно... Нет, показалось:
Это стылые отблески льда.

г. Тюмень

ОЛЕГ МАЛИНИН

* * *

От южных широт устремясь, теребя
Рубахи засаленный ворот,
Весна —
Рыжегривая дура — тебя
Выбрасывает за город.

Апрель.
Неизвестная сумма грачья,
На ветке на каждой — по пуду...
В деревне весна — это поступь ручья
Со ртом перекошенным всюду.

Ступает по горницам раньше сама.
Привет, от хандры панацея!
О, дай свои руки в прощанье, зима,
И всё.
И стою на крыльце я...

Капелью звеня, приобвыкнув, —
Смелей! —
В приволье пытливого ока
Рыдающий горько
Клинок журавлей
Вонзается в облако сбоку.

Тогда на дышащую землю ступи.
У ней разновкусия много:
Польнное горе
Приволжской степи
Хлебни, начиная дорогу.

Сквозь лес направляйся —
Там сосны мычат,
Навстречу одна волочится.
И вот
Шестерых неразумных волчат
Выкармливает волчица.

Тебе позволительно
Память иметь
О том, о далёком, который,
Как ты,
Презирал суеверье и смерть,
Влюбясь в кочевые просторы.

Сражённый наотмашь,
Под дых, наповал
Свирепым
Сарматом в раздоре,
Похожую песнь о себе напевал
Твой братко
На вечном раздолье.

Так пей расстояние
В погибшей ночи,
Почувствуй — родное какое!
Мы ядерной мощью
Ещё горячи
И сами не знаем покоя!..

Шестая по-прежнему!
В тартарары
Летят настроения эти —
Пока наполняют
Ручьями дворы
Голубоглазые дети.

Дрожащую даль
Полукруглой земли,
Цветущую непрерывно,
Возвысили песнями журавли
До Углича из Казахстана.

Над стройками
Легендарной страны,
Над алыми вымпелами,
Прославлены ими
И утверждены
Вовеки советскими нами!

Далёко до лета.
Но всё ж по дворам —
Без шапок, без курток, без друга —
Весна детворе покорится и нам
По новому грозному кругу.

От южных широт устремясь, теребя
Рубахи засаленный ворот,
Несёт,
Рыжегривая дура, тебя
По северному простору.

Коль гибель
Не ждёт —
Воспари над страной —
О, солнце,
Разлейся богато
Над лучшей,
По праву нахваленной мной,
Дарованной мамой когда-то!..

Подмосковье

АЛЕКСЕЙ НИЗОВЦЕВ

ПО РОДНЫМ МЕСТАМ

Рязанский край, твоих берёз не видел я давно,
Чем встретишь в этот раз меня — тоскою и вином?

Всё тот же старенький вокзал, дороги рвань и муть,
Шутливо девушка у касс мне подсказала путь.

Всё изменилось здесь, уж нет той мудрой простоты,
Безропотно растут окрест могильные кресты.

Тому виной густая лень, бессовестность царей,
А может, злоба пролилась над золотом полей?

Мелеет верой этот край, хоть пей за упокой,
Сидит детина под ольхой с протянутой рукой.

И тупо к небу обратив свой замутнённый взгляд,
Мычит в бессилии и пьёт, и кроет всех подряд.

Таких всё больше с каждым днём — народ-то нынче лих,
Ведь как удобно и легко во всём винить других.

И что достанется стране от этих удальцов?
Для них ли жгли себя в стихах Есенин и Кольцов?

Без дикой пляски суеты, обидчивости, лжи
Хотел я видеть этот край пылающим во ржи.

Меня учили жить в ладу и бабушка, и дед
С родной землёй, чудной страной и в светлом видеть свет.

Погост и два родных креста в объятых тишины...
Вернуть бы совесть прежних лет да благодать старины.

В глухой тоске увядших дней я повернул к реке.
Пшеница солнечной волной смеялась вдалеке.

И мне навстречу по траве с лукошком добрых дел
Бежал парнишка лет восьми и важно так сопел.

Я видел свет весёлых глаз, с души стекала мгла,
И в звонкой синеве небес купались купола.

Так, может, с новою весной наступит перелом?
Недаром звёздный князь Олег промчался над селом.

Недаром девушка, шутя, грозила пальцем мне:
Пока живёшь — люби и верь в рязанской стороне!

Москва

ОКСАНА ГРЕБЦОВА

МЫ

Он сорванец, пускай. Он непослушен.
Он любит делать всё наоборот.
Не разрывай упрёками мне душу —
Он вырастет и многое поймёт.

А в клетку правил как его посадишь,
Когда ему семь лет? Всего семь лет!
Ты говоришь: “Любовью не исправишь”, —
Но без любви и дисциплины нет.

“Чужое от чужого, — рассуждаешь, —
Мне на него никак не повлиять”.
Обманешь, сам себя, увы, обманешь,
Ведь, сблизившись, родными можно стать...

Есть “я и ты”, есть “я и он”, и узел
Стараюсь завязать прилежно в “мы”.
Не ковырай, как косточки в арбузе,
Изъяны — мелкие, пути любви — прямые.

ГДЕ МЫ ЖИЛИ С ТОБОЮ

Проезжаю станцию, где мы жили с тобою,
Смешивались, как сахар и соль, оставаясь разными.
Совмещали ежедневно радость с болью,
Собирали картинку с красивыми пазлами.

Две щётки зубные, два велосипеда,
Машина, кровать — всё было общее.
Мой ключ в прихожей — твоя победа.
Свобода, ничейность — так будет проще...

Сложней одновременно, потому что
Время предъявит тебе обвинение
В растраченности... ну, кому что...
У меня на этот счёт особое мнение.

Как же отделить теперь сахар от соли?
Как ни старайся — пустая забота...
В нашу-твою дверь постучат Юли, Оли...
Да и я найду себе кого-то...

*г. Люберцы
Московской обл.*

ДИМИТРИЙ ДУДКО

“ЧТОБЫ СПАСТИСЬ, НАДО БЫТЬ ПОЭТОМ”

10 лет назад отошёл ко Господу священник Дмитрий Дудко. Слава этого пастыря началась в середине 70-х годов. Тогда у клириков, находившихся под строгим приглядом уполномоченных Совета по делам религий, ещё свежи были в памяти хрущёвские гонения на Православие; страх лишиться регистрации, оставив без куска хлеба семью, обычно многочисленную, не позволял им лишний раз рта открыть. И вдруг появился батюшка, который без боязни стал говорить с народом: в субботу после Всенощной с амвона храма святителя Николая, что на московском Преображенском кладбище, он стоял перед толпой верующих и неверующих, писателей и инженеров, учёных и крестьянок из близлежащих деревень... Они до отказа заполняли небольшую церковь, а он коротко, энергично, нередко с юмором отвечал на их вопросы, в том числе самые острые.

Отец Дмитрий в многочисленных публикациях и воспоминаниях предстаёт смелым борцом за веру в атеистическом государстве, исповедником, перенесшим гонения, горячим патриотом России в годы после развала СССР (чего многие диссидентствующие почитатели священника, окружённого ореолом “борца с режимом”, ему не простили), почитателем Сталина (при том, что он был узником сталинских лагерей), духовником газеты “Завтра”...

Таким образом, внимание авторов было сосредоточено преимущественно на характеристике общественно-просветительской роли отца Дмитрия, заявленной им ещё в тех самых беседах с прихожанами в Никольском храме. Роль эта, безусловно, значительна и нуждается в объективной, непредвзятой оценке. Но такая характеристика будет неполной, она почти ничего не скажет о не менее, а может быть, более важных сторонах его личности. Человек огромного жизненного и духовного опыта – за его плечами был голод 1933 года, фронт, заключение, гонения за смелые проповеди, – отец Дмитрий был замечательным пастырем своих, говоря церковным языком, словесных овец – тех, кого он крестил, просвещал, кому назидал, кого исповедовал и причащал. К нему тянулись тысячи нуждавшихся в том, чтобы разобраться в собственной жизни, желающих получить совет, утешение, просто погреться в тёплых лучах, исходивших от его любящего сердца, почитать свои и послушать его стихи.

Литературное творчество занимало значительное место в жизни батюшки. Он даже говорил о себе: “Я не знаю, кто я больше: священник или писатель”. Отец Дмитрий дружил со многими писателями почвеннического направления – с Александром Яшиным, Михаилом Лобановым, Эрнстом Сафоновым,

которого он крестил, Владимиром Солоухиным, которого причастил умирающим. Отец Димитрий был не только писателем религиозной темы: “Христос в нашей жизни”, “Литургия на русской земле”, “Премудростью вондем” и других книг. Он одобрил и публикацию в “Нашем современнике” поэмы Юрия Кузнецова “Путь Христа”. Он автор целого ряда художественных произведений: прозы, очень разной по жанру (рассказов, автобиографических повестей, романа-хроники, притч), и стихов. У отца Димитрия был настоящий поэтический дар.

Предлагаем вниманию читателей “Нашего современника” подборку стихотворений Димитрия Дудко разных лет.

Владимир Смык

* * *

Молимся, Боже, мы, странники горькие,
Долгие годы жестоко гонимые.
Слишком у нас дни скитания долгие,
Слишком страдания неутolimые.

Господи Боже, помилуй ны!

Молимся, Боже, о семьях оставленных,
Как они плачут, тоскуют, родимые.
Молимся, Боже, о всех обесславленных,
Что нам сочувствуют, неустрашимые.

Господи Боже, помилуй ны!

Молимся, Господи, мы о расстрелянных,
В тяжких работах жестоко замученных,
В шахтах, болотах, каналах рассеянных,
Верных Тебе или верить наученных.

Господи Боже, упокой их!

Молимся, Боже, Тебе о гонителях,
Всё им прости: ведь они — ослеплённые,
Дай лишь, чтоб не было больше мучителей
И отдохнули бы все утомлённые.

Господи Боже, помилуй ны!

Яко десница Твоя всеблагая,
Яко держава Твоя всемогущая,
Дай, чтоб воскресла Россия святая,
Силою сделалась истина сущая.

Ныне и присно, навеки! Аминь!

1948

* * *

Старый год, то год моей разлуки,
Я его не видел, как он рос,
Потому что вдруг свалились муки
На меня, я молча их понёс.

Я не помню, что в России было,
Помню только холод января,
Как в морозной мгле для нас светила
С непонятной радостью заря.

Не простился, не сказал ни слова,
Слышал только долгий стук колёс.
И тайга глядит в глаза сурово,
Извлекая капли крупных слёз.

Здравствуй, Новый год! С каким приветом
Ты пришёл с родных или чужих сторон
И горишь своим великим светом,
Северный украсив небосклон?

Я смотрю на горы предо мною,
Что загородили путь к стране.
Может быть, простившийся зимою,
Я приеду к милым по весне.

И заря, которая светила,
Загорится радостью родной.
С Новым годом, дальняя Россия,
С Новым годом, с будущей весной.

1949

* * *

На перекрёстке нескольких дорог
Настигла пуля, спит солдат усталый,
Который у последнего привала
Оставил вещмешок своих тревог.

И ты, ему неведомый совсем,
Стоишь над ним... О чём ты размышляешь?
Ещё волнуешься и ничего не знаешь...
Он знает всё, глух ко всему и нем.

Пути, пересекаясь, убегают.
Бой громыхает. Муки и тоска.
Плетутся дымовые облака,
Кого-то пуля настигает...

1950

* * *

От тебя, как вести, облака
По небу плывут легко и быстро...
От тебя... А ты так далека,
Что мне трудно даже и помыслить.

Я смотрю. Желаю разгадать:
Что они, к чему, к дождю иль солнцу?
Вот как будто бы волос кудрявых прядь,
Вот лицо, как будто улыбнётся.

Молния, небесной красотой
Полыхнув, всё переводит в звуки.
Облака проходят надо мной,
Свешивают дождевые руки.

Я стою, лицо ласкает дождь,
Облакам я рад, они оттуда,
Где живёшь ты, и разлуки дрожь
Пробегает в сердце, словно чудо.

1950

Духовным детям

Вы слышите, дети, любите друг друга,
На нашей земле разгулялася вьюга.
Как раз не заметишь, собьёшься с дороги,
А в злобе своей не отыщешь подмоги.
И будешь шататься хмельным от досады,
И будут грозить тебе всякие гады.
И будут визжать они справа и слева,
Попробуй отбиться от их ты напева.
Вы слышите, дети, любите друг друга,
Чтоб нас не могла одолеть эта вьюга,
Которая так разгулялася строптиво,
Что шею свернуть — не такое уж диво.
Вы слышите, дети, любите друг друга,
Любовь — это то, чем смиряется вьюга.

1982

* * *

— Не тюрьма здесь, а монастырь, —
Мне с улыбкой понятной сказали.
Посадили молиться за мир,
За обиды его и печали.
— Келья — камера, разве не так?
— Да, всё так, — остаётся молиться.
Сами слёзы, вскипая в очах,
Заставляют пред Богом склониться.
Пощади и друзей, и врагов,
Пощади и помилуй нас, грешных.
А за мной всё глядят из глазков:
— А за нас не забыл, друг сердешный?
Помолюсь и за вас, и за тех,
Кто над вами, пред вами, под вами.
Не молиться в тюрьме — страшный грех.
Облегчается сердце слезами.

1980 Лефортово

ЛИДИЯ СЫЧЁВА

РОССИЯ: ОТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА К ПОСТГУМАНИЗМУ

“Эх, хорошо в стране советской жить!..” – будило по утрам задорно-оптимистичное радио “Пионерская зорька”. Бодрые физкультурники на полотнах Дейнеки, роскошь подземных дворцов Московского метро, счастливая улыбка Гагарина, День Победы со слезами на глазах, Сергей Капица с “Очевидным – невероятным”, наши “золотые” олимпийцы на пьедестале почёта, фильм “Большая перемена” про вечернюю школу, где учатся рабочие, – и ещё сотни примет нормальной, счастливой жизни.

Современная Россия вбухивает миллиарды долларов в улучшение внешнего имиджа, но пока данное “самовздутие” не помогает. А вот у Советского Союза авторитет на международной арене был безусловный. Конечно, для кого-то мы являлись “империей зла”, “исчадием ада”, “тоталитарной страной”, “душителем свобод”, но то, что СССР – суверенная держава, было очевидным.

Страна Советов создала собственную, независимую от мировых центров, финансовую систему. Мы хорошо вооружены – есть атомная бомба, водородная (“кузькина мать”, как называл её Хрущев). Наша экономика основана на принципах вертикальной интеграции – эффективного способа хозяйствования. Много средств тратится на научные изыскания, массовое образование, высокую культуру.

И вдруг всё рушится. Без особого вмешательства извне, по крайней мере, на начальном этапе. Советская власть, казавшаяся незыблемой, продержалась семьдесят лет. Не спасли её ни оптимистическая культура, ни грозная армия, ни идеологическая монолитность, ни самодостаточная экономика, ни железный занавес.

Почему? Вопрос интересный. “Союз нерушимый”, несмотря на многолетнюю пропаганду дружбы народов, развалился на национальные образования, где тотчас вспыхнули претензии к “старшему брату” (исключением стала только Белоруссия).

В одном из детских садов Швеции недавно отменили пол – мальчикам и девочкам затуманивают голову, обращаясь к ним в среднем роде. Местоимение “оно” необходимо воспитателям для демонстрации гендерного равенства. Недостатки, как известно, есть продолжение наших достоинств – вот до чего может довести скрещивание евросоциализма и теории прав человека! В СССР, воспитывая “новую историческую общность – советский народ”, фактически попытались отменить национальность. Идея чем-то (извините) похожа на шведское безумие: преобразователи мира замахнулись на саму природу, которая создала пол и расу. В ближайшем будущем “отменить” эти две сущности, скорее всего, не получится. Так что боритесь с ними – плевать против ветра.

А вот советская власть — пробовала. Хорош ли, плох русский народ, но именно он построил Российскую империю. В начале XX века Николай II управлял аграрной страной, финансово и промышленно зависимой от Запада. Правда, у России был один существенный козырь: бурный рост населения. В предшествующие революции годы мы обгоняли по этому показателю всю тогдашнюю великолепную четверку — Англию, Германию, Италию и Францию. Абсолютными лидерами по рождаемости в Российской империи являлись казачьи земли: Область Войска Донского, Астраханская, Таврическая, Екатеринославская, Оренбургская губернии.

Вряд ли демографический бум вызывал прилив нежных чувств у наших соседей. (Мы ведь тоже от китайской плодовитости не в восторге.) Но тут подоспели Первая мировая, революция и Гражданская война, они-то и решили кардинально “русский вопрос” — иных уж нет, а те “далече”, т. е. в эмиграции. Политика расказачивания прикончила демографический потенциал этой сословной группы. Позже выяснилось, что гораздо легче снять фильм “Кубанские казаки” (хотя нынешним киношникам и это не под силу), чем побудить людей создавать крепкие семьи и рожать детей. Роман “Тихий Дон”, кстати, абсолютно антитроцкистское произведение. Известно, что “великий революционер” называл казачество “зоологической средой” и говорил о необходимости поголовного уничтожения данного сословия.

Но вот уж и троцкизм побеждён, и о перманентной революции ни слова, и социализм мы взялись строить в отдельно взятой стране. Прекрасно! Что же мы видим? В 1959 году население СССР — 208 млн человек. Спустя сорок лет уже 286 млн. Казалось бы, значительный рост! Но кто нам его дал?

Русских в структуре населения СССР в 1989 году — 145 млн. При этом количество людей с высшим и средним образованием на тысячу человек в РСФСР — 425. Это меньше, чем в целом по стране (439). А кто же у нас в вундеркиндах? Узбекская ССР — 513, Грузинская ССР — 576, Азербайджанская ССР — 501. Чудеса: даже киргизы (465) и туркмены (456) больше стремились к знаниям, чем русские!

В РСФСР средний размер семьи — 3,2 человека, при том, что свой вклад в повышение этой цифры вносили демографически активные жители Северного Кавказа, входившие в состав республики. Так, чеченцы и ингуши численность своих народов за годы советской власти увеличили втрое. В Таджикистане средний размер семьи — 6,1, в Туркмении — 5,6, в Киргизии — 4,7, в Азербайджане — 4,8, в Узбекистане — 5,5, в Армении — 4,7, в Грузии — 4,1 и т. д.

Вот вам и ответ на вопрос: кому на Руси жить хорошо. Пока славянское население работало, воевало, строило (на воле и в ГУЛаге), осваивало целину, БАМ, нефтегазовые месторождения и пр., в нашем замечательном интернациональном государстве другие народы растили детей, получали образование, бесплатную медицинскую помощь и прочие радости социализма. В 1980-м, весьма благополучном для нашей страны, в таких русских областях, как Новгородская, Псковская, Рязанская, Тверская, Тульская, Курская, Тамбовская, Орловская, да и во всём Центральном Черноземье — отрицательные цифры прироста населения. До распада СССР — почти десять лет!

Странные люди эти русские! “Высокие темпы роста населения в союзных республиках, которые были угнетаемыми окраинами царской России, — яркое свидетельство правильности ленинской национальной политики, обеспечивающей широкие возможности для всестороннего развития экономики и культуры всех народов”, — рапортовали партийные пропагандисты. Извините, а низкая рождаемость и низкий уровень образования среди славянского населения — это свидетельство чего?!

Русский народ, с преобладанием к концу XX века в структуре населения женщин, пожилых и больных граждан, отягощенный множеством обязательств — перед другими республиками, соцлагерем, движением неприсоединения, лишенный духовной поддержки — вера в Бога “отменена”, а “прогрессивная” интеллигенция ищет счастья и признания на Западе, просто не выдержал взваленного на него интернационального груза. Атлант рухнул, и ноша его, красная советская империя, разлетелась вдребезги.

Равнодушие к собственной социальной и политической судьбе свойственно тяжело больным народам. В момент распада страны русские даже не боролись за права соотечественников в бывших совреспубликах или за свои исконные территории, такие, как Северный Казахстан.

До нынешнего года Россия ничего не сделала для русских на Украине за 23 постсоветских года. (В России-то и собственный народ брошен на растерзание олигархии!) Вина Москвы – в передаче Украине Крыма, в отделении Украины, в развале СССР – огромна. “Оттепельный” Никита Хрущев породил то, что продолжили “демократичный” Михаил Горбачёв и похмельный Борис Ельцин.

Очевидно, что разрушать Россию, когда такая необходимость возникнет, будут по уже опробованному в СССР сценарию. А именно: демографическое ослабление русских – экономическое и культурное укрепление других народов – провоцирование национальных или религиозных конфликтов – распад страны.

Надежд на то, что русский народ одумается и возьмёт в руки свою судьбу, немного: ситуация надёжно контролируется на самом высоком уровне – посредством телевизионных сигналов и политических действий. Спасибо Ксении Собчак: в своих публичных “Домах” она развратила целое поколение молодых людей.

Но русскому человеку некого винить в своих бедах – мы у себя дома, на своей земле, нас большинство. История любит сильных и быстро забывает слабых. Барин не приедет и не рассудит, русское “авось” уже не поможет.

Каждый народ – кузнец своего счастья, и нам следует почаще вспоминать эту истину, а не кидаться на спасение всего человечества. Оставим эту сверхзадачу Соединенным Штатам. Интересно, снесёт ли крышку с их “плавильного котла” и если да, то когда именно?!

* * *

Прочитав написанные выше рассуждения, мои неславянские знакомые-либералы раскритиковали их в пух и прах. Да, приведённая мной цифрирь верна, но это же не более чем статистическая погрешность!.. И что из того, что “националов”, получавших в советское время высшее образование, больше, чем русских?! “А что нам оставалось делать?! Другого пути выбиться в люди не было!” (Как будто русским детям не надо в люди выбиваться.) “Государствообразующий народ” перестал рожать? Тоже объяснимо: настала индустриализация, вслед за ней урбанизация, кои всегда ведут в демографическую яму. В конце концов, есть и стереотипы поведения, некая “судьба”, как у ненцев и чукчей; впрочем, скоро и славяне для китайцев будут “народом Севера”. Если русским досталась плохая доля – это их личная беда, неча на зеркало пенять...

Взгляд на национальные проблемы не может быть одинаковым у русского, татарина, чеченца, эвенка и пр. Хотя бы потому, что это естественно – иметь собственную точку видения, начинать отсчёт с себя, со своей нации. Картина мира у всех разная. Разглядывая политическую карту, мы привыкли, что Россия (прежде СССР) – в центре мироздания, самое большое государство. Между тем, если взглянуть на географический атлас, выпущенный в Австралии, то наше главенство и величие там вообще незаметны – отсчёт у жителей зелёного континента идёт с южного полушария. На политической карте мира, выпущенной в Китае, в центре – их собственная страна. То же – в США, Германии, Великобритании и пр.

Здоровое национальное чувство, тревога за судьбу родного народа – естественные эмоции. Правда, нерусских “ленинская национальная политика” приучила к тому, что главная задача славян – тащить воз интернационализма не взбрыкивая, поскольку “у пролетария нет Отечества”.

Была ли дружба народов в советское время? Соцреализм – это расцвет небывалой жизнерадостности, романтизма, устремления ввысь. Фонтан “Дружба народов” на ВДНХ, “Свинарка и пастух” в кино, гимны интернационализму в стихах и прозе – “Я хату покинул, / Пошел воевать, / Чтоб землю в Гренаде / Крестьянам отдать”. Этот оптимизм вполне объясним – скептики массово покинули Россию в годы гражданской войны, а уцелевшие оппортунисты и “недобитки” могли запросто оказаться в ГУЛаге. На таком чистом поле, свободном от “социальных сорняков”, действительно возникали цветы “новой морали”, взращивался “новый советский человек”. Но, по большому счёту, он оказался нежизнеспособным фантомом, лишенным почвы.

Русская литература XIX века дала два мощных философских дерева (Толстой и Достоевский), очевидным образом повлиявших на судьбы страны и мира. А вот в “благополучном” XX столетии, когда для советских писателей

были созданы все условия для жизни и творчества, с новыми идеями возникли перебои. Прекрасных мастеров слова можно перечислять десятками, избирательная сила слова у многих художников достигла небывалых высот, но всё-таки главные мировоззренческие открытия принадлежат французским экзистенциалистам и латиноамериканским “магическим реалистам”. А что могла дать советская литература, если сверху всё заварено чугуновой крышкой марксизма-ленинизма, болванкой весьма эклектичного и схематичного учения?! “Улучшать” свод этих догм могли только первые лица государства, для всех остальных вольное толкование передовой философии грозило обернуться крупными жизненными неприятностями.

“Подумаешь, какие-то книжки-мыслишки! – скажет обыватель. – Нам-то что от них?! Какое счастье?” Но если нет идейной доминанты, то “клячу истории” и впрямь легко загнать до смерти. На исходе своего существования СССР очевидно находился в мировоззренческом тупике. Его крушение было неизбежным: 1) подкосила демография государствообразующего народа (“Боливар не выдержал двоих”); 2) узость марксизма-ленинизма парализовала духовное развитие общества. И тело, и душа русской государственности оказались во взаимном кризисе. Потому что история человечества есть не история борьбы классов, а добра и зла.

“Россия – колония США!” – кричит теперь на каждом углу депутат-единоросс Евгений Фёдоров. По его теории, везде – в госорганах, в Кремле, в правительстве, администрации президента – сидят предатели-компрадоры, и лишь героический царь-батюшка, почти Борис Годунов, борется с врагами – тайными госдеповцами и Лжедмитрием. Народ же, в основном, безмолвствует...

Разберём эту мыслеформу. Колония ли Россия? То, что наш Центробанк – всего лишь валютный обменник, филиал Федеральной резервной системы, известно всем. То, что Чубайс – “смотрящий за Россией”, открыто заявляют оппозиционные политики. То, что наша “элита” – их элита, откровенно признают американские аналитики. И всё же богатства России, её военный потенциал (ядерное оружие), уровень развития человеческого капитала ещё достаточно велики, чтобы в любой момент сбросить с себя нелестный статус. Присоединение Крыма как раз и стало шагом на этом пути. Но, признаем: в этой победе России больше “заслуг” Киева, чем реальной работы Москвы. Если бы не мужество и отвага севастопольцев, не было бы никаких “вежливых людей”, триумфального референдума и возвращения крымчан в Россию. Получается, что самые преданные наши государственники и патриоты были воспитаны в другой стране, на Украине. Ну, не парадокс ли?!

Но коренного поворота не происходит. Почему? Интересный вопрос! “Верхи” не могут или не хотят?

Россия – не колония в обычном смысле, пусть даже в нашей Конституции и закреплён приоритет международного права над внутригосударственным. Россия – колония духа.

Кремлёвцы и нацлидер совсем не антагонисты Запада. Напротив, они его горячие поклонники.

При всей хаотичности, противоречивости, временами абсурдности и нелогичности процессов, происходящих в России, всё-таки нельзя не видеть, что общий их вектор – последовательная деградация страны. Это касается и населения, его нравственного, культурного, интеллектуального, демографического состояния, и госуправления, сочетающего несочетаемое (коррупция и “борьба с коррупцией”; “закручивание гаек” и проведение “честных выборов”; повышение денежного содержания чиновникам и замораживание зарплат бюджетникам; сбрасывание всех сокобязательств на регионы и “имиджевые” стройки-кормления). Противоречивость властных решений слегка маскирует не только общий курс на деградацию, но и то, что этот процесс носит однозначно управляемый характер – как технологически, так и концептуально. И то, что на Украине дела обстоят ещё хуже, чем у нас – вовсе не утешение, а демонстрация в явном виде того, что происходит и в России. Просто «удар по краю», нанесённый Западом, оказался эффективней, чем «удар по центру».

Украина в некотором смысле спасла Россию – своей трагически-жалкой «революцией» она начертала тот сценарий, что при определённом стечении обстоятельств может развернуться и у нас. Это недвусмысленное предупреждение коррумпированному госаппарату – надо меняться, и побыстрее, власть дороже

золотых батончиков. Тем более что Запад в кризисные минуты действует по принципу «падающего подтолкни» - за граница наших воров спасать не будет.

Украина – форпост православной русской цивилизации в Европе. Да, через неё проходит ментальный и религиозный разлом, но всё-таки большую часть постсоветского времени страной управляли элиты с Юго-Востока. И разве киевские управители делали что-то отличное от российских олигархов?! Ровно то же самое: занимались стяжательством, выводили деньги в офшоры, разлагали население либерализмом (с нацистским оттенком). У России просто существует запас экономической прочности – за счет нефтегазовых доходов, но это не значит, что “украинский сценарий” (он же – югославский, сирийский, иракский, ливийский и др.) нам не грозит. И вот почему: нами управляет не внутренняя общественная мысль, как бы куца и примитивна она ни была (например, концепция брежневского развитого социализма), а внешняя – гораздо более изощренная, сложная и мощная. У российских рулевых сугубо интеллектуальная, духовная зависимость от чужеземных рецептов (не всегда бескорыстных), колониальное сознание, новая “вера”, выросшая на почве вчерашнего интернационализма.

Вот этапы поступательного развития сей романтической идеи: даёшь победу коммунизма во всём мире! Даёшь в отдельно взятой стране! Даёшь в отдельно взятом классе – “элите”! История сделала круг. Общество вернулось к сословиям, к дичайшему неравенству, к “внешнему управлению”. Впереди – очередной тур игры в “три напёрстка”.

Именно в недрах советского культа (одним из руководителей журнала “Коммунист” был, как известно, Егор Гайдар) вызревала “прогрессивная” общественная идея – о невозможности построения коммунизма для всех, и о строительстве общества сверхпотребления для лучших (“элиты”). Путь к этой “модернизации” был взят из предыдущей общественной формации. Если учение диктатуры пролетариата призывало перебить или репрессировать все сопротивляющиеся “счастью” классы и сословия (дворян, буржуазию, духовенство, казачество, кулаков, часть интеллигенции, офицерства, чиновников и середняков), то “диктатура элиты” тоже не скрывала своего желания переморить тех, кто не вписался в рыночную экономику, – фраза Чубайса на этот счет хорошо известна.

В этом “пути к счастью” – очевидная духовная преемственность “отцов” и “детей”. Это “новый большевизм”, диктатура офшорного меньшинства против народного большинства.

Что ж, цель достигнута: 110 семей контролируют 35 процентов национального богатства России, – такой вывод сделали аналитики швейцарского банка Credit Suisse. Но разве нынешняя российская элита не такой же шарик в руках внешних напёрсточников-глобалистов, что и “авангард передового пролетариата” в 1917-м?! Единственное, что разрешается новой “верой” кремлёвцам – это полная свобода творчества в уничтожении, уморении и дебилизации собственного населения. Да, есть бонус – материальное сверхпотребление. Но истинная власть – власти, соединённой с народом, офшорная элита лишена с рождения.

Как ни пытаются пыжиться нынешние компрадоры, но они – типичные отщепенцы. Это – суррогатная элита, рождённая и выращенная вне смыслового ядра национального общественного организма. Она вся – коллективный Лжедмитрий. Или коллективный Иудушка Головлёв, извергающий потоки словесной патоки, пиара и примитивных поучений. Эта смесь ханжества, лицемерия и демагогии ошеломляет: духовные скрепы и гастарбайтеры, патриотизм и бизнес в офшорах, вздохи о державности и сатанизм на телеэкране, и т. д., и т. п.

Почему так? Разумеется, эти люди не верят в Россию, живут одним днём и при этом глубоко убеждены – им за то, что они делают – ничего не будет. Ни при жизни – это психология криминалитета, ни после смерти – потому что в Бога они не верят, несмотря на восстановление храмов, стояния со свечами, богослужения и т. п. Это не вера, а магия, “битва экстрасенсов”. Если они, ничтожные люди (чего в глубине души они не могут не ощущать), так возвысились и разбогатели, значит, сие “Богу угодно”. Отчего же не пожертвовать на храм, не поставить свечку?! Дабы эта “лафа” никогда не кончалась.

Но такая “вера” – хула на Бога. Православие связано с чувством родины и любви к людям, главное же содержание нового коммунизма для избранных – любовь к деньгам, к собственности, к чужому, к заграничному, и презрение, даже ненависть – к земле, к родному, к “быдлу”. Вот почему самое

страшное для нынешней элиты – ограничение её внешней свободы, лишение билета в “землю обетованную”, т. е. на Запад. Потому и новые санкции Запада после эпопеи с Крымом поразили кремлёвцев в самое сердце – ещё бы, их наказали духовные “доноры”, те, с кем они связаны ментально. Чужебские – любление всего чужого и ненависть к родному – генетическая болезнь нашей колониальной элиты.

Их “чувства верующих” оскорбляет глубинная мысль о том, что, может быть, религия денег, гедонизма, вседозволенности и наслаждений, которой они поклоняются – ошибочна. Потому что Бог зовёт к красоте, подвигу, самопожертвованию, а не к стяжательству и лжи. И если Он это попускает, то это ещё не повод воспринимать госворовство как благословление небес.

От прошлых богачей осталась только “позитивная” память – Третьяков, Мамонтов, Бахрушин – благотворители и меценаты. Нынешние нувориши, живущие одним днём, заинтересованы в том, чтобы мир умер вместе с ними.

Элита не имеет никакого проекта будущего, потому что временная вертикаль истории для этих людей разрушена. Они живут в настоящем, растекаясь по географической горизонтали – поездки по миру, недвижимость в Ницце и Майями. Для офшорников наступил и коммунизм, и конец истории.

* * *

Но, положа руку на сердце, ответим честно: могла ли нынешняя элита быть другой? В мире, человеческом общежитии, есть баланс добра и зла, нарушение которого неизбежно приводит к выравниванию “весов”. Так, поздний советский строй с его социальной справедливостью и целомудрием сминился разнузданными пороками и социал-дарвинизмом, словно бы социум стремился выровнять былую недостачу зла. История России похожа на гигантский маятник, который, качнувшись в одну сторону, делает движение в другую, достигая крайней точки. Потому есть что-то закономерное в том, что в стране, гордившейся справедливостью и братством, теперь дичайшее неравенство и распри между вчера ещё мирными народами.

Наша элита – есть прямое продолжение элиты советской, уцелевшей в горниле кровавых сталинских чисток. (Кстати, а где уверенность, что выжили – лучшие?) И разве офшоры и замки в Ницце – не есть реакция на советский “железный занавес”? Пусть непроговариваемая реакция, пусть уродливая и в нравственном смысле, и в правовом, формальном – но всё-таки реакция?!

Советская литература дала новые типические характеры: Павка Корчагин, Василий Тёркин, Иосиф Левинсон, Григорий Мелихов. Хороших и великих писателей было много, но развитие шло вширь, а не ввысь, как бывает с деревом, у которого срезают верхушку. Православие, метафизика запрещались как “опиум”, позволительный лишь одурманенным бабушкам. Везде насаждался новый культ – Мавзолей, памятники вождю мирового пролетариата, улицы имени Розы Люксембург и Клары Цеткин. Дети должны были последовательно проходить три стадии “крещения” в новую “веру” – приём в октябрята, пионеры, комсомол. Предполагалось “исповедование грехов”, воспитание “общинной” – социалистическим коллективом, и, в перспективе, принятие, для лучших, в новое жречество – компартию и номенклатуру, где был свой “моральный кодекс строителя коммунизма”. (Сейчас говорят о совпадении его “заповедей” с христианскими. Чудесно! Но зачем тогда нужно было разрушать “первоисточник”?! И кому это было выгодно?)

В соцреализме есть момент “дионисийского опьянения”, о котором пишет Карл Густав Юнг (переименования городов, энтузиазм, жертвенность). Юнг справедливо замечает, что “дионисийское переживание не может быть чем-то иным, кроме как возвратом к языческой форме религии”.

В чём идеология нынешнего правящего класса? Это причудливое соединение “клочков”, “фрагментов” от предыдущих “национальных идей” и “верований”. Тут и мысль о своей избранности, отсюда – бешеные зарплаты и “золотые парашюты”, и осколки “сталинизма” – Путин на ТВ появляется никак не меньше, чем Сталин в “Правде” в годы своего правления, и уваровская триада в виде дежурных богомолий первых лиц; но никакой целостной системы нет, есть судорожное, ситуативное накопление личных богатств, пиар и мечта о новом интернационале – интернационале воров и жуликов, сумевших

преступить нравственные заповеди. Значит, “право имеют”! Не то, что люди “второго сорта”.

Хаотичными, судорожными видятся и процессы, которыми “верхи” пытаются как-то сплотить общество, чтобы оно “в едином порыве” било земные поклоны нынешнему порядку вещей. Десталинизация идёт в ногу со словесной сталинизацией, призывы к демократизации соседствуют с диким барством, приступы богомолья ничуть не мешают телесатанизму и пр. Из огня да в полымя – за этой фрагментарностью, мозаичностью и метаниями элиты вырисовывается философия временщиков, кои никакой другой идеи, как съезд “здесь и сейчас”, просто не способны усвоить. Торжество материализма – “бытие определяет сознание”, всё по Марксу!

Идея “счастья народного” за счёт самого народа была провернута дважды – в 1917–1922 гг. и в 1991–1993 гг. с бессовестной лихостью. Революционеры 90-х не ехали к нам в заплombированном вагоне, они наши, доморощенные, у которых материалистическая идея “Бога нет – всё разрешено” достигла очередного исторического пика. Свою настоящую веру они воплотили в новом государственном устройстве и госуправлении, и нынешняя Россия – их идеал.

Разрушая СССР, новые революционеры вовсе не желали никакого возвращения к “истокам” – национальному самосознанию, национальному суверенитету и пр. Свобода совести? Действительно, с отправлением культа проблем больше нет. Но какую религию насаждает элита? В душе своей новые преобразователи – стопроцентные протестанты. И веру они используют сугубо рационально – как “опиум” для большинства, духовный наркотик, усыпляющий газ, который действует параллельно с облучением безнравственностью на ТВ.

О возвращении к России исторической нет и речи. (Да это и невозможно.) Во всём лишь жалкая пародия на прошлое: введение “Героя труда” вместо “Героя Соцтруда”, название Волгограда по вездникам Сталинградом, “барин” Михалков, рассуждающий о самодержавии, и пр. Перед нами развитие секулярной, цифровой, материальной идеи – коммунизма для тех, кто “право имеет”, и халтурная маскировка этой затеи вчерашними, значимыми для общества, символами.

Возвращение к исторической России – это, между прочим, и “разбор полётов”, – разве не вестернизация и загнивание дворянской элиты привели к крушению империи? Разве не превращение церкви в “департамент” по протестантскому образцу умножило ханжество и неверие? Разве не равнодушие Николая II приблизило к печальному концу его правление?

Выхолащивание православия, слабость национального самосознания, трагедия русской классической философии – и вот печальный результат. На материальной идее Россия продержалась 70 лет, соорудив культ светлого будущего. Интересно, а на этой идее – ультра-материалистической, сколько мы протянем?! Ну, явно, не семь десятков...

Даже идея “золотого миллиарда” – избранной расы, правящей миром, более гуманна, чем “повестка дня”, которую формирует наша элита. Это идея “расчеловеченных людей”, лишенных сантиментов и привязанностей. Всегда, во все времена, это был верный путь к господству (“тварь я дрожащая или право имею?”), но никогда ещё решение проблем за счёт своего народа не было столь наглядным.

Элитные люди устраивают страну по собственному образу и подобию: главврач должен получать в 10 раз больше врача, ректор – в 10 раз больше преподавателя, директор школы – в 10 раз больше учителя и пр. Главврачу, ректору и директору платят не за профессионализм, а за лояльность системе. То есть у людей покупают остатки совести. В идеале нация должна состоять только из лояльных, а все остальные – избыточное население, которое можно и нужно заменять одноразовыми гастарбайтерами или сломленными рабами, согласными с “правилами игры”. Незаменимых нет.

Внуки большевиков-интернационалистов, не знающих сантиментов атеистов, отщепенцев от народа, они убедились, что идея – не гарант, нация – не гарант, государство – не гарант. Гарант – это кошелёк.

Современная Россия – полигон, испытательная площадка для апробирования в действии постгуманизма, выстраивания человеческой иерархии по денежному достоинству. Идея, можно сказать, “цифровая”, потому что офшорные богатства, это, в сущности, цифры, которые легко обнулить. А вот ресурсы, вывезенные из страны, отнятые у граждан России, – вполне реальны.

И всё-таки русская государственность, израненная, изъязвлённая, униженная — всё ещё жива. Она похожа на гигантское, неповоротливое животное, на мамонта, которого охотники гонят в яму.

Не каждому, даже очень отважному и даровитому народу удаётся создать национальное государство. А на имперское строительство и вовсе способны единицы. А вот русский народ, “жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы” (Николай Чернышевский), создал огромную державу, которая в XIX веке простиралась аж на три континента — Европу, Азию, Северную Америку.

Тем, кто вслед за Владимиром Лениным считает, что государство — это никакая не ценность, а лишь машина для подавления трудящихся, стоит посмотреть, допустим, на евреев. Зачем, казалось бы, “богоизбранному народу”, непревзойденному мастеру создания финансовых империй, Израиль?! Да ещё в таком недружественном окружении?! Но — “земля обетованная”! Этим всё сказано: люди пока ещё не придумали лучших форм общечития, чем семья и государство. И обе эти общности требуют от человека в определенные моменты истории самоотречения, жертвенности и даже героизма. Потому что государство — продукт не только материальной, но и духовной жизни народа.

Лицом к лицу лица не увидать: ценность государства осознается только в моменты его крушения. 1917 год, гражданская война, эмиграция — миллионами жизней было заплачено за крушение Российской империи. Заметим, преимущественно русскими жизнями. Результат? Очевидное демографическое и интеллектуальное ослабление страны, отпадение ряда территорий. 14 иностранных государств приняли участие в интервенции и уже поделили между собой богатства России. Они тоже нам “хотели добра”? “Демократизации”? Прав человека? Мечтали о процветании России?!

Государство являлось ценностью для большинства населения СССР — народ проголосовал на референдуме за сохранение Союза. Но для высших руководителей страны “приоритеты” были другие — личная власть, геростратова слава и частная собственность на то, что создавалось трудом поколений. И вновь за развал государства было заплачено миллионами жизней, территориальными потерями, деградацией экономики. Кто выиграл в результате? Китай, Турция, Европа, Япония, США — да весь мало-мальски “цивилизованный мир”! Одни поживились на наших ресурсах, другие приобрели новые рынки сбыта. А что получил народ?! Многолетнее телезомбирование.

Суть постсоветской эпохи — борьба с идеальным и выставление идеально-го как подделка, симулякр. Идеальное в путинскую эпоху невозможно: у иерархов — дорогие квартиры, часы и “троюродные сёстры”, у народа на уме пьянство, похоть и зрелища — потому ему надо показывать тупые сериалы, олимпиаду и сеансы колдунов. Идеализм, как сознательное самоограничение, всячески третируется — потому что он и есть главный враг системы. Никакой классической музыки, никакого высокого искусства, никакого героизма во имя государства — только Сердюков, государственный гимн от Григория Лепса “Гоп-стоп, мы подошли из-за угла” и полёты со стерхами. Всё, финал!

Впрочем, Запад тоже жертва наперсточников. Вот результат развития “левой”, социалистической идеи по-европейски: народу предлагается свобода тела вместо свободы духа. Свобода распоряжаться своей сексуальностью становится идеей-фикс, подменяя истинные ценности. “Голубой проект” такая же очистка от населения, как и прямое его истребление.

Умаление идеального — Бога — в России и на Западе шло разными путями. Под каждый строй — свой рецепт.

А что же “новые люди”, нигилисты, оппозиционеры? Что они могут противопоставить глобалистам-космополитам? Патриотизм, самоотверженность, иностранных агентов? Любовь к родине, к Богу, пляску на амвоне? Честные выборы и одобрение расстрела парламента в 1993-м?

Удивительное дело: революционное чувство новых людей питается ненавистью. Почему не любовью, если они хотят всех осчастливить?! Новые реформаторы предлагают вместо государства систему сервисов по “предоставлению услуг”. Но разве это не банализация идеи, не подыгрывание глобалистам?

Сопротивляется процессу убиения государства только народ. Посему в его процветании и даже существовании не заинтересована ни либералы во власти, ни либералы в оппозиции. Обе стороны напряженно думают, как бы народ

сократить и кем его заменить. Для этих целей годится и торговля детьми (спор идёт только по “принципиальному” вопросу — продавать ли сирот в Европу за евро, или в США — за доллары?!), и массовый завоз азиатско-азиатских гастарбайтеров, и разложение общественного сознания ложью. Нигилисты не скрывают своих грез — расчленив Россию на штаты, а многие госчиновники давно уже работают в стране вахтовым методом: их родина — “прекрасное далёко”. А “эта страна”... Она создана для идеологических пинков и для высасывания из неё материальных ресурсов.

“Жалкую нацию”, которая тянет на себе олигархическую свору, космополитические медиа, чекистское чиновничество просто-напросто хотят лишиться её дома — т. е. государства. Используются разные методы: и обещания, какая хорошая жизнь настанет, когда мы отделим Северный Кавказ, и рассказы о том, что “за морем житьё не худо”, и ежедневное внушение комплекса неполноценности.

Эти “лузеры”, “неудачники”, “быдло”, облученные ТВ, задушенные ипотеками, загнанные в прокрустово ложе платных услуг, это послушная биомасса, терпящая любые выкрутасы власти, откровенное глумление, вроде амфор со дня морского, поражает своим терпением. Но это не признак глупости, покорности или смирения, это свидетельство ответственности за страну, большего государственного чувства, чем у официальной саранчи.

Новомучениками торится путь к новой жизни — сгоревшими в домах престарелых и интернатах, утонувшими в Крымске, разбившимися в ДТП...

Идеала никогда не будет. Но жить с тревожным ощущением крушения государства — невозможно. Народ с искаженной духовной основой начинает убивать сам себя.

Что же делать? Глупо требовать от нашей власти ума — самые умные идут в науку. Бесполезно требовать нравственности — совестливые нужны в храме, исполнительные — в армии и т. п. Но чего мы можем требовать от власти, так это любви или хотя бы почитания. Потому что власть — это наше дитя.

Но вправе ли мы рассчитывать на высокие сыновьи чувства от суррогатного, зачатого от марксизма-ленинизма-троцкизма-глобализма ребёнка?!

Народ должен воспитывать власть в государственном духе, а за воспитание в обществе отвечает интеллигенция.

Так не пора ли возвращаться: от свободного секса к семейной жизни, от материального — к идеальному, от глобализма — к патриотизму, от бессмыслицы — к самосознанию.

Это вопрос не риторический, а практический — постсоветский период в истории России закончился присоединением Крыма и угрозой новой большой войны. К грядущим испытаниям страна подошла с ослабленным народом, антinationальной элитой, зависимой от Запада экономикой и пораженной вирусом либерализма интеллигенцией. Так получается, что Россия никогда не готова к большой войне: будь то Отечественная 1812-го, Крымская война, Первая мировая или Великая Отечественная. Эта мобилизационная растерянность всегда оборачивается для нас большими жертвами, иногда — уничтожением государственности.

На сегодня наше самое слабое место — именно элиты, вживляющие в общественный организм чуждые теории и действующие, по сути, антinationально. Самобытность цивилизации по имени “Россия” до сих пор ими не осмыслена и не усвоена, наша страна воспринимается правящим классом как “недоразвитый Запад”, и потому самоубийственный безнациональный идеал манит их по-прежнему: в самом деле, не могут же они переменить свои мнения в одночасье! Тем более, что линию поведения им диктует стяжательский инстинкт, который, пожалуй, у наших либералов посильнее полового.

Смена элит — дело долгое и непростое, а значит, за выход из лабиринта постгуманизма Россия заплатит высокую цену. “Организует не личная добродетель, не субъективное чувство чести, а идеи объективные, вне нас стоящие, прежде всего, религия”, — говорил Константин Леонтьев. Что могло бы примирить крестьянина и чиновника, предпринимателя и учителя?! Только понимание смысла истории, общих нравственных заповедей. Значит, нужна глубокая, планомерная, продуманная культурная работа.

Другое дело, что времени для неё у России фактически нет...

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН

директор Института проблем глобализации, д.э.н.

ЛИБЕРАЛИЗМ — ГЛОБАЛЬНЫЙ УБИЙЦА

Незаметная трансформация ценностей

При изучении истории порой кажется, что забывчивость — главная характеристика человека. Не только восприятие, но и сущность многих явлений с течением лет меняется диаметрально, и исходная ситуация исчезает из памяти навсегда.

Сейчас уже мало кто помнит, что большевистская газета “Правда” стала выходить с 1912 года в том числе и потому, что до этого времени под тем же названием выходила обанкротившаяся монархическая газетка.

Что диктатура пролетариата при всём своём классовом подходе была значительно более демократичной, чем современные ей буржуазные демократии.

Что США до президентства Картера исступлённо воевали с самой идеей демократии в странах “третьего мира”, а priori рассматривая её сторонников как просоветские силы.

Но это касается не только отдельных фактов и подходов: это касается и великих идей, которые живут долгую жизнь, — порой настолько долгую, что успевают превратиться в свою противоположность.

Либерализм — главная глобальная политическая сила с рубежа 70–80-х годов — первоначально возник как идея свободы и суверенности личности, как политическое выражение её самоосмысления и выделения из человеческого роя (клана, стада), что и стало гуманистическим содержанием эпохи Возрождения.

И многие до сих пор воспринимают либерализм как стремление к свободе, совершенно не замечая, что со времен переписки Вольтера с Екатериной Великой утекло слишком много воды.

И смысл слов драматическим образом переменялся.

Правда, в нашей стране эта смена произошла относительно недавно.

Организаторы и младшие офицеры демократической революции конца 80-х — начала 90-х, ненавистники “совка” и партхозноменклатуры в массе своей искренне хотели свободы.

Но затем, ещё до прихода их к власти, очень быстро оказалось, что самая свободная и стремящаяся к свободе часть общества — это даже не интеллигенция, а бизнес: нарождавшиеся кооператоры, вышедшие из тени “цеховики”, приценивавшиеся к государству мафиози.

И наиболее практичная часть борцов за свободу пошла служить бизнесу: не только потому, что он платил деньги, но тогда ещё и по идейной близости.

А дальше выяснилось, что чем бизнес больше, тем он сильнее. И для того, чтобы победить в аппаратной конкуренции, карьерной гонке, политической борьбе, надо служить не какому-нибудь, а именно крупному бизнесу.

А самым крупным – и, соответственно, самым сильным – бизнесом оказались империи олигархов: критически значимую часть прибылей они получали за счёт прямого контроля над теми или иными “кусками” государства.

И для того, чтобы лучше отстаивать идеалы свободы, чтобы иметь для этого силы, либералы пошли служить олигархам.

И люди, привычно произносившие слова о святости права частной собственности, легко и элегантно устраивали её массовое разграбление в интересах права частной собственности “своих” олигархов.

Люди, кричавшие о свободе конкуренции так, что уши закладывало, признали свободу конкуренции монополистов, которым они служили, с беззащитными мелкими бизнесменами, но ни в коем случае не наоборот.

А борцы за свободу слова стали борцами исключительно за свободу слова в интересах купившей их олигархии.

В целом это произошло за 5 лет: с 1991 по 1996 годы (хотя “Раздавите гадину!” отдельные профессиональные борцы за свободу завизжали ещё в 1993-м).

А затем оказалось, что олигархи – далеко не самый мощный бизнес, что глобальные монополии, находящиеся над государствами и подчиняющие их своим интересам, являются главной исторической силой современности.

И, не переставая клясться либеральными ценностями (хотя из всех из них они по-настоящему понимали лишь пресловутое “лавэ”), желающие держаться на гребне волны и контролировать свои общества суетливые политические менеджеры стали обслуживать интересы глобальных монополий.

Именно в этом заключается суть современного либерализма.

Его библия – Вашингтонский консенсус. От него трижды отреклись, его многократно признали устаревшим, но он остаётся символом веры современного либерализма и претворяется в жизнь с неослабевающей энергией и предельной жестокостью – до организации военных интервенций и бомбардировок включительно.

Смысл Вашингтонского консенсуса предельно прост: государство должно служить, в первую очередь, интересам глобального бизнеса. Если же они противоречат интересам народа (что, в общем, является стандартной ситуацией), то, во-первых, тем хуже для народа и, во-вторых, “не ту страну назвали Гондурасом”.

Поэтому либералы обречены проводить социально-экономическую политику, направленную против интересов их собственных народов: они служат принципиально иным интересам.

Строго говоря, либерализм как идеология крупнейшего бизнеса своего времени занял место фашизма и является его аналогом в новых условиях.

Ведь с точки зрения управления, фашизм как идеология, интегрированная в управленческую практику, решал простую и внятную задачу: как поставить малый и средний бизнес, неумолимо разоряемый крупными монополиями, на службу последним?

Для этого крупным монополиям понадобилось овладеть государством, слиться с ним и изменить сознание разоряемых, направив их в завоевательные походы.

Сегодня глобальные монополии уничтожают целые общества, и либерализм, проповедуя подавление большинства различными меньшинствами и подвергая каждого соблазну стать частью такого в чём-то привилегированного меньшинства, разрушает общество как целое и, парализуя его, не позволяет ему защищать свои интересы в борьбе с монополистическим агрессором.

Это ярко проявляется в истории, в том числе современной России и Украины.

В нашей стране пик реализации либеральной политики пришёлся на 90-е годы, когда разгул воровства и коррупции привёл к разграблению бюджета олигархами и реформаторами всех мастей и катастрофическому дефолту. Однако и в наше время социально-экономическая политика носит жёстко либеральный характер и направлена в целом на продолжение разграбления и уничтожения общества, а не на его созидание и модернизацию.

На Украине же крах государственности и непосредственный, не прикрытый никакими фигурными листками приход олигархов к власти привёл к реализации либеральных рецептов в их классической, убийственной для общества форме.

Украинская экономика может существовать лишь в теснейшей интеграции с российской, что нестерпимо для Запада (из-за угрозы возрождения Советского Союза), но главное – для глобального бизнеса (так как тогда ресурсы Украины не будут проданы ему по дешёвке).

Сегодня глобальный бизнес руками либералов, захвативших власть в Киеве, стремится к максимально быстрому банкротству Украины, чтобы скупить за гроши её активы, прежде всего плодородную землю, энергетику (включая АЭС), речные и морские порты, эффективную часть шахт.

Население, пусть и сократившееся за годы “незалежности” на 13%, является для интересов глобального бизнеса избыточным и потому подлежит сокращению при помощи уничтожения социальной сферы.

Только первая часть мер, навязанных Украине МВФ, потрясает! Она сводится в основном к шести пунктам:

1. Повышение пенсионного возраста (на 2 года для мужчин, на 3 – до 60 лет – для женщин), ликвидация права на досрочную пенсию и учёта года работы на опасных предприятиях за два. Ликвидация повышенных пенсий госслужащим, топ-менеджмента госпредприятий (в этом всё верно!), учёным. Двукратное сокращение пенсий работающим пенсионерам (давняя сладкая мечта российских либеральных реформаторов – отменить такие пенсии вообще – чрезмерна даже для Украины).

2. Удорожание газа (и это без учёта отмены газовой скидки!) и тарифов ЖКХ для муниципальных предприятий в полтора раза, для граждан – вдвое. Удорожание электроэнергии в 1,4 раза. Рост акциза на бензин в 1,6 раза (при том, что в Киеве он уже стоит евро за литр!).

3. Замораживание зарплаты в госсекторе. Отказ от повышения прожиточного минимума. Сведение социальной помощи к точечным субсидиям (бессмысленным при массовой нищете и порождающим чрезмерные административные расходы). Отмена всех видов государственной поддержки родов, бесплатного питания (включая школы и больницы), учебников. Начисление пособий по безработице только после легальной работы в течение полугода. Оплата больничных с третьего дня болезни, на уровне 70% зарплаты (без премий и доплат), но не ниже прожиточного минимума.

4. Отмена налоговых льгот, в том числе льгот по НДС, на селе и освобождения от НДС аптек. Полуторное повышение транспортного налога.

5. Приватизация всех шахт при одновременном полном прекращении субсидирования экономики (включая производителей свинины и мяса птицы) и отмене льгот всем предприятиям (включая ЖКХ и транспорт, что резко повысит тарифы). Отмена моратория на продажу сельхозземель.

6. Ликвидация 6 министерств, сокращение их числа до 14, сокращение числа вице-премьеров до одного, подчинение всех госкомитетов и служб министерствам, ограничение “чрезмерной” оплаты труда госчиновников (хотя, похоже, высший их уровень получает зарплату у олигархов и на Западе). Эти меры разумны, хотя логично было бы оставить в качестве правительства Украины посольство США с прикомандированными к нему послами Германии и Польши: это было бы и разумней, и эффективней.

Однако Россия и Украина – не отдельные исключения (вызванные, как порой говорят отчаявшиеся люди, “животной ненавистью Запада к славянам”), а типичные жертвы либеральной политики.

Поскольку либерализм служит глобальному бизнесу, основные либеральные требования к социально-экономической политике жёстко диктуются его интересами. Рассмотрим лишь наиболее значимые из них.

Почему социализм – смертельный враг либералов

Сокращение социальных расходов является истощным требованием любого либерала.

Обычно оно диктуется необходимостью сокращения бюджетного дефицита слабой экономики (что внятно показывает систему приоритетов либералов: для них статистика важнее людей, и народ должен служить государственным финансам, а не наоборот).

Однако в России, длительное время жившей в условиях бюджетного профицита, федеральный бюджет которой и по сей день буквально захлёбывается от денег (неиспользуемые остатки средств на 1 февраля превышали 7,8 трлн руб.!), а бюджетная политика государства является фантастически расточительной (помимо имиджевых проектов, можно вспомнить бесконечное прощение иностранных долгов), экономия бюджетных средств является лишь предлогом для сокращения социальной сферы.

Получается, что её уничтожение – самостоятельная либеральная ценность.

Первая причина этого – расширение рыночных отношений. Отказ государства от исполнения своих обязанностей везде, в том числе и в социальной сфере, создаёт предпосылки для расширения рынка и, соответственно, создания новых коммерческих структур.

Понятно, что они обслуживают лишь обеспеченную часть общества, которое при этом деградирует, но с точки зрения бизнеса и обслуживающих его либералов это абсолютная ценность.

Однако гораздо более важной является вторая причина враждебности либералов к общественной социальной сфере: направляемые на её содержание средства в основном достаются населению и потому становятся недоступными для глобального бизнеса.

Грубо говоря, массовая коррупция во власти не является врагом либерализма не только потому, что коррупционеры более сговорчивы и более склонны реализовывать его интересы, но и потому, что, вывозя награбленное в фешенебельные страны, они хранят деньги в банках глобального бизнеса, покупают его ценные бумаги, живут в построенных и управляемых им фешенебельных кварталах.

Воруя деньги у своего общества, коррупционер “в клювике” несёт их глобальному бизнесу, являясь важным инструментом обеспечения его ресурсной базы.

Да, как только коррупционер теряет власть и возможность увеличивать эту базу, его можно разоблачить, чтобы конфисковать его активы (и использовать его тайные активы, лишившиеся хозяина). Но пока он анонимен, он нужен глобальному бизнесу, и потому либералы, на словах порицая коррупцию и используя её критику в политических целях, активно насаждают её в случае своего прихода к государственной власти, как мы видели это в России и видим сейчас на Украине.

Социальные же расходы для глобального бизнеса (как и в целом инвестиции в национальное развитие и модернизацию национальных экономик) – заведомая потеря ресурса: национальные средства, которые можно было украсть и отдать ему для прибыльного управления, расточаются обычным людям, раздробляются на незначительные суммы, просто не интересные глобальному бизнесу.

Поэтому социализм, не говоря уже о коммунизме, абсолютно неприемлем для либералов.

Именно поэтому покойный Гайдар рассматривал сокращение бюджетных расходов как универсальный способ решения общественных проблем, причём в первую очередь сокращению подлежали именно социальные расходы.

Именно поэтому, насколько можно судить, Латынина призывает лишить избирательных прав всех граждан, кто получает из бюджета больше денег, чем платит налогов.

Ненависть либералов к социальной сфере – отнюдь не непонимание того, что социальные расходы являются на самом деле инвестициями в важнейший – человеческий! – капитал, пусть даже и долгосрочными.

Это чёткое понимание иного: инвестированные в эту сферу деньги, вне зависимости от эффективности инвестиций, потеряны для глобального капитала.

Их уже не украсть! – и для либералов это неприемлемо.

Либерализм и нормальность несовместимы

Лишившись после краха Советского Союза сдерживающей политической силы, ключевой глобальный инструмент реализации либеральных экономических принципов – МВФ – заслужил репутацию могильщика национальных экономик.

Внешне ситуация выглядит как бюрократическая рассогласованность действий различных структур.

Мировой банк, созданный вместе с МВФ, призван обеспечивать развитие относительно слабых экономик.

Понятно, что развиваться в условиях макроэкономической нестабильности, высокой инфляции, нехватки средств в бюджете значительно труднее, чем в ситуации, когда эти проблемы решены.

Поэтому было решено, что сначала МВФ должен обеспечить решение этих проблем, а затем уже “вылеченная”, “сбалансированная” экономика сможет претендовать на получение кредитов и даже грантов Мирового банка для своего развития.

Логическая ошибка очевидна: обеспечить макроэкономическую стабильность можно лишь за счёт экономического развития.

Превращение макроэкономической стабильности в самоцель ведёт к тому, что стандартные требования МВФ (сокращение социальных расходов и поддержки экономики, форсированная приватизация, упрощение банкротств, односторонняя отмена протекционизма, эмиссия национальной валюты не в соответствии с потребностью экономики, а лишь по мере поступления иностранной валюты) блокируют развитие и поощряют спекуляции, в первую очередь, со стороны глобального бизнеса.

Создаваемая им стабильность – это стабильность кладбища, но это результат не бюрократической ограниченности, стремления к упрощённым схемам и собственному удобству, а чёткой и последовательной реализации интересов глобального бизнеса.

Прежде всего, глобальному бизнесу не нужны конкуренты.

Поэтому они должны быть уничтожены – и политика “макроэкономической стабилизации”, навязываемая МВФ странам, попавшим в трудное положение, обеспечивает это с редкой эффективностью.

Рынки всего мира должны принадлежать глобальному бизнесу, поэтому протекционизм является привилегией наиболее развитых стран, в которых базируется глобальный бизнес. Для всех остальных он недопустим и должен караться, как тяжелейшее извращение.

Идеальным инструментом этого, помимо МВФ, является ВТО, обеспечивающее вскрытие национальных экономик, как консервных банок, и навязывание их производителям заведомо непосильной конкуренции.

Общий принцип ВТО прост: чем более развита страна, тем больше у неё ресурсов для лоббирования и защиты своих интересов и, соответственно, тем больший протекционизм ей позволен.

Важным фактором уничтожения национальных экономик является “гуманитарная помощь”: при должном её объёме она гарантированно уничтожает национального производителя, и, когда она заканчивается, страна оказывается вынуждена импортировать то, что ещё совсем недавно производила, пусть и в недостаточном количестве (или в условиях паралича системы распределения, часто искусственно организованного теми же самыми либералами из политических либо сугубо спекулятивных соображений).

Характерно, что США уже пообещали в рамках “гуманитарной помощи” снабжать как украинскую армию, так и западных боевиков тушёной одновременно с категорическим требованием МВФ прекратить всякое субсидирование производства украинского мяса.

Понятно, что разрушение экономики по либеральным рецептам позволяет глобальному бизнесу по минимальным ценам скупить все активы, представляющие для него интерес.

При этом он получает социально-экономическую власть над соответствующим обществом, позволяющую полностью диктовать его политическому руководству все сколько-нибудь значимые решения.

Другая сторона “макроэкономической стабилизации” по рецептам МВФ, заканчивающейся обычно крахом, – высасывание финансовых ресурсов общества, вынужденного в силу уничтожения экономики для недопущения конкуренции с глобальным бизнесом импортировать основную часть потребляемых жизненных благ.

Классический пример демонстрирует Восточная Европа: финансовое положение всех без исключения её стран ухудшилось по сравнению с 1985 годом: евроинтеграция велась на сугубо либеральных принципах.

Быстрый путь в долговое рабство

Принятие либеральных рецептов неизбежно ведёт к попаданию страны в жесточайшую долговую кабалу.

Логика проста: уничтожение национального производства обрекает страну не просто на снижение потребления и бегство значительной части населения на заработки (на Украине это несколько миллионов человек даже до катастрофы и разрухи, вызванной государственным переворотом).

Даже снизившийся уровень потребления со временем приходится обеспечивать импортом, так как собственное производство, благодаря либеральной политике, обслуживающей интересы глобального бизнеса, не выдерживает конкуренции с ним.

А импорт дешёв, только пока он демпингом уничтожает местных производителей: когда их больше нет, он дорожает.

Страны, не имеющие возможности экспортировать сырьё (как Украина, экспорт которой, помимо женщин и рабочей силы, — это зерно, подсолнечник и подчистую вырубаемый лес Западной и Центральной Украины) или не способные установить за его экспортом национальный контроль (как Россия 90-х годов), могут оплачивать импорт только наращиванием внешнего долга.

Разумеется, его рост не может быть бесконечным, причём для слабых экономик его пороговый уровень составляет 30% ВВП. Превышение этого уровня означает жесточайший финансовый кризис, дестабилизацию не только экономики, но и общества, банкротство в той или иной форме (в том числе мягкой — через реструктуризацию долга), падение уровня жизни населения и скупку ещё имеющихся привлекательных активов собственными спекулянтами и иностранцами, а в конечном счёте — обычно глобальным бизнесом.

Страны, в которых потребление населения сокращать некуда, а нескупленных активов больше нет (вроде Аргентины, прошедшей из-за этого механизма через чудовищную социальную катастрофу в 2001 году), в рамках либеральной модели не имеют никакой перспективы. Их ждёт либо сомализация — погружение в кровавый ад войны всех со всеми и расчеловечивание, либо социальная революция, решительный отказ от либеральной политики и попытка развития в крайне сложном и рискованном противостоянии глобальному бизнесу.

Либеральные руководители, как мы видим на примере сегодняшней Украины, способны вести свои страны и народы исключительно по первому пути.

* * *

Начав служить глобальному бизнесу, власти любого общества неизбежно предадут свой народ, из элиты стремительно вырождаясь в тусовку, пусть даже и правящую.

Пренебрежение коренными потребностями общества невозможно скрыть.

Содержанием эпохи, в которую мы вступаем, будет национально-освободительная борьба обществ, разделённых государственными границами и обычаями, против всеразрушающего господства глобального управляющего класса. Это содержание с новой остротой ставит вопрос о солидарности всех национально ориентированных сил, ибо разница между правыми и левыми, патриотами и интернационалистами, атеистами и верующими не значит ничего перед общей перспективой социальной утилизации, разверзающейся у человечества под ногами из-за агрессии “новых кочевников”: глобального бизнеса и его “штурмовой пехоты” — угнездившихся в государственном управлении либералов.

СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ

УКРАИНА БЕЗ РОССИИ НЕЖИЗНЕСПОСОБНА*

Корреспондент: Сергей Юрьевич, как известно, волнения на Украине начались после того, как Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое его же правительство долго готовило. Что тогда произошло?

Сергей ГЛАЗЬЕВ: Янукович понял, что подписание соглашения об ассоциации Украины с ЕС повлечёт за собой экономическую катастрофу. Соответствующие расчёты проводили украинские и российские экономисты. Они однозначно говорили о том, что Украину ждёт дефолт (то есть банкротство), неспособность выполнить свои обязательства уже спустя три месяца после подписания этого соглашения. Поэтому Янукович просто отошёл от края бездны, прыгнув в которую он потерял бы контроль над ситуацией. Смысл этого соглашения об ассоциации с Евросоюзом для всех жителей и правительства Украины заключается в том, что Украина лишает себя суверенитета в области торговли, экономики, технического регулирования и послушно исполняет все директивы Брюсселя по вопросам торгово-экономической политики, стандартов, ветеринарного санитарного контроля, полностью открывает свой рынок для европейских товаров и фактически отдаёт свой суверенитет в торгово-экономической области Европейской комиссии.

В этом соглашении, которое насчитывает почти тысячу страниц, подробно расписано, какие директивы Украина обязуется выполнять. И самое главное, что в каждом разделе фиксируется, что законодательство Украины должно в одностороннем порядке приводиться в соответствие с требованиями Брюсселя. При этом обязательства Украины выполнять директивы Брюсселя касаются не только действующих сегодня норм, но и будущих, в выработке которых Украина никакого участия принимать не будет. То есть Украина становится колонией Европейского Союза, подчиняясь требованиям, которые украинская промышленность выполнить не может. Она открывает свой рынок, что влечёт рост импорта на 4 миллиарда долларов и вытеснение неконкурентоспособной украинской продукции с внутреннего рынка. Она должна выйти на европейские стандарты, но для этого требуются 150 миллиардов евро инвестиций. При этом главным инвестором для Украины является Россия. Российский бизнес инвестировал в её экономику в общей сложности порядка 40–45 миллиардов долларов. Половина прямых иностранных инвестиций, которые получила Украина, — это российские инвестиции.

* Редакция публикует фрагменты стенограммы выступления советника Президента РФ С. Ю. Глазьева на радио "Радонеж".

Подписание соглашения об ассоциации означало бы, что Украина уже не смогла бы стать участником Таможенного союза с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Это означало бы, что мы, столкнувшись с конкуренцией европейских товаров через украинский рынок, вынуждены были бы принимать меры тарифной защиты. То есть Украина сама себя выталкивает этим соглашением из зоны свободной торговли с Россией, что наносит ей дополнительный ущерб около двух миллиардов долларов в год по торговому балансу.

Корр.: А как вообще мог быть парафирован такой документ, ведь он же был доступен для изучения?

С. Г.: Это очень странная история. Я скажу, что украинское общество смогло увидеть этот документ впервые только в сентябре. Он был опубликован в последний день августа, и, когда промышленники его прочитали, у них волосы встали дыбом. А до этого переговоры шли в секретном режиме, вела их та же команда, которая в своё время работала с Ющенко и Тимошенко. Всё это скрывалось от общественности. И надо сказать, что наши коллеги по украинскому правительству впервые познакомились с текстом соглашения в русском варианте в апреле прошлого года, когда мы его им перевели. Примерно год назад им дали его почитать; они тоже, прямо скажем, были шокированы. Главный смысл этого соглашения – не дать Украине вернуться в процесс евразийской экономической интеграции. Отказываясь от суверенитета в пользу Брюсселя по всем тем вопросам, регулированием которых занимается Европейская экономическая комиссия, Украина автоматически лишает себя возможности стать участником Таможенного союза и единого экономического пространства с Россией. А только в таком варианте для Украины есть шанс успешного и устойчивого экономического развития. Присоединяясь к Таможенному союзу, Украина одновременно получила бы преимущество в размере 10 миллиардов долларов (за счёт снятия экспортных пошлин с наших энергоносителей, перехода на российские цены на газ, полного открытия российского рынка). Практически все отрасли украинской экономики связаны с Россией, поэтому снятие пограничных барьеров дало бы Украине возможность увеличить объёмы производства. Мы оцениваем положительный эффект участия Украины в Таможенном союзе с Россией примерно в 270 миллиардов долларов дополнительного производства товаров и услуг до 2030 года, увеличения ВВП Украины на 15% дало бы возможность устойчивого развития Украины, обеспечив положительный платёжный баланс.

В этом году, замечу, у Украины в платёжном балансе, по прогнозам, дефицит оценивается примерно в 50 миллиардов долларов. Это означает, что Украину ждёт (при наличии 15 миллиардов долларов резерва) дефолт. Валютных резервов Украине хватит всего на три месяца. Даже если придёт запоздалая американская или европейская помощь в обещанном объёме, этого хватит ещё только на один или два месяца. То есть Украину при нынешней власти неизбежно ждёт падение уровня жизни. Не на 15–20 процентов, а в два-три раза. Причём пострадают больше всего жители юго-востока Украины, которые работают на крупных предприятиях. А когда они столкнутся с тем, что эти предприятия не смогут конкурировать с европейскими, а в ситуации самоизоляции от России они не смогут сбывать свою продукцию, на юго-востоке Украины будет самое настоящее социальное бедствие, катастрофа – с массовой безработицей, с невозможностью для людей получить доходы для самых необходимых жизненных нужд. И на всё это Украину толкает нынешняя нелегитимная власть.

Европейские политики всё-таки навязали Украине абсолютно невыгодное ей соглашение об ассоциации с ЕС, оно противоречит Конституции страны. По сути, этот акт означает аннексию Украины Евросоюзом в экономическом и военно-политическом смысле. Подписав политическую часть соглашения, Европейский Союз принудительно подчинил Украину своей внешней и оборонной политике.

В этом соглашении, в его политической части, записано, что Украина обязуется следовать европейской общей внешней и оборонной политике. Украина обязуется участвовать под руководством Евросоюза в урегулировании региональных гражданских и вооружённых конфликтов. По сути, это аннексия Украины и подчинение Украины силой (поскольку государственный переворот был совершен насильственно).

Получается, что Янукович был свергнут потому, что отказался подписать это кабальное соглашение. Но его отказ подписывать соглашение о переда-

че суверенных прав Украины Брюсселю объясняется не только тем, что он испугался дефолта, но и тем, что он не имел юридического права это делать. Даже будучи законно избранным Президентом, ни Янукович, ни его правительство не имели права подписывать соглашение, которое противоречит Украинской Конституции.

Противоречия касаются примерно полутора десятков статей. Кстати, по одному из обязательств этого Соглашения уже давно есть решение Конституционного суда Украины о том, что его принятие невозможно без изменения Конституции Украины. Речь идёт о том, что Украина признаёт наднациональное уголовное право, подчиняется Римскому статуту уголовного суда. Согласно украинской Конституции, для того чтобы подписать международное соглашение, которое вступает в противоречие с Конституцией, сначала нужно изменить Конституцию. Европейцы же, подначиваемые американцами, всё сделали наоборот! Они свергли законную власть Украины, посадили марионеточное правительство, которым помыкают. Затем заставили это марионеточное правительство подписать невыгодное для Украины соглашение, противоречащее её Конституции и лишаящее Украину суверенитета. По сути, они насильно захватили Украину, лишив её политической самостоятельности (подчинили себе), поставив её в зависимость от своих оборонных интересов. Следующим шагом они будут навязывать Украине свои экономические интересы, которые собираются соответствующим образом юридически оформить уже со следующим президентом Украины в экономической части Соглашения.

Я вам скажу, что это самая настоящая война. То, что вчера было подписано, — это акт о захвате Украины (будем называть вещи своими именами) Европейским Союзом под прикрытием НАТО и Соединённых Штатов Америки. Вот о чём надо сегодня говорить. Эта победа окажется пирровой победой в том смысле, что в условиях XXI века они не смогут удержать оккупацию Украины с помощью марионеточных режимов. Для Европы это какой-то анахронизм.

Мы хорошо понимаем, что значит Малороссия для нас: мы никогда не делили Россию и Украину. Я вырос на Украине, у нас никогда не было различий по национальному признаку — ни в школе, ни во дворе, ни на работе. Мы вообще не делились на русских и украинцев. Мы все были — один народ, говорили на одном языке, у нас была одна вера, одно понимание смысла жизни. И мы все — и русские, и украинцы, и евреи, и другие национальности, живущие в Запорожье и по всей Украине, за исключением её крайней западной части, знали, что мы — один народ.

Корр.: И уж кому-кому, как не Европе, это известно.

С. Г.: Да, мы один народ, у нас одна история, один язык, одна культура. Киев — мать городов русских, Киево-Печерская лавра — наша главная святыня, а Киево-Могилянская академия — место формирования русского языка. Помня историю, мы точно знали, что у нас есть враги: это живущие в лесах Западной Украины бандеровцы, которые расстреливали не только евреев в Бабьем Яру, но и русских, украинцев, поляков, венгров... Расстреливали, безжалостно сжигали в своих домах всех, кто им не нравился. Они считали себя соратниками Гитлера, они надеялись, что Гитлер их приголубит и даст им статус арийцев. И вот этот искусственно выращенный на украинской почве нацизм был всегда нашим главным врагом. Мы, жители южной и восточной Украины, всегда считали себя одним народом и знали, что на Западной Украине есть нацисты, которые не понимают, что война закончилась и наступила другая эпоха. Даже когда в советские времена я оказался во Львове, я поразился тому, что люди демонстративно не хотели говорить на русском языке. Когда говоришь с ними по-украински — нормальные люди, когда начинаешь по-русски говорить — сразу возникает напряжение.

Надо понимать, что этот “украинский нацизм” — это искусственное порождение, которое веками насаждалось. И Польшей, которая считала Украину своей “окраиной” и воспитывала там своих ставленников. И Австро-Венгрией, которая длительное время вкладывала немалые деньги в формирование украинского нацизма. И этот украинский нацизм изначально был ориентирован против русских, против Москвы.

Замечу, что первый акт геноцида в Европе был устроен австрийцами против русских — карпатских русинов. Мы сейчас прошли историческую дату — сто лет со дня создания первого концлагеря в Европе. Это был концлагерь “Талергоф”, организованный австрийцами при помощи тогдашних украинских

националистов, которые вырезали сотни тысяч русинов. Несколько десятков тысяч человек были интернированы за колючую проволоку. Потом немецкие фашисты творили то же самое в 1941 году.

Корр.: В этой студии мы недавно беседовали с политологом Каринэ Геворгян, и вот, в частности, меня удивила такая точка зрения: она, например, считает, что, в принципе, с любым противником (в частности, с политическим) можно договориться. Мы говорили тогда о представителях “Правого сектора”. Так вот, на ваш взгляд, возможно ли действительно договориться с человеком, который имеет убеждения? Не все же люди на Украине проплачены, всё равно есть убеждения, например, у сторонников политических партий? Мы же можем сделать расклад, что называется, “по картам”: показать бесперспективность, в частности, той или иной экономической политики, которая очевидна сегодня на Украине (вы сами сказали о дефолте и о том, что ждёт Украину в самом ближайшем будущем в экономическом плане). Неужели мы могли пропустить этот момент?

С. Г.: К сожалению, “история учит тому, что она ничему не учит”. Это беда нашей страны, мы ведь это проходили неоднократно! И Европа проходила. Разные страны мира сталкивались в разное время с той моделью власти, которая сейчас сформировалась на Украине. Это симбиоз нацистов и космополитической буржуазии. Именно этот симбиоз породил Гитлера. Помните: Гитлер пришёл к власти с нацистскими лозунгами, а крупная немецкая буржуазия его поддержала. И не только немецкая, но и американская, и европейская. С Гитлером, с его режимом сотрудничали практически все европейские страны и Соединённые Штаты. Их бизнесу было выгодно сотрудничество с нацистами, которые казались слабыми. Их не боялись на первых порах. Такая экзотика: в центре Европы, в Германии, люди ходят с факелами, выкрикивают какие-то агрессивные лозунги, кричат “Хайль!”... Все это поначалу смотрелось как некий спектакль. Мало кто в Европе понимал тогда, что из этого выйдет.

Затем боевики вошли в альянс с крупной немецкой буржуазией, которая в этой власти почувствовала возможность под прикрытием национал-социалистической риторики приватизировать весь государственный бюджет и всю немецкую экономику. В Киеве сегодня похожий режим: альянс нацистов и космополитической буржуазии. История учит, что в этом симбиозе нацисты всегда подминают либеральных буржуев. Не было ни одного исключения, потому что нацисты идейно заряжены, они идут до конца, они ничего не боятся, им “море по колено”, они себя считают “высшей расой”, они всех остальных считают “не людьми”, они убеждены, что по отношению к другим можно применять любые формы насилия. И, в конце концов, и буржуи, которые давали им деньги, оказываются для них “не людьми”, как и все остальные. Они ненавидят их даже больше, потому что зависят от них.

Поэтому в симбиозе нацистов и крупной буржуазии нацисты всегда побеждают, и буржуазия всегда затем вынуждена подчиниться им или эмигрировать. У меня нет никаких сомнений, что если бандеровцев не остановить силой, то нацистский режим на Украине будет развиваться, расширяться, проникать всё глубже. И все эти самодовольные украинские министры (в костюмчиках, с галстучками, говорящие на английском языке) скоро будут болтаться на верёвке у нацистов или сбегут с Украины.

Корр.: Но смотрите, какая насмешка историческая: вот этот пресловутый голодомор, который они постоянно выдвигали как некий укор России, как, собственно, и борьба с нацизмом, о которой они тоже говорили как пострадавшая сторона, а сейчас они сами-то кто?

С. Г.: Ещё раз подчеркну, что без активной роли Соединённых Штатов, без финансирования (Нуланд объявила цифру в Конгрессе: 5 миллиардов долларов потратили США на выращивание этих нацистов на Украине!) ничего бы не вышло. При этом они контролируют нынешнее украинское правительство через блок “Батькивщина”, потому что истоки этого блока надо искать в альянсе Тимошенко с Лазаренко, который сидит в американской тюрьме уже много лет. Поэтому американцам всё известно про людей, которых они поставили сегодня у власти на Украине. Они у них давно уже на крючке, потому что контролируют и нацистов, и нынешнее украинское правительство. Но нацистов контролировать полностью невозможно, поэтому неизбежна эскалация конфликта.

Замечу, что роль режима Януковича заключалась в том, чтобы утихомиривать, сдерживать юго-восток Украины, в то время как на западе Украины

практически открыто шла подготовка боевиков, вливались деньги в неофашистские структуры, велась нацистская пропаганда, распространялась экстремистская литература. Нацистов-боевиков тренировали на американские деньги и в Карпатах, и в Польше, и в Прибалтике. Под прикрытием режима Януковича спецслужбами США была развёрнута сеть подготовки националистических банд для переворота на Украине. Только переворот они планировали сделать через год, во время президентских выборов. Тогда они бы это сделали очень легко, потому что в ходе выборов наступает момент, когда власти в стране нет: побеждает тот, кто набрал больше всего голосов. А в том, что они набрали бы много голосов против Януковича, сомнений тоже никаких нет. Эти боевики нужны были только для страховки легитимной победы над Януковичем прозападного кандидата. Боевики нужны были для того, чтобы в момент выборов при правильном, с их точки зрения, подсчёте голосов парализовать сопотривление режима Януковича. И тогда они бы взяли власть легитимно.

Но события развернулись раньше. Янукович долгие годы шёл в них на поводу, но вдруг в последний момент отказался подписывать соглашение о передаче прав суверенного украинского государства в распоряжение Европейского Союза. Тогда, чтобы захватить Украину, они устроили государственный переворот. Сейчас они вынуждены иметь дело с нелегитимной властью: брать на себя обязательства поддерживать нелегитимную власть и тем самым косвенно — выращивать нацистский режим. Но этот нацистский режим не может так быстро подавить Юго-Восток. Всё-таки юго-восток Украины — это образованная часть общества, наиболее трудоспособная и трудолюбивая. Это люди, у которых есть достоинство, которые умеют свои права защищать, люди, знающие историю. Двадцать лет нацистской пропаганды не вытравили в их голове понимания того, кто они такие. Их не удалось превратить в “иванов, не помнящих родства”, они остро чувствуют связь с Россией. Они понимают, что Украина без России нежизнеспособна, они помнят уроки Великой Отечественной войны, они знают, кто такие бандеровцы. Не случайно крымчане единогласно отказались признавать бандеровскую власть. Если бы такие референдумы провести на всём юго-востоке, я думаю, результаты были бы близкие к тому, что были в Крыму. Подавляющее большинство населения отвергает эту нацистскую, бандеровскую власть, которая пытается управлять страной, захватив Киев и Западную Украину в год 70-летия освобождения Украины от фашистов. Поскольку юго-восток Украины эту власть не приемлет, они на юго-востоке Украины пытаются воспроизвести режим Януковича. Посадили таких “маленьких януковичей” в качестве губернаторов. С какой целью? Вот эти “маленькие януковичи”, украинские олигархи, должны с помощью своих денег, которые они нахапали за это время, восполнить провал украинского бюджета. То есть поддержать субсидиями шахтёров, при необходимости выплачивать им зарплату. За свои деньги рыть рвы, как нам показали...

Корр.: Но это же невыгодно для них лично?

С. Г.: Они считают, что они деньги отобьют, потому что губернаторство, в их понимании, это “кормление”. Они сами взяли себе в “кормление” самые богатые регионы Украины и думают, что отобьют свои издержки путём разграбления этих регионов.

Получается, что Майдан, который поднимал восстание с лозунгами борьбы с коррупцией и олигархатом, на юго-восток Украины делегировал как раз олигархов, чтобы они воспроизвели режим Януковича и держали экономически эти регионы. На юго-востоке Украины будет несколько лет идти “промывка мозгов”. Тех, кто будет недоволен, вынудят уехать. А тех, кто готов сопротивляться, арестуют, закроют, уничтожат.

Киевский режим шаг за шагом повторяет опыт фашистской Грузии, где тоже из России строился образ врага. Принимаются те же русофобские законы. Не случайно Саакашвили сидит в администрации самозваного украинского президента и является его советником вместе со всем его правительством, изгнанным с позором из Грузии. Он учит своих украинских коллег тому, как надо бороться с собственным народом.

Корр.: Воистину, история ничему не учит...

С. Г.: Они уже, по образцу Грузии, принимают сейчас два закона. Первый закон — “О превентивной юстиции”. Это означает, что людей можно будет сажать просто по подозрению: “Вот, мне твоя физиономия не нравится, ты, наверное, неправильно думаешь! Ты мыслишь по-русски, и взгляд у тебя не та-

кой, и говоришь ты по-украински плохо, — ну-ка, иди сюда, ты подозрительный человек! Вот два месяца сиди в тюрьме и доказывай, что ты “широкий украинец”, учи “украинську мову”. Второй закон — “О коллаборационистах”. Все люди, которые так или иначе заявят о том, что они хотят быть с Россией, будут поддерживать русские ценности, русскую культуру, объявляются коллаборационистами: их за это можно посадить на пятнадцать лет. То есть на Украине готовится жесточайший репрессивный режим. И мы видели, к чему это привело в Грузии! Но Грузия, во-первых, маленькая страна, потом всё-таки Грузия — южная страна, там субтропики. И при всей экономической катастрофе там была возможность как-то выжить “на подножном корму”. На Украине такой возможности нет: юго-восток Украины — это промышленные предприятия, и это работа на уровне мировых стандартов. И для Украины такой режим “одичания”, превращения Украины в какую-то даже не “банановую”, а “сланцевую республику”, наподобие эксплуатируемых беспощадно сегодня африканских стран, — это катастрофа! Это уничтожение украинского потенциала, геноцид народов Украины.

Поэтому наш долг, я считаю, всемерно противодействовать этому нацистскому режиму, разъяснять всем в мире, что мы имеем дело с возрождением нацизма в худших его проявлениях, что мы имеем дело с убийцами, руки у которых по локоть в крови. Что лидеры европейских стран пошли по пути коллаборационизма с нацистами, что они сели за стол переговоров с преступниками и фактически сегодня стали соучастниками неофашистского путча на Украине. Это позор для Европы, это предупреждение для нас, но я думаю, что мы найдём в себе и духовные силы, и всё необходимое для того, чтобы освободить народ Украины от нацизма в XXI веке. Это исторический анахронизм, трагичный для миллионов людей, вне зависимости от их национальности и от того, как они себя ощущают. Если нацистам не понравится, как вы отвечаете и отказываетесь кричать “Слава героям!”, платить им дань, то вас просто избьют, всё отберут — так уже пострадали тысячи людей. . .

Ужас, который сегодня устроили на Украине, должен стать предметом самого тщательного международного расследования. И я надеюсь, что те европейские эксперты, которые под эгидой ОБСЕ сегодня в качестве наблюдателей по инициативе России будут приезжать и смотреть на то, что происходит на Украине, найдут в себе мужество рассказать своим народам правду.

Корр.: Откровенно говоря, люди на Украине ждут только ввода российских войск — как защитников, как спасителей. Возможен этот вариант событий? Тем более что Президент получил одобрение СФ. . .

С. Г.: Хотелось бы этого избежать. Я думаю, что народ Украины уже понял, с кем имеет дело. И описание этого позорного соглашения об ассоциации Евросоюза с хунтой в Киеве показало, что надежды на европейский выбор никакой нет: Европа будет эту хунту поддерживать. Она взяла на себя обязательство это делать. Это означает, что киевский режим будет блокировать торгово-экономическое сотрудничество с Россией, это означает экономическую, а затем и гуманитарную катастрофу на Украине.

То, что сегодня происходит на Юго-Востоке, — это элемент современного ведения разрушительных войн против целых народов. Обратите внимание: ведь Африка сегодня полностью разорена политикой США и тех же европейских стран. Там сплошные гражданские войны. Кто бойцы в этих войнах? Это подростки в возрасте от 12 до 17 лет, они составляют костяк тех банд, которые бесчинствуют в африканских посёлках, насилуют, убивают, отбирают имущество. Тот же юношеский террор сегодня мы наблюдаем на улицах Харькова, Донецка, Луганска, Запорожья, Днепропетровска, Николаева, Херсона. Вспомните, кого там вывели на улицы? Вывели каких-то юнцов, которые дрожали от страха, и, как только у них отобрали оружие, они просто превратились в жалких и испуганных зверёнышей, мягко говоря.

При этом фашистский режим делает ставку именно на таких людей: на их неокрепшие умы, считающие происходящее приключением, чем-то романтичным. Они себя чувствуют героями, а на самом деле их втягивают в чудовищные преступления, делают их преступниками, бандитами и террористами. У этих ребят уже нет будущего. Это чудовищное надругательство и нанесение моральных увечий целому поколению людей на Украине! Причём, я подчеркну, независимо от национальности.

Я уверен, что эта власть не может долго продержаться, и народ Украины достаточно мудрый: он вполне может опираться на нашу поддержку, на под-

держку России, которая всегда была с Украиной одним целым. Собственно говоря, исторически Россия является продолжением Малороссии, и мы должны, конечно, задуматься о своей малой родине. В том, что происходит сегодня на Украине, во многом наша вина. Вина в том, то мы вспомнили об Украине только сейчас, когда Украину захватили нацисты. А двадцать лет, когда они там “прорастали”, когда они поливали на всех телеканалах Россию грязью, искореняли русский язык, искажали историю, вдалбливали в голову украинским детям чудовищную, античеловеческую систему ценностей, пытались разрушить Церковь нашу на Украине, – мы на всё это смотрели сквозь пальцы.

Вот и докатились...

Корр.: Но есть такой фактор, который нельзя не учитывать: это армия. Мы знаем, что происходят телефонные разговоры между министрами обороны России и Украины, то есть ещё пока возможно как-то договориться. Но есть ведь и такое понятие, как воинский долг: в конце концов, человек обязан сделать какой-то выбор, будучи патриотом или же гражданином своего государства?

С. Г.: По общепринятым в мире принципам (и об этом многократно говорили те же европейские политики), армия не должна, не имеет права принимать участие во внутригражданских конфликтах. Это не дело армии: она создаётся для отражения внешней угрозы. Попытки настроить украинскую армию против народа и бросить её на улицы украинских городов – преступление против человечества. Это заканчивается военным трибуналом, международным судом, и генералы, которые сегодня отдают приказы в украинской армии, должны понимать, что, отдавая такие приказы, они совершают преступление не только против людей на улицах этих городов, – они совершают преступление против всего человечества. Так это квалифицируется.

И надо понимать, что применение армии в городах (как показывает наш опыт, к сожалению, трагический на Северном Кавказе) – дело абсолютно безнадежное. Армия не имеет таких навыков, она не для этого готовилась, техника для этого не приспособлена: она не может воевать в городах с мирным населением, это катастрофа и для населения, и для самой армии.

Но мы имеем дело с преступной бандой: от них можно ждать всего, что угодно.

Корр.: По сути, мы имеем дело уже не с дружественным государством, не с государством – членом СНГ, мы имеем у себя под боком государство, пусть и “третьего сорта”, но всё-таки уже какой-то другой формации (неважно, легитимно или нелегитимно подписание этого договора об ассоциации с Евросоюзом).

С. Г.: Нет, я с вами, извините, не соглашусь: это нелегитимное государство! Это важно, это очень важно!

Корр.: Но это ведь принято уже?

С. Г.: Кем принято? Мы это правительство не можем признать: оно преступно, оно пришло к власти ценой крови убитых людей, ценой насилия! Посмотрите, как голосует Верховная Рада! Внизу, под Верховной Радой, стоят сотни нацистов с палками, депутатов избивают, избивают прямо в коридорах Верховной Рады! Как мы можем это государство считать правомочным принимать какие-то решения?!

Корр.: Чего стоит захват Первого национального телевизионного канала...

С. Г.: Это нелегитимная власть! Поэтому это принципиальный вопрос. С нелегитимной властью не может быть никакого нормального государства, и то, что в Киеве сегодня происходит, – это разложение государства! Это самоликвидация государства! На улицах украинских городов бесчинствуют банды подростков с битами, а на дорогах – настоящие махновские банды, одна из которых расстреляла кортеж автобусов, которые возвращались из Киева в Симферополь. И это, может быть, и стало поводом и причиной протеста крымчан. Тех, кто сбежали, без одежды гоняли по полю, издевались над людьми... Это разве государство, которое не может защитить своих граждан?! На Украине нет сегодня государства! Это очень опасно, и нужно как можно быстрее попытаться восстановить там законность, и способ восстановления этой законности чётко изложен в заявлении российского МИДа. Министерство иностранных дел предложило совершенно чёткий и конкретный план.

1. Возвращение в правовое поле на основании соглашения об урегулировании ситуации от 21 февраля.

2. Разоружение бандформирований общими усилиями.

3. Формирование легитимного переходного правительства.

4. Внесение поправок в Конституцию Украины с целью признания прав регионов на организацию своей собственной хозяйственной и культурно-социальной жизни.

5. Одновременное проведение выборов: и президента, и региональных властей, так, как это было записано в соглашении Януковича с оппозицией, завизированном западными лидерами осенью этого года.

Это путь восстановления законности с изменениями украинской Конституции, которая отражает реальный акт раскола страны.

Украину нельзя сохранить как единую страну в рамках унитарного устройства, потому что при нынешней ситуации это бесконечное воспроизведение войны в той или иной форме. Поэтому переход к федеративному устройству, когда каждый регион сможет сам определять язык, на котором он говорит, содержание учебников, организацию культурной жизни, свой баланс доходов и расходов, — это тот способ, который сегодня может стать основой для восстановления мира и спокойствия на Украине.

Так что рецепт предложен. К сожалению, Европейский Союз поощряет экстремизм, поощряет рост преступности на Украине, пытается легитимировать незаконную власть. Но я думаю, что, в конечном счёте, здравый смысл и мудрость народа Украины дадут возможность вернуть Украине спокойствие и вернуть саму Украину в обычное и привычное для нас состояние общей культуры, общего не только прошлого, но и будущего.

Корр.: Мы так много говорили сегодня об Украине, что — буквально завершающий — вопрос о России: вот эти санкции. Мы, по сути, оказались в политической изоляции... Санкции приняты, но нам грозят ещё большими санкциями. Что ждёт всё-таки нашу страну, хотя бы в экономическом плане?

С. Г.: Во-первых, я не соглашусь с тем, что мы оказались в политической изоляции: Европейский Союз так и не смог принять решение о введении экономических санкций. Это результат проявления здравого смысла и мудрости тех политиков, кто правильно понимает, прежде всего, свои собственные национальные интересы. Потому что введение полномасштабных экономических санкций против России означает катастрофу для Европы. Европа теряет примерно триллион евро на этих санкциях! И больше всего теряют прибалтийские государства, которые яростнее всех агитируют за Украину. Скажем, потери Эстонии от введения санкций против России — это больше, чем весь объём ВВП Эстонии. Латвия и Литва потеряют половину своего ВВП, немцы потеряют 200 миллиардов евро. А в целом, потеряв один триллион, вполне может в финансовом смысле “подкопиться” и сам Евросоюз. У них и так уже пол-Европы в должниках, а что будет, если они получат ещё и обанкротившуюся Прибалтику, Польшу, а самое главное — катастрофу на Украине (потому что Украина больше всех пострадает от санкций против России)? Европейская финансовая система всего этого просто не выдержит!

Может быть, цель американцев заключается не только в том, чтобы разрушить наш Союз, оторвать Украину от России, подорвать Россию, но заодно подкопиться и Европе. Собственно говоря, если мы проанализируем, кто и как в Америке влияет на принятие решений, нетрудно увидеть, что за этими решениями стоит горстка сумасбродных радикалов-экстремистов, так называемых “неоконсерваторов”, которые весь мир видят сквозь призму войны за утверждение мирового господства. Это узкая группа американской олигархии. Это человеконенавистническая группа людей, которая называет себя неоконсерваторами, которая внешне весьма респектабельна и влиятельна, опирается на поддержку крупного капитала, во многом выражает интересы американской финансовой олигархии. И вот этой финансовой американской олигархии выгодно разрушить финансовую систему не только России, но и, прежде всего, Европы. Потому что разрушение финансовой системы Европы, крах “зоны евро” для американской финансовой олигархии будет означать списание огромного количества долгов: это им выгодно! И вот они навязывают американским политикам всю эту авантюру.

Но внутри США, если разобраться, очень много трезвомыслящих людей. Вообще говоря, идея санкций против России — она и внутри Америки не вызывает энтузиазма. Весь американский бизнес против этих санкций. Большинство американских граждан тоже не понимают, зачем устраивать войну в центре Европы, поэтому дальнейший ход событий во многом будет зависеть и от того, насколько здравый смысл восторжествует в Вашингтоне.

ЕЛЕНА ТУЛУШЕВА

ЗАЧЕМ ИМ ЖИТЬ?

ЮЛЯ

А я хочу так страстно жить, веровать, чувствовать!.. Я ведь умру, умру, а так хочется жить, уехать, жить, жить!

Дневник ленинградского подростка-блокадника
Юры Рябинкина

Дети Великой Отечественной – что видели они до 1941-го года? Успели ли запечатлеть в памяти те самые мимолетные мгновения детского счастья, которые греют потом нас всю жизнь? Да что там – сохранить в памяти, довелось ли этим ребятам хотя бы испытать их? Что успела им дать жизнь до войны, чтобы они запомнили, ради чего им стоит бороться? Откуда-то в них было это отчаянное желание – выжить, несмотря ни на что. Блокадный Ленинград. До нас долетели лишь обрывки хроник, отголоски рассказов, страшные черно-белые кадры умирающих прямо на улице людей... Потомки хранят эти свидетельства, создают по ним новые фильмы, ставят спектакли, стараясь отдать дань тому подвигу, причины которого останутся для нас тайной. А может, у подвига и не должно быть причин, его просто совершают, не успевая задуматься.

2014-й. Юле пятнадцать лет. Для чего жить – она не знает. О таких, как она, говорят много похожих фраз: “заелись... бессовестные... горя не хлебнули – вот и не ценят ничего...”. Она слышала это много раз. Возможно, раньше ей было обидно и хотелось заплакать. Сейчас ей всё равно – бессмысленно отвечать. Юлиной маме тридцать пять. Она наркоманка. Уже четырнадцать лет. Юле повезло: в отличие от младших Коли и Насти её самую маму успела родить до того, как начала колотьяся. Коле восемь, а Насте четыре.

ТУЛУШЕВА Елена Сергеевна родилась в 1986 году в Москве. Окончила Институт психоанализа и Институт психотерапии и клинической психологии. Работала во Франции и Соединённых Штатах. Старший медицинский психолог в московском реабилитационном центре для подростков, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Училась на Высших литературных курсах (семинар А. Воронцова), участница Совецания молодых писателей в Нижнем Новгороде (семинар А. Сегеня) и XIII Международного форума молодых писателей в Липках (семинар А. Казинцева и С. Куняева). Как прозаик дебютировала в 2014 году в журнале “Наш современник”. С тех пор публикации Елены Тулушевой появились в журналах “Берега”, “Волга-XXI”, “Нёман” (Беларусь), в интернет-журнале “Парус”.

Юля не знает, любит ли она их. Она вообще не знает, любит ли она, умеет ли любить — это для нее какое-то странное чужое слово из сказок. Папа у Юли тоже есть. Вроде как даже полная семья получается, когда папа бывает с ними в перерывах между сроками в тюрьме.

Когда Юля была маленькая, она играла с маминими шприцами в больницу. Потом домой стали часто приходиться из милиции. Она знала, что это плохо: в фильмах и передачах милиция приходила, когда делали что-то плохое. Маме было все равно, а бабушка начинала бегать по дому и убирать все мамины “лекарства”. Когда Юле было пять, маму лишили родительских прав. Милиция решила оградить ребенка от матери-наркоманки. И Юлю отдали под опеку... ее бабушке. Об этом Юля узнала случайно уже лет в двенадцать, потому что в ее жизни с решением чиновников ничего не изменилось: она осталась жить в той же квартире с мамой-наркоманкой и бабушкой, выросившей наркоманку.

Наркоманами не рождаются. Как правило, ими не становятся по принуждению. Ими вырастают: из бесконечных скандалов и ссор, из обвинений и сравнений со всеми, кто лучше, из унижений от близких, из конфликтов старших, из оскорблений и физических наказаний, из безразличия родных. Ими вырастают медленно, на виду у многих: родственников, соседей, учителей.

Умирают тоже часто на виду, тоже медленно, долго. Юлина тетя не хотела долго: она умерла быстро, одним шагом — из окна. Юля видела этот шаг. Бабушка много лет потом плакала и приговаривала, что Юля ее последняя надежда. Теперь у бабушки есть еще Коля и Настя. Они, может, и не хотели пробовать наркотики, но мама не спрашивала их во время беременности. Ей было плохо, и ей нужно было “лекарство”. Юля все это видела и теперь рассказывает с безразличием. И оно не показное, не надуманное. Возможно, на эмоции у нее просто не осталось сил. Все ушли на детские переживания, когда мама по несколько дней не появлялась дома, а бабушка то плакала, то кричала на Юлю по любому поводу. Ей было обидно: плохо вела себя мама, а ругалась бабушка на Юлю. Но она молчала, потому что боялась, что если бабушка будет ругаться на маму, та снова уйдет и больше не вернется.

Постепенно Юля стала все меньше переживать: то ли устала, то ли привыкла, то ли стала сухой и черствой. Она не любит документальное кино про войну. Она смотрит на чужое горе с таким же безразличием и скукой, с каким теперь воспринимает бабушкины слезы, мамины обещания про “последний раз”, папины редкие появления, ворчание учителей и бесконечные собственные скитания по больницам, приютам, реабилитационным центрам. Юля употребляет уже два года. И ей все равно. В каждом новом месте, где ей говорят, что хотят помочь, она никому не врет: она не хочет помощи, она хочет наркотики, и чтобы ее не трогали, и да, ей всё равно, что будет потом.

Пробовали объяснять ей, ради чего стоит жить, рассказывая замечательные истории про то, как может еще сложиться судьба, как много у нее будет счастья, любимый человек, дети, семья, работа, друзья, творчество. Ей приводили реальные примеры, люди, переставшие употреблять, делились своим опытом. За пару лет она слышала и уговоры, и обвинения, и наставления, и просьбы, и угрозы... Но после всего, что довелось ей увидеть, Юле больше не интересно. Нет, она пока не дошла до мыслей о самоубийстве, хотя специалисты и называют употребление наркотиков пролонгированным суицидом. Но и особых усилий, чтобы сохранить здоровье и свою жизнь, Юля прикладывать не станет.

Дети блокадного Ленинграда знали, что им нужно выжить, нужно обязательно постараться. Где-то глубоко внутри они наверняка верили, что война закончится, и у них будет лучшая жизнь. И им не нужны были уговоры, просьбы, наставления. Они хотели жить. А Юля не хочет. И таких, как она, сейчас очень много. Там, где они вырастают, почему-то не могут дать им ту уверенность, которая была у маленьких голодных замерзающих детей, что жить обязательно стоит. Очень просто обвинять Юлю и таких же, что они не могут взять себя в руки и жить по-человечески. Но ответственность за боль в их душах лежит на всех тех взрослых, которые не смогли вселить в них любовь к жизни, которые оставили там пустоту.

ВАСЬКА

Выдержим ли? Главное и единственное желание — не потерять детей, не видеть их гибель... Я с ужасом смотрю на него [сына]. Боюсь, что он погибнет... Мальчика не узнать... Если так будет продолжаться, он погибнет. Делаю всё возможное, чтобы его лучше кормить, но всего этого слишком мало...

Елена Скрябина “Годы скитаний: Из дневника одной ленинградки”

Могли ли матери Ленинграда, каждый день сдавливаемые кольцом смерти, представить себе живущих в мирном комфорте женщин, которым не нужны будут их собственные дети...

Васе шестнадцать. Когда он смотрит без злобы, он похож на домашнего зверька, которого вытащили из его угла, но пока не известно зачем. Последние три года его постоянно пристраивают куда-нибудь на исправление. Он все понимает, дает обещания и даже держится какое-то время. А потом с ним что-то происходит, он даже не может объяснить — что. “Оно само” как-то так случается. Вроде просто гулял с друзьями, как-то само собой решили выпить, и тут угнали машину... покататься. А в другой раз хотели пошутить — на спор взломать киоск с мороженым, просто посмотреть, сколько его там, а вышло не “просто”.

“Мы хотим от него отказаться. Но я не знаю, как ему сказать. В общем, вы тут как-нибудь с ним поработайте, чтобы он сам понял, что ему лучше в детском доме, сам решил, что мы ему плохие родители, не справляемся. Ну вы же специалисты, это ваша работа в конце концов с ними разбираться!” — с таким запросом полная раздражения и претензий пришла Васькина мать. И больше не приезжала к нему. А Васька ждет, каждые выходные ждет, как будто от безделья подходя к окнам.

На звонки мать отвечает, говорит, что занята, даже спрашивает, как дела. После каждого такого звонка Вася что-нибудь ломает или дерется с кем-то. А взрослым объясняет, что мать много работает, она в детской комнате полиции какой-то начальник, у нее много таких подопечных, как Васька, он сам виноват, а она очень устает, а отец и подавно. Никто не знает, о чем она думает. Может, вспоминает, как много лет назад увидела его глаза в “Доме малютки” и поняла, что больше не сможет заснуть, пока не заберет его к себе, навсегда. Потом были долгие недели оформления бумаг, бесконечные казенные коридоры, сухие разговоры, мрачные предупреждения о тяжелой наследственности, генах, последствиях.

Для нее “приготовили” в тот день девочку. Говорили, что интеллигентная семья, несовершеннолетняя дочь оступилась, благородные родители не могли позволить ей сделать аборт и убить крошечную жизнь. Но и оставить не могли, “это перечеркнуло бы карьеру трех поколений”. Маленькая Маша — любимица всего персонала, как будто в подтверждение семейной истории была спокойной, ела по расписанию, ночью почти не просыпалась, развивалась с опережением. В тот день к новым родителям должна была уехать она, а не громкий, весь в диатезе Васька, не дающий ночами спать санитаркам своим не по-детски надрынным плачем. Но его глаза... Увидев их, женщина выбрала Ваську.

Эту историю мать рассказывает специалистам в каждом новом месте, куда пристраивает сына. При этом в завершение конечно же требует, чтобы “тайну усыновления” сохранили, грозится судами, оставляя сотрудников в оковах молчания и переживания. Они смотрят на взрослого парня и все понимают, но права не имеют объяснить ему, почему с ним так часто “оно само происходит”, отводят глаза. Закон о тайне усыновления статья 139 СК РФ...

Приемные дети в нашей стране не имеют законного права знать, что они усыновлены. Этот вопрос отнесли к “этическим” и решение его отдали целиком под ответственность усыновителей. Никто не задумался о том, что у человека есть право знать, откуда он. Принцип “а зачем ему знать?” защищает на самом деле интересы только приемных родителей, которые по определенным причинам скрывают от окружающих факт усыновления. В большинстве

цивилизованных стран усыновители обязаны с самого начала объяснить ребенку, что он приемный. Ему предоставляют право знать правду, оберегая от возможного “сюрприза” в будущем.

К таким законодательным изменениям пришли не спонтанно, а через массу исследований того, что происходит с приемными детьми. Выяснили: в глубине детского сознания сохраняется память о биологической матери. И рано или поздно эта память начнёт проявляться в виде тоски и боли. Разница лишь в том, что ребенок, знающий о своем усыновлении, может пожаловаться на эту боль, получить разъяснения, своего рода “разрешение” на переживания. А оставленный в неведении не сможет найти объяснения своей тоски. Не понимая её причины (ведь вроде все есть, и семья, и любовь), он начинает чувствовать вину за свои переживания, страх и непонимание, откуда взялись эти чувства. Душа маленького человека не способна сама справиться с таким наплывом непонятных эмоций. И они начнут выплескиваться: в агрессии, в бдениях, в драках, в депрессиях. У каждого по-своему, но обязательно начнут выходить.

Вася не знает, что мать больше не хочет его забирать. Не известно, что будет, если узнает. Как не известно и то, узнает ли он когда-нибудь, что однажды другая мать уже отказалась от него. Та, в которой зародилась его жизнь, была этим крайне недовольна. Она кололась уже два года, как и ее партнер. Они даже не рассматривали вариант, чтобы сохранить жизнь ребенку. Но и для аборта нужно было приложить усилия – дойти до врача, записаться, назначить день. Жизнь наркомана непредсказуема, и в момент *употребления* мысли о других делах отходят на второй план. Ругались они между собой часто – денег постоянно не хватало. Отец Васи регулярно избивал его мать, и она думала, что зародыш скорей всего и сам надолго в ней не задержится. А в одну из пьяных драк она “нанесла смертельные ножевые ранения своему сожителю”. Так было озвучено на суде. Вроде и не хотела, но так уж случилось. Мать посадили, и уже в изоляторе знающие люди ей подсказали, что беременным создают более комфортные условия, заставить делать аборт не имеют права, еще и срок сократят возможно. Вот тогда и нашелся смысл для Васиной жизни. Мать решила его сохранить. Но для себя сразу решила, что напишет отказную.

Месяцы беременности давались тяжело, в колонии достать наркотик у нее не получалось (за будущими мамами следили отдельно), а тяжелые ломки изматывали и без того перегруженное новым бременем тело. Периодически она подумывала об аборте, но все же удержалась. После родов она согласилась взглянуть на ребенка, подержала его на руках и передала санитарке: “Ну, удачи тебе. Вы его заберите, кормить я не буду, пусть отдадут кому-нибудь”. Персонал думал, что мать все же захочет оставить крошку себе, хотя бы на какое-то время. Они часто видели, как менялись лица заключенных при взгляде на малюток. Не случилось!

Малыш был совсем синюшным, врачи полагали, что долго он не продержится. К удивлению всех, он окреп и через несколько дней был переведен из тюремной больницы в детскую, где продолжал бороться, несмотря на выявленные патологии сердца. Имя ему подобрали из списка именинников. В Доме малютки к таким, как он, привыкли и радовались, что малыш не заразился ни ВИЧ, ни гепатитом, набирал вес на казенных смесях. Только плакал, то громко и надрывно, то тихо, поскуливая. Для своей биологической матери он выполнил миссию. Он пожил ради нее. Но больше он был ей не нужен.

Между прочим, проблема далеко не частная. В России в местах лишения свободы содержится более 700 беременных женщин и матерей с детьми до трёх лет. За статьи, связанные с наркотиками, сидит около 15% таких матерей. По достижении ребенком трёх лет мать обязана его отдать на воспитание либо родным, либо в детский дом, и он станет “отказником”, даже если мать того не хочет. А вот “на воле” статистики матерей-наркоманок как таковой нет. В нашей стране официальная статистика основывается на данных учёта в наркологических диспансерах. Между тем очевидно, что выявлены и поставлены на учёт далеко не все зависимые. Соответственно подсчитать количество рожавших наркоманок практически невозможно.

Но можно точно говорить о том, что предположение, будто младенцы-отказники в большинстве своем дети наркоманов и алкоголиков, – это миф. Большинство так называемых “ранних” отказников – это дети несовершенно-

летних мамочек, дети приезжих. Зависимые пациентки редко отказываются от своих детей будучи “на воле”. Обычно таких матерей лишают родительских прав значительно позже, так как государство до последнего пытается предоставить матери шанс на исправление, даже если цена этого шанса – искалеченное детство.

А вот статистика усыновления исследуется активно, но она достаточно противоречива. В нашей стране существует много видов взятия ребенка в семью: усыновление, опека, патронаж. Также существует и несколько этапов изъятия ребенка из семьи: ограничение в правах, лишение родительских прав, передача под опеку близким родственникам. В связи с этим достаточно сложно определить статистические показатели по ситуациям с отказниками и усыновлением. По некоторым данным, в России ежегодно происходит 10–11 тысяч случаев отказа от детей в родильных домах. Тысячи детей становятся сиротами при живых родителях. При этом статистика усыновления, как уже говорилось ранее, крайне расплывчата в связи с разными формами помещения ребенка в семью. В среднем в семью ежегодно забирают около 7–8 тысяч детей. Вроде бы и неплохая цифра, скольким могут – стольким и помогают. Но страшны другие цифры, которые мало где публикуются. Цитирую: “Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ, рассказала во время своего выступления в Госдуме, что в 2012 году в детдома было возвращено более 4,5 тысячи детей” (<http://deti.mail.ru/news/bolee-45-tysyach-detej-vernuli-v-detdoma-v-2012-go/>). Таким образом, получается, что каждого второго взятого в семью ребенка снова возвращают в детский дом. Фактически бросают дважды! И вряд ли найдется специалист, который будет спорить с тем, что страшнее повторного отказа не может быть ничего, уж лучше бы и не затевали.

Социальная реклама пестрит пропагандистскими лозунгами “измени одну жизнь – возьми ребенка”, “каждому ребенку – свою семью” и прочее и прочее. Вроде бы замечательная идея, не придерешься. Только слишком много иллюзий в этих ярких роликах, похожих на рекламу товаров. Никто не предупреждает приёмных родителей, как много им предстоит разочарований. А эти разочарования рождаются из иллюзий большого светлого будущего без изъянов. Мало кто задумывается, что однажды душе такого ребенка мир взрослых людей нанес страшную боль. И эта психологическая травма при каждой ссоре или обиде станет давать о себе знать. А новые родители будут обижаться, что не заслужили такой агрессии и неблагодарности от приемного ребенка, будут укорять его, винить, провоцируя тем самым все больше злости и обиды.

Васька берет на себя целиком ответственность за все, что с ним происходило, никого не виня, оправдывая и родителей, и учителей, и всех тех, кто пытался помочь. Его чувства вины хватит на целую дюжину таких подростков. Оно пожирает его душу изнутри, прорываясь наружу... яркими вспышками агрессии. Тогда открывается другой Васька. Глаза темнеют, взгляд мгновенно меняется, все мышцы как будто собираются в панцирь. Геннадий Полока отхватил бы его без раздумий для своей “Республики ШКИД”. Любой попадающий в поле его зрения может услышать жесткие оскорбления и ругательства. Он выкрикивает все это с вызовом, как будто ожидая в ответ удара. Не получая его, он озлобленно бродит на присогнутых ногах, стуча кулаками о стену. Понимающие взрослые молчат, выжидая спада ярости, слыша тот поток боли, который не уместается в задавленном сердце Васьки. Другие ругают его и жалеют Васькиных родителей. Он слышит слова осуждения, даже если их не произносят вслух. Он знает их наизусть за столько лет, они постоянно сами жужжат в его голове. Васька идет в дальний угол и начинает бить себя, царапать, щипать, стучать ногами о стены до тех пор, пока хватит сил. Он ненавидит себя и не хочет жить. Он не знает, зачем ему жить, если он сам себя не может полюбить. Его тело привыкло к физической расправе с раннего детства, он по инерции продолжает сам себя наказывать, если никто другой не включается в этот замкнутый круг его “воспитания”.

Били Ваську, сколько он себя помнит. За чавканье за столом – подзатыльник, за порванную рубашку – ремня, за сломанный магнитофон – палкой. Васька рассказывает это смеясь, когда кто-то из взрослых спрашивает о шрамах. Он улыбается по-детски искренне: “Да если б не били меня, я бы вообще непонятно кем вырос! Другого пути со мной и не было! Хорошо, что

били, хоть в башке что-то осталось, а то бы...". Нет у него ответа, что бы было, если б не били. Мать после каждой такой выволочки подзывала его к себе и объясняла, что она его любит, поэтому и бьет, что это для его же пользы... Так и лупит он теперь сам себя, чтобы польза была или потому, что правда верит, что это такое проявление любви. Приступы агрессии и самоагрессии проходят, и Васька устало ложится на свою койку и несколько часов молча лежит. Потом пару дней ходит с недовольным лицом, о чем-то думая. А вскоре снова появляется тот искренний взгляд, который делает его похожим на зверька, но домашнего, потерянного. Его и зовут обычно ласково – Васька, за добрые глаза с едва заметными искрами тоски.

Когда его спрашивают про *употребление*, он растерянно отвечает, что это его способ успокоиться. Так он не чувствует вины хоть какое-то время. Он знает, к чему это приведет. Полгода назад он начал колотиться. Васька считает, что после этого он стал спокойнее, потому что наркотик выключает в нем все чувства. Чувства Васе мешают, их слишком много, и они тяжелые. На жизнь он смотрит философски: "Я для мамы живу. Она столько в меня вложила, столько мучилась. Так бы я и не стал напрягаться, устал я что-то жить, надоело вроде. Если б кто убил там или машина сбила – было б проще. Самому тоже хочется, я уже пробовал несколько раз, но маму жалко, не поймет, плакать будет, что я так. Ради матери я исправлюсь, ей очень нужно...". Он говорит это снова и снова, давая обещания, ставя новые цели, выполняя задания специалистов в каждом новом месте исправления.

Никому никогда не узнать, отчего так особенно горько плачут отказные младенцы: понимают ли, что больше никому не нужны, тоскуют ли или просто ослаблены. Но глаза у них особенные, это замечает весь персонал и родильных домов и детских больниц.

Что-то сломалось в человеческих отношениях, в семейных ценностях. И, как сломанный заводской механизм, выдающий брак, деструктивные семьи ломают еще только зарождающиеся жизни.

Можно ссылаться на тяготы 90-х, потерянности старшего поколения, погруженность в страхи и переживания за неопределенность будущего – собственного и страны. Мол, не до духовного воспитания детей было. Но если разобраться – кто растил тех мальчишек и девчонок, уходивших на фронт в 40-е? Их растили люди, родившиеся точно так же во времена развала одной страны и драматических попыток строительства другой. Но они смогли не только сохранить духовность, но и воспитать ее в своих детях, вырастить из них героев.

Во все времена во всех странах существовали неблагополучные семьи. Но таких, как Юля и Васька, было значительно меньше. Вместе с прогрессом мы приобрели замкнутость и безразличие. Начиная с безразличия внутри семьи, и дальше – безразличие соседей, учителей, коллег, просто людей на улицах, проходящих мимо, безразличие государственных структур... А за безразличием приходит жестокость. И она тоже начинается с семьи. Физические наказания появляются от бессилия родителей, от незнания, как можно по-другому. Но и рожают они лишь страх и обиду, которые обязательно выплеснутся на кого-то в будущем.

Возможно, сила русского человека не в идеологии, которая не раз менялась (от язычества к Христианству, от славянофильства к западничеству, от монархии к коммунизму, от коммунизма к...). Его сила в родовой духовности, самобытности. Это, безусловно, лишь субъективное мнение, сложившееся из определенного профессионального опыта. Но, быть может, опора на эти корни, напоминание о них помогут воссоединиться с духовным началом, заложенным в нас. Мы, как страна, как отдельно взятые ее представители, постоянно смотрим либо вперед (будущее, прогресс, развитие), либо на тех, кто "бежит" на соседних дорожках (опережающий Запад, догоняющий Восток, отстающие страны). Но будучи ориентированными вовне, мы слишком редко заглядываем вглубь себя, в глубину наших традиций и достижений, не используя и со временем теряя уникальную силу, переданную нам от поколений предшествующих. Возможно, именно эта сила способна восстановить ту духовность и любовь во внутрисемейных отношениях, которые позволяют детям *жить ради самой жизни*, как умели наши предки, не изводя себя вопросом: стоит ли?

В майском номере за 2012 год редакция “Нашего современника” опубликовала очерк Бориса Куркина “Тоже победители”. Автор не без оправданной иронии рассказывал о вкладе в Победу над фашизмом ряда западноевропейских государств, вовремя примкнувших к антигитлеровской коалиции и потому причисленных к державам-победительницам. Продолжаем это увлекательное исследование.

БОРИС КУРКИН

ТОЖЕ ПОБЕДИТЕЛИ-2

Пыль в глаза

... Взгляните в лорнет, и вы увидите Францию во всей ее красе.

... Это было время, когда люди были счастливы, женщины — легкомысленны, а мужчины занимались любимым делом — войной.

... Это была настоящая война в кружевах!

Пролог к к/ф “Фанфан-Тюльпан”

Кто не любит рассматривать старые фотографии? Покажите его голову народу!

Эту естественную для всякой живой души потребность лицезреть запечатленное на пленку прошлое и попытались удовлетворить организаторы выставки “Париж во время оккупации”, открывшейся в конце апреля 2008 года в Парижской исторической библиотеке. Закончилось все для организаторов культурного мероприятия довольно неожиданно: их обвинили в... “реабилитации нацизма”. А член городского совета и глава департамента культуры К. Жирар даже заявил журналистам, что эта выставка “непереносима”.

Организаторы мероприятия оказались тоже не лыком шиты и загодя выпустили брошюру, в которой изложили исторический контекст, который непременно следовало учитывать при обзоре фотографий. Однако не тут-то было! Культуртрегер Жирар, выступивший локомотивом целого эшелона прочих правдолюбцев, потребовал, чтобы выставку, которая должна была продлиться два месяца, закрыли немедленно.

Что же так возмутило французских правдборцев?

Надобно сказать, что на экспозиции было представлено более 250 цветных фотографий, сделанных между 1941-м и 1944 годами французским фотографом А. Зукка, в прошлом коллаборационистом, тихо умершим в 1973 году.

В годы войны Зукка работал – в журнале “Сигнал”, являвшемся по сути рупором германской пропаганды. Его фотографии показывают, как жили и наслаждались жизнью парижане и гости столицы, коротая время в бесчисленных кафе, городских парках, на бульварах, как подтянуты и галантны были немецкие офицеры (могут ведь, когда захотят!) и как элегантны были парижские дамы – красотки и модницы, – которым строили куры их немецкие кавалеры. Лишь на двух снимках промелькнули лица несчастных евреев с неизменными желтыми звездами.

В утешение тем, кто не сподобился попасть на ту выставку, можно сказать, что все они давным-давно выложены в сети Интернет, а посему никакой тайны из себя не представляли и не представляют. Однако борцы за чистоту славного французского прошлого решили, что фотографическое зеркало оказалось кривым, отчего и начали пенять на него слаженным хором.

Разумеется, и у нашего человека, рассматривающего фотографию, на которой немецкий офицер одаривает русского босоногого ребенка шоколадкой, могут возникнуть определенный скепсис и недоверие, если пытаться выстроить на их основании общую гуманитарную картину прошлой войны. Однако, когда подобных фотографий много и даже очень много, как в случае с А. Зукка, то возникает повод и призадуматься...

В нашем распоряжении – и все благодаря тому же интернету! – есть еще и “Бундесархив”, то есть “Фотоархив ФРГ” с его колоссальной фототекой. Любопытно, что значительную его часть составляют private фотографии, сделанные теми же немцами во Франции. И что самое интересное, по духу и тону они удивительно напоминают, если не идентичны “официальным” фотоработам А. Зукка. На одной очаровательная француженка кокетничает с сидящими в авто немецкими солдатами и унтерами. На другой немецкий солдат учат мадмуазель кататься на велосипеде, на третьей – немецкий офицер в окружении радостно улыбающихся французских дам держит на руках французского младенца. Так и хочется сделать под нею подпись: “Французские дети – наше будущее!”

Про фото из борделя говорить не будем: работа есть работа! И “зажатых” и неулыбчивых барышень и дам там не держат.

Вот бордель, размещенный в здании брестской синагоги. На нем объявление: “Открыт с 10 до 21 ч. Каждый немецкий солдат обязан покинуть заведение к 21 часу”. “Война – войной, а любовь по расписанию!”

А это группа немецких офицеров угощается принесенным мадмуазелью шампанским. Все счастливы и весело смеются, радуясь жизни. На нас смотрит прелестная пара: он в мундире старшего офицера вермахта, и она – в дорогом элегантном костюме. Так и хочется сказать, умиляясь: “Совет да любовь!” И таких фотографий – пропасть. И все они из личных архивов немецких солдат и офицеров.

Особое место среди частных фотографий занимают “пляжные снимки”, папку с которыми можно было бы озаглавить так: “Мир! Дружба!” Лето. Море. Загорает, лежа в лонгшезе, элегантная мадам в длиннополой шляпе. Все как в мирное время. Да оно и было вполне мирным и по виду вполне беззаботным.

Смеющиеся французские барышни в купальниках и бравые немецкие парни. Молодые, здоровые, красивые. Так и хочется воскликнуть: “Эй, Жак! Твою Марианну умыкают!” Общее впечатление: “А жизнь-то налаживается!”

Не исключено, конечно, что все эти фотографии – постановочные. Но... уж больно их много!

Что ж, поговорим о Прекрасной Франции и ее победах, поскольку она официально числится среди победителей Второй мировой.

Начало НАСТОЯЩЕЙ войны с Германией для Франции, прямо скажем, не задалось. А для кого оно задалось?

Для Голландии с Бельгией?

Для Люксембурга с Данией?

Для Польши с Норвегией?

Для нас, грешных?

Начало войны для Франции уже через месяц с небольшим плавно перетекло в сокрушительное поражение, капитуляцию и оккупацию.

10 мая немецкие полки перешли границы, а уже 18 мая по радио выступил с обращением к народу премьер-министр Рейно. Он призывал не поддаваться панике, соблюдать порядок и верить в победу. Однако вместо призы-

ва оказать врагу всенародное сопротивление прозвучало это: “Победитель Вердена, тот, благодаря которому неприятель не прошел в 1916 году, благодаря которому дух французской армии ожил в 1917 году, маршал Петен отныне будет со мной, как министр без портфеля и заместитель председателя совета министров. Он останется на этом посту до победы!”

На другой день с такой же напыщенностью было преподнесено назначение генерала Вейгана главнокомандующим союзными армиями вместо смещенного Гамелена. По словам корреспондента Рейтер, в Париже были убеждены, что генерал Вейган сумеет быстро организовать энергичный отпор германскому наступлению. Вейган, — говорилось в сообщении, — был правой рукой маршала Фоша. А еще говорилось, что Вейган никогда не знал поражений. Одним словом, предполагалось, что у французов должно сложиться впечатление, что Вейган — это как минимум Гай Юлий Цезарь. Или Суворов.

20 мая германские танки захватили Абвилль, стоящий у впадения реки Соммы в Ла-Манш. Весь север Франции был отрезан вместе с тремя французскими армиями, британскими экспедиционными силами и всей бельгийской армией.

21 мая Рейно, выступая в сенате, произнес речь, в которой обычный пафос политика заглушался отчаянием. “Отечество в опасности, — говорил он. — Мой первый долг сказать правду сенату и стране. Мёз (французское наименование реки Маас) всегда считался крупным препятствием для противника. Вследствие невероятных ошибок, за которыми последуют наказания, мосты на Мёзе не были уничтожены. По этим мостам прошли бронетанковые дивизии, впереди которых летели боевые самолеты, нападавшие на редкие французские дивизии, плохо укомплектованные офицерским составом и плохо обученные для отражения таких атак. Так была подорвана эта ось, на которую опиралась французская армия. На протяжении ста километров была образована брешь, в которую вторглась германская армия. Как мы дошли до этого? Если бы мне сказали, что только чудо может спасти Францию, я бы ответил, что верю в чудо, так как верю во Францию!”

Но чудо не совершилось. Вместо него вступил в силу Первый закон паники: “Спасайся кто может и как может!”

17 июня французское правительство отклонило предложение Черчилля о “нерушимом союзе Франции и Великобритании” и необходимости сражаться до конца. 22 июня 1940 г. в Компьенском лесу, в том же вагоне, в котором было подписано перемирие 1918 г., на встрече Гитлера и генерала Ш. Хюнцигера был подписан акт о капитуляции (Компьенское перемирие 1940 г.). 25 июня военные действия официально закончились.

На фотографиях из Бундесархива запечатлена картина полного разгрома считавшейся непобедимой французской армии с ее “линией Мажино”.

Особенно впечатляет та, на которой французских военнопленных конвоируют свои же — французские! — “Сенегальские стрелки” с винтовками наперевес. По виду конвоируемых не заметно, чтобы они горели желанием разметать охрану и, отобрав у своих бывших товарищей по оружию винтовки, броситься врассыпную.

Вот идут с поднятыми вверх руками веселые, пьянькие и расхристаные французские солдатики: “Ура! Война закончилась! По домам!”

А вот горы французских касок, едва не превышающие по высоте пирамиду Хеопса.

Вот юный служивенький с испуганным птичьим лицом. Ему так и хочется посочувствовать: “Ну, куда тебе, родимый, до тевтона! С кем тягаться удумал...”

Ну и, разумеется, горы разбитой французской техники, включая неприличные для русского глаза французские бронированные мастодонты.

Любопытная деталь. Как известно соотношение потерь офицерского и рядового состава армии составляет, как правило, 1:10. Оно и понятно — офицеров всегда меньше, чем солдат. В кампании же 1940 года соотношение потерь офицерского и рядового состава изумило выдавших виды профессоров от военной статистики: 1:3,5. Это означало, что на трех (четыре) убитых солдат приходился один офицер. Иными словами, воевали в сущности лишь офицеры. Солдатики же...

Бесстрастная сухая цифирь говорит о том, что в результате войны Французская армия потеряла 84 тысячи человек убитыми и более полутора милли-

онов пленными. ВВС и танковые силы были частично уничтожены, частично встали на вооружение вермахта. Немецкие войска потеряли 45 074 человек убитыми, 110 043 ранеными и 18 384 пропавшими без вести.

Это потери, понесенные Францией от своего противника — Германии.

К ним следует присовокупить потери, понесенные от своего союзника — Англии, уничтожившей или нейтрализовавшей к концу июля 1940 года почти весь французский флот.

Продолжаем рассматривать фотографии. Вот милые девчушки с косичками весело машут флажками, приветствуя победоносную германскую армию. Рты до ушек. На флажках свастика. На мордашках несказанная радость: “Лотарингия снова германская!”

Пройдет совсем немного времени, и лотарингский крест будут использовать дяди с прямо противоположными взглядами на государственную принадлежность той многострадальной франко-германской (или германо-французской?) сторонки.

Как ни приятно было следить за налаживавшейся день ото дня жизнью, однако вопрос “Кто виноват?!” с повестки дня никто поначалу не снимал. И ответить на него предстояло новому начальнику нового французского государства — маршалу Анри Филиппу Петену.

Он и ответил на него, выступая по радио 25 июня: “Наше поражение стало результатом нашей распушенности. Состояние вседозволенности разрушило все, что было создано духом жертвенности. Поэтому я призываю вас в первую очередь к интеллектуальному и моральному возрождению”.

Тут уместно вспомнить предвоенную ситуацию во Франции. Военные подвергались насмешкам, на них смотрели с интеллектуальных высот с едва скрываемым презрением. Еще бы! У Франции была неприступная “линия Мажино”! А эти бездельники, тупицы, только и могут, что строем ходить! Идея возможной новой войны становилась невыносимой и активно “вытеснялась” из сознания, отчего расцвел махровым цветом пацифизм. В итоге идея “положить конец войне” была встречена с одобрением и облегчением: плоды либерального просвещения оказались коварнее молодого божоле.

Отношение к людям в форме было во Франции той поры сродни отношению де Голля к полицейским: “Если бы полицейские не были глупы, они не стали бы полицейскими”. Сказано это было не каким-нибудь утонченным интеллектуалом и не барышней-революционеркой, а человеком, мыслившим себя в качестве воплощения государственного порядка и всю жизнь носившим военную форму. Что же удивляться, если и к армейцам относились аналогичным образом.

Свою руку к катастрофе приложили и руководимые и направляемые Коминтерном французские коммунисты, ведшие активную антивоенную, а по сути пораженческую пропаганду, заслужившие тем неподдельную любовь армии и правительства. Любопытно, что в советской литературе причины запрета компартии стыдливо замалчивались. Сам же лидер французских коммунистов — М. Торез — был призван в армию рядовым, однако успешно дезертировал и вскоре очутился в Москве.

Коллективная вина, с точки зрения активной пропаганды, штука не слишком эффективная, и потому французам требовался настоящий козел отпущения. И он был моментально найден. Им стал главнокомандующий генерал Морис Гюстав Гамелен (“генерал-философ”, как называли его современники), готовивший втайне ото всех (за исключением генерала Г. Бийотта, погибшего 23 мая) ловушку для оторвавшихся от пехоты танковых соединений вермахта. Однако в западню угодила он сам: накануне решающих фланговых ударов Гамелен был отстранен от командования премьер-министром П. Рейно и сдал командование срочно выписанному из Бейрута М. Вейгану — такому же герою прошлой мировой и такому же консультанту маршала Пилсудского. Однако тот счел дело слишком запущенным и махнул на войну рукой, пополнив первые ряды капитулянтов.

Перелет с Ближнего Востока в Западную Европу и по нынешним временам дело во всех отношениях утомительное. Что говорить о подобных перелетах 70-летней давности. А генерал Вейган был уже не мальчик, а вполне себе дедушка, и ему шел уже восьмой десяток. Так что ничего удивительного в том, что он первым делом отменил план Гамелена и пошел отдыхать. С дороги он проспал целые сутки. Выспавшись, генерал принялся выяснять обстановку и выяснял ее еще двое суток.

Убедившись, что приказ Гамелена был все же нужным и правильным, он повторил его. Однако германское командование повело себя отнюдь не по-рыцарски и вместо того, чтобы застопорить движение и ждать, пока Вейган выпится и примет вместе со своим “гофкригсратом” правильное решение, оно презрев всякую галантность, поспешало на выручку своей зарвавшейся и приготовившейся к закланию бронированной “свиньи”. В результате вслед за танковыми колоннами в Северную Францию двинулись основные силы вермахта. И никакой тебе галантности и желания войти в положение партнера. Немцы, что с них взять!

Одной отставкой дело для Гамелена не кончилось: 20 сентября 1940 года – в день своего 68-летия – правительство маршала решило преподнести генералу сюрприз: оно арестовало бывшего главкома объединенными вооруженными силами Франции, Бельгии, Великобритании и Голландии и вывело его на так называемый “Риомский процесс”, по итогам которого тот был осужден как главный виновник... втягивания Франции в войну против Германии. После того как правительство Виши решено было “сактировать”, а Францию оккупировать полностью, немцы вывезли Гамелена вместе с Петеном в Германию с тою лишь разницей, что Петен вместе со своим “правительством в изгнании” оказался в качестве секретера в замке Зигмаринген – родовом гнезде Гогенцоллернов-Зигмаринген, что в Баден-Вюртемберге, а Гамелен переместился из форта дю Портале, что расположен во французских Пиренеях, в замок Иттер, что в Северном Тироле.

Под замком.

Вместе с ним оказался в Иттере и его “сменщик” на посту главкома М. Вейган, успешно поработавший с июня по сентябрь 1940 г. в качестве министра обороны на режим Виши. Помимо этого, он еще успел отметить и в качестве начальника военного трибунала, заочно приговорившего в августе того же года к смертной казни заместителя военного министра полковника де Голля, ушедшего в самоволку в Лондон вместе с деньгами, выданными ему из секретного фонда правительства премьером П. Рейно.

Больше того: в то время как все, включая его непосредственное начальство, обсуждали перспективы капитуляции, полковник де Голль выступил с инициативой (правда, уже в Лондоне) продолжать войну. А инициатива, как известна, наказуема. Возможно, для многих это станет новостью, но на несколько ДНЕЙ – незадолго до Дюнкерка – Франция и Англия (Британская империя) стали ЕДИНЫМ государством (формально речь шла об объединении правительств, но это по сути то же самое). Этот договор, превращавший Францию в провинцию Англии, наподобие Индии в составе Британской Империи, подписали Черчилль и... заместитель военного министра де Голль. Потом, когда выяснилось, что за французом ничего реального не стоит, договор предпочли “забыть”, а самого будущего вождя Сопrotивления милостиво свезли в Англию в роли этакого “Паулюса”, который всю войну в основном воевал по радио, рассказывая своим слушателям о том, как хорошо будет, когда он придет к власти и станет править вместо Петена.

Так что начальникам де Голля было за что приговаривать его к расстрелянию: формальные признаки неповиновения и даже измены были “на лице”.

“Франция проиграла сражение, но она не проиграла войну! – вещал по лондонскому радио великий слушник начальства. – Ничего не потеряно, потому что эта война – мировая. Настанет день, когда Франция вернёт свободу и величие. Вот почему я обращаюсь ко всем французам объединиться вокруг меня во имя действия, самопожертвования и надежды”.

Кстати, звание генерала де Голль присвоил себе сам, находясь в Альбионе. И хотя представление к званию бригадного генерала было начальством сделано еще до капитуляции, дальше бумага не пошла: всем было уже не до того, а потому пенсию после освобождения Франции де Голль получал всего лишь полковничью.

В том же Иттере, ставшем своего рода элитным узилищем, находились сестра де Голля Мари-Агнес, племянница генерала Женевьева, переведенная из Равенсбрюка, и полковник де ла Рок – шеф ветеранского объединения “Огненные кресты”, плотно работавший с правительством Виши и угодивший за параллельный роман с англичанами в гестапо. Здравый смысл и инстинкт самосохранения подсказывали Гимmlеру, что таких деятелей следует всемерно оберегать от неприятностей и эксцессов, дабы было чем торговаться впослед-

ствии с оппонентами. В итоге все они в скором времени вдохнули воздух свободы и дожили до весьма преклонных годов.

В апреле 1945-го замок был взят под контроль союзниками, а его насельники — Петен вместе со своими “изгнанниками” — были отправлены по этапу в форт дю Портале, а оттуда — в Париж для судебного разбирательства, которое началось уже в июле — через два месяца после капитуляции Германии. Война закончилась, и Гамелен вместе с Вейганом вновь очутились на нарах — теперь уже в родной Франции. На сей раз Гамелена объявили главным виновником поражения Франции в июне 1940-го но его спасло активное заступничество де Голля, в результате которого Гамелен был оправдан.

Писатель А. Жеро, неплохо знавший Гамелена, писал о нем так: “Гамелен, по-видимому, принадлежал к числу людей с широким и острым умом, которые не терпят, когда нарушается их представление о вещах. Более того, такие люди избегают малейших обстоятельств, которые могли бы заставить их изменить это представление. Мне говорили, что он редко посещал фронт или хотя бы даже военную зону и что почти все его поездки, в качестве командующего союзными армиями, сводились к поездкам между Венсенским замком и резиденцией Даладьё или между Венсенном и Лондоном, когда там собирался высший военный совет. И, разумеется, не страх перед опасностью и, пожалуй, даже не усталость (но в этом я не так убежден) удерживали его; вероятнее всего это было желание избежать суматохи, осложнений, неприятных открытий, на которые можно было натолкнуться, взысканий, когда пришлось бы налагать, и всякого рода инцидентов, в которых ему пришлось бы проявить свой гнев. Он предпочитал “обдумывать войну” подобно Декарту в своей роеле— его знаменитой комнате в Голландии”.

Вейган же пошел на процесс в качестве пособника гитлеровцев. Проведя в заключении 2 года в парижском военном госпитале в Валь-де-Грас, Вейган был, тем не менее, амнистирован, а в 1948 году оправдан Верховным судом за “отсутствием состава преступления”. Надо полагать, к немалой досаде де Голля.

Выйдя на волю, Вейган засел за написание трудов, итогом чего стали “История французской армии” в 3-х частях, биография маршала Ф. Фоша, полемический комментарий к мемуарам де Голля и многое-многое другое (всего 13 томов). Одновременно Вейган боролся за реабилитацию памяти Петена. К моменту смерти, последовавшей в 1965 году, 98-летний Вейган был дуайеном (старейшиной) Академии. И единственно, чем мог досадить ему — уже за гробом — президент де Голль, было то, что он запретил проводить заупокойную церемонию по Вейгану в Доме Инвалидов.

Гамелену же — благодаря заступничеству того же самого де Голля — тоже повезло: он тоже был оправдан и, выйдя на волю, тоже засел за книгу воспоминаний, названную им “*Servir*”, что означает в переводе “Служить”. Он умер в середине апреля 1958 года в возрасте 86 лет — в самый разгар новой французской смуты, грозившей перерастить в военный и государственный переворот и новую гражданскую уособицу.

Утешением преданному суду бывшему главкому могло быть лишь то, что его “благодетеля” Петена новая французская власть тоже арестовала и стала судить как главного пособника гитлеровцев. На суде Петен заявил, что всегда был сторонником Сопротивления, что ничего не имел даже против де Голля, что защищал Францию от оккупантов, что судить его должен весь французский народ, а не верховный суд и т. п., и потому отказался отвечать на вопросы, предложенные ему судом. Несмотря на это, было решено продолжать процесс, ограничившись допросом свидетелей и экспертов и прениями защиты и обвинения.

Подсудимый был признан виновным в государственной измене и военных преступлениях, за что приговорён к преданию смертной казни через “расстреляние”, общественному бесчестию и конфискации всего имущества.

Де Голль, исполнявший на тот момент обязанности Председателя Временного правительства, служивший до войны под началом Петена и назвавший в его честь своего сына Филиппом, помиловал в августе 45-го 89-летнего маршала и заменил ему смертную казнь пожизненным заключением, очевидно из уважения к сединам обвиняемого и его заслугам в годы Первой мировой войны. Правду сказать, смягчение приговора из соображений возраста рекомендовала уже сама французская Фемида — вольнодумная, но милосерд-

ная. Последние шесть лет жизни Петен провёл в крепости на острове Йе, что в Вандее, где и был похоронен. Незадолго до смерти с разрешения тогдашнего президента Франции В. Ориоля он был переведён из тюрьмы в гражданскую больницу, что продлило его жизнь до 96 лет.

В 1966 году, в 50-ю годовщину Верденской баталии, президент де Голль приказал возложить на могилу Петена цветы, что было повторено в 1976 году при Жискаре д'Эстене, а при Миттеране цветы на могилу маршала стали возлагаться в верденскую годовщину регулярно. Родственники жертв нацизма пытались по сему поводу протестовать, однако их пыл охладил в 1998 году Европейский суд по правам человека в Страсбурге, признавший за сторонниками Петена право на его защиту.

Но все это произойдет чуть позже, хотя в это “чуть” могла вписаться иная эпоха.

“Проект “Виши”

Восстановим хронологию событий.

13 июня – Петен выступает с требованием немедленно заключить перемирие, пригрозив, что в противном случае французская армия не сможет предотвратить якобы зреющую коммунистический мятеж.

Очень любопытно! По всему выходило, что французы, хотя бы и красные, были для героя Ведена и иже с ним страшнее немцев. Петен был не одинок в своих опасениях, о чем свидетельствуют многочисленные источники. Так, мэр Бордо А. Марке, эволюционировавший за время своей политической карьеры из социалиста в национал-социалиста, провозглашал, что “новая Франция” должна сотрудничать с Германией, дабы покончить с коммунизмом, демократией и евреями. Его друг П. Лаваль, не раз становившийся премьером Франции, постоянно твердил, что “Муссолини свой человек, и он не даст Германии слишком сурово обойтись с Францией”.

Сторонники Петена усердно рекламировали маршала, внушая публике, что он единственный, кто способен добиться от немцев почетных условий мира, способный построить на развалинах новую Францию – по образу и подобию католической Испании Франко. При этом Марке и Лаваль сходились на том, что в поражении Франции виновны Народный фронт, Англия и, натурально, Россия, то есть СССР. И они были не одиноки.

Журналист и писатель А. Симон вспоминал, что когда он приехал в Тур, наступление “пятой колонны” в самом правительстве и вне его было в полном разгаре: “Один из министров, которого я встретил у здания мэрии, сказал мне, что генерал М. Вейган, новый главнокомандующий, решительно заявил о безнадежности сопротивления натиску германских войск. Во время заседания кабинета министров генерал Вейган внезапно встал и вышел из комнаты. Через несколько минут он вернулся в страшном волнении, с криком: “Коммунисты завладели Парижем! В городе беспорядки! Морис Торез в Елисейском дворце!” Вейган потребовал, чтобы немцам было немедленно отправлено предложение о перемирии. “Мы не можем отдать страну коммунистам, это наш долг перед Францией!”

По словам моего собеседника, сообщение Вейгана произвело сильное впечатление. Но Жорж Мандель, министр внутренних дел, немедленно подошел к телефону и вызвал парижского префекта. Ему сообщили, что в Париже все спокойно, нет ни беспорядков, ни уличных боев. Маневр Вейгана сорвался.

– Надолго ли? – с унынием спрашивал меня министр”.

Судя по всему, коммунисты крепко подвели в очередной раз отважного генерала, не учинив мятежа и не дав ему повода как можно скорее капитулировать.

Как отмечали после войны современники, почти никто не верил, что немцев удастся разбить, а поначалу впечатление было такое, что с ними можно неплохо ужиться. И притом устроить, чтобы Франция могла побыстрее перейти “из стана побежденных в стан победителей”.

О пораженческих настроениях в правившей Францией верхушке писал в своих мемуарах и де Голль. И хотя к мемуарам следует подходить с крайней осторожностью, поскольку основным побудительным мотивом их авторов является стремление заработать и оправдаться, сомневаться особо не приходится: свидетельств поражения сохранилась масса. Когда де Голль спро-

сил П. Рейно, почему в состав правительства введен Петен, явный сторонник прекращения войны, премьер ответил: “Лучше уж иметь его внутри, чем снаружи”. Одним словом, ситуация выглядела следующим образом: немец шел бронированной свиньей, а француз в это время истончался в искусстве паркетных интриг, крепко держа в уме уроки Парижской коммуны. Важно было при этом не перепутать причины и следствия: ведь возникновению Коммуны способствовала как раз капитуляция перед пруссаками в 1871 году.

Де Голль приводит в своих мемуарах и свой разговор с Вейганом, в ходе которого энергичный заместитель военного министра напомнил главному о том, что поражение Франции еще не есть поражение Французской империи и “войну следует перенести в пространство”. Ответ горестно рассмеявшегося Вейгана был обескураживающим: “Империя? Это несерьезно! Что же касается остального мира, то не пройдет и недели после того, как меня разобьют, а Англия уже начнет переговоры с Германией. Ах! Если бы я только был уверен в том, что немцы оставят мне достаточно сил для поддержания порядка...”

Продолжим нашу хронику.

14 июня – 6-я армия, та самая, что ляжет через два года костями под Сталинградом, вступает с барабаном и флейтой в Париж. Французское правительство бежит в Бордо. Бегство в Бордо означало, что правительство готовится к капитуляции: вот если бы оно побежало к Ла-Маншу, то это означало, что оно хочет эвакуироваться в Англию, став правительством в эмиграции, имитирующим сопротивление.

А что Париж? Париж – всегда Париж! Кто бы в него ни заходил – донцы ли молодцы во главе с Русским Царем или верные солдаты фюрера со своим фюрером. В 1814 году восторженные французы, забывшие тут же своего многобожяемого Императора, радостно и слезами на глазах приветствовали уже другого Императора – Александра Первого Благословенного, и статьи в независимой прессе свидетельствовали о том, что французы хотели иметь ТАКОГО Императора, как Русский Царь Александр.

...Бравая немчура вошла в Париж как по паркету. Город словно вымер. Но через час с небольшим на улицы столицы ее величества Любви вышли ее верные жрицы и, убедившись в том, что гитлеровцы такие же клиенты, как и все прочие, устроили себе и победителям праздник. Вслед за славными почитательницами Жанны д’Арк и мопассановской Пышки потянулась на улицы пришедшая в себя прочая публика. Шампанское пошло нарасхват и полилось рекой: наконец-то эта “глупость война” кончилась.

Немцы высоко оценили возможности спокойного отдыха и веселого досуга в “ночном Париже”, в котором буквально тотчас же были открыты более сотни заведений специально для обслуживания “интуристов”.

Впрочем, до формального окончания войны оставалось еще 11 дней. Но для Парижа она уже закончилась, и на Эйфелевой башне было поднято знамя победителей – ярко-красное полотнище с огромной черной свастикой.

Разумеется, поначалу имели место и некие досадные казусы. Об одном из них пишет в своих воспоминаниях “На острие танкового клина 1939–1945” Х. фон Люк: “Отъезд Петена в Виши запланировали на следующий день. К сдаче города тоже все было готово, так что оставалось самое большее два дня непривычной работы.

Вечером наш “мавр” в отеле принес нам кофе.

– Как вы полагаете, – спросил я Кардорфа, – не пойти ли нам куда-нибудь в город и выпить?

Он счел предложение дельным, мы погрузились в вездеход и отправились к ратуше, рядом с которой, по нашим подсчетам, должен был находиться бар.

Город казался совершенно вымершим. Тут до нас вдруг дошло, что мы сами установили начало комендантского часа – десять часов. А время перевалило уже за четверть одиннадцатого. Что было делать?

Затем мы заметили экипаж – один из тех, которые являлись в то время основным транспортным средством в городе. Возница спал в козлах.

– Monsieur, – обратились мы к нему, тормоша. – Эй, мсье!

Он увидел форму и очень перепугался:

– Mon General, у меня семья! Я просто заснул, господин генерал!

Мы успокоили его:

– Все в порядке. Скажите нам только, где сейчас можно достать выпивки?

– Нет, мсье, все закрыто из-за “couvre feu”, все боятся нарушить его.

Есть еще, правда, “maison serieuse” [“серьезный дом” (фр.)], но я не знаю, откроют ли там вам.

Мы и понятия не имели, что такое “мезон серьёз”, но чувствовали себя готовыми на риск. Посему мы попросили возницу показать нам путь к вожделенной выпивке. Улицы становились все уже, райончик, в котором мы очутились, выглядел все более сомнительным. То там, то тут, казалось, за нами наблюдали из-за щелок между шторами. Положение наше стало совсем неприятным.

— Куда вы нас ведете, мсье?

— Voila — мы уже пришли.

Он поднялся, подошел к двери и постучал. Появилась пожилая женщина.

— Милости прошу, генераль, — как и извозчик, она на всякий случай изрядно повысила меня в звании. Чего не сделаешь ради собственной безопасности!

Я недвусмысленно дал понять вознице, чтобы он дожидался нас, если ему жизнь дорога.

Не успели мы переступить порог заведения, как тут же поняли, что означает “maison serieuse”. Мы попали в бордель — разумеется, во французский бордель. Обстановка была прекрасная, мадам лучилась любезностью, девушки ее производили впечатление.

— Мадам, — начал я, стараясь объяснить ситуацию, — вплоть до передачи города мы являемся уполномоченными представителями немецкой стороны в Бордо. Все, что мы хотели, — немного выпить, но оказались в нелепом положении из-за комендантского часа, который сами же и установили.

— Добро пожаловать. Давайте выпьем по бокалу шампанского за окончание войны. Наша женская доля — скорбеть и плакать.

После четверти часа оживленной беседы, посвященной тому, за что стоит и за что не стоит воевать, мы покинули гостеприимный дом, уходя заверив хозяйку, что непременно порекомендуем ее заведение местному немецкому штабу. Она искренне обрадовалась и вручила нам свою визитку”.

Продолжаем нашу хронологию.

16 июня — уходит в отставку премьер-министр П. Рейно. Его место занимает А. Петен.

17 июня — Петен в радиообращении к нации призывает французов “прекратить борьбу” и через испанское посольство обращается к Германии с предложением заключить перемирие. В том же послании он обращается к французским солдатам “мужественно сражаться и дальше, пока переговоры о перемирии не будут закончены”, морально “добивая” тех, кто еще верит в возможность продолжения борьбы.

В тот же день — 17 июня — полковник де Голль спешным порядком эвакуируется в Лондон.

18 июня — из Лондона полковник де Голль призывает по радио французов присоединиться к его “Сражающейся Франции”.

20 июня — Петен своим указом запрещает членам правительства и парламента покидать страну.

21 июня — 27 парламентариев (в их числе семь министров правительства Народного фронта, людей известных и авторитетных) в нарушение запрета отплывают на пароходе “Массилия” в Марокко, чтобы продолжить борьбу с врагом в колониях.

22 июня — начальник штаба Верховного главнокомандования Германии и командующий арденнской группой французских армий подписали в Компьенском лесу акт о капитуляции Франции, вступивший в силу 25 июня. Он предусматривал расчленение страны: на двух третях территории (северные и западные департаменты) устанавливался немецкий оккупационный режим, а южная часть и колонии сохраняли суверенитет и оставались под властью правительства Петена.

1 июля — правительство Петена, обосновавшееся в курортном городке Виши, добивается от президента Франции А. Лебрена согласия на созыв внеочередного заседания обеих палат парламента.

3 июля — англичане атакуют и уничтожают французские корабли, стоявшие на рейде алжирского порта Мерс-эль-Кебир, дабы те не достались Германии. В ходе этой операции гибнут 1297 французских моряков, что используют в пропагандистских целях и немцы, и петеновцы. Да и грех было бы не использовать!

Надо полагать, атака бывших союзников на французский флот в Алжире изрядно прибавила симпатий французской общественности англичанам, требовавшим перевести корабли в порты Британии или США либо затопить их. Благоразумно приумолк на какое-то время в своем Лондоне и де Голль.

9 июля – 670 парламентариев, собравшихся по иронии судьбы в театре-кабаре (другого столь же вместительного зала в Виши не нашлось), проголосовали за предложение правительства Петена изменить Конституцию 1875 года.

10 июля – Назначенный Петеном вице-премьер П. Лаваль оглашает проект Конституционного закона, немедленно утвержденный парламентариями (569 голосов за, 80 против при 17 воздержавшихся). Текст его состоит всего из одной статьи, согласно которой вся полнота власти переходит к “главе государства” Петену, а цели Французской республики “Свобода, равенство, братство” заменяются триадой “Труд, семья, отечество”, почерпнутой из идейных арсеналов ветеранской организации “Боевые кресты” полковника де ла Рока. Современники называли ее “профашистской”, нынешние авторы усматривают в ней предтечу ГОЛЛИЗМА.

На следующий день Петен подписал три закона, которые составили “новую конституцию”. В соответствии с ними маршал становился главой французского государства, и отныне ему, маршалу, принадлежала вся полнота законодательной, исполнительной и верховной судебной власти. Слово “Республика” исчезло из политического словаря. Показательно, что указы Петена начинались так: “Мы, Маршал Франции, Глава Французского Государства, и Совет министров постановляем...” (эта формула предшествовала всем законам вишистского режима). Не хватало лишь традиционного и вышедшего из употребления “Божьей милостью”.

Изменялся и процесс передачи высшей государственной власти, наследником которой назначался “дофин”. Таковыми становились вице-президент П. Лаваль, а затем Ф. Дарлан – последовательно становились наследниками всей полноты власти главы государства на случай “невозможности” осуществления оной им самим. Не предусматривались никакие выборы, никакое наделение полномочиями, кроме того, которое осуществлял Государь-Маршал. Закон от 12 октября 1940 г. приостанавливал сессии избранных генеральных советов, заменяя их “административными комиссиями” и передавая их полномочия префектам.

Произошедшее – установление союза с Германией и введение новой конституции – решено было считать “Национальной революцией”. Гербом вишистского режима стал боевой топор франков – так называемый топорик-франциска.

Гимном официально оставалась все же “Марсельеза”, что было не совсем логично и выглядело явной уступкой укоренившейся привычке. Гимн королевской Франции “Да здравствует король Генрих Четвёртый!” был бы куда более к месту. Немцы исправили этот досадный промах, запретив лихую революционную песнь “Рейнской армии”. Фактическим гимном стала напоминающая спортивный марш бодренькая песенка в честь Петена “Маршал, мы здесь!” (“Maréchal, nous voilà!”).

Создание “новой идентичности” Франции шло полным ходом. С таким подходом к делу Петену и его правительству логично было бы утвердить свою резиденцию в Версале, находившемся, впрочем, в зоне немецкой оккупации. Причину того, отчего этого не было сделано, Гитлер объяснял Петену в своем письме к нему от 11 ноября 1942 года: “. . .хотел бы уверить вас, маршал, что вы и ваше правительство можете передвигаться по всей Франции безо всяких ограничений.

Фактически, я заявил, что против переезда французского правительства в Версаль только из опасения, что вражеская пропаганда пустит утку, что вы, маршал, и ваше правительство лишены свободы и, следовательно, не можете исполнять свои функции в этих обстоятельствах”. Поводом же для написания этого письма стало введение режима оккупации на всю территорию Франции.

В целом ситуация, в которой очутилась Франция, описывалась формулой, которую озвучил некий видный дипломат Виши: “Если Англия одержит победу, “*raх britannica*” будет для нас намного менее неблагоприятным, чем “*raх germanica*”. И тут ни убавить, ни прибавить.

Правительство Виши во главе с маршалом Петеном вполне можно было бы назвать марионеточным, однако оно получило вполне политкорректное обозначение “коллораборационистского”, то есть “сотрудничающего”. В оборот слово было запущено самим Петеном после его встречи с фюрером. По условиям капитуляции (формально, “перемирия”), 3/5 территории Франции были отданы под контроль Германии. Французские войска были разоружены, а содержать немецкие оккупационные войска должны сами же французы. Правду сказать, по сравнению с условиями Версальского договора, который французы два десятилетия тому назад уготовили тевтонам, вместе с его “Боши заплатят за все!” это было в целом по-божески, хотя, в отличие от Версаля, побежденного пришлось все же оккупировать. В оккупированных районах была сосредоточена основная часть экономического потенциала Франции, который достался немцам в целости и сохранности: пострадали – да и то не смертельно – заводы Рено. Все остальное работало на Великую Германию, как швейцарские часы: и авиационные, и моторостроительные заводы, и судоверфи, и все прочее, весьма полезное и нужное для ведения войны.

Правда, 1 миллион 850 тыс. французских военнопленных, включая несчастных негров, по-прежнему оставались в Германии. Их использовали как в промышленности, так и на сельхозработах. Понятное дело, что последним жилось сытнее, нежели первым. Помимо них в промышленности и сельском хозяйстве рейха использовались направленные в добровольном и принудительном порядках 250 тыс. французов и 600 тыс. так называемых “добровольных рабочих” (“гастарбайтеров” того времени).

30 июня германские власти объявили о порядке управления территориями Северо-Западной Франции, в соответствии с которым два департамента, Нор и Па-де-Кале, были подчинены оккупационной администрации Бельгии, а Эльзас и Лотарингия вошли в состав рейха и стали управляться назначенным Гитлером гауляйтером. На этих территории стали действовать германские законы.

Приняв новую конституцию, вишисты тут же приступили к бурной законотворческой и административной деятельности.

22 июля – создана комиссия по пересмотру слишком либерального, по мнению властей, закона о натурализации от 1927 года.

11 августа – запрещена деятельность масонских лож. Ложі распускались, а имена их членов публиковались в “Официальной газете”, дабы масоны подверглись общественному осуждению. Сам Петен “вольных каменщиков” на дух не переносил.

16 августа – законом об Организационных комитетах, создававшихся для каждой отрасли промышленности, положено начало созданию корпоративного хозяйства.

3 сентября – вышел закон, подтвердивший запрет компартии, действовавший с 1939 года. Согласно ему всякий коммунист подлежал аресту как враг нации.

27 сентября – опубликовано постановление о проведении переписи еврейского населения: “Евреями считаются те, кто принадлежал или принадлежит к еврейской религии или у кого из числа бабушек и дедушек больше двух – еврей”.

3 октября – выпущен первый антиеврейский закон, запрещавший евреям занимать должности, “открывающие доступ к власти”, в частности выборные, государственные, преподавательские, работать в кино, на радио, в театре. Ограничивался доступ евреев в университеты и к свободным профессиям.

4 октября – депутаты приняли закон, позволявший без ордера и предъявления обвинения арестовывать евреев-иностранцев. В результате к декабрю 1940 года в лагерях неоккупированной зоны, в том числе и расположенных в Северной Африке, насчитывалось 55 000 заключенных евреев.

24 октября – на вокзале местечка Монтуар в департаменте Луар и Шер Петен встретился с Гитлером.

30 октября – 84-летний Петен, которого за глаза частенько называли “Пютен” (от слова putain – проститутка, путана), выступил с обращением к нации, в котором сообщил, что в ходе встречи ему удалось договориться с Гитлером о сотрудничестве в деле “установления нового европейского порядка”: “Французы! В минувший четверг я встретился с рейхсканцлером. На-

ша встреча пробудила надежды и породила беспокойство; я должен дать на этот счет некоторые пояснения [...]. Я принял приглашение фюрера по свободной воле. Я не подвергался какому-либо “диктату”, какому-либо давлению с его стороны. Мы договорились о сотрудничестве между нашими двумя странами [...]. Министры несут ответственность только передо мной. Надо мной одним свершит свой суд история. До сих пор я говорил с вами как отец, сегодня я говорю с вами как глава нации. Следуйте за мной! Храните вашу веру в вечную Францию!”

13 декабря — П. Лаваль, откровенно пронемецкая политика которого смущала даже Петена, отправляется в отставку. Новый премьер-министр П. Фланден берет курс на “модернизацию”, превращающуюся на деле в фашизацию. Правду сказать, режим Виши порой взбрыкивал и проявлял строптивость. Так, 27 ноября 1942 года по приказу Адмиралтейства Виши был затоплен стоявший на рейде в Тулоне военно-морской флот. Сделано это было для того, чтобы предотвратить захват его немцами. В итоге французский флот Германии не достался, однако потеря его означала для режима Виши утрату последнего символа своей власти и доверия со стороны Германии. Однако де Голль из своего Лондона раскритиковал действия адмиралов Виши за то, что те не отдали приказ флоту прорываться в Алжир. Угодить полковнику было непросто.

Большая часть крейсеров была вскоре поднята со дна итальянцами для ремонта и пущена на металл.

20 декабря — опубликована Спортивная хартия, разработанная под руководством назначенного Петеном в начале декабря комиссара по спорту теннисиста Ж. Боротра. Спортивные общества объявлялись “самыми надежными средстами национального возрождения” и должны были воспитывать в молодежи “дух дисциплины и самопожертвования”.

Что ж, поговорим о социальной и культурной политике режима Виши.

Эпоха Виши воспринималась как тотальный реванш антиреспубликанских (а не только борющихся против Народного фронта) сил, а стремление вишистов построить “новую Францию” означало в некотором роде возрождение образа “вечной Франции”, существовавшей до 1789 года.

Современники отмечали и то, что многие генералы, подобно Фошу, Петену и Вейгану, были монархистами и смотрели на республику как на неизбежное зло и терпели ее со смешанным чувством снисходительности и презрения. Как утверждали многие французские “народоправцы”, французские генералы никогда не считали республику тем государственным строем, за который им стоило бы сражаться. Вейган был клерикал до мозга костей. “Он неразлучен с папами”, — как-то сказал о нем “добрый француз и католик” Ж. Клемансо. Вейган оказывал свое влиятельное покровительство “Патриотической молодежи”, полуфашистской юношеской организации, и, как полагают многие, был одним из вдохновителей так называемых “кагуляров” (“*sagouards*”) — членов тайной профашистской организации “Секретный комитет революционного действия” (*Organisation secrète d’action révolutionnaire*, OSAR), образованной и проявившей себя в период между 1935 и 1937 годами. Кагуляры всерьез подумывали о том, чтобы посредством террора и вооруженной силы сбросить демократическое правительство.

Руководители французской армии твердо усвоили одно: чтобы выслужиться при республике, надо скрывать свои антидемократические убеждения, во всяком случае высказывать их возможно осторожнее. Вейган постиг это в совершенстве. Когда молодой министр авиации в кабинете Даладье, Пьер Кот, решил предупредить премьера об антидемократических, реакционных тенденциях Вейгана, Даладье ответил ему: “Да вы послушали бы, что он говорит! Я ручаюсь за него головой!”

Идеология вишистского режима питалась застарелой враждебностью, которую испытывали многие католики и к республике, и к принципу отделения церкви от государства, узаконенному во Франции в 1905 году. (“Хватит кормить Папу!”). Этим же чувством были продиктованы как первые мероприятия правительства Виши, направленные на развитие религиозного образования, так и его попытки реформирования основ светского образования (прежде всего, введении института классовых воспитателей). Именно эти меры обеспечили вишистам, по крайней мере в первое время, массовую и безоговорочную поддержку значительной части католического духовенства. В целом основой

“идеологии” нового режима провозглашалась защита традиционных культурных ценностей.

С другой стороны, Петен и его окружение не скрывали, что намерены создать политический строй по образу и подобию нацистской Германии. “Нацистские идеалы – это наши идеалы”, – говорил маршал. В одной из брошюр, изданных в Виши, об этом говорилось прямо и без экивоков: “Поражение мая-июня 1940 г. было крушением режима... Франция ждет нового режима, и, как это бывает после каждого большого поворота, мы, естественно, склоняемся к тому, чтобы учредить у нас режим, аналогичный существующему у наших победителей”.

Дух оптимизма своевременно подкрепила выставка “За сильную Францию в объединенной Европе”, открывшаяся в Большом дворце Парижа, под охраной СС.

Не обошлось и без существенных новелл в законодательстве, согласно которым по указу 1940 года проживавшие на территории оккупированной немцами евреи лишились значительной части гражданских прав.

Историки долго гадали, был ли этот шаг уступкой требованиям Германии, или же собственной инициативой вишистов, или и тем и другим одновременно. Спорили об этом долго, куда уже в наши дни дотошный французский историк и общественный деятель С. Карлсфельд не раскопал собственноручные пометки Петена на текстах ряда указов и не поведал об их содержании на страницах известной английской газеты “The Guardian”. Из сего явствовало, что глава правительства Виши распорядился еще более ужесточить “антиеврейский” указ, полностью лишив евреев права работать во многих областях, включая юриспруденцию и сферу образования.

Кроме того, Петен расширил область применения указа, распространив его на всех без исключения евреев, включая тех, кто получил французское гражданство до 1860 года – в соответствии с изначальным текстом, на них накладываемые законом ограничения распространяться были не должны.

В связи с этим Карлсфельд заявил, что, издавая указ, маршал Петен, по видимому, руководствовался не только инструкциями Германии, но и собственными соображениями антисемитского характера. По словам историка, текст с пометками Филиппа Петена стал первым документом, свидетельствующим о личном участии маршала в гонениях на евреев (до того дня бытовала точка зрения, согласно которой Петен старался укрывать французских евреев от преследований).

Профессор Сорбонны Бардеша признавал: “От всего сердца я одобрял коллаборационизм, как путь восстановления дружбы между нашими двумя странами и как единственный способ самозащиты Европы от СССР... Нашим убеждением было, что войны добивались евреи. В противоположность тому, что утверждали после 1945 года, почти все время оккупации большинство французов смотрело равнодушно на то, что происходило с евреями”.

Не отставал от своего шефа – маршала Петена – и генерал Вейган, проявлявший в “еврейском вопросе” личную инициативу, столь не свойственную ему на поле брани. Благодаря ему, назначенному в сентябре 1940 года генеральным представителем главы Виши в Северной Африке, законы и правоприменительная административная практика, ущемлявшие права евреев на “украинах” империи, были подчас более жёсткими, чем в метрополии. Так, еврейские дети были попросту исключены из школ. И едва ли эту ретивость генерала можно объяснить его желанием “прогнаться” под фюрера, руки которого до Северной Африки явно не дотягивались.

Остается лишь гадать, какими личными мотивами руководствовался при этом генерал Вейган. Тонкость в этом вопросе заключается для психолога в том, что, по официальным данным, Макс Вейган родился в Брюсселе, а французское гражданство принял уже после учёбы в элитной Особой военной школе (академии) Сен-Сир, выпускниками которой стали 11 маршалов Франции, 6 членов Французской академии (включая самого Вейгана), трое глав государств и один блаженный.

Его первоначальной фамилией была “де Нималь”, а воспитателем – марсельский еврей Коэн де Леон. Француз Франсуа-Жозеф Вейган, служивший у Коэна де Леона, признал Максима своим внебрачным сыном, и таким образом он получил фамилию Вейган и французское гражданство. Поступив

в Сен-Сир, Вейган почел за благо разорвать все связи со своей еврейской семьей, прослыш с тех пор антисемитом и доказав это делом.

Ходили слухи, что на самом деле он внебрачный сын принцессы Шарлотты Бельгийской, императрицы Мексики, или даже её брата короля Бельгии Леопольда II. Так это или не так, или не совсем так, теперь уже не дознаешься, а рассказ Максима Вейгана о своей молодости занимает в его трёхтомных мемуарах всего лишь четыре страницы. О своем происхождении генерал не написал ни строчки. Кто упрекнет его за это? Возможно, он и сам мало что знал достоверно. Не исключено также, что акция с последующим признанием своего отцовства Франсуа-Жозефом Вейганом была частью некой хитроумной комбинации.

Неоспоримым фактом остается лишь то, что в период своего “вишистского наместничества” генерал пытался играть сразу на нескольких досках. Свой сеанс одновременной игры Вейган вел более года. На одних он ставил шах и мат политическим оппонентам вишистов, с легкостью необыкновенной отправляя их в концлагеря. На другой сорвал план по передаче Германии французских военно-морских баз в Бизерте и Дакаре, а еще на одной предложил ничью нейтральному в ту пору Рузвельту, пытаясь добиться от него всемирного перемирия “без победителей и побеждённых”. Скажем прямо, для того чтобы погасить разгоравшуюся мировую войну с помощью тех, кто всемерно, методично и исподволь ее разжигал, нужно было осознавать себя, по меньшей мере, политическим и стратегическим гением и быть великим умом в реале.

Но всему прекрасному приходит когда-нибудь конец. И когда спецслужбы рейха засекли известного генерала-англофоба в связях с англичанами, то нервы у фюрера не выдержали, и в ноябре 1941 года тот в ультимативной форме потребовал от Петена отправить Вейгана в отставку. Маршал взял под козырек, после чего персоной генерала вплотную занялось гестапо.

Следует сказать, что за время работы правительства Виши десятки тысяч человек были депортированы из Франции напрямик... в концентрационные лагеря Германии. Кончилось дело тем, что в феврале 2009-го Административный суд Франции признал правительство режима Виши ответственным за депортацию тысяч евреев в немецкие концентрационные лагеря. Согласно данным суда, во время правления режима Виши с 1942 по 1944 годы в лагеря было депортировано 76 000 евреев. Вынесенное решение стало официальным признанием причастности французского правительства времён Второй мировой войны к Холокосту.

Как и в любом добропорядочном и в меру благоустроенном государстве, была в Виши и своя легальная оппозиция. И составляли ее так называемые “зазу”. “Зазу” были тем, что в пятидесятые годы называлось у нас “стилягами”. Само обозначение французских стилистов образовалось от названия песенки негритянского певца и плясуна Кэба Кэллоуэя (Cab Calloway) “Zaz Zuh Zaz”. Желающие могут заглянуть по сему поводу в интернет.

Оппозиционность “зазу” заключалась в том, что они открыто демонстрировали свою любовь к джазу, не приветствовавшемуся и тем более не поощрявшемуся в Виши, одевались отлично от принятых в обществе норм и даже устраивали некие акции протеста, в которых иные наши современники усматривают антифашистскую подоплеку.

Как отмечает известный интернет-автор *lord-k*, во время оккупации зазу выражали свой протест, организовывая танцевальные конкурсы и нося слишком длинную одежду, несмотря на строгую регламентацию количества ткани, отводимой на пошив одного предмета одежды. Они также отращивали волосы, в то время как вишистской властью было постановлено сдавать свои волосы (и, соответственно, коротко их стричь), которые во время Второй мировой войны использовались для изготовления носков.

В 1940 году Министерство по делам молодёжи объявило зазу врагами, представив их широким массам опасными и дурно влияющими на добропорядочную молодёжь элементами общества. В тот же год в прессе выходит 78 статей, направленных против зазу. Они мгновенно становятся врагами № 1 фашистской молодёжной организации во Франции. Члены этой организации выслеживали зазу и с криками “Скальпируйте зазу!” стригли их наголо. Помимо этого, зазу подвергались нападению на улицах, их избивали среди бела дня, многие из них даже были отправлены на исправительные работы в поля. Кто принимал решения, “кого-куда” и какова была процедура

его принятия, основывавшегося на внешнем виде обвиняемого, дознаться теперь нелегко.

Когда евреев обязали носить жёлтую звезду, многие зазу – очевидно из чистого хулиганства! – тоже стали пришивать к своей одежде подобный аксессуар. Только вместо “еврей” они писали на своих звёздах “Зазу”, “Свинг” или “Гой”. Были и такие, кто вместо надписи рисовали в центре звезды христианский крест, а некоторые были ещё более оригинальны и носили на своей одежде не звезду, а жёлтую розу, которую, однако, издалека было легко спутать с пресловутой звездой Давида. Многие зазу всерьёз заплатились за свои дразнилки и были депортированы в места, не столь отдаленные, вместе с евреями (<http://lord-k.livejournal.com/301850.html>).

Разбираться со стилягами-вольнодумцами было, разумеется, проще, нежели искоренять притаившуюся внутреннюю крамолу. Легко было свистнуть в два перста и отмутузить пижонов с вечными зонтиками в руках и в клетчатых пиджаках не по размеру и даже мадмуазелей в черных очках, коротких плиссированных юбках и обуви на деревянной подошве!

Обострившееся гражданское чувство и на сей раз не подвело французов: посыпались сигналы в полицию и службы безопасности. Энергия бдительности забила версальским фонтаном. Так что рассказ о том, как измученное гестапо было вынуждено повесить на отделении в Лионе объявление “Анонимные доносы более не принимаются”, не выглядит таким уж фантастичным, тем более, что расследовать доносы анонимные куда сложнее, нежели подписанные.

Во Франции много шуму наделал показанный по ТВ в марте 2012 года фильм “Доносы в период оккупации”, в котором повествуется о том, как 40 миллионов тогдашних французов настрочили друг на друга 4 миллиона доносов. Если отбросить малолетних, немощных и впавших в старческое беспмятство, то получается, что доношительство было нормой жизни.

Бдительные французы забрасывали правительство Виши и германские власти миллионами доносов, обвиняя друг друга в подрывной деятельности, в связях с Москвой, в уклонении от выезда на трудовую повинность в Германию, в том, что слушали передачи лондонского и московского радио – да в чём угодно, лишь бы отправить избранную жертву в концлагерь в надежде, что она никогда оттуда не вернётся (<http://www.leblogtvnews.com/article-denoncer-sous-l-occupation-documentaire-inedit-101519318.html>).

Стучали все на всех: на коммунистов, неугодных мужей, редких борцов Сопротивления (из них, кстати, едва ли большинство французами как раз не являлось), конкурентов по ремеслу и торговле, на неугодных соседей, нелюбимых сотрудников, на членов семьи и на незнакомых, доносили, подписываясь, и анонимно.

Любопытно, однако сравнить: сколько доносов на сограждан в те славные годы наклепали французы, а сколько германцы. Правда, рейх продлился в три раза дольше, чем немецкая оккупация Франции, так что уж в пересчёте на год и душу населения острый галльский смысл с его ежегодным миллионом одних только письменных доносов наверняка превзойдет и затемнит “сумрачный германский гений”, также весьма склонный поделиться с полицией благонамеренными соображениями о своем знакомце или соседе.

В целом же жизнь французов, что в немецкой зоне, что в зоне Виши налаживалась, пока не наладилась вовсе. Вот что писал в своей книге “В мире безмолвия” всемирно известный кинорежиссер Ж.-Ив Кусто (в те поры военно-морской офицер): “Это было в 1943 году, в разгар войны, в оккупированной противником стране, но мы настолько увлеклись нырянием, что не обращали внимания на **необычные обстоятельства** ...” Да, конечно, война и оккупация твоей родины – весьма необычные обстоятельства...

В 1942-м Ж.-Ив Кусто занялся нырянием и подводными съемками. Все бы ничего, но ему мешали итальянцы, оккупировавшие Южную Францию. “Итальянцы, – отмечал Кусто, – были начеку; они не хотели давать нам разрешения выйти в море с рыбаками. Тщетно старались мы произвести на них впечатление письмом из Международного комитета по исследованию Средиземноморья, во главе которого ранее стоял итальянский адмирал Таон ди Равель. Стоило нам заплыть за пределы зоны, отведенной для купальщиков, как посты открывали огонь, причем я так и не мог понять, делалось ли это по злобе или просто так, для забавы.

Потом итальянцев сменили немцы. Совершенно неожиданно я обнаружил, что мое письмо производит впечатление на самых свирепых гитлеровцев. Слово “культура” оказывало на них магическое воздействие, и мы смогли возобновить свою работу без особых помех. Притом они никогда не допытывались, чем мы занимаемся, к счастью для нас. Позднее мы узнали, что германское морское министерство затратило миллионы марок на создание подводного снаряжения для военных целей. Некоторые из их испытательных команд, очевидно, ныряли неподалеку от нас”.

Ну вот, оказывается, гитлеровские чины трепетали при слове “культура” и изрядно пугались, когда перед их носами размахивали бумажками с подписью и печатью в ее поддержку!

Происходили вещи и вовсе неслыханные. Так, Ж. Дюкло, заменявший, временного осевшего в Москве М. Тореза, дал указание своим партийцам установить контакт с оккупантами и возобновить в Париже выпуск коммунистической “Юманите”. Немцы не возражали. Но тут возмутилась французская полиция, не успевшая забыть того, что компартия, ввиду ее предательства, была распущена.

Бурной и насыщенной была и культурная жизнь Франции, особенно в зоне немецкой оккупации. Мастера культуры и власти дум – Ж. Ануй с Ж. Кокто, Ж. Жироду с Ж. Превером, Э. Пиаф с М. Шевалье, Ж. Марэ с Фернанделем и С. Лифарем в придачу, и агент В. Шелленберга Коко Шанель четко и недвусмысленно обозначили свою как бы гражданскую позицию, показав на деле, “с кем они”.

Впрочем, трудно вообразить себе голосистого “воробушка” Эдит Пиаф, пускающую под откос немецкие эшелоны, а комика Фернанделя в качестве партизана (“маки”) бегающего по горам с трофейным автоматом. Довольно было и того, что он весело глядел с киноафиш, одетый по последней моде, в галстук-бабочке и со шмайссером наперевес. А можно сказать и так: мастера культуры оставались вместе со своим народом, а народ оставался на стороне своих победителей.

Политика немецких властей во Франции была прямо скажем, доброжелательной, а управление осуществлялось французскими руками. Под особое покровительство была взята интеллектуальная и художественная элита. Особое значение придавалось “важнейшему из искусств” – кино. За годы оккупации французская киноиндустрия выпустила 240 полнометражных и 400 документальных фильмов, а также мультипликаций, превзойдя по объему произведенную кинопродукцию самой Германии.

Чтобы помочь финансированию студий и, естественно, обеспечить идеологический контроль, создали специальную компанию “Континенталь Фильм”. Тридцать из общего числа лент были созданы прямо на немецкие деньги. Шумным успехом пользовалась экранизация романа Мопассана “Милый друг”, осуществленная под надзором рейхсминистерства пропаганды. В программы регулярно включались обзоры новостей, снятые военными операторами.

На этих-то дрожжах и поднималась “новая волна” французского кино, а в роли сценаристов выступали такие мастера, как Жан Жироду, Жак Превер, Жан Ануй и др. Именно тогда начинали свою карьеру знаменитые актеры Жан Марэ, Даниэль Даррье, Жерар Филипп. Разнообразие дарований соответствовала и изощренность вкусов.

В книге английского писателя Д. Прайс-Джонса о Париже во времена Третьего рейха (*David Eugene Henry Pryce-Jones. Paris in the Third Reich* (1981)) рассказывается, между прочим, о сожительстве Жана Марэ с драматургом Жаном Кокто, девизом которого была фраза: “Да здравствует позорный мир!” Эта пара, занимавшая апартаменты в “Пале-Рояле”, не испытывала недостатка даже в опиуме, которым обеспечивался Кокто.

В 1943 году была поставлена пьеса “Тристан и Изольда” в которой Жан Марэ представил не столько легендарного любовника, сколько идеализированного эсэсовца. Когда же один из критиков написал о “гомосексуальной ауре”, исходившей от Марэ, тот ответил ему публичной пощечиной, что было совершенно объяснимо: за мужеложство в рейхе можно было легко угодить за колючую проволоку. В итоге будущий мушкетер и граф Монте-Кристо отделился легким испугом. А через двадцать с лишним лет – в 1963 году – бюсты двух нежных друзей, двух Жанов – Марэ и Кокто – изваяет выдающийся немецкий скульптор А. Брекер.

Оброним о нем пару слов.

Арно Брекер получил звание профессора по личному распоряжению фюрера 20 апреля 1937 года, отметившего столь необычным способом свой день рождения, а через 10 дней – 1 мая – ответный подарок фюреру сделал уже Брекер, вступив в ряды НСДАП.

В октябре 1940 года Брекер сопровождал Гитлера во время его экскурсии в Париж, где тот познакомился с памятниками архитектуры и “объектами культуры”.

Ровно через месяц – в ноябре того же года – Берлин посетил с официальным визитом “железный нарком” В. М. Молотов. На коктейле, устроенном в его честь, Вячеслав Михайлович передал Брекеру приглашение И. В. Сталина поработать в СССР.

В своих воспоминаниях Брекер так описал свою встречу с наркомом иностранных дел СССР на приеме в отеле “Кайзерхоф”: “Молотов оказался маленьким и коренастым, у него было бледное, непроницаемое лицо и отсутствующий взгляд, в котором не отражалось никаких эмоций. Он спросил меня, готов ли я выполнить в России монументальные работы по заказу Сталина. Русский переводчик перевёл мне то, что сказал Молотов:

– Ваши работы произвели на нас впечатление. У нас в Москве есть большие здания, облицованные камнем. Они ждут отделки. Сталин – большой почитатель вашего творчества. Ваш стиль вдохновит и русский народ, он его поймёт. Нам не хватает скульптора вашего значения.

Потрясенный, я мог только поблагодарить за оказанную мне высокую честь и попросил времени для раздумья”. (Breker A. Im Strahlungsfeld der Ereignisse. 1972, s. 148.)

И кто знает, какими бы шедеврами украсил Москву Арно Брекер, не будь у фюрера своих планов в отношении СССР, весьма отличных от планов товарища Сталина.

Гитлер любил Брекера: даром что ли он ваял бюсты нацистских бонз, включая самого фюрера. И доказательством тому может являться то, что когда на излете рейха – 21 марта 1945 года – скульптор отправил в Берлин список невыплаченных гонораров, на его счет было переведено 5,5 млн рейхсмарок. В целом же из причитавшихся ему 27,4 млн рейхсмарок до конца войны Брекер получил 9,1 млн. И пусть историки выясняют, с чем была связана щедрость фюрера: с любовью к творчеству Брекера или со стремительным обесцениванием рейхсмарки.

В 1948 году Брекер успешно прошел через унижительную процедуру денацификации. Несмотря на привилегированное положение в Третьем рейхе и членство в нацистской партии, он был идентифицирован лишь в качестве “попутчика” и приговорен к штрафу в размере... 100 марок. Правда, новая власть отлучила великого мастера от живительного источника госзаказов. Зато не ослабевал поток предложений частных.

Умер А. Брекер в 1991 году в Дюссельдорфе, успев отпраздновать свое 90-летие.

Ничего удивительного в интересе тов. Сталина к Брекеру нет. Приглашали же на работу в СССР великого немецкого конструктора Ф. Порше!

Кстати сказать, после войны великий конструктор автомобилей и танков был арестован по делу, возбужденному французским министерством юстиции. Лишь после 20 месяцев отсидки с профессора Порше сняли обвинения в военных преступлениях. Тем не менее, с него взяли подписку о невыезде в течение года из французской зоны оккупации.

В своей зоне оккупации, которую пожалуй им с барского плеча Сталин, Рузвельт и Черчилль, французы разойдутся не на шутку, а немцы взвоют волками. По свидетельствам современников, зверства в отношении мирного населения Германии во французской зоне творились почище тех, что происходили в Померании, где отводили душу поляки. Что уж такого плохого сделали немцы французам, не ясно. Разве что закупали за полновесные марки у французских виноградарей вино, а также поставляемое на фронт сыр у владельцев сыроварен. Однако благородная ненависть французов вспикела волной и не знала краев. В изданной в 1958 году в ФРГ так называемой Белой книге приведены тысячи фактов грабежей, убийств и изнасилований, которые творили в своей “зоне” французы. Но все это случится уже “потом”.

С приходом немецких оккупантов резко оживилась театральная жизнь Парижа: в 1943 г. кассовый доход вырос в три раза по сравнению с довоенным 1938 годом, а оперные и балетные премьеры в “Гранд-Опера” шли благодаря Сергею (Сержу) Лифарю и немецким деньгам нескончаемой чередой. Всего в “Гранд-Опера” Лифарь поставил более 200 спектаклей, воспитал 11 звёзд балета, в 1947 году основал в Париже Институт хореографии при “Гранд-Опера”, с 1955 года он вёл курс истории и теории танца в Сорбонне, был ректором Университета танца, профессором Высшей школы музыки и почётным президентом Национального совета танца при ЮНЕСКО и т. д. и т. п.

О нем стоит сказать несколько слов.

В июле 1940 года, когда Париж посетил Геббельс, Лифарь был персональным гидом в “Гранд-Опера”. Но это едва ли можно поставить мосье Сержу в вину: это было, что называется, по долгу службы. Зато осенью 1941-го, когда немцы захватили родной город Лифаря, Киев, мосье Серж послал приветственную телеграмму фюреру. В следующем – 1942 году – артист трижды посетил Германию, где был тепло принят верхушкой рейха.

Лифарь был завсегдаем приемов в “Немецком Институте”, гнезде парижских коллаборационистов, его портреты не сходили со страниц журнала “Сигнал”, органа министерства пропаганды. Не обошлось, правда, без досадных недоразумений, о чем выдающийся балетмейстер и танцовщик поведал в своих мемуарах. Однажды на него поступил донос, что он никакой не русский, а самый натуральный скрытый еврей. Обосновывалось это тем, что если, мол, фамилию “Лифарь” прочесть “наоборот”, то выйдет “Рафил”. Последовал вызов в соответствующие инстанции с целью выяснения существа дела. Вконец растерявшийся Лифарь не нашел ничего остроумнее, как выложить “аргументы на стол”, как это принято называть в иммиграционной службе Израиле процедуру доказательства своего еврейства. Подобный стиль аргументации едва не был расценен в качестве оскорбления германских властей, но все обошлось.

Тем не менее, работа в Париже во время оккупации привела к резкому повороту в судьбе Лифаря: люди де Голля в Лондоне обвинили его в коллаборационизме и приговорили к смертной казни, выискивая среди бесчисленных мастеров французской культуры того единственного, “кого было не жалко”. Да и сам де Голль был вполне равнодушен к балету. И то, что этим единственным оказался русский, было вполне естественно.

На это досадное обстоятельство Лифарю можно было бы и не обращать внимания, если бы не ухудшающееся положение на фронтах. Чуть позже – и ох, как некстати! – в Нормандии высадились англо-американцы. Друзья отнеслись к Сержу сочувственно и при приближении союзников к Парижу напоминали ему, что у него “могут возникнуть неприятности”. Сами же они чувствовали себя вполне уверенно и с любопытством следили за развитием событий.

Лифарь не стал дожидаться худшего и срочно улетел в Монако. Там с 1944-го по 1947 год он возглавлял труппу “Новый балет Монте-Карло”. После войны Национальный французский комитет по вопросам “чистки” отменил обвинение, и балетмейстер триумфально вернулся в родной театр.

(Продолжение следует)

ЮРИЙ ПАВЛОВ

ЧЕХОВ КАК РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ КНИГИ ИВАНА БУНИНА

Сестра Чехова Мария Павловна ещё в 1911 году выразила уверенность в том, что лучше Бунина о её брате никто не напишет. Первый шаг в этом направлении Иван Алексеевич сделал осенью 1904 года очерком “Памяти Чехова”. Затем последовали дополнения, интервью, новая редакция и два названия: “О Чехове. Из записных книжек” и “Чехов”. В эмиграции Бунин неоднократно перечитывал произведения писателя, его письма, воспоминания современников. Имя Чехова довольно часто встречается в дневниках Бунина. Но лишь после выхода в 1947 году в СССР сборника воспоминаний о Чехове и полного собрания сочинений писателя Бунин в последний год своей жизни принимает за книгу о любимом авторе. Она осталась незавершенной и впервые была опубликована в СССР с купюрами лишь в 1967 году (Бунин И. О Чехове // Бунин И. Собр. соч. В 9 т. т. Т. 9. М., 1967).

За последние 47 лет книга Бунина стала неотъемлемой частью многих работ о Чехове. Так, в одной из лучших из них – исследовании Алевтины Кузичевой “Чехов. Жизнь “отдельного человека” (М., 2012) – бунинские размышления и свидетельства органично вплетаются в серьёзную работу автора. Я же остановлюсь на тех положениях незаконченного труда Ивана Алексеевича, которые сегодня, на мой взгляд, особенно актуальны или требуют дополнительных комментариев, уточнений.

В начале книги Бунин приводит традиционно поминаемые на протяжении более ста лет факты детства, юности, молодости Чехова: ночное пение в церковном хоре, “хозяйское око” в лавке, с гимназических лет зарабатывание себе и семье на хлеб, медицинское образование, знакомство со второго курса университета с журналистским миром и т. д. Бунин напрямую связывает эти факты биографии Чехова с его редким знанием людей, жизни, проявившимся уже в раннем творчестве. Иван Алексеевич, в частности, утверждает: “Если бы не было церковного хора, спевок, то и не было бы рассказов ни “Святой ночью”, ни “Студента”, ни “Святых гор” (такого рассказа у Чехова нет. – Ю. П.), ни “Архиерея”, не было бы, может быть, и “Убийства” без такого его тонкого знания церковных служб и простых верующих душ”.

Говоря о семи годах жизни в Подмоскovie, которые дали Чехову как писателю очень много, Бунин мимоходом сообщает следующий факт: “Его брат, Иван Павлович, получил место учителя в церковно-приходской школе, квартира была из четырёх комнат, и семья Чеховых на лето приезжала к нему”. Для полноты картины добавлю. В письме к дяде М. Е. Чехову от 11 апреля

1886 года Антон Павлович сообщал: “Иван получил в Москве казённую школу, где он будет самостоятелен. Квартира у него в 5 комнат, казённая. Прислуга, дрова и освещение тоже казённые”. О таком положении сегодняшний учитель может только мечтать.

Бунин, называя многие произведения Чехова, порождённые жизнью в Подмоскowie, удивляется тому, что писателю “ничего не дал Псёл, где он прожил два лета восемьдесят восьмого и восемьдесят девятого, хотя восторгался этими местами выше меры. Но в литературе его они не отразились”.

Следует уточнить: весенне-летние месяцы 1888 года, прожитые Чеховым в Полтавской губернии, нашли отражение в рассказе “Именины”. Алексей Николаевич Плещеев, гостивший вместе с Буниным в усадьбе Линтварёвых три недели, увидел в данном произведении сумской “след”. В октябре 1888 года он отозвался на “Именины” письмом, в котором содержалось много критических замечаний и предложение: убрать из рассказа “человека 60-х годов” и “украинофила”, ратующего за освобождение Малороссии от “русского ига”.

9 октября Чехов ответил Плещееву письмом, где подробно, по пунктам прокомментировал его замечания. Я приведу только высказывания с украинским сюжетом. В восприятии Чехова “украинофильство – не улика”. Писатель выделяет, по сути, два типа украинофилов. Первый тип, представленный семьёй Линтварёвых, вызывает у Чехова симпатию, ибо у таких людей главным является “любовь к теплу, к костюму, к языку, к родной земле”. Ко второму типу украинофилов Чехов относился резко негативно, что было вызвано следующими причинами: “Я же имел в виду (в рассказе “Именины”. – Ю. П.) тех глубокомысленных идиотов, которые бранят Гоголя за то, что он писал не похотлачки, которые, будучи деревянными, бездарными и бледными бездельниками, ничего не имея ни в голове, ни в сердце, тем не менее стараются казаться выше среднего уровня и играть роль, для чего и нацепляют на свои лбы ярлыки”.

Чехов, очень тепло относясь к Малороссии и к “хохлам” (наиболее часто употребляемое писателем слово), указывал на многие их достоинства. В то же время он отмечал и ещё одно качество, которое порождает в украинском народе (как и в любом другом) “глубокомысленных идиотов”. Так, в письме к Суворину от 18 декабря 1891 года Чехов, имея в виду творчески-интеллигентскую среду, заметил: “Хохлы упрямый народ; им кажется великолепным всё то, что они изрекают, и свои хохлацкие истины они ставят так высоко, что жертвуют им не только художественной правдой, но даже здравым смыслом”.

Параллели, совпадения с новейшей постсоветской украинской действительностью более чем очевидны. Самое страшное и трагичное то, что тип украинофила из “Именин” определяет политику Украины начала XXI века: он по-прежнему видит в Гоголе предателя, неустанно транслирует мифы о русском иге, голодоморе, воспекает Бандеру и прочих украинских националистов-фашистов.

Бунин в своей книге, говоря о родословной Чехова, о проживании предков писателя в Воронежской губернии с XVII века, высказывает предположение: явились они в эти места “с севера, а не из украинских земель, так как речь Чеховых и в XIX веке, и раньше была русская. (Называя себя неоднократно в письмах “хохлом”, А. П. Чехов, вероятно, имел в виду, что его бабушка со стороны отца была украинкой)”. Однако Бунин не обращает внимания на то, что *хохло* Чехов называет себя только в отрицательно-ироничном контексте: “хохляцкая лень”, “хохляцкая логика” и т. д.

Русскость Чехова на ином, духовно-культурном, ментальном уровне, который, собственно, определяет национальную принадлежность человека, писателя, подчёркивается Буниным через высказывание Л. Н. Толстого. Он, нежно любивший Антона Павловича, говорил ему: “Вот вы – русский. Да, очень, очень русский”. Этим бунинский текст советскими публикаторами прерывается, о чём они уведомляют читателей соответствующим знаком. Остаётся лишь гадать, по какой причине был обрезан *русский сюжет* в книге Бунина.

Русскость Чехова чаще всего по-разному игнорируется и в постсоветское время многими исследователями, журналистами. Даже в объёмнейшей (44,5 печатных листа!) и очень хорошей книге Алевтины Кузичевой “Чехов. Жизнь “отдельного человека” (М., 2012) данная тема практически отсутствует. Поэтому оставим на долгое время книгу Бунина и уделим особое внимание восприятию Чеховым русской и – шире – национальной проблематики.

По отношению к России и к русским писатель неоднократно характеризовал и себя, и других. Ключевым в понимании указанной проблемы является, на мой взгляд, следующий эпизод. Чехов делится с А. С. Сувориным впечатлениями о посещении издательства: “На днях я был у Сытина и знакомился с его делом. Интересно в высшей степени. Это настоящее народное дело. Пожалуй, это единственная в России издательская фирма, где русским духом пахнет и мужика-покупателя не толкают в шею”.

В этом суждении Чехов, следуя национальной традиции, единственно верно сопрягает дело для народа, национальный дух как его стержень и, выражаясь современным языком, главного потребителя товара – мужика. Эта триада, по сути, выражает формулу жизни Чехова, его столь разнонаправленной деятельности. Напомню только некоторые вехи ее: многолетняя врачебная практика в ущерб себе и на пользу мужику, построенные им три школы, сахалинская эпопея с составленными Чеховым десятками тысячами статистических карточек, собиране библиотеки для Таганрога (сопровожаемое в письмах к И. Ф. Иорданову просьбами: “Никому не говорите о моём участии в делах библиотеки”), хлопоты о строительстве шоссе по просьбе крестьян, постоянная – с юношеского возраста и до смерти – материальная помощь близким и далёким родственникам, забота о священнике Н. Н. Некрасове, талезском учителе и многих других. Особого внимания заслуживает завещание писателя. Согласно ему, после смерти близких родственников их имущество и доходы от издания чеховских книг должны быть переданы в таганрогское городское управление на нужды народного образования. Параллели проведите сами.

Как известно, Чехов немало путешествовал и особенно восторгался Италией, Цейлоном, Абхазией. Но, как однажды писатель признавался Иорданову: “За границей меня всякий раз донимает тоска по родине” (письмо от 15 апреля 1897 года).

В последние годы жизни, вынужденно обосновавшись в Крыму, узнав жизнь Ялты и её окрестностей изнутри, Чехов получил полноценную возможность сравнить этот российский курорт с французской Ниццей и не только с нею. В этих сравнениях проявилось объёмное видение Чеховым человека, места, народа, страны, позволяющее оценивать их достоинства и недостатки одновременно, в совокупной целостности. Приведу два характерных высказывания писателя: “Крымское побережье красиво, уютно и нравится мне больше, чем Ривьера; только вот беда – культуры нет. В Ялте и в культурном отношении пошли даже дальше, чем в Ницце, тут есть прекрасная канализация, но окрестности – это сплошная Азия” (письмо А. С. Суворину от 8 октября 1898 года); “Ялта лучше Ниццы, несравненно чище её. Но русские курорты бедны и потому скучны, ужасно скучны, скучнее даже, чем поездка на кумыс” (письмо Л. И. Веселитской от 4 января 1899 года).

Неожиданно для себя Чехов ощутил и другое преимущество Ялты. Зимой 1901 года писатель, по его словам, бежал из Ниццы в Италию, а из неё (из Рима и Флоренции) – в Крым. Причина бегства проста: во Франции и Италии было холодно, а печи в этих странах отсутствовали. Как сообщал Чехов Н. П. Кондакову: “Теперь в Ялте я отогреваюсь” (письмо от 20 февраля 1901 года).

Из всех российских курортных тёплых мест Чехов отдавал предпочтение Ялте и потому, что в ней, по его словам, “ближе к России” (письмо В. М. Соболевскому от 19 января 1900 года). Однако тоска по “малой родине” настигала Чехова и в Крыму, о чём, например, свидетельствует следующее откровение писателя, не характерное для сдержанного Чехова. Находясь в Ялте, он признался В. М. Соболевскому: “Без России нехорошо, нехорошо во всех смыслах. Живёшь тут, точно сидишь в Стрельне, и все эти вечнозелёные растения, кажется, сделаны из жести, и никакой от них радости, и не видишь ничего интересного, так как нет вкуса к местной жизни” (письмо от 19 января 1900 года).

Русскость Чехова проявлялась и в том, что он прежде и больше всего писал о недостатках своего народа. В редких случаях он перегибал палку, сбиваясь на обобщённо-несправедливые, оскорбительные оценки (как, например, в письме М. П. Чеховой от 13 июля 1890 года). Подчеркну: в основе национальной самокритики писателя лежит любовь к России и русским, эмоциональная реакция на поведение людей, “оскверняющих русское имя” (письмо А. С. Суворину от 9 декабря 1890 года). Поэтому несостоятельны постоянные

попытки либеральных авторов сделать из Чехова своего союзника или единомышленника. Также несостоятельны версии о Чехове – ненавистнике евреев, крымских татар, немцев и т. д. Покажу это на примере.

Меньше чем за месяц до смерти, находясь в Германии, Чехов писал редактору газеты “Русские ведомости” В. М. Соболевскому: “Немцы или утеряли вкус, или никогда у них его не было: немецкие дамы одеваются не безвкусно, а прямо–таки гнусно, мужчины тоже, нет во всём Берлине ни одной красивой, не обезображенной своим нарядом” (письмо от 12 июня 1904 года). Однако тут же Чехов отмечает и достоинства немцев: “Зато по хозяйственной части они молодцы, достигли высот, для нас недостижимых”. Через четыре дня в письме к сестре Антон Павлович продолжил делиться своими немецкими впечатлениями: “Не чувствуется ни одной капли таланта ни в чём, ни одной капли вкуса, но зато порядок и честность – хоть отбавляй. Наша русская жизнь гораздо талантливее, а про итальянскую или французскую и говорить нечего”. Общие рассуждения о немцах перебиваются оценками поступков отдельных представителей этого народа. В том же письме к сестре Антон Павлович, говоря о немецких докторях, мимоходом сообщает, что “во всём этом много шарлатанства”. А далее в присущей ему ироничной манере уравнивает негатив: “но много и в самом деле хорошего, полезно, например, овсянка”.

Ивана Бунина поразило то, что в письме к нему Чехов примерно за три недели до смерти говорил о своём улучшающемся здоровье, заказанном белом костюме. Меня же в последних письмах Чехова больше удивило другое. Антон Павлович за пять дней до смерти сообщает сестре следующее: “Ни одной прилично одетой немки, безвкусица, наводящая уныние”.

Отношение Чехова к российским немцам также отличалось от традиционного их восприятия. В письме к Суворину Антон Павлович говорит о необходимости национальных школ для крымских татар на полуострове и просит его о следующем: “Напишите, чтобы деньги, затрачиваемые на колбасный Дерптский университет, где учатся бесполезные немцы, министерство отдавало бы на школы татарам, которые полезны для России” (письмо А. С. Суворину от 20–25 ноября 1888 года).

Как видим, Чехов периодически позволял себе “неаккуратные” оценки немцев, в которых, если постараться, можно увидеть национальное оскорбление. Для меня более показательно иное. Когда издатель, российский немец Адольф Фёдорович Маркс, по сути, ограбил Чехова, Антон Павлович оценил данный поступок без национальной подоплёки (люди, не симпатизирующие тому или иному народу, всегда поступают прямо противоположным образом). Чехов лишь сообщил Константину Петровичу Пятницкому: “Я прерываю с ним всякие отношения, так как считаю себя обманутым довольно мелко и глупо” (письмо от 19 июня 1904 года).

Конечно, нельзя обойти вниманием и избранницу Чехова – немку Ольгу Леонардовну Книппер. Бунин, узнав об их предстоящей свадьбе, подумал: “Да это самоубийство! Хуже Сахалина”. Хотя Бунин оказался прав, главное, думается, в другом: Чехов по-настоящему любил О. Л. Книппер. Симптоматично, что среди многочисленных нежных, иронично-ласковых обращений Антона Павловича к Ольге Леонардовне встречаются и национально-окрашенные: “немочка прекрасная”, “немочка моя добрая”, “моя немчуша”. И себя Чехов с той же иронией определяет через немецкость (“я совсем немецкий муж по своему поведению, даже хожу в тёплых кальсонах”), а своего будущего ребёнка называет “полунемчиком”.

Итак, Чехов не был национально предвзят, ограничен. Его “всемирная отзывчивость” проявлялась даже в, мягко говоря, непростых условиях передвижения по России на Сахалин весной 1890 года. Антон Павлович отмечает достоинства татар, русских, евреев, поляков, хохлов. Он периодически переводит разговор из национальной плоскости в общечеловеческую: “Боже мой, как богата Россия хорошими людьми” (письмо М. П. Чеховой от 14–17 мая 1890 года). Умение Чехова видеть много хороших людей именно в России – ещё одно отличие писателя от западников и либералов всех времён.

Национальное “я” Чехова, конечно, по-разному проявилось и в его творчестве, в частности, через авторское понимание человека и жизни. Прямо – без художественных условностей пьесы “Иванов” – писатель говорит о своих взглядах в пространном письме к Суворину от 30 декабря 1888 года. Чехов,

ведя речь о главном герое произведения, взятом в контексте судьбы большинства интеллигенции, высказывает ряд общих, принципиальных суждений. Один из творческих принципов писателя, непонятый многими до сих пор, определяется так: "... в пьесе я не употреблял таких терминов, как "русский, возбудимость, утомляемость" и проч. в полной надежде, что читатель и зритель будут внимательны и что для них не понадобится вывеска: "це не гарбуз, а слива".

Характеризуя Иванова, Чехов отмечает в нём типичные, с его точки зрения, русские черты: возбудимость, утомляемость, чувство вины. В данном случае отмечу лишь общий подход, традиционный для отечественной литературы в понимании и изображении литературного героя, — это обязательное соотнесение его с национальным миром, традициями, идеалами.

С таких позиций ответил писатель и на вопрос Суворина: "Что должен желать теперь русский человек?" В словах Чехова выражено одно из главных требований к русскому человеку: "Желать. Ему нужны прежде всего желания, темперамент. Надоело кисляйство" (письмо от 12 декабря 1894 года). Очевидно, что эти слова адресованы в первую очередь интеллигенту-кисляку, преобладавшему и в литературно-театральной среде, и в жизни вообще.

Высказывания Чехова об этом типе интеллигенции *рифмуются* с резкими и точными оценками Василия Розанова, Ивана Солоневича (который, кстати, вообще не понял Чехова) и других ненавистников интеллигенции. Чехов в письме к И. И. Орлову, отвергая версию своего корреспондента, утверждает: "Не гувернант, а вся интеллигенция виновата, вся, сударь мой". И далее Антон Павлович выражает своё отношение к "розе в навозе" (если использовать образ Дмитрия Быкова из отвратительной статьи "Два Чехова"), в котором он был, несомненно, прав и неизменно последователен на протяжении всей жизни: "Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, лживую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо её притеснители выходят из её же недр" (письмо от 22 февраля 1899 года). Отношение Антона Павловича к интеллигенту-кисляку порождено традиционной системой ценностей, которую этот "кисляк" и ему подобные неинтеллигентны из разных сословий утратили.

Называть же русскими людей, представляющих этот денационализированный тип личности, можно лишь условно, а точнее, правильнее — этого совсем не делать. Так как сей тип россиянина сегодня преобладает, многие суждения Чехова звучат в 2014 году даже более актуально, чем на рубеже XIX–XX веков. Судите сами: "Здесь, в Pension Russe (в Каннах. — Ю. П.) я изучал киевских профессоров — опять хоть комедию пиши! А какие ничтожные женщины <...> У одной 45 выигранных билетов, она живёт здесь от нечего делать, только ест да пьёт, бывает часто в Monte-Carlo <...> Сколько тонет здесь русских денег, особенно в Monte-Carlo!" (письмо О. Л. Книппер от 6 января 1901 года); "Дамы, живущие в Pension Russe, русские (точнее, российские. — Ю. П.) дамы — это такие гады, дуры. Рожа на роже, злоба и сплетни, чёрт бы их побрал совсем".

Наиважнейшей, по сути, определяющей частью космополитической интеллигенции на рубеже XIX–XX веков являлись преподаватели, учителя, деятели культуры, писатели декадентско-модернистского толка. О последних, на примере Франции и России, Чехов говорит, в частности, что они "третируют <...> совесть, свободу, любовь, честь, нравственность"; "они заставляют Францию вырождаться, а в России они помогают дьяволу размножать слизняков и мокриц, которых мы называем интеллигентами. Вялая, апатичная, лениво философствующая, холодная интеллигенция <...>, которая не патриотична, уныла, бесцветна <...>, которая брюзжит и охотно отрицает всё <...>; которая не женится и отказывается воспитывать детей"; "где вырождение и апатия, там половое извращение, холодный разврат, выкидыши, ранняя старость, брюзжащая молодость, там падение искусств, равнодушие к науке, там несправедливость во всей своей форме" (обе цитаты — из письма А. С. Суворину от 27 декабря 1889 года).

В этом же письме Чехов делит литературу на две литературы с точки зрения утверждаемых писателями ценностей. Представители одной из них — декаденты во Франции и в России, разрушавшие традиционные христианские ценности и утверждавшие идеи и идеалы прямо противоположные, — по справедливому мнению Антона Павловича, "служили злу". Они к тому же были не-

нави́стниками своих народов и стран, а если выражаться языком более позднего времени, писатели-декаденты — “пятая колонна”, “агенты влияния”, “иностранные агенты” (такие верные, охранительные, “мракобесные” мысли не приходили в голову даже Константину Победоносцеву!). Если, по предположению Чехова, начнётся война между Францией и Германией, то Франция её проиграет и “союзниками” (слово писателя) Германии в этой войне будет французская декадентская литература.

Её родная сестра в России (позже её назовут Серебряным веком) готовила почву для реальной глобальной катастрофы февраля 1917 года. Но до этих событий Чехов не дожил, как не увидел он и рождения новых “гениев” из этой плеяды детей и певцов порока. Свидетелем этого литературного безобразия (от его рождения до кончины) был так любимый Чеховым Иван Бунин. Он в своих разножанровых публикациях дал точные, убийственные портреты представителей Серебряного века.

В книге о Чехове Бунин, отталкиваясь от слов Антона Павловича, уточняет его оценку декадентов так: “Но нельзя сказать, что здоровые, нормальные”. И далее Бунин поясняет свой взгляд, начав с риторического вопроса: “Кто же из них мог назваться здоровым в обычном смысле этого слова? Все они были хитры, отлично знали, что потребно для привлечения к себе внимания, но ведь обладает всеми этими качествами и большинство истериков, юродов, помешанных. И вот: какое удивительное скопление нездоровых, ненормальных в той или иной форме, в той или иной степени было ещё при Чехове и как всё росло оно в последующие годы! Чахоточная и совсем недаром писавшая от мужского имени Гиппиус, одержимый манией величия Брюсов, автор “Тихих мальчиков”, потом “Мелкого беса”, иначе говоря, патологического Передонова, певец смерти и “отца” своего дьявола, каменно неподвижный и молчаливый Сологуб, “кирпич в сюртуке”, по определению Розанова, буйный “мистический анархист” Чулков, испуганный Волынский, малорослый и страшный своей огромной головой и стоячими чёрными глазами Минский”.

Все-таки акцент, думаю, нужно делать не на психическом нездоровье (которое, в ряде случаев, несомненно), а на духовной, культурной, национальной аномальности представителей Серебряного века. Такой подход у Бунина лишь обозначен в дневниковой записи от 22 ноября 1922 года: “Опять спор, как отнестись к Блоку, Белому. Мережковские: “Это заблудшие дети”. Да, блудить разрешается, но только влево. Вот Чехову двадцать лет не могли забыть, что он печатался в “Нов<ом> Вр<емени>” (Бунин И., Бунина В. Устами Буниных. Дневники. Т. 2. М., 2005).

Левый (духовный) блуд — это, на мой взгляд, универсальная оценка всего Серебряного века с его родовыми чертами: разного рода богоотступничеством, ненавистью к Православию и монархии, неприятием русской системы ценностей, традиционной семьи, реабилитацией греха, навязыванием представлений о нём как о норме, добродетели и т. д.

Чехов прекрасно понимал, какую роль занимают Православие и Церковь в судьбе отдельного человека и России. Он напрямую связывал веру общества в Бога со справедливостью (письмо А. С. Суворину от 27 декабря 1889 года) и, как Пушкин, Гоголь, Достоевский, с особой теплотой относился к монахам и монастырской жизни. Более того, он выражал желание стать монахом, что вызывало иронию Книппер.

Реакция Ольги Леонардовны была типичной для интеллигенции. Одна часть её объявила Православие и Церковь своими главными врагами, другая часть интеллигенции решила их “реформировать”. Для реализации этих идей было создано в 1901 году религиозно-философское общество в Петербурге. Его костяк составляли символисты и прочие бесноватые искатели “Третьего Завета”.

Чехов в письме к В. С. Миролубову выразил огорчение его новой деятельностью в религиозно-философском обществе и дал ему совет: “Нужно верить в Бога, а если веры нет, то не занимать её место шумихой, а искать, искать, искать одиноко, один на один со своей совестью” (19 декабря 1902 года).

Высказался Чехов по этому поводу и в письме к Сергею Дягилеву. Не разделяя его восторгов от религиозного движения интеллигенции, Антон Павлович предельно просто и чётко сформулировал своё видение модного явления: “Интеллигенция же пока только сыграет в религию и главным образом — от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что

она ушла от религии и уходит от неё всё дальше и дальше, что бы там ни говорили и какие бы философско-религиозные общества ни собирались". Так в очередной раз проявились духовное здоровье и прозорливость писателя.

Вполне естественно и логично то, как отнёсся Чехов к Мережковскому, одному из идеологов символизма и религиозно-философского общества. Ещё в 1888 году Дмитрий Сергеевич откликнулся на выход чеховских книг "В сумерках" и "Рассказы" статьёй "Старый вопрос по поводу нового таланта". Антон Павлович назвал работу Мережковского длинной, а позицию автора (с точки зрения развития критики) — непродуктивной. "... Потеряют десяток лет, — утверждал Чехов, — напишут много балласта (что и случилось, более того, в последние почти тридцать лет многие "специалисты" представляют этот балласт как очередную вершину русской литературы. — Ю. П.), запутают ещё больше вопрос (это интеллигентски-декадентское умение запутывать проблему Блок хорошо назвал "словесным кафешантаном". — Ю. П.)" (письмо А. С. Суворину от 3 ноября 1888 года). Чехов также отмечал гладкопись Мережковского и то, что он не разобрался в вопросе, о котором говорит. Антону Павловичу не понравилась и терминология критика: "неудачники", "лишние люди"...

Как известно, терминология эта была порождена всё той же левой традицией, восходящей к Белинскому. И закономерно, что один из его духовно-идейных наследников Дмитрий Мережковский не понял русскую литературу, в частности, Чехова. В том же послании к Суворину Чехов возмущённо писал: "Мережковский моего монаха (героя рассказа "Архиерей". — Ю. П.), сочинителя акафистов, называет неудачником. Какой же это неудачник? Дай Бог всякому так пожить: и в Бога верил, и сыт был, и сочинять умел... Делить людей на удачников и неудачников — значит, смотреть на человеческую природу с узкой, предвзятой точки зрения... Удачник Вы или нет? А я? А Наполеон? Ваш Василий? Где тут критерий? Надо быть Богом, чтобы уметь отличать удачников от неудачников и не ошибиться..."

Духовно-культурная, мировоззренческая, человеческая несовместимость Чехова с Мережковским и ему подобными наглядно проявилась в 1903 году, в момент приглашения Антона Павловича Сергеем Дягилевым к сотрудничеству с Дмитрием Мережковским в "Мире искусств". В ответе писателя, в частности, говорилось: "Но ведь воз-то мы, если и повезём, то в разные стороны <...>. Редактор должен быть один, только один..." (письмо от 12 июля 1903 года).

Иван Бунин, затрагивая тему декадентов, приводит следующее высказывание Чехова о них: "Какие они декаденты! <...> Они здоровеннейшие мужики, их бы в арестантские роты отдать..." Иван Алексеевич, опираясь на историю декаданса и модернизма вообще, развивает, корректирует мысль Чехова. Он точно характеризует данное явление как духовно-мертвенное, культурно-вырожденческое. Из нескольких убийственных страниц Бунина приведу только начало, которое, как и весь текст, думаю, понравилось бы Чехову: "Правда — почти все были жулики..."

Принципиальное несогласие Бунина с Чеховым возникает там, где он говорит о его драматургии. Иван Алексеевич признаётся, что не любит пьес Чехова и ему "даже неловко" за Чехова-драматурга. Неловко, прежде всего, за незнание реальной помещичье-дворянской жизни, за ходульных героев. Вот только некоторые суждения Бунина на эту тему: "... вопреки Чехову, нигде не было в России садов сплошь вишнёвых: в помещичьих садах бывали только части садов, иногда даже очень пространные, где росли вишни".

Иван Бунин в своей книге по-разному подчёркивает естественное благородство Чехова. Природу этого благородства и других черт личности писателя, думаю, невольно объяснил сам Антон Павлович. Писатель, комментируя рассуждения своего корреспондента о высшей нравственности, отвечает ему: "Нет ни низших, ни высших, ни средних нравственностей, а есть только одна, а именно та, которая дала нам во время оно Иисуса Христа и которая теперь мне, Вам и Баранцевичу мешает красть, оскорблять, лгать и проч. Я же во всю мою жизнь, если верить покою своей совести, ни словом, ни делом, ни помышлением, ни в рассказах, ни в водевилях не пожелал жены ближнего моего, ни раба его, ни вола его, ни всякого скота его, не крал, не лицемерил, не льстил сильным и не искал у них, не шантажировал и не жил на содержании" (письмо И. Л. Леонтьеву (Щеглову) от 22 марта 1890 года). И в этих словах тридцатилетнего Чехова сформулировано его жизненное и творческое кредо, которому он остался верен до конца своих земных дней.

МИХАИЛ ШАПОВАЛОВ

ПУШКИН И ПАН АДАМ

В парке усадьбы “Остафьево” у памятника Пушкину привычная глазу сценка: экскурсовод объясняет гостям музея “Русский Парнас” надписи на памятнике:

– Ниже барельефа, на котором изображён поэт, сидящий в овальном зале, выбито: “Он между нами жил...” Это начальная строчка из стихотворения Пушкина, посвящённого польскому поэту Адаму Мицкевичу. Но в данном случае, – комментирует экскурсовод, – она переадресована самому Пушкину...

Однако, если прочесть пушкинское стихотворение полностью, то подобное объяснение цитаты покажется “куцым” и не по существу. Цитировать следует если не целиком предложение, то хотя бы до первого грамматического знака. Сделаем так, и получим:

*Он между нами жил
Средь племени ему чужого...*

Вот оно!.. Русские поляку Мицкевичу были чужими. Он чувствовал себя обособленно в русской среде. Ведь если бы русские были ему близки, должно было б написать не “между”, а “он вместе с нами жил”, тогда и стихи стали бы другими. Но Пушкин написал то, что написал: развёрнутую характеристику польского поэта. И вот последние слова о нём:

*...Он
Ушёл на запад — и благословеньем
Его мы проводили.
Но теперь
Наш мирный гость нам стал врагом —
и ядом
Стихи свои, в угоду черни буйной,
Он напояет. — Издали до нас
Доходит голос злобного поэта,
Знакомый голос!..*

Недвусмысленное осуждение Пушкиным пана Адама обусловлено всей его сущностью и судьбой.

Ещё студентом Виленского университета Адам Мицкевич активно участвовал в деятельности подпольных националистических кружков. К двадцатипя-

тилетию он заявил о себе как поэт-романтик, зарабатывая на хлеб насущный уроками латинского языка в гимназиях. Заря жизни многое обещала ему. Но в октябре 1823 года Мицкевича с большой группой подпольщиков арестовали и поместили в тюрьму. Весной его выпустили на поруки, а через несколько месяцев по решению суда выслали из Литвы в Россию.

Мицкевич и два его товарища прибыли в Петербург 7 ноября 1824 года, когда город подсчитывал громадные убытки от страшного наводнения. На улицах ещё не успели убрать трупы лошадей, нижние этажи многих домов были затоплены, по каналам плыли стволы деревьев и мебель, а квартальные составляли списки погибших и пропавших без вести. В церквах молились представители всех сословий. Вид претерпевшей беду столицы Российской империи вызвал у ссыльных чувство скрытой радости. Склонные верить во всякие символы и приметы, они решили, что сама разрушительная стихия выступила на их стороне. «Прекрасные дни пережил я в Петербурге, потрясённый наводнением», — писал с удовлетворением Ф. Малевский.

В числе первых петербуржцев, с которыми свёл знакомство Адам Мицкевич, был масон, магистр ложи Белого орла Ю. Олешкевич и литератор Ф. Булгарин. Как единомышленника приняли его в свой круг и будущие декабристы: К. Рылеев, А. Бестужев и другие. Мицкевич посещал их сходки, слушал дискуссии и... молчал. Если сердце его и откликлось на пылкие речи о свободе, о свержении тирана, то личный опыт учил осторожности.

Ему разрешили по состоянию здоровья провести несколько месяцев на юге. Заговорщики использовали его как курьера для передачи секретных писем. С февраля по октябрь Мицкевич жил в Одессе, иногда выезжая в Крым, он посещал театры, балы, званные обеды, заводил любовные интрижки и писал «Крымские сонеты». Он уже знает имя Пушкина как автора крамольных стихов, которые читал ему Рылеев. Власти предписывают ему явиться в Москву. В пути он узнаёт о таинственной смерти Александра I в Таганроге.

Разгром декабрьского бунта на Сенатской площади и волна арестов были восприняты Мицкевичем как неизбежное.

С Пушкиным Мицкевич познакомился в октябре 1826 года в Москве. По его отзыву, Пушкин «в разговоре очень остроумен и увлекателен, он много и хорошо читал, знает новейшую литературу, его понятия о поэзии чисты и возвышенны. Написал теперь трагедию «Борис Годунов»... несколько сцен в историческом жанре, они хорошо задуманы, полны прекрасных деталей». Поэты стали встречаться и составляли интересную пару: небольшого роста, быстрый в движениях Пушкин, чьё лицо озаряла белозубая улыбка, и сдержанный, немногословный Мицкевич с выразительным взглядом из-под чёрных бровей.

Славу Мицкевичу в салонах Москвы и Петербурга принесли его импровизации. Услышав заданную тему, он начинал говорить ритмизованной французской прозой. Горящие глаза его словно бы вглядывались во мглу времён. Ни на минуту не прерываясь, он вписывал громоздкие романтические образы в ряд исторических фактов и географических подробностей, и голос его, казалось, принадлежал не ему, а кому-то другому, говорящему за него. Художник Г. Мясоедов изобразил сеанс импровизации на картине «Мицкевич в салоне княгини Зинаиде Волконской». На полотне в зале с античными колоннами и статуями пан Адам в обществе московских друзей начинает выступление, разводя вдохновенно руками. Гости, подогретые шампанским, были поражены. Ничего подобного им не приходилось ни видеть, ни слышать. Импровизатор привёл Пушкина в восторг. В присутствии Мицкевича Пушкин говорил и шутил меньше обычного, не забирая внимания на себя.

В России Мицкевич плодотворно работал над стихами. Вышли в свет «Сонеты» (1826), «Конрад Валленрод» (1828), двухтомник «Стихотворения» (1828). Поэтический дар Мицкевича давал всё основания считать его лучшим поэтом Польши. Князь П. Вяземский помог ему провести поэму «Конрад Валленрод» через цензуру и призвал русских поэтов в статье «Сонеты Мицкевича» переводить стихи польского собрата по перу. «Конрад Валленрод» привлёк внимание Пушкина. Сам автор, не вполне удовлетворённый своим сочинением, назвал поэму «политической брошюрой». Имя её героя перекликалось с именем Кондратия Рылеева, а повествование о поработанной Тевтонским орденом Литве казалось развёрнутым иносказанием о днях нынешних. Пушкин перевёл отрывок из поэмы («Сто лет минулось, как Тевтон...»).

В Москве пан Адам знакомится с Каролиной Яниш, девушкой “на выданье”. Талантливая, она легко усваивала языки, сочиняла стихи, рисовала. Мицкевич называл её Художница. Он давал ей уроки польского и влюбил девушку в себя. Каролина с трепетом ожидала объяснения и сватовства. Между тем, Мицкевич запрашивал приятеля своего Ц. Дашкевича: “...если бы она была действительно настолько богата, чтобы сама себя содержать как жена могла... я женился бы на ней, хотя кое-что в ней мне не по душе... Доведайся стороной (если это возможно), есть ли у неё состояние. Никаких обещаний от моего имени давать не следует...” Похоже, Карл Яниш, отец Каролины и профессор Медико-хирургической академии, не обеспечил дочери привлекательного для польского поэта приданого. Сватовство не состоялось. А Каролина позже вышла замуж за беллетриста Павлова и составила себе имя в русской литературе как поэтесса и переводчица.

Говоря о русских маршрутах “паломника” из Литвы, нужно упомянуть о посещении Мицкевичем усадьбы Петра Вяземского в подмосковном Остафьеве. Хозяин предоставил в распоряжение гостя великолепную библиотеку, основу которой заложили сочинения писателей эпохи Просвещения. Они могли беседовать о Вольтере или Байроне, о самоопределении Польши, и при этом хорошо понимали друг друга.

“Жизнь моя, — сообщил Мицкевич в письме Т. Зану, — течёт однообразно, и сказал бы, пожалуй, счастливо — настолько счастливо, что боюсь, как бы завистливая Немезида не уготовила мне какие-нибудь новые беды. Спокойствие, свобода мысли (по крайней мере, личная), порою приятные развлечения... утром читаю, иногда — редко — пишу, в два или три обедаю или одеваюсь, чтобы отправиться на обед; вечером езжу в концерт или ещё куда-нибудь и возвращаюсь чаще всего поздно”. Благодаря поручительству Ф. Булгарина перед Третьим отделением, Мицкевичу разрешили выезд из России. В мае 1829 года он простился с московскими и петербургскими друзьями.

Россия многое дала Адаму Мицкевичу, что бы он ни говорил и ни писал впоследствии. Кем он был до ссылки? Молодым поэтом из литовского захолустья и провинциальным учителем. Как отмечает автор биографии Мицкевича М. Яструн, “...он, собственно, и не знал отчизны. Уголок Литвы и Познани — и это всё. Он никогда не был в Варшаве, не видел Кракова”. Северная Пальмира потрясла Мицкевича. Проходя мимо Медного Всадника, он не мог не видеть в фигуре Петра, топчущего конём змею, грозный символ. Посещая салоны, общаясь с русскими литераторами, свободно читая иностранные издания, Мицкевич приобрёл светский лоск, расширил свои умственные горизонты. А романтическая природа Крыма обогатила его лирику. Такая ссылка выглядит сегодня как творческая командировка. Не забудем, что в России Мицкевич выпустил в свет книги на родном языке и в переписке с Лелевелем обмолвился: “... в литературе Польша на полвека отстала от России”.

Начались странствия Мицкевича по Европе, насыщенные встречами и размышлениями. В Берлине он слушал лекции Гегеля; в Веймаре беседовал с Гёте; в Риме он познакомился с Луи Бонапартом (будущим императором Франции) и с жаром импровизатора говорил о “негаснущей звезде” Наполеонов. Однако “завистливая Немезида” не дремала.

В ночь с 29 на 30 ноября 1830 года в Варшаве вспыхнуло антироссийское восстание. На транспарантах восставшие несли лозунги, взятые ими из стихов Мицкевича. Он понимал: его ждут в Польше, его место там — но почему-то медлил. Позднее он оправдывался: “Бог не позволил мне быть хоть каким-либо участником в столь великом и плодотворном для будущего деле”. Но должно признать: ссылка на Бога — всего лишь риторика. Вот факты. Только через полгода после начала военных действий Мицкевич под чужим именем приблизился к польской границе. И снова проявил нерешительность, по-видимому, не веря в успех восстания. Под ударами русских войск поляки отступали. К тому же поэта настиг очередной любовный недуг: у него завязался роман с К. Лубенской. Страстные ночи в Будзищеве перемешались с азартной осенней охотой и весёлыми пирами... 8 сентября 1831 года Варшава капитулировала.

Пушкин внимательно следил за развитием “польских событий”. Его особенно возмущало то, что во внутреннюю политику Российской империи (куда с 1815 года входило и Царство Польское) вмешиваются “витии” со стороны. Боясь усиливающейся роли России в Европе, левые депутаты во французском

парламенте (Лафайет и другие) требовали от своего правительства вооружённой поддержки полякам. Назревала европейская война. Пушкин полагал, что “теперешние обстоятельства чуть ли не так же важны, как в 1812 году”. Былой вольтерьянец и республиканец, Пушкин сильно изменился в своих воззрениях на мир за последние годы. Он достиг зрелости: видел связь времён и событий, мыслил, как человек государственный, как поэт русский. Прямым откликом на “спор славян между собою” явились стихи Пушкина “Клеветникам России” и “Бородинская годовщина”. Не унижая, не проклиная поляков, Пушкин обращается к тем, кто раздувает польский пожар:

*Но вы, мутители палат,
Легкоязычные витии,
Вы, черни бедственный набат,
Клеветники, враги России!*

.....
*Ваш бурный шум и хриплый крик
Смутили ль русского владыку?
Скажите, кто главой поник?
Кому венец: мечу иль крику?..*

“Бородинская годовщина”

Внутренняя энергия пушкинских стихов такова, что за вопросами уже читался ответ.

Камень лёг на сердце Мицкевича. Ему было стыдно смотреть в глаза участникам кампании. Он жадно слушал рассказы повстанцев и перекладывал их в стихи (“Редут Ордона”), чтобы быть вместе с ними хотя бы на словах. Но чувство вины не проходило. Когда на одном из собраний он встал и крикнул, что следовало бы всем погибнуть, но не сдавать Варшавы, то в ответ услышал ироническую реплику из уст генерала Малаховского, подписавшего капитуляцию: “Не для того ли, чтобы вы могли, рассевшись на руинах, воспеть погребённых?”

Летом 1834 года из-за границы вернулся С. Соболевский и подарил Пушкину том стихотворений Мицкевича. Для нас особый интерес представляют сочинения в цикле “Дзяды. Отрывок части III”.

Есть основания думать, что пан Адам читал “Клеветникам России” и “Бородинскую годовщину”. Об этом свидетельствует послание “Русским друзьям”. Вот важный кусок из него в подстрочном переводе: “Если до вас на север дойдут издалека эти жалобные песни вольных народов и прозвучат над страшною льдов, пусть возвестят они вам вольность, как журавли возвещают весну. Вы узнаете меня по голосу... Пока я был в оковах, я ползал тихо, как уж, — я хитрил с тираном, но вам открыл я то, что таилось в душе моей, и для вас всегда я хранил кротость голубя. Теперь я выливаю в мир кубок яда. Едка и жгуча горечь моей речи, горечь, высосанная из крови и слёз моей отчизны, пускай же она ест и жжёт не вас, но ваши оковы. А кто из вас посетует на меня, встречу его жалобу, как лай собаки, которая так привыкла к ошейнику и так терпеливо и долго его носила, что готова кусать руку, срывающую его”.

Это послание весьма красноречиво. Россия для Мицкевича отныне — “страна льдов”, где всё живое оледенело. Как будто не общался он, ссылный, с лучшими умами России! Как будто не испытал сердечное тепло русского гостеприимства! Мицкевич отныне игнорирует собственные признания, что жилось ему в России счастливо, что в России сопутствовали ему “спокойствие, свобода мысли... приятные развлечения...”. Пишет: “Я был в оковах”. Каких?... Он даже не ходил на службу — московский генерал-губернатор князь Д. Голицын смотрел на это сквозь пальцы. И наконец, о какой “кротости голубя” заявляет польский поэт, если он тут же готов назвать недавнего друга москаля цепной собакой?..

К сожалению, послание “К русским друзьям” — не единственный случай “сведения счётов”. В стихах “Петербург” пером памфлетиста описана прогулка царицы со свитой (автор утверждает, что лица их напоминают роспись карточной колоды). Представители любых классов и сословий вызывают у Мицкевича только неприятие. Некий высший чин — “как толстый жук”, “подобен пике длинной” гвардейский офицер, чиновник перед ними “пресмыкается,

точно скорпион”, дамы на берегах Невы – “мотыльки столицы”. Чахоточный простолюдin говорит с радостью соседу: “Царя видал, с пажамн болтал, и мой поклон заметил генерал”. Пан Адам, конечно, не соприкасается с нами, он – “между”.

Деспотизм, высокомерие и раболепство, по Мицкевичу, – главные составляющие русской жизни. Критического апофеоза достигает польский поэт в длинных виршах “Смотр войска”. В них более всех достаётся царю.

В это время Пушкин, верный дружбе, перевёл две баллады Мицкевича: “Воевода” и “Будрыс и его сыновья”. Ознакомившись с парижским изданием Мицкевича, Пушкин начинает литературную полемику с паном Адамом. Не соглашаясь с его “Петербургом”, во вступлении к “Медному всаднику” Пушкин даёт своё видение города:

*Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой её гранит,
Твоих оград узор чугунный...
(...)
Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия...
(...)*

Если польский поэт возводит хулу на имперскую столицу, то русский поэт её воспевае. Мицкевич использует в стихах приём политической сатиры, на что Пушкин в ответ даёт пример высокой поэзии.

Оба после тридцати задумывались о том, что будет значить имя его в грядущем. Мицкевич писал:

*Меня читает Минск и Новогрудок чтит,
Переписать меня вся молодёжь спешит.
(...)
И стражникам назло, сквозь царской кары гром —
В Литву везёт еврей моих творений том.
“Из Горация”*

Пушкину не надо было диссидентствовать, вверять стихи свои контрабандистам для передачи их читателям на родине. С полным правом он скажет:

*Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык...
“Я памятник себе воздвиг нерукотворный...”*

После смерти Пушкина в журнале “Ле Глоб” Мицкевич опубликовал некролог о нём, где, в частности, писал: “Когда говорил он о политике внешней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах и пропитанного ежедневным чтением парламентарных прений”. Мицкевич, как видим, признавал прозорливость и профессионализм Пушкина-политика. Присутствуют в некрологе и другие точные наблюдения: “Он ныне более любил вслушиваться в рассказы народных былин и песней и углубляться в изучение отечественной истории... он окончательно покидал чуждые области и пускал корни в родную почву... Он любил обращать рассуждения на высокие вопросы – религиозные и общественные... Очевидно поддавался он внутреннему преобразованию”.

Мицкевич жил теперь в Париже (наезжая временами и в другие места). Вышла в свет его большая поэма “Пан Тадеуш” (1834), после чего ему не удалось создать в поэзии ничего ей равного. В среде польской эмиграции держался он обособленно, писал преимущественно памфлеты и статьи, читал лекции. Его попытка выступить в качестве драматурга на французской сцене провалилась. В душе Мицкевича накапливались мистические сумерки, и настроение колебалось от отчаяния до безудержного гнева. Его прежняя роман-

тизация потустороннего (“Дзяды”) трансформировалась в новое “пророчество”. В Колеж де Франс, где он читал курс славянских литератур, Мицкевич вдруг заговорил о мессианской роли Израиля, который объединит три народа: еврейский, французский и польский. Канонический католицизм его больше не устраивал. Вместе с опасным шарлатаном А. Товянским он организовал секту “Коло”. Власти вынуждены были применить меры: Мицкевича лишили кафедры, а Товянского выслали из Франции.

Мицкевич не переставал искать случая искупить своё неучастие в мятеже 1831 года. Когда Италия поднялась против австрийского владычества, он сформировал Польский легион для поддержки итальянцев. Он встречается с Папой Пием IX с целью вовлечь его в большую политику. Мицкевич требовал, чтобы глава католической церкви объявил “крестовый поход” против монархов-тиранов. Папа полякам сочувствовал, однако заявить миру официально о симпатиях Ватикана в итальянской кампании не решился. На громкую эмоциональную речь пана Адама он несколько раз примирительно повторил: “Пиано! Пиано!” Когда же неуёмный посетитель пригрозил Папе, что в случае отказа “кровь польских юношей обагрит Ваши руки”, римский первосвященник позвонил колокольчиком, вызывая стражу, и кинул Мицкевичу в лицо: “Изыди!..”

Поляки приняли участие в кампании 1848 года, но легион славы не стяжал. Немногочисленные плохо обученные легионеры не могли противостоять регулярной австрийской армии. Одни дезертировали ещё до начала боевых действий, другие бежали с поля боя, бросая оружие и знамёна.

После неудачи с легионом Мицкевич вернулся к активной политической деятельности в Париже. Создаётся журнал “Народная трибуна”. На открытии его побывал А. Герцен, в “Былом и думах” есть интересные записи о Мицкевиче... “...В нём оставалось что-то неприязненное к России”, — отмечал Герцен. И далее: “Мицкевич свёл свою речь на то, что демократия теперь собирается в новый открытый стан, во главе которого Франция, что она снова ринется на освобождение всех притеснённых народов, под теми же орлами, под теми же знамёнами, при виде которых бледнели все цари и власти, и что их снова поведёт вперёд один из членов той венчанной народами династии, которая как бы самим провидением назначена вести революцию стройным путём авторитета и побед”. Экзальтированный трибун, призывающий Францию (где на троне был Наполеон III) повторить походы Наполеона I, Мицкевич попадал под пушкинское предупреждение:

*Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.*

“Клеветникам России”

Пути и перепутья Мицкевича вели его к финалу, о котором молчало советское литературоведение. Можно без преувеличения сказать: главным духовным стержнем эмигрантского существования пана Адама была жажда мщения.

Шла Крымская война. В союзе с Турцией против России выступили Великобритания, Франция и Сардинское королевство. Осенью 1855 года Мицкевич прибыл в Стамбул для формирования Польского легиона. Войска располагались в Бургасе. Над палатками развевалось знамя, на котором с польским католическим крестом кощунственно соседствовал турецкий полумесяц. Разве не знал Мицкевич, сколько бед принесли турки Польше? Знал, конечно, но готов был заключить союз с кем угодно, лишь бы против России.

Однажды во время просмотра отрядов Мицкевич увидел всадников с характерными лицами. И тогда он решил создать Еврейский легион, потому что бездомные евреи так же ненавидят Россию, как рассеянные по Европе поляки. Одержимому поэту грезился возрождённый и вооружённый Израиль в унии с Речью Посполитой. Недаром близко знавший его З. Красинский сказал как-то о Мицкевиче: “Я уверовал в дьявола, глядя на этого человека, на его ненависть, на его радость, как только где-нибудь льётся кровь...” Ученик Мицкевича Леви повёл переговоры с еврейскими старостами в Стамбуле о наборе волонтеров.

Но судьбе угодно было, чтобы Мицкевич не пролил русской крови. В конце ноября он скорострительно скончался от холеры.

Теперь вернёмся к тому, с чего начинали, – в литературный музей “Русский Парнас”. Неудачное цитирование на памятнике Пушкину, уводящее нас в сторону от прямого смысла пушкинского стихотворения, едва не привело к следующей непоправимой ошибке. В конце прошлого века среди сотрудников музея проводили опрос: кто за то, чтобы в парке установили памятник Адаму Мицкевичу? К счастью, здравый смысл восторжествовал. Иначе мы крупно подыграли бы польским русофобам. Ещё бы! На русские деньги, в русской литературной усадьбе мог возникнуть памятник польскому поэту – врагу России. Это при том, что Пушкин написал стихи “Он между нами жил средь племени ему чужого...” И тут же в парке стоит памятник Карамзину. Историк советовал Александру I в своей работе “Мнение русского гражданина”: “...для Вас Польша есть законное владение... Нет, Государь, никогда поляки не будут нам ни искренними братьями, ни верными союзниками”.

Порой ещё можно встретить мнение: мол, Мицкевич решился на войны не с русским народом, а с русским царизмом. Представим на минуту... Еврейский легион высаживается в Крыму и вместе с турками принимает участие в боях. Кто их враги? Русские солдаты и офицеры, сыны народа. Их и стали бы убивать. При чём тут абстрактный царизм? Это всего лишь политическая уловка.

Сегодня есть возможность обращаться к подлинным текстам, к фактам истории. Нет цензуры. Подлежат коррективам оценки многих писателей. Не будем поступаться правдой.

.....
В “Нашем современнике” №5 за 2014 год допущены ошибки:

- на стр. 143 строку 4 сверху следует читать:

Вячеслав Иванович Марченко (1930–1996) – писатель-маринист.

- на стр. 144 строку 20 сверху следует читать:

Фролов Леонид Анатольевич (1937–2010) – прозаик, главный редактор (1980–1984)

ЛЕОНИД СЕЛЕЗНЁВ

ПОЭТ НИКОЛАЙ ДОЗОРОВ И “ОПЫТ МАЯКОВСКОГО”

(Об агитационно-пропагандистских стихах Арсения Несмелова 1930-х годов. К 125-летию поэта)*

В конце 2006 года во Владивостоке тиражом 3000 экземпляров было издано “Собрание сочинений” в 2-х томах большого русского поэта, жившего в эмиграции в Китае, – Арсения Ивановича Митропольского (1889–1945), писавшего под псевдонимом Арсений Несмелов. Надо отдать должное составителю этого двухтомника Евгению Витковскому, более двадцати лет по крупицам собиравшему литературное наследие лучшего поэта восточной ветви русской послеоктябрьской эмиграции.

И всё-таки выход в свет этого солидного двухтомника – объёмом почти в 1300 страниц! – с достаточно подробными комментариями оставил чувство неудовлетворённости из-за отсутствия в нём довольно большого пласта литературной критики Арсения Несмелова, а также части поэтического наследия автора, связанного с его членством во Всероссийской фашистской партии (ВФП) в Харбине. В томе 1-м – “Стихотворения и поэмы” – нет книги стихов “Только такие!” (Шанхай, 1936) и отдельных стихотворений, печатавшихся под псевдонимом “Николай Дозоров” в газете ВФП “Наш путь” (1933–1938) и журнале ВФП “Нация” (1936–1938).

В заметке “Обоснование текста” (т. 1, с. 506) Е. Витковский назвал книгу стихов “Только такие!” “неудобочитаемым сборником, написанным для прикладных нужд Всероссийской фашистской партии”. Хотя при этом отметил, что книга эта вошла в изданный в США солидный однотомник стихотворений и поэм А. Несмелова “Без России” (Орэндж, “Антиквариат”, 1990; составитель Э. Штейн). Этот американский однотомник А. Несмелова (с книгой стихов “Только такие!”) можно взять во всех крупнейших библиотеках Москвы и Петербурга (РГБ, РНБ, МГУ и т. д.)

Вот так оказывается: в “оплоте мировой демократии” эту книгу Арсения Несмелова издать можно, а на родине поэта, в России, даже малым тиражом, с соответствующими комментариями, – нельзя. Мотивация Е. Витковского такова: мол, книга эта сугубо пропагандистская, выходящая за рамки поэзии как искусства. Но тогда – по этой логике – в собрания сочинений некоторых поэтов, например, В. Маяковского не следует включать добрую половину написанного им в стихах. (То же можно отнести к значительной части стихов Р. Киплинга, Б. Брехта, И. Бехера, В. Броневского, В. Незвала, П. Неруды, Н. Асеева, С. Кирсанова и других **политически ангажированных**

* В основе данной статьи – доклад автора на международной научной конференции “Проблемы текстологии и творческой биографии В. В. Маяковского” в ИМЛИ РАН 18 июня 2008 года.

писателей.) Сегодня, впрочем, по отношению к таким поэтам изъятие “неудобочитаемых” произведений при переиздании их книг уже происходит: идёт процесс “очищения” советских классиков и приспосабливание их к буржуазному книжному рынку. Вот недавний пример. В 2006 году в издании “Новой библиотеки поэта” (СПб, Академический проект) вышел объёмный том советского поэта Семёна Кирсанова. Известно, **за какие** стихи и поэмы Кирсанов получил две Сталинские премии и ордена при жизни Сталина. Но ничего из этих пропагандистских, “сталинистских” произведений в томе, призванном представить **все** грани творчества поэта (именно таково назначение серии “Библиотека поэта”), разумеется, нет: ни поэм “Пятилетка”, “Макар Мазай”; ни даже героической, вполне “удобочитаемой” и сегодня поэмы “Александр Матросов”. Зато есть художественно слабая, но “антисталинистская”, “антикультурная” поэма “Семь дней недели”, а сам её автор объявлен во вступительной статье М. Л. Гаспарова “последним советским формалистом” (и полный “молчок” о примерном советском **сталинисте** Кирсанове 1930–1940-х годов!).

Такую же процедуру “очищения” от некоторых нежелательных сегодня сторон советского наследия производят наследники поэта Ильи Сельвинского. Например, в однотомнике Сельвинского издательства “Время” (М., 2004), объёмом 750 страниц, **из очень сильного** “антикультурного” цикла стихотворений (который в полном составе впервые был опубликован только в конце 1980-х годов) “вычищены” все стихотворения, где в позитивном плане упоминается слово “социализм”. Цикл “Pro domo sua” оказался разрушен.

И здесь мы подходим к принципиальному вопросу текстологии. Если на титульном листе книги (как в случае с владивостокским изданием Арсения Несмелова) значится: “Собрание сочинений”, то читатель вправе ожидать, что он получит максимально полный корпус текстов данного писателя. В отношении **книг** стихов А. Несмелова такая полнота собрания возможна: этих книг немного, и все они известны. Мы не будем иметь полную и объективную историю литературы, если при издании **посмертного, итогового** собрания сочинений того или иного автора будем руководствоваться очередной сиюминутной “генеральной линией” власти — будь то “борьба с космополитизмом” в конце 1940-х годов или “борьба с русским национализмом” сегодня. Да, поэт Арсений Несмелов с 1931 года состоял во Всероссийской фашистской партии в Харбине и, как член этой партии, писал соответствующие радикально антисоветские и националистические стихи. И задача составителя и комментатора посмертного **собрания его сочинений** — представить и прокомментировать и эту, может, и не лучшую часть его поэтического наследия, однако важную для полноты истории русской литературы, а не закрывать стыдливо глаза.

Столь длинное вступление в основную тему данной статьи понадобилось для того, чтобы обратить внимание читателей на то, что политически ангажированная, “партийная” поэзия живёт по своим законам, имеет вполне определённый “социальный заказ” своего времени, существует и сегодня — в общесте всемирной глобализации и нивелировки многих жизненных ценностей.

Несмотря на диаметрально противоположные политические убеждения и идеалы, Арсений Несмелов ценил Владимира Маяковского как поэта и в 1920-е, и в 1930-е годы, уже будучи членом ВФП. Напомню, что и итальянские поэты-футуристы, в 1920-е годы став сторонниками фашистского режима Б. Муссолини, эстетически, в плане художественной выразительности, отдавали должное Маяковскому как поэту*. В своём первом сборнике “Стихи” (Владивосток, 1921, — в книжном собрании Государственного музея В. В. Маяковского есть эта книга Несмелова, с его дарственной надписью Николаю Асееву от 1921 года) Арсений Несмелов поместил стихотворение “Оборотень” с посвящением “Гению Маяковского”. Оно заканчивается так:

*И наклоня шею бычьё —
Неузвляемый базальт! —
Он поднимает вилой клычьей
Препон проржавленную сталь.*

* См. мою публикацию: Селезнёв Л. А. Маяковский и итальянские футуристы: Неизвестное интервью поэта // Творчество В. В. Маяковского в начале XXI века: Новые задачи и пути исследования. М., ИМЛИ РАН, 2008. С. 584–600.

Очень смелый, так свойственный Маяковскому на эстраде образ! Напор, темперамент, напор! Так поэтически эмоционально воспринимал Арсений Несмелов образ Маяковского-поэта.

Почти неизвестны читателям России литературно-критические статьи Несмелова, разбросанные по владивостокским и харбинским газетам. А между тем, в них есть некоторые прозрения, которые сбылись потом. В 1920–1921 годах Несмелов редактировал газету на русском языке, которую издавала оккупационная японская военная администрация Владивостока, — “Владиво-Ниппо”. В ней он публиковал свои литературно-критические статьи или за подписью “А. М.” [Арсений Митропольский], или вообще без подписи. В его статьях 1920 года есть верные и точные характеристики Маяковского как поэта. В статье “Параллели в развитии русского и японского искусства” (“Владиво-Ниппо” от 11 сентября 1920 г.) он писал: “Такие величины, как Маяковский и Хлебников, — футуристы-славянофилы <...>. Западничество футуристов настолько незначительно, что, по сравнению с общенациональным духом **нового** искусства, не может быть принято во внимание”. Напомним, что именно в западничестве и космополитизме обвиняла русских футуристов российская пресса 1910-х годов, совершенно не вдаваясь в исследование народно-архаических истоков их творчества.

Несмелов был одним из немногих критиков, кто обратил внимание на русские **национальные** источники произведений футуристов. В этой же статье он называет Маяковского одним из “нового племени людей, припавших к чистым источникам народного Слова и Духа”. И здесь же, куда раньше Ю. Н. Тынянова (статья “Промежуток”, была опубликована лишь в 1924 году), он указал на одическую традицию классицизма Г. Р. Державина, которая, минуя пушкинскую традицию, прямо “аукнулась” в стихах Маяковского ещё до революции 1917 года. Но кто в Москве 1920 года мог читать газетку “Владиво-Ниппо”?.. Разве только в ЧК-ОГПУ...

В другой своей статье “Искалеченное искусство” (“Владиво-Ниппо” от 25 сентября 1920 года) Арсений Несмелов также дал высокую оценку поэзии Маяковского: “Маяковский нанёс смертельный удар старой форме стихотворчества, подчеркнул опóшлившиеся ритмы, измызганные образы, осмелял их и выбросил из дворца искусства <...>. Ведь для творящего революцию пролетариата этот поэт совершенно чужд. Он близок к тем, кто прошёл через Брюсова и Блока, кто смеялся вместе с Сашей Чёрным <...> Для советской аристократии, для тех, кто правит, — Маяковский чужд и дик. Им ещё надо Надсона, Якубовича и всех этих Иван Ивановичей Вяткиных, которые с шиком рифмуют “товарищ” с “пожарищем” и “свободу” с “народом”. — Дайте нам Демьяна Бедного! — Они правы. — Они открыто делают гнусную работу по обесцениванию искусства”.

На смерть Маяковского Арсений Несмелов откликнулся небольшим, но сочувственным очерком “Оборотень” (журнал “Понедельник”, Шанхай, 1930, № 1 — вышел в сентябре): “Меня смерть В. Маяковского ударила по сердцу больше, чем смерть С. Есенина <...> Это страшнее...”

Надо сказать, что в периодике русских радикал-националистов (и в Европе, и в Маньчжурии, Харбине) никогда всерьёз не воспринимали версию о якобы личных причинах гибели Маяковского. В этих кругах всегда считали и смерть Есенина, и смерть Маяковского **политическим доведением до самоубийства**, то есть фактически **политическим убийством**. Об этом ещё раз напомнила статья Юрия Баталова “Горькая доля советских литераторов” в газете Всероссийской фашистской партии “Наш путь” (Харбин) от 7 июня 1936 года, когда и до Харбина дошла информация о пленуме Союза писателей СССР по борьбе с формализмом (февраль 1936). Знаменем этой “борьбы с формализмом” была объявлена поэзия Владимира Маяковского, с известной формулировкой Сталина.

К 1936 году Арсений Несмелов был уже активным членом Всероссийской фашистской партии, её партийным политическим поэтом*. Он вступил в ВФП Константина Владимировича Родзаевского в числе первых, в 1931 году. Партия русских радикал-националистов, по моде того времени названная фашистской, имела мало общего и с итальянским “почвенным” фашизмом Муссолини, и уже тем более с германским нацизмом Гитлера, носившим антихристианский характер, с выраженным языческим и сатанинским культом. Русские фашисты в сво-

* Подробно об этой партии см. монографию: О короков А. В. Фашизм и русская эмиграция (1920–1945). М., 2002. 596 с.

ём большинству были православными монархистами, преклонялись перед личностью Николая II и видели будущее России в возрождении традиционного русского самодержавия, идеалов Святой Руси, под лозунгом “Бог. Нация. Труд”. Первоначально, дабы не осложнять отношений с владельцами многочисленных периодических изданий, в которых он сотрудничал, Арсений Несмелов не афишировал своей принадлежности к ВФП, выступая в партийной печати (газеты “Наш путь”, “Русский авангард”, журнал “Нация”) под псевдонимами “Николай Дозоров”, “Н. Д.”, “Н. Н. Дацар-Дацаровский”. Однако с 1937 года Несмелов перестал скрывать своё членство в ВФП, и в национальной прессе уже стали появляться статьи за его обычными подписями “А. Несмелов” и “А. Н-лов”. Но вот **стихи** в этих изданиях поэт по-прежнему подписывал псевдонимом “Николай Дозоров”, который стал, по существу, образом-маской, маской политического поэта (в то время как поэт Арсений Несмелов – явление более сложное, разностороннее, чем сугубо политический поэт “Николай Дозоров”). Если сравнивать с Маяковским, то Маяковский не разделял своё поэтическое “я” на лирика, эпика и чисто политического, “партийного” поэта-трибуна. В Маяковском советского времени всё это было **органически** сплавлено **воедино**. Арсений Митропольский же сознательно **выделил** из своего поэтического самосознания образ политического, партийного поэта “Николая Дозорова”. Насколько органичен был этот поэт-маска для творчества Арсения Несмелова (если иметь в виду его поэзию в целом: лирика, поэмы, сатирические стихи)? На наш взгляд, разница между “Арсением Несмеловым” и “Николаем Дозоровым” просто разительна, слишком бросается в глаза, и не в пользу “Николая Дозорова”.

Патриотические стихотворения Несмелова постоянно декламировались на официальных мероприятиях и праздничных концертах, проводимых организациями ВФП не только в Маньчжурии и Китае, но и в США, Швейцарии, Югославии и других странах. Напомним здесь, что ВФП насчитывала свыше 18000 своих членов в 12 странах мира, 6000 из них жили в Маньчжурии (Харбин) и Китае (Шанхай). Стихи Несмелова часто цитировались в партийных изданиях (в том числе и главой ВФП К. В. Родзаевским, являвшимся горячим поклонником поэта), а поэма “Георгий Семенá” и стихотворение “Советский часовой” были инсценированы в театрах Харбина. В фашистском театральном центре шла также антисоветская сатирическая пьеса Николая Дозорова “Привидение в партклубе”^{*}.

Самое интересное для нас – сопоставить, как самосознают, самоопределяют себя как личность по отношению к партии, к массовому целому беспартийный коммунист по убеждению поэт Владимир Маяковский и член фашистской партии поэт Николай Дозоров. Фашизм и коммунизм – генетически совершенно разные идеологии. Ставить их рядом, как это делают нынешние либерально-буржуазные публицисты, – недобросовестно и антинаучно. Но провести некоторые параллели в понимании соотношения “я и партия”, “личное” и “партийное” у коммунистов и у фашистов вполне правомочно. И у тех, и у других – как у партий тоталитарных, – естественно, личное “я” подчинено общему “мы”. Ещё Адольф Гитлер в “Mein Kampf” писал: “Ты ничто, твой народ – всё”. Или: “Ein Reich, ein Volk, ein Führer” – “Одна страна, один народ, один вождь”. Или ещё: “И если я когда-нибудь умру, моя душа останется в партии”. Аналогичные утверждения высказывал и вождь русских фашистов К. Родзаевский.

А вот Маяковский, поэма “Владимир Ильич Ленин”: “Российской коммунистической партии посвящаю”. – “Я счастлив, что я этой силы частица, что общие даже слёзы из глаз. Сильнее и чище нельзя причаститься к великому чувству по имени – класс!” – “Мозг класса, сила класса – вот что такое партия”. Мощные образы, чеканный стих! Арсений Несмелов не способен дать образы такого масштаба и такого экспрессивного накала в своих “партийных” стихах. Не трибун он, а лирик. Его образность в книге “Только такие!” вполне традиционна, происходит от гражданской лирики Некрасова и поэтов-народников 1870–1880-х годов. Возьмём, например, стихотворение “Новая программа” (имеется в виду новая программа партии русских фашистов, утверждённая III съездом ВФП в июне 1935 года). Эпиграф – из речи К. Родзаевского на съезде. А вот собственно стихи:

^{*} Об А. Несмелове как политическом деятеле ВФП см.: Наумов С. Несмелов Арсений Иванович // Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русская литература. – М., Институт русской цивилизации, 2004. С. 687–689.

*Скромен вид, соратник,
У брошюры-крошки,
Но не слышал сердцем
Голосов родней, —*

*Строгое тиснение
На её обложке
И живой России
Речь за ней.*

*Нация вдохнула,
Нация вложила
Вещье дыханье
В нашу грудь.
<...>
Нет, не коммунисты,
А фашисты —
Партия рабочих
И крестьян.*

А в стихотворении “Первомайская симфония” — кое-что и о “классе”, вос-
петом Маяковским:

*Класс, воспеваемый в песнях чудесных,
Что ж он в бесправье таком?..
Чтобы от имени сих бессловесных
Правил страной совнарком!*

Не правда ли: напоминает стихи Якубовича или кого-то ещё из поэтов-на-
родников 1880-х годов?.. Подчеркнём здесь, что книга “Только такие!” отпе-
чатана по старой дореволюционной орфографии. И это принципиально.

Русские фашисты называли себя авангардом русской нации. Авангард
здесь понятие исключительно политическое: те, кто “ведут” нацию, идут все-
гда впереди. Как российские коммунисты, пришедшие к власти в СССР, не-
доверчиво относились к собственному авангардному искусству (что Маяковский
испытал на себе и на своей творческой группе ЛеФ), так и русские фашисты
в искусстве были ориентированы на вполне традиционную эстетику, отнюдь
не авангардную, на реалистическую художественную образность, что вполне
логично соответствовало их православной, традиционалистской идеологии,
нравственным идеалом которой была знаменитая русская триада XIX века:
“Православие. Самодержавие. Народность”. А у коммунистов в СССР исход-
ный эстетический идеал нужно искать в творчестве русских писателей-демо-
кратов середины XIX века и художников-передвижников того же времени.
Краткий политический альянс власти коммунистов и художников-авангардис-
тов в СССР закончился очень быстро (1918–1921).

Как видим, общей у советских коммунистов и русских фашистов в Харби-
не в отношении к искусству была ориентация на реалистическую эстетику.
А вот что решительно было разным в “партийном” искусстве тех и других, —
так это трактовка проблемы “личность и народная масса”, “масса” и “герой-
одиночка”. И эта “разность” очень хорошо просматривается в политических
стихах Маяковского и Несмелова. У Маяковского: “Единица — вздор, едини-
ца — ноль”. У Несмелова, при всём подчинении “единицы” общей партийной
воле, она отнюдь не “ноль”. Поскольку деятельность малочисленной в об-
щем-то партии русских фашистов предполагала **героическое поведение**
“единицы” (особенно в случае заброски в стан врага, то есть в СССР,
для выполнения особых заданий — по вербовке новых членов ВФП, для про-
ведения диверсий на советском производстве, в армейском тылу и т. д.),
то **индивидуальная воля** “соратника” воспевалась, прежде всего, в поэзии
Арсения Несмелова. “Единица” у Несмелова — часто **герой**, как Георгий Се-
менá (см. одноименную поэму), схваченный органами НКВД и никого не вы-
давший, герой, оставивший после себя **не раскрытую** подпольную фашист-
скую ячейку в советском городе, — вот оно, **героическое деяние!** Такие же
чувства преобладают в стихотворении “Над могилой соратника”: юноша-фа-
шист погиб, но дело его живёт!

Внешне сходно отношение к молодому поколению в произведениях Маяковского и Несмелова: жертвенность, готовность к подвигу во имя осуществления идеалов той общности, к которой принадлежат молодые люди (соответственно: советские комсомольцы и юные русские фашисты). У Маяковского: СССР — “страна-подросток”, формирующаяся на расчищенном от “старья” месте. У Несмелова — будущее его Родины также связывается с новым поколением “молодой России”, но наследующей лучшие традиции православной монархической России.

Такая преемственность декларируется в стихотворении “Юным фашистам”:

*Вот сцена, эстрада,
Два милые флага,
И в кофточках белых
Тут девичий строй...*

*Фашистская клятва,
Святая присяга —
Вливаются девушки
В наши ряды...*

<...>

*Вы наша весна,
Молодые фашистки,
Вы юная верба,
Зарница весны...*

*К победе сияющей,
Радостной, близкой
Вы призваны ныне
Приказом страны!*

Кто видел фотографии юных членов ВФП, тот не забудет эти удивительно чистые, одухотворенные лица, в которых нет искусственно форсируемого энтузиазма и нет страха.

Но скажем откровенно: собственно в литературном отношении “Только такие!” — не лучшая книга стихов Арсения Несмелова. И не потому, что это книга агитационно-пропагандистских стихов. А потому, что по характеру своего поэтического таланта Несмелов, прежде всего, **лирик**, а отнюдь не поэт-трибун, лирик, как любимый им в молодости Маяковский. У него нет словесно-экспрессивной изобретательности, изысканной метафоричности и ритмического многообразия, как даже в самых откровенно пропагандистских произведениях Маяковского. Можно даже сказать, что Арсений Несмелов взялся не за своё дело, когда стал писать пропагандистские, “партийные” стихи. **В этом отношении** у партии русских фашистов был куда более мощный поэт — Марианна Колосова, автор текста официального гимна Всероссийской фашистской партии.

По большей части стихотворения книги “Только такие!” выглядят слишком декларативными, полными газетно-пропагандистских штампов тех лет, что порою даже производит невольный **комический** эффект, совершенно недопустимый в произведениях такого рода. Это относится, прежде всего, к стихам, открыто и прямо восхваляющим партию (то есть ВФП), партийный съезд и лично “вождя” Родзаевского: настолько они **зеркально** (просто поменяв “плюс” на “минус”) напоминают приёмы **советских** пропагандистских опусов в стихах тех же лет (только вместо ВФП и Родзаевского в них в том же духе воспеваются ВКП(б) и товарищ Сталин). Партийная пропаганда в стихах — дело чрезвычайно тонкое. То содержание, что органично “смотрится” в качестве публицистической газетной или журнальной статьи, в виде стихотворения зачастую просто режет слух. Такое несовпадение содержания и формы, на наш взгляд, — примерно в половине текстов, составляющих книгу “Только такие!” Почти пародийно звучит вот такой пассаж:

*Со всех сторон, со всех окраин света,
Из знойных стран, из полуночной мглы
Для третьего партийного совета
Слетаются фашистские орлы.
 (“III съезд”)*

Или вот это:

*Пост не лёгок у кормила —
Только в сердце маяки...
Правь же, кормчий, с прежней силой,
С той же твёрдостью руки!*

.....
*И тому, кто у штурвала
В бой ведёт фашистский флот,
Чтоб победа воссияла
В этот, веры полный, год!*
(“Главе партии” 1935)

Так и встаёт перед глазами известнейший советский плакат Б. Ефимова (1933 года), на котором усатый, в кепке, довольно жирный Сталин держит в руках штурвал корабля с надписью “СССР”, а в правом нижнем углу — текст: “Капитан страны Советов ведёт нас от победы к победе”... А ведь в стихах “Николая Дозорова” имеется в виду другой “кормчий” — харбинский “фюрер” Родзаевский.

Что же создаёт невольный комический эффект в этих, по замыслу пропагандистских, стихах? А создаёт его “высокая” лексика, употребленная здесь в виде избитых клише, навязших в зубах газетных штампов.

Можно сказать, что на поприще пропагандистской поэзии Арсений Несмелов потерпел неудачу — **именно как поэт**. Хотя мы решительно не согласны с Е. Витковским, который в преамбуле к комментариям в томе 1 владивостокского издания 2006 года намекает на то, что, мол, стихи этой книги написаны Несмеловым по партийному заданию — и только. Как раз искренняя **боль** за Россию в них, пожалуй, куда сильнее и **органичнее**, чем прямой агитационный призыв. В тех стихах, где на первое место выходит Несмелов-лирик, а не Дозоров-пропагандист, тема утраченной Родины и расколотаго по классовому принципу русского народа звучит высоко и даже трагично:

*Мне Россия сегодня не снится —
Наяву я её узнаю:
Я стою у заветной границы,
У российской границы стою!*

*Манит родина тайной бездонной,
Русским ветром бросает в меня...
За рекой, у строенья кордона,
Пограничник седлает коня.*

<...>
*Вот он кинул винтовку за плечи,
Подтянул на груди патронташ,
И уже он на сопке, далече, —
Русский парень, и наш, и не наш!*

(“Письмо с границы”, 1)

В итоге следует ответить на вполне прагматический вопрос: выполнила ли эта книга агитационно-пропагандистских стихов свою **агитационную** роль? Ответ будет неоднозначным. И вот почему.

Книга “Только такие!” имеет два ярко выраженных тематических слоя: это стихи, обращённые к **соратникам по ВФП** (примерно 3/4 объёма книги), и стихи, обращённые к **русским рабочим в СССР** (примерно 1/4). И здесь нам придётся затронуть **социологический аспект** бытования литературного произведения. В своей агитационной части, обращённой “к русскому рабочему” в СССР, книга “Только такие!” напоминает агитационные стихи русских революционеров-народников 1870–1880-х годов. Те хотели насильно “освободить мужика” от самодержавного государственного строя. Арсений Несмелов агитирует советских рабочих восстать и освободиться от советского строя. Весь вопрос в том, хотели ли **сами** эти рабочие такого “освобождения”? Ведь при советской власти они получили очевидные социальные права, которых не имели при капитализме! Это и бесплатное медицинское обслуживание, и бес-

платное всеобщее образование, и дешёвая оплата жилья и т. п., в сравнении с которыми **социальная личная несвобода** при советской модели социализма воспринималась ими как неизбежная, **но всё-таки терпимая плата** за эти социальные блага.

Вот этого никак не могли понять многие политические деятели и люди искусства послеоктябрьской эмиграции, и поэт Арсений Несмелов в их числе, которые предпочли **личную свободу**, даже при социальной и материальной своей неустроенности в чужой стране.

Рабочий класс в СССР к середине 1930-х годов состоял в большинстве своём из недавно “пролетаризированных” молодых крестьян, сильно пострадавших в материальном отношении за годы гражданской войны, всяческих реквизиций и насильственной коллективизации; утративших многие традиционные для крестьян нравственные и религиозные черты. Для таких людей понятия “нации” и “Бога” (к чему постоянно апеллирует Арсений Несмелов) первостепенного значения уже не имели. Если бы каким-то путём книга “Только такие!” в 1936 году вдруг проникла в СССР, скорее всего, её высокий национальный и нравственно-христианский пафос не был бы воспринят “простыми советскими людьми”: слишком необратимо уже было деформировано их мировоззрение вследствие систематической, воинствующей “интернационалистской” и антихристианской пропаганды.

Трагизм положения харбинских и шанхайских радикалов состоял в том, что, несмотря на внешний прагматизм и вроде бы расчётливость их программы, они были всё-таки **слишком идеалистами**. По сути дела, они обращались из России былой, увы, уже утраченной, к России новой, советской, где люди жили уже в соответствии с совершенно другой иерархией жизненных ценностей и ориентиров (пусть и насильно внедрённых). Вот, например, в резолюции III съезда ВФП в июле 1935 года было записано: “Свергнуть советскую власть в СССР к 1 мая 1938 года”.

На что же они всерьёз рассчитывали? На то, что военачальники из высшего советского генералитета способны совершить военный переворот и покончить со сталинским режимом?.. На личный счёт Тухачевского к Сталину (памятуя о позорной польской “кампании” 1920 года)?.. Увы, всё это были беспочвенные иллюзии. Высшие советские военные фрондёры, в лучшем случае, были способны только на словесное едкое ёрничество в адрес Сталина на своих дружеских домашних посиделках... В крайнем случае – на индивидуальный террор.

Всероссийская фашистская партия, к моменту выхода книги Несмелова (в начале 1936 года) насчитывавшая в своих рядах по всей Маньчжурии около 6000 человек, выпускала (с помощью японских финансовых вливаний) огромное количество печатной продукции. Если верить журналу “Нация” (1937, № 2. С. 49), в 1936 году было выпущено 26 600 000 экземпляров различных листовок, брошюр, периодических изданий и книг. Часть из них как раз предназначалась для переправки на территорию СССР. Но все известные нам случаи засылки агентов и диверсантов через дальневосточную границу в СССР в 1930-е годы заканчивались провалами и арестами членов ВФП органами НКВД. Кстати, укажем здесь на то, что в комментарии к единственному допущенному во владивостокское издание 2006 года “фашистскому” произведению А. Несмелова – поэме “Георгий Семенá” – Е. Витковский даже не удосужился объяснить, **кем же** в реальной жизни был герой поэмы А. Несмелова. А был Г. В. Семена **начальником** Синьцзянского отдела партии, **председателем** Центральной контрольной комиссии ВФП. В 1935 году он перешёл границу СССР, добрался до города Ворошилов-Уссурийска, где проживали его родные, с задачей создать в городе фашистскую ячейку и распространить взятую с собой пропагандистскую литературу. На обратном пути в Маньчжурию Г. В. Семена был захвачен сотрудниками НКВД, судим в Хабаровске и в том же 1935 году расстрелян. Вот какой минимум сведений должен был сообщить читателям Е. Витковский в комментарии. Но он этого не сделал.

Попала ли книга стихов “Только такие!” к русским рабочим в СССР – нам неизвестно. Точно установленным является только факт распространения в Москве в начале 1935 года листовки “Фашист”. В ней в качестве противодействия “кровавому коммунизму” русскому народу предлагался только один выход – “фашистская революция”...

Фантазии поэта Арсения Несмелова в книге “Только такие!” о “Пасхе в Москве”, о братании переходящего границу русского фашиста с русским со-

ветским пограничником очень схожи с фантазиями генерала-писателя П. Н. Краснова в его романе о “Белой Свитке”, где герои-диверсанты уже чуть ли не захватывают советскую Москву... Не нам сегодня судить их, связавших идею освобождения Родины от коммунистической утопии с идеологией и практикой русских радикал-националистов (как бы они себя в разных странах ни именовали: ВФП – в Маньчжурии и Китае; РОВС, РОИД, НТС – в Европе). Свои надежды и иллюзии они оплатили собственной жизнью. Да большого выбора у них и не было. Многие из русских фашистов переменили свою политическую позицию во время Второй мировой войны, когда окончательно стало ясно, что Гитлер и немецкие нацисты никогда не допустят формирования на оккупированной территории России самостоятельного русского **национального правительства**. А быть марионетками в чужой игре они не хотели, в отличие от генерала Власова. Лирические стихотворения и поэмы Арсения Несмелова за последние двадцать лет стали хорошо известны российским читателям. А вот познакомиться с Несмеловым-публицистом, с Несмеловым-агитатором в стихах им ещё предстоит. Этот опыт нельзя назвать удачным для поэта. Но книга “Только такие!” – прежде всего **документ** сложной и даже трагической судьбы русской послеоктябрьской эмиграции.

Р. С.: Автор этих строк в пору своей студенческой юности в начале 1970-х годов слушал лекции по зарубежной литературе XX века, весьма смелые для того времени. Читал их старший преподаватель, не имевший даже кандидатской ученой степени, а ему уже шел пятый десяток лет. Говорили, что в конце 1960-х годов он подготовил к защите кандидатскую диссертацию о художественной литературе немецкого фашизма. Со студенческой скамьи попав на фронт Великой Отечественной войны, отвоевав на ней “от” и “до” (в том числе и в качестве военного переводчика), он хорошо изучил психологию немцев – от рабочих в форме солдат вермахта до “интеллектуалов” в форме высших офицерских чинов, буквально пропитанных идеями гитлеровского национал-социализма. Диссертацию его вела кафедра истории немецкой литературы МГУ в лице тогдашнего авторитета в области антифашистской литературы Германии профессора Фрадкина (он считался крупным специалистом по творчеству Б. Брехта). Разумеется, диссертация была написана в рамках единственно допустимой в то время марксистско-ленинской методологии. И всё равно ВАК не допустила её к защите: **сама тема** эта была **табуирована** даже для партсекретаря факультета вуза, кем тогда являлся этот старший преподаватель. И допускаться к рассмотрению она только в самой примитивной, публицистически ангажированной форме – вроде неоднократно тиражированной в советское время убого пропагандистской книжки партийных историков Мельникова и Чёрной под названием “Преступник №1” (т. е. Гитлер). Словом, этому старшему преподавателю не дали защитить диссертацию на такую “спорную” тему. А переменить тему он упорно отказывался, всегда подчёркивая, что своими глазами видел, как тлетворная нацистская идеология одурманила сознание целого народа. В середине 1970-х годов он ушёл из института, какое-то время был учителем литературы в обычной средней школе, потом ушёл и оттуда, стал писать художественную прозу – у него получалась добротная (и, главное, добрая!) проза. Её стали издавать. Скончался он в возрасте 80 лет, больше известный как писатель-прозаик. Но... всё равно, до сих пор, по прошествии стольких лет (когда этого человека уже нет в живых) не покидает меня чувство горечи – от того, что научное сообщество лишилось, может быть, тогда, в начале 1970-х годов, значительного, честного и бесстрашного исследователя.

Я уделил так много места этой горькой истории затем, чтобы читатель понял, как трудно пробивалась эта тема (искусство и литература фашизма) к публичному, печатному анализу и обсуждению, даже в 90-е годы XX века. И когда сегодня определённым антирусским силам выгодно навешивать ярлык “русского фашизма” на любую негодную им русскую национально-патриотическую организацию, надо ясно и чётко говорить: в России, в стране, подвергшейся немецко-фашистской оккупации, где почти в каждой семье сохранилась память и боль от того времени, фашизма не может быть по определению.

МИХАИЛ МУЛЛИН

“РУССКОМУ ПОЭТУ НУЖНА ЗЕМЛЯ И РОДИНА НУЖНА”

(Вышла первая книга об А. Передрееве)

Как ни прискорбно (не лучше ли сказать “как ни стыдно?”), до сих пор **не выходило ни одной** (!) книги об Анатолии Передрееве, о том, кем не только Саратов да Грозный, но и вся Россия могла бы гордиться.

И вот свершилось – в последний день апреля в Саратовском областном Доме искусств прошла презентация книги, на суперобложке которой значится “Анатолий Передреев “Родина внутри нас”, а на переплёте... просто “Анатолий Передреев”.

Главный редактор и куратор проекта писатель Владимир Сергеевич Лесовой – уроженец многострадальной Украины, теперь москвич – представил замечательную книгу именно здесь, в Саратове. Великий русский поэт Передреев – саратовец по рождению (появился на свет в деревне Малый Сокур Татищевского района), а редактором-составителем книги является наша землячка – подвижница А. И. Баженова.

Велики заслуги Александры Ивановны перед русской культурой. Она – автор уникальных книг “Боги древних славян”, “Славян родные имена”, “Звёздные взлёты русской культуры”, “А. С. Кайсаров – забытый герой ранне-пушкинской эпохи”, “За всё добро расплатимся добром”, составитель и один из авторов “Мифов древних славян”, “Мифов древней Волги”. Писатель, литературный критик, она создала в Саратове и Энгельсе несколько газет патриотической направленности. Создала и долго возглавляла Саратовский фонд славянской письменности и культуры.

Каждая книга Александры Ивановны – гражданский подвиг и золотой слиток в сокровищницу русской культуры.

И вот сбылась мечта А. И. Баженовой, которую она вынашивала много лет, но не могла осуществить из-за... нехватки денег на издание настоящих стихов и исследований. В книгу включены стихи (в том числе и не опубликованные ранее) Передреева, воспоминания о нём и “Венок Анатолию Передрееву” – стихи, посвящённые нашему великому земляку.

В Москве в прошлом году (в год трагической гибели А. И. Баженовой) вышло две её книги. А теперь русская литература и культура обогатились ещё одним её вкладом. И В. С. Лесовой, по сути, тоже совершил гражданский подвиг, деяние истинного патриота – нашёл деньги, кои, кстати, не отыскивали в своих тугих загонах ни один олигарх, крупный чиновник или бизнесмен! Деньги давали пенсионеры, учащиеся, небогатые литераторы.

Куратор проекта, доведший издание до конца, и сам написал для неё заключительную резкую, но важную главу и посвятил книгу А. И. Баженовой.

Выход сборника — для нас ещё один повод перечитать блистательные классические по уровню стихи Анатолия Константиновича. О его стихах профессионально писали многие, например, В. Кожин и Ст. Куняев, с которыми, разумеется, не стоит тягаться, но всё-таки хочется напомнить хотя бы некоторые “не главные”, что ли, стихи поэта.

*К стене прислонившись отвесной,
я видел,
внизу подо мной,
дышала холодная бездна,
ходила волна за волной...
Но с детским восторгом во взоре,
забыв обо мне и себе,
бежала ты к морю,
и море
бежало навстречу тебе!*

Здесь же поразительный лиризм, захватывающее совершенство сочетания слов. Картина. И любование полнотой жизни, красотой её проявления, единством и цельностью мироздания, в котором женщина и море — на равных, и море (стихия) нетерпеливо и... радуется красоте женщины.

Щемящее чувство вызывает стихотворение “Самолёт над деревней”. Потому что, оказывается, все наши взлёты (буквальные) науки, экономики, духа — из той избы, которая так и осталась “крайней” и “ветхой-ветхой”. Потому что больше восхищают не “художества” чудо-самолёта, умеющего **пропадать** в синем небе, а “Покой бревенчатый... Резьба... / Всё, что **не в духе века**”. И потому, что... “...вышла бабка / На крыльцо — / Томящиеся очи. / И теребя печальный цвет / Отцветшего передника, / Она глядела / Звуку вслед / Задумчиво и **преданно**...” Изба и бабка — истоки всех достижений, всего могущества, никак этим могуществом не облагодетельствованные! Как и становящаяся при внимательном чтении символом “Старуха” в одноимённом стихотворении с её “допотопной **сумой**”, “немыслимой торбой” и “**убогим мешком**”. А ведь это написано в годы уже “развитого социализма”, когда многие другие поэты (?) рисовали нам недалёкие вершины коммунизма, и **таких** старух вроде бы уже не должно было быть. Горько это. Тем более что ныне их, пожалуй, стало больше... И всё-таки бабка из ветхой избы глядит вслед летающему потомку **преданно**.

Вообще от лирики Передреева часто просто перехватывает дыхание, например, в концовках стихотворений “Голубой велосипед”, “Из юности”, “Лыжня”. И появляется мысль-надежда: может быть, многим захочется вдруг помолиться после прочтения строк с описанием молящейся матери. И понимаешь: молитвам матерей обязаны мы тем, что ещё живём на свете.

Справедливо и многократно писалось, что Передреев, скажем, той же “Окраиной” выразил время. А ведь в не меньшей степени время он выразил и стихотворениями “В переулке”, “Шофёр” (кстати, это же драматическое произведение по психологическим “переливам”!).

Писать о книге сложно, потому что “густо” составлена — хочется цитировать всё подряд.

Биографическая причастность к великой стройке (возведение Братской ГЭС), к “передовым достижениям технической мысли” впечатлили юного поэта и гражданина. Но человеческое чутьё вызывало в нём сомнения в безусловной спасительности технического прогресса. В этом смысле принципиально стихотворение “Робот”.

*И смотрели взрослые и дети,
Как светилось
Умное чело,
Как он думал
Обо всём на свете,
О себе не зная
Ничего.*

Но, может быть, в ещё большей степени в стихотворении (могучем!) “Итог”, “не лирический” герой которого, познавший тайны разрушительных

энергий, ощутил, как “...страшно было чувствовать ему / Любовь к цветам / И к маленькой собачке...” Этот же не просто фиаско, а именно **страшное** фиаско! Только открытие формул, не использование ещё даже разрушительных энергий – разрушило всё живое в душе “гения”.

Ст. Куняев, может быть, лучше всех знавший и понимавший его, подчеркнул важнейшее отличие Передреева от множества современников: “Передреев был одним из немногих поэтов моего поколения, кто каким-то чутьём ощущал, что есть правда и что есть неправота в стихотворении... Слух на правду (эстетическую, этическую, духовную – любую) у него был абсолютный, и поэтому я свои новые стихи читал ему первому... Я верил ему больше, чем себе”. Он же отмечает “абсолютно естественный голос Анатолия Передреева, чурающийся любого публицистического подтекста, голос, стремящийся к одной цели – выразить простую русскую судьбу и русскую душу”.

В работе Баженовой с подзаголовком “Поэзия и судьба Анатолия Передреева”, открывающей издание, дан скрупулёзный анализ биографических сведений, уточнены факты и даты событий. Ряд сведений можно считать открытиями Александры Ивановны, важными для литературоведения. Её размышления о поэтике Анатолия Константиновича несомненно помогут и нам более чётко увидеть достоинства стихов и... статей. В частности, становится объяснимым, почему в последние годы жизни он написал немного. По Баженовой, поэт достиг совершенства и осознал это, посему и не публиковал новых стихов, если хоть чем-то в них не был удовлетворён, а вкус у Передреева был врождённым и безупречным.

У книги более сорока авторов. Среди них такие величины, как В. Белов, В. Кожин, Ст. Куняев, Ю. Кузнецов, Н. Рубцов, В. Соколов.

Комментарии к некоторым стихам настолько добротны и подробны, что книгу невольно начинаешь воспринимать как своеобразное продолжение изумительной работы Вадима Кожина “Как пишут стихи”. Важно, что Баженова и другие авторы “поверяют” лирику поэта не только и не столько “алгеброй” (филологическим исследованием приёмов), сколько пропуская её через сердце, восхищаясь “тканью стиха”, “проникновенной и совершенной в своей чеканной простоте”.

“Есть простота примитива, и есть простота таланта и гения. Есть простота графомана и простота мастера”, – пишет Баженова: “Второе – предел устремлений всех поэтов. Предел, к которому наш земляк Анатолий Передреев подобрался очень близко”. Важным она считает, что Передрееву удалось ярко выразить трудовой, ритмичный, созидательный советский XX век (вторую его половину) без всяких лозунгов и плакатов, “что он, глядя на (по сути постылый) “индустриальный пейзаж”, умел подняться в поэзии до тютчевского восприятия окружающего нас мира как частицы мироздания”. Эту мысль убедительно подтверждает приведённое стихотворение “Когда с плотины падает река...”. “Стихотворение это – сам глагол, который Анатолий Передреев просто выдохнул... так он органичен...”, – пишет Александра Ивановна.

Всё написанное Баженовой о поэте-земляке пропитано любовью к его творчеству, к его яркой личности. Нередко она, как кистью, пишет прямо-таки портрет Передреева. Не фотографическое изображение внешности (хотя это тоже есть), а портрет настоящий, как это делают художники – передавая его характер и даже сиюминутное душевное состояние. При этом даже детали, окружающие поэта, у Баженовой не случайны, они высвечивают “внутреннего Передреева”, его суть. Раскрывает она и предысторию Анатолия Константиновича, строит вполне обоснованные предположения, что предки поэта в течение многих веков были грамотными, скорее даже, образованными людьми.

Интересно, что это её заключение совпадает с (возможно, невольными) замечаниями наблюдательного В. Кожина и В. Цыбина, подчёркивавших “породистую” внешность Передреева. А ведь книга ещё сообщает, в подтверждение, что брат деда по матери Анатолия Передреева был царским подполковником, да ведь и отец в царской армии был писарем...

Между тем “образ Передреева” предстаёт в книге не сусальным, от читателя не скрываются бытовые “заскоки” поэта. И потому это не схема, а живой человек с живой душой.

Параллельно мы можем узнать немало интересных и не описанных в учебниках сведений об истории родной страны, например, о том, что для спасения

малолетних дворянских детей, оставшихся без родителей, супруга императора Павла I Мария Фёдоровна создала ряд благотворительных и воспитательных заведений, в том числе и в Саратовской губернии (“Мариинское ведомство”). Этой императрице мы, оказывается, и обязаны сохранением рода Передреевых, стало быть, в значительной мере – появлением прекрасного поэта.

Между прочим, с помощью такого “объединения времён” мы начинаем не только лучше знать свою историю (прошлое), но и начинаем больше его уважать! И даже любить.

Да ведь и читать книгу просто очень интересно! Ведь биография Передреева, оказывается, насыщена многими “триллерными” поворотами. Достаточно сказать, что при переезде (бегстве от комбедовцев) в русский город Грозный “заботливые” попутчики обокрали семью – возвратившись в купе, старшие не увидели там ничего из вещей, а на голой полке лежал только голый же будущий великий поэт – младенец Толя. На роман-триллер “тянет” и совершенно необычайная судьба брата поэта Михаила, у которого “цивилизованная Европа” (тогда в виде фашистской Германии) отняла обе ноги, но... заботливо дала замечательные протезы. А чуть погодя (перед драпом немецких войск) решила на всякий случай “ликвидировать”, то есть пристрелить...

Но главная “интересность” издания в том, что **впервые** столь полно представлен нам Передреев – как поэт, гражданин, человек. Так что издание уникально не только содержанием, но и уже фактом своего появления.

А о “деталях” упоминаю лишь потому, что всё это – тоже о нём, Анатолии Константиновиче. И о стране. И о нас.

При внешней успешности, судьба поэта представлена как имеющая надлом, внутреннюю трагедию. И причина последней, по справедливому мнению авторов книги, в насильственном отрыве от корней, малой родины. Это, кстати, и сам Передреев признавал. “Мама, какая у нас земля красивая! Какая красивая деревня!” – это слова Анатолия Константиновича. И его же слова, обращённые к В. Д. Цыбину: “Вот у тебя есть Семиречье, твой казачий род. А я ведь вроде как безродный. Вырос на Кавказе, в Грозном, – не в коренной России”.

Всего этого не мог же заменить

*крупноблочный мир комфорта
между небом и землёй,
где ни Бога нет, ни чёрта,
где не ходит домовой.*

И передреевское обострённое чувство родины, России отмечал тот же Цыбин. А друг Передреева “арбитр вкуса” Вадим Кожин писал, что Передреев “стремился писать первородину”.

Однако при всей самобытности, независимости и “простоте” в стихах поэта на удивление много аллюзий, “отсылок”, переключек со многими прекрасными поэтами и мыслителями – с М. Лермонтовым, С. Есениным, Н. Некрасовым, Ю. Кузнецовым, В. Кожинным.

“Родина внутри нас” – слова, сказанные А. Передрееву В. Цыбиным. Но сказанными точно. И о Передрееве, получается, в первую очередь. И мысль эта становится многозначной. Во-первых, вспоминается: “Царство небесное внутри вас” (в этом количество смыслов и трактовок вообще неисчерпаемо). Во-вторых: если сохраним Родину внутри себя, то и сбережём её, и сумеем воссоздать после любых очередных (не нам нужных) “великих потрясений” и разрушений внешнего мира. И тогда (только тогда!) сохраним и себе. А это важно, потому что “Русскому поэту земля нужна и Родина нужна”. Да и не только поэту, любому русскому. Пожалуй, даже если он татарин или мордвин. Но поэту особенно.

В завершение приведу ещё две очень важных цитаты.

Из В. В. Кожина: “У Передреева в большинстве речь идёт об истинных творениях лирической поэзии, в которых с предельной честностью и духовной высотой воплощено наше время. Они представляют собой не только неопределимо дорогое достояние современного поэта. Они, несомненно, сохранят свою ценность и в глазах наших потомков”.

И из А. И. Баженовой: “Если вам надо “почистить” душу, разъедаемую современными противоречиями, одичавшую от дебилизма телевидения и агрессивности кино, – читайте стихи Передреева, лечащие нас...”

P.S. Ценность новой книги ещё и в том, что после её прочтения уже не забудешь, что Родина — внутри нас. А ведь русская литература — **необходимая** часть нашей Родины. И она — внутри нас. И поэт Передреев — тоже. Не принять чужебесия, сохранить в себе **всю** Родину — наш долг и... единственный (необходимый) способ самосохранения. Поэтому трудный выход книги внушает оптимизм. А ещё... во время теперешних украинских событий трудно удержаться от политического подтекста. Впрочем, это не о политике, а о духовности и не подтекст, а прямое утверждение: оптимизм поддерживает краткая (одно предложение) информация из этого издания, точнее, расположенная даже как бы до ещё **до** собственно **текста** книги — на авантитуле: “Книга издана на пожертвования добрых людей России и Украины”.

Саратов



На 65-м году ушёл из жизни Александр Николаевич АРЦИБАШЕВ. Постоянный автор “Нашего современника”, он с гордостью называл себя писателем-деревенщиком. Им написаны множество повестей и рассказов, но особенно полно его талант раскрылся в очеркстике. Александр Николаевич был едва ли не лучшим представителем этого редкого в современной литературе жанра. Основные произведения Арцибашева — о русской деревне. Он был её защитником, витязем. В последние годы Александр Николаевич возглавлял Общественный совет по возрождению деревни при Союзе писателей России.

Похоронен Александр Николаевич у себя на родине в Свердловской области.

ПЁТР КОЗЛОВ

В ОДНОМ СТРОЮ

В сентябре 2013 года воронежское издательство “Кварта” выпустило в свет поэтическую книжку “Видим светлые дали” тиражом 100 экземпляров. **Её автор – Станислав Фёдорович Гайдуков из Новой Усмани Воронежской области** – разменял уж восьмой десяток лет своей жизни. Первая книга поэта! Наверное, он побил все рекорды, связанные с соотношением возраста автора и его первой книги, и является самым *возрастным* “молодым поэтом” с учётом того, что первые книжки, как правило, издают в молодости.

Станислав Фёдорович, получив свой мизерный тираж, разослал экземпляры книги знакомым и друзьям, которых у него в России и за рубежом предостаточно, **ведь он создатель сайта в интернете “Поднимающий знамя” (Поэзия сопротивления)**. Прислал книгу и мне как своему старому другу. А я попросил отправить мне по электронной почте некоторые из откликов на её издание с тем, чтобы использовать их в своём слове о книжке и её авторе. Несколько писем он мне переправил. В них я увидел то, что и сам хотел бы сказать, а посему буду говорить о человеке и о поэте словами его признательных почитателей.

Пишет Юрий Колодний из Москвы: “Дорогой Станислав Фёдорович! Спасибо за подарок – книгу стихов “Видим светлые дали”. Тронут до глубины души... Представленные в Вашей книге стихи – разные, но лучшие – подкупают искренностью, эмоциональностью, чёткой жизненной позицией автора. Вы пытаетесь поднять очень сложные, важные, судьбоносные вопросы для нашей страны: “Что с Россией случилось?”, “Как вернуться к совести?”

Понятно, что на многие жизненные вопросы у поэтов нет ответов. Когда-то замечательный русский поэт Николай Михайлович Рубцов говорил: “У мятросов нет вопросов, у поэтов нет ответов”. Считаю, что главная задача поэта – смело поднимать, ставить перед читателями жизненно важные, выстраданные, пропущенные через чуткое сердце вопросы, окрашенные эпохой и временем.

Понравилось, что лучшие Ваши стихи-размышления наполнены не безнадёжной серой тоской и грустью, а светлой сыновней печалью о судьбе нашей Родины. Вспоминаются слова К. Г. Паустовского: “Без чувства своей страны – особенной, очень дорогой и милой в каждой её мелочи – нет настоящего человеческого характера. Это чувство бескорыстно и наполняет нас высшим интересом ко всему”.

Вот строчки от Леонида Назарова – известного ленинградского композитора, которого помнят люди советского времени: “Дорогой Станислав, сообщая, что мы вчера приехали домой, а сегодня с утра получили на почте “Видим светлые дали”. Поздравляю Вас и Вашу семью с этой важной ступенью

творческой: такой сборник стихов – яркая победа для любого поэта! Очень хорошо спланирован и оформлен сборник, стихи простые, честные и сердечные, – нам всем понятные тревоги, надежды и устремления.

Станислав, ты возделываешь огромный пласт духовной работы, такой необходимой людям. Мира и благополучия Вашему Дому, доброго здоровья, красоты, новых творческих удач! Молодцы! Обнимаем дружески!”

* * *

По-настоящему впечатлиться проделанной огромной работой Станислава Фёдоровича по созданию поэтического сайта я смог спустя год-два, когда компьютеры повсеместно стали появляться на рабочих столах и в квартирах.

Не может быть, чтобы это было по силам одному человеку!

Поделился таким соображением со специалистом. Он, ознакомившись с сайтом, со мной... согласился. Сайт разветвлён на многие разделы, подразделы и рубрики, которые изумительным образом связаны друг с другом. При этом каждая часть сайта могла бы быть вполне самостоятельным информационным ресурсом в интернете. На главной его странице выставлены логотипы патриотических СМИ. Нажав мышкой на любой из них, можешь ознакомиться с информацией на страницах конкретной газеты. Среди них “Завтра” и “День литературы”.

“Должна быть дружная рабочая команда”, – сказал спец. – Иначе сложно справляться с таким объёмом поступающей информации, ведением сайта, его поддержкой.

А на самом деле человек тут был один! И остаётся один! Ощущение присутствия команды возникает от существа дела, которым занимается Станислав Фёдорович. Тут и сравнение имею. Мой отец, командир пулемётной роты, сдерживая ночные атаки врага на своём участке фронта в марте 1943 года, под утро был сражён пулей специально вызванного для этой цели снайпера. Личный состав пулемётных расчётов был уничтожен противником. Отцу оставалось по темноте перебираться от одного пулемёта к другому, стрелять из них, создавая видимость полноценного сопротивления. Отцу это удалось – противник так и не решился пойти в атаку, видя боеспособность подразделения, выдвинутого на нейтральную полосу. Но это стоило ему пули, прошедшей сквозь прицельное окошечко станкового пулемёта под каску, в лоб, через висок навывлет...

Такое же ощущение возникает и относительно “пулемётной роты” Гайдуква: на его поэтическом сайте через лучших поэтов представлена вся поэтическая Россия. Их не видно и не слышно, потому что разорвано информационное пространство, отсутствует системная деятельность издательств, заинтересованных в результатах творчества поэтов и реализации изготовленной продукции в книжных магазинах. И если у поэта выходит книжка, то зачастую он за неё заплатил сам, и о ней мало кто знает. И тиражом распоряжается сам, в кругу родных, друзей и знакомых. Гайдуква заполняет вакуум, образовавшийся в пространстве между стихами поэта, его книгой и читателем. Он берёт лучшее и актуальное из творчества поэта и показывает это через свой ресурс всем. То же проделывает с творчеством другого поэта, третьего. То есть на своём участке фронта использует информационное оружие (патриотическую поэзию известных и неизвестных поэтов) – один! Во имя Родины, России! Со временем у него устанавливаются товарищеские и дружеские отношения с авторами сайта, они в дальнейшем присылают ему свои стихи и книги. Читатель этого не видит, ему изначально представляется, что здесь взаимодействуют коллективы, как на поле боя – пулемётные расчёты.

И один в поле воин!

Как-то по телевизору услышал полезную информацию о необходимости оцифровать произведения членов Союза писателей России, систематизировать этот ресурс и осуществить доступ к нему через интернет. На эту работу нужны немалые средства. И здесь действительно нужна команда, труд которой будет оплачиваться. По сути, Станислав Фёдорович делает всю работу сам, параллельно той, которая, возможно, ещё только когда-нибудь состоится, делает не в ущерб ей, а во благо сегодняшнему и завтрашнему пользователю интернета, реальному читателю, делает бесплатно!

Посмотрим его галерею. Здесь 234 портрета. Нажав мышкой на любой из них, вы откроете страничку конкретного поэта, которая, в зависимости от объёма поэтического материала, может продолжаться следующими друг за другом страничками. Поэт представлен фотографией, биографической справкой, в том числе перечнем изданных книг, и, конечно же, стихами, которые Станислав Фёдорович отбирал по своему усмотрению.

Многие поэты галереи, полагаю, известны большинству читателей, а тем более студентам-филологам, учителям и преподавателям русского языка и литературы. Перечисляю по рядам портретной галереи и сверху вниз, иногда применяя последовательность согласно алфавиту: Виктор Боков, Владимир Бушин, Виктор Верстаков, Сергей Викулов, Глеб Горбовский, Татьяна Глушкова, Николай Добронравов, Николай Дмитриев, Николай Зиновьев, Станислав Золотцев, Юрий Кузнецов, Владимир Костров, Станислав Куняев, Анатолий Лукьянов, Игорь Ляпин, Новелла Матвеева, Юрий Минералов, Надежда Мирошниченко, Евгений Нефёдов, Михаил Ножкин, Борис Олейник, Борис Примеров, Александр Проханов, Валентин Сорокин, Николай Тряпкин, Фёдор Тютчев, Олег Шестинский, Людмила Щипахина, Ольга Фокина... Надо ли говорить, что среди уже названных поэтов – государственные деятели, представители старшего офицерского состава, доктора наук, лауреаты государственных премий, классики советской и русской поэзии.

А вот имена, которые становились мне известными по моим пересечениям с авторами в жизни или по прочтению их стихов в журналах “Москва”, “Наш современник”, других СМИ (открывая в очередной раз портретную галерею, я вдруг обнаруживал, что присутствующий здесь, но ранее не известный мне поэт на данный момент мне уже стал известным): Андрей Антонов, Магомед Ахмедов, Александр Бобров, Сергей Дерюшев, Наталья Егорова, Диана Кан, Андрей Канавщиков, Сергей Козлов, Олег Малинин, Николай Полотнянко, Ирина Семёнова, Евгений Семичев, Владимир Скиф, Мария Струкова, Игорь Тюленев, Валерий Хатюшин, Андрей Шацков.

Но больше на сайте имён тех поэтов, кто живёт на периферии, вдали от столиц и больших городов, на окраинах континентальной России, и о ком в этих столицах и городах, на другом конце страны, скорее всего, ничего не знают или знают совсем немного. Кто-то из них состоит в Союзе писателей России, кто-то – нет, однако их творческая жизнь активна: Юрий Берсенов, Владимир Кусакин, Александр Росков, Василий Печковский, Леонид Якутин. Называю эти имена лишь потому, что они, судя по стихам-посвящениям и тому, как представлены на сайте, наиболее дружны с Гайдуковым или близки ему по бойцовскому духу. Хотя творчество других крайних поэтов не менее актуально по содержанию и гражданской позиции.

Кого-то из современников уже с нами нет, а на сайте “Поднимающий знамя” они все – в одном строю. В живом слове!